2 р. 80 к.

КОМИТЕТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

ИЗ АРХИВОВ Г. В. ПЛЕХАНОВА,
В. И. ЗАСУЛИЧ и Л. Г. ДЕЙЧА

под редакцией Л. Г. ДЕЙЧА

при ближайшем участии
Л. И. АКСЕЛЬРОД, Р. М. БОГРАД-ПЛЕХАНОВОЙ
и Э. М. ЗИНОВЬЕВОЙ-ДЕЙЧ

СБОРНИК № 4



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КОМИТЕТ
ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ Г. В. ПЛЕХАНОВА

„ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»“

(ИЗ АРХИВОВ Г. В. ПЛЕХАНОВА, В. И. ЗАСУЛИЧ И Л. Г. ДЕЙЧА)

Под редакцией Л. Г. ДЕЙЧА

ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ Л. И. АКСЕЛЬРОД, Р. М. БОГРАД-ПЛЕХАНОВОЙ И Э. М. ЗИНОВЬЕВОЙ-ДЕЙЧ

СБОРНИК № 4



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА * 1926 * ЛЕНИНГРАД



ОТ РЕДАКЦИИ

Приступая к редактированию настоящих сборников, мы предполагали, что они будут выходить каждые 3—4 месяца, и мы делали все от нас зависящее для осуществления этого. Но, к сожалению, независящие от нас современные технические условия типографского дела не допускали исполнения этого нашего желания. Исключительно по этим причинам в особенности сильно задержался выход настоящего номера. Но зато он выпускается в значительно более расширенном размере.

Г. В. ПЛЕХАНОВ

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

НЕИЗДАННЫЕ ЛЕКЦИИ

[*Перевел с французского Е. С.*]

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Появляющиеся в этом сборнике впервые лекции Г. В. по историческому материализму были им прочитаны в марте 1901 года в Женеве в школе для часовых мастеров. Чтения эти были организованы женевской социал-демократической партией, во главе которой стоял недавно умерший известный лидер ее Жан Сигг (Jean Sigg). Аудитория состояла, главным образом, из женевских рабочих, старших учеников школы часовых мастеров, небольшого количества итальянских рабочих, женевской социалистической интеллигенции и довольно большого количества русской студенческой социалистической молодежи.

С живым захватывающим интересом следила разношерстная аудитория за ясным, красивым по форме развитием идей лектора. Часы проходили, повидимому, быстро и интересно для слушателей, которые в конце каждой лекции отдавались выражению своего восторга и благодарности, бурно аплодируя лектору и громко восклицая: «Как интересно! Как поучительно!» и т. п. Этот восторг аудитории вполне понятен, если принять во внимание молодую тогда швейцарскую социалистическую партию и еще полное отсутствие у нее собственных теоретиков.

Луи Эритье (Louis Héritier), основатель социал-демократической партии в романской Швейцарии, Жан Сигг и др. вожди социалистического рабочего движения романской Швейцарии, выходцы из рабочей и мелкобуржуазной среды, приобретали свое образование самоучкой уже в период своей социалистической деятельности. Почти одиночки в еще слабой партии, они целиком были поглощены пропагандой и

агитацией среди рабочего класса и раз'ездами с этой целью по швейцарским долинам и горам. Эти условия были крайне неблагоприятны для приобретения сколько-нибудь значительных теоретических знаний по научному социализму и философскому его обоснованию. Поэтому, как это ни покажется странным, несомненен тот факт, что теоретиком социалистической партии во французской Швейцарии часто выступал не социалист, а крайний радикал — профессор Фавон (Fawon), читавший в Женевском университете лекции о социальных учениях и, за неимением теоретика-социалиста, — также перед рабочей средой. Научного социализма Фавон не признавал, хотя слегка сочувствовал марксизму, а перед рабочими развивал социал-реформистские взгляды.

Такое ненормальное положение было еще понятно за десять лет перед этим, когда рабочие романской Швейцарии представляли собою по политическим и социальным взглядам неустановившуюся еще серую массу, которая шла частью за демократами, а главным образом за радикалами. Во главе последних уже стоял упомянутый профессор Фавон — образованный и обладавший сильным боевым политическим темпераментом. Но в описываемую эпоху, т.-е. в 1901 году, рабочие романской Швейцарии составляли самостоятельную рабочую партию. Идеи марксизма нашли в ее среде уже много поборников и последователей. Благодаря энергичной самоотверженной пропаганде и агитации основателя социал-демократической партии в романской Швейцарии, Луи Эритье, уже образовалось из серой массы довольно сильное организованное ядро будущей марксистской партии. Явилось классовое самосознание среди рабочих, и, конечно, профессор Фавон, как теоретик, уже больше не мог их удовлетворять.

Своими лекциями Георгий Валентинович отчасти заполнил этот пробел.

По окончании каждого чтения к лектору подходила жаждавшая знаний молодежь, засыпавшая его вопросами, просившая указаний, книг для чтения и т. д. Георгий Валентинович, несомненно, имел влияние на основание и развитие рабочего социалистического движения в романской Швейцарии.

До начала 80-х годов преобладающим влиянием в рабочей среде последней пользовались анархические идеи Кропоткина и Гильома, основателя «Юрской федерации» («Federation Jurassienne»), которая представляла собою нечто вроде филиала бакунинского Интернационала. Но в 1884 году появились первые зародыши марксистского течения в среде рабочих романской Швейцарии. Под влиянием и по совету Георгия Валентиновича был приглашен из Парижа Гэд для переговоров с группой швейцарских социалистов-марксистов, на которых Плеханов также присутствовал. Было решено, что Гэд будет приезжать для ряда конференций по марксизму в городах романской Швейцарии. Первые выступления Гэда с марксистской проповедью сопровождались бурными эпизодами. В одном из городков, расположенных на Женевском озере, если не ошибаюсь, в Веве, собрание окончилось обструкцией и рукопашной; Гэду не давали говорить, — таковы были еще анархические пережитки в рабочей среде. Вообще, мелкобуржуазная страна, бедная крупной индустрией, сплошь почти мануфактурная и ремесленная, романская Швейцария медленно поддавалась влиянию марксистских идей. Вожди ее рабочей партии даже в конце 90-х годов поражали своей беспомощностью в теоретическом отношении. Читатель убедится в правильности моей характеристики рабочего движения романской Швейцарии в эту эпоху из писем одного из способнейших и преданнейших вождей этого движения — Луи Эритье — к Георгию Валентиновичу, которые будут обнародованы в одном из следующих наших сборников.

Из этих писем читатель отчасти также увидит то влияние, которое Плеханов имел на судьбы швейцарского марксистского движения. Но влияние это было в эту эпоху скорее посредственным, т.-е. через вождей, чем непосредственно на рабочую массу. Этому последнему мешало положение Плеханова, как русского политического эмигранта, которого федеральное правительство раз уже выслало из пределов Швейцарии, главным образом, из боязни его влияния на местное социалистическое движение: Георгию Валентиновичу позволили вернуться в Женеву при условии, что он не будет выступать с агитационными и пропагандистскими речами перед швейцарскими рабочими. Лекции на теоретическую тему ему позволили читать, благодаря тому, что у кормила власти в это время стояла не демократическая партия (консервативная), которая за десять лет перед этим выслала Плеханова за пределы Швейцарии, а радикальная — с Фавоном и Анри Фази во главе.

На тему об историческом материализме был прочитан Георгием Валентиновичем ряд лекций также и в рабочем итальянском клубе перед аудиторией, еще совершенно девственной в теоретическом отношении. Клуб был битком набит. Рабочие-итальянцы сидели на подоконниках, стояли в проходах между скамейками и даже на улице, вставляя головы в окна. Лектор довел свое искусство популяризировать абстрактные вещи до виртуозности; однако, едва ли многое понимали даже в столь крайне популярной форме эти дети природы, но своей жаждой понять, своей сосредоточенной серьезностью эта аудитория производила чарующее впечатление. По окончании лекций, благодарности по адресу «камерада», «маэстро» выливались от души и без конца.

Такое отношение этих мало развитых рабочих к Георгию Валентиновичу и к его лекциям об'ясняется их положением в Швейцарии, о чем скажу здесь несколько слов.

В эту эпоху движение в Италии ознаменовалось бурными событиями: в больших городах Италии — Милане и Генуе — на почве дороговизны жизни вспыхнули серьезные волнения, которые вскоре были подавлены. Спасаясь от преследований, рабочие перешли границу и рассыпались по всей территории маленькой федерации. Особенно много их скопилось в немецкой Швейцарии, главным образом, в Цюрихе — большом индустриальном городе, где рабочие-итальянцы легко находили применение своим силам; довольно большое количество этих изгнанников появилось также и в романской Швейцарии, преимущественно в Женеве, куда, главным образом, направлялись каменщики, штукатуры, кровельщики, так как местные рабочие не имели охоты к этим профессиям: будучи преимущественно заняты в часовых мастерских, на электрических фабриках, в архитекторских конторах и т. д., они являлись рабочими привилегированного, квалифицированного труда; черная же тяжелая работа: по постройке домов, по канализации города, мощению улиц, чистке труб, нечистот и т. п. — совершалась неквалифицированными итальянцами и савоярами.

Положение этих париев в Швейцарии вообще, а в романской Швейцарии в частности, было крайне тяжелое. Мало сознательные, с очень низким уровнем потребностей, совсем неорганизованные итальянские изгнанники, попавшие в Цюрих и Базель, становились на работу на таких скудных условиях, на которые швейцарцы ни в коем случае не соглашались. Они также предлагали свои услуги вместо стачечников, благодаря своей несознательности и неорганизованности, и таким образом становились штрейкбрехерами. На этой почве в больших индустриальных городах немецкой Швейцарии часто происходили острые конфликты, нередко доходившие до избиения швейцарскими рабочими своих итальянских собратий. Это печальное положение длилось со времени вынужденной эмиграции итальянских рабочих в 1897 году до 1899 года, когда вожаки итальянского рабочего движения и некоторые из видных эмигрировавших в Швейцарию социалистов поставили своей целью внесение сознания и организованности в среду темных итальянских рабочих, жестоко испытавших на себе ту истину, что классовое сознание и классовая организация являются необходимыми условиями сколько-нибудь человеческого существования трудящихся масс.

Блестящий Энрико Ферри (Enrico Ferri), тогда находившийся в апогее своей активности и славы в качестве пропагандиста и агитатора, раз'езжал по швейцарским городам, организовывая и прививая азбуку социализма своим наивным и несчастным соотечественникам из рабочей среды. Кроме него, выступали также менее видные молодые социалисты из интеллигентной среды, старавшиеся привить итальянским рабочим идеи международной солидарности. В Женеве особенной энергией, талантливостью и самоотверженной преданностью делу отличался молодой социалист, если не ошибаюсь, друг Артура Лабриола, имени которого, к сожалению, не могу вспомнить, хотя он часто нас навещал. Избранный итальянскими рабочими на одном из первых организационных собраний в секретари союза, он, благодаря неутомимой деятельности, в несколько месяцев сгруппировал их, устроил кассу взаимопомощи, завел рабочий клуб, положил основание социалистической библиотечке, организовал ряд чтений и собеседований, на которые приходили массы любознательных слушателей. Насколько мне помнится, у них также появился рабочий листок, обслуживавший интересы итальянских рабочих в Женеве.

Можно удивляться тому влиянию, которое возымела эта еще молодая организация на дух этих рабочих, на их нравственный и умственный под'ем. В противоположность печальным событиям, произошедшим в Цюрихе, о которых я говорила выше, среди проживавших в Швейцарии итальянских рабочих появилось сознательное отношение к своему классу, чувство солидарности к собратьям других национальностей, стойкость и взаимная поддержка в борьбе с предпринимателями.

Р. Плеханова.

ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ

(8 марта 1901 г.)

Милостивые государыни и милостивые государи!

Когда историк, — конечно, историк, не лишенный дара обобщения, — охватывает мысленно прошлое и настоящее рода человеческого, пред ним развертывается величественное и захватывающее зрелище. В самом деле, вы, конечно, знаете, что, по предположениям современной науки, человек существует на земном шаре со времени древнейшей четвертичной эпохи, т.-е., по меньшей мере, уже двести тысяч лет. Но если мы оставим в стороне эти вычисления, по необходимости гадательные, если мы допустим, как считали в доброе старое время, что человек появился на земле приблизительно за четыре тысячи лет до христианской эры, мы получим

что-то около двухсот поколений, появлявшихся одно за другим, чтобы исчезнуть, как исчезают листья в лесу с наступлением осени. Каждое из этих поколений, больше того — каждая личность, входившая в состав каждого поколения, преследовала свои собственные цели: каждая из них боролась за свое собственное существование или за существование своих близких. А между тем, было целостное движение, было то, что мы называем *историей рода человеческого*.

Если мы припомним то состояние, в котором находились наши отдаленные предки, если мы сравним, например, жизнь тех из них, которые ютились в так называемых свайных постройках, с жизнью швейцарцев наших дней, — мы увидим огромную разницу. Ибо в жизни рода человеческого было не только движение, — было то, что мы называем *прогрессом* [1]). Расстояние, отделяющее человека от его более или менее человекоподобных предков, увеличивается; власть человека над природой усиливается. Поэтому вполне естественно, даже неизбежно встает вопрос: каковы же были причины этого движения и этого прогресса? [2]).

Этот вопрос, милостивые государыни и милостивые государи, великий вопрос о причинах исторического движения и прогресса рода человеческого, есть вопрос, составляющий предмет того, что прежде называлось философией истории и что, мне кажется, лучше было бы обозначать термином «понимание истории», истории, рассматриваемой, как наука, т.-е. *истории, которая не довольствуется изучением того, каким образом явления происходили, но желает знать, почему происходили они одним порядком, а не другим*.

Как всякий предмет, философия истории имела свою собственную историю. Я хочу этим сказать, что в различные эпохи истории люди, занимавшиеся вопросом о причинах исторического движения, различно отвечали на этот великий вопрос. *Каждая эпоха имела свою собственную философию истории*.

---

[1]) Эта фраза в оригинале зачеркнута. Почему восстанавливаем ее — об'яснено в следующем примечании. *Е. С.*

[2]) Перед этой фразой, сбоку, поставлено слово «Progrès». Очевидно, как явствует из текста, здесь Г. В. предполагал поместить зачеркнутую выше фразу или подобную ей по смыслу. Вероятно, это было сделано в речи. *Е. С.*

Вы, пожалуй, укажете мне, что часто в один и тот же исторический период существовала не *одна только*, а *несколько* школ философии истории. Я с этим согласен, но вместе с тем я попрошу вас обратить внимание на то, что различные философские школы, возникающие в данный исторический период, всегда имеют между собою нечто общее, что дает возможность рассматривать их как различные виды одного и того же рода. Разумеется, в них можно наблюдать и различные пережитки прошлого. Мы можем поэтому, дабы упростить изучаемый вопрос, сказать, что *каждый исторический период имеет свою собственную философию истории*.

С некоторыми течениями в области философии истории мы и познакомимся в наших беседах. Я начинаю с *теологической философии* или *теологического понимания истории*.

Что представляет собою теологическая философия или теологическое понимание истории? Это наиболее примитивное понимание, — оно тесно связано с первыми усилиями человеческой мысли разобраться в окружающем мире.

В самом деле, наиболее простое представление, какое человек может составить себе о природе — это видеть в ней не зависимые друг от друга и управляемые неизменными законами явления, а события, производимые действием одной или нескольких воль, подобных его собственной воле. Французский философ Гюйо (Guyot) рассказывает в одной из своих книг, что одно дитя в его присутствии обозвало луну *злою*, потому что она не хотела показаться на небосклоне. Это дитя считало луну существом *одушевленным*, и первобытный человек, подобно этому ребенку, одушевляет всю природу. *Анимизм* (одушевление природы) является первой фазой развития религиозной мысли, и первым шагом науки является устранение анимистического об'яснения явлений природы и познание их, как явлений, подчиненных определенным законам. В то время как дитя думает, что луна не показывается, потому что она злая, естествоиспытатель об'ясняет нам совокупность естественных условий, которые в каждый данный момент позволяют или мешают нам видеть то, либо другое небесное светило.

Но между тем как в изучении и понимании *природы* наука подвигалась вперед сравнительно быстрыми шагами,

наука о *человеческом* обществе и об его истории развивалась гораздо медленнее. Анимистическое об'яснение исторических явлений допускалось еще в такие времена, когда анимистическое об'яснение явлений природы казалось уже только смешным. Сравнительно в цивилизованной среде, часто даже в среде высоко-цивилизованной, считалось вполне возможным об'яснять историческое движение человечества как проявление воли одного, либо нескольких божеств, и это-то об'яснение истории божественной волей мы и называем *теологическим об'яснением истории*.

Чтобы вам дать два примера подобного понимания, я остановлюсь сейчас на исторической философии двух знаменитых людей: св. Августина, епископа в Гиппоне (нынешний Алжир) и Боссюэ (Bossuet), епископа города Мо (во Франции).

Св. Августин (354—430) считает, что исторические события зависят от божественного провидения, больше того он убежден, что с другой оценкой к ним нельзя подходить. «Подумайте, — говорит он, — бог, этот всевышний властелин, единственный и всемогущий, творец и создатель всех душ и всех тел... тот, кто сделал человека разумным существом, состоящим из тела и души, — бог — начало всякой формы, всякой красоты, всякого порядка, — он, который определяет для всего число, вес и меру, от кого происходят произведения природы всех видов и всякого значения, — я спрашиваю, можно ли допустить, чтобы этот бог потерпел, чтобы земные царства, их владычество и их подчиненность были совершенно независимы от воли провидения». («Cité de Dieu», traduction Emile Saisset, livre V, chap. XI, pp. 292—293.)

Эту общую точку зрения св. Августин не покидает ни в одном из своих об'яснений исторических событий.

Идет ли речь об об'яснении величия римлян, — гиппонский епископ с большими подробностями рассказывает нам, что это величие якобы нужно было божественному провидению. «После того, — говорит он, — как восточные царства процветали в продолжение длинного ряда лет, господь пожелал, чтобы Западная империя, последнею по времени появившаяся на исторической арене, стала первою по величию своему и по своему пространству. И так как господь имел намерение воспользоваться этой империей, чтобы наказать множество народов, он вручил дело управления ею в руки

людей, страстно любивших поклонения и почести, полагавших собственную славу в славе отечества и всегда готовых принести себя в жертву ради его спасения, подавляя таким образом свою жадность и все свои пороки ценою торжества единственного порока: любви к славе. Ибо,—не нужно этого скрывать от себя, — любовь к славе — порок» и т. д. (p. 301).

Нужно ли об'яснить благоденствие первого христианского императора Константина — на сцену выступает воля божия, легко все разрешающая и об'ясняющая. «Господь бог, — говорит нам св. Августин, — желая помешать своим верным поклонникам... убедиться в том, что невозможно добиться господства и величия на земле без всесильной помощи дьяволов, пожелал озарить блеском своих милостей императора Константина, не только не обращавшегося к лжебожествам, но поклонявшегося лишь действительному богу, и осыпать его такою массою благ, о какой кто-либо другой не посмел бы даже и мечтать» (t. I, pp. 328—329).

Нужно ли, наконец, выяснить, почему одна война длилась дольше, нежели другая — и св. Августин отвечает нам, что так пожелал господь: «Точно так же, как от бога, от его правосудия и милосердия зависит сокрушить людей бедствиями или утешить их милостью — точно так же он устанавливает продолжительность войн, сокращая, либо удлиняя их по своему усмотрению» (t. I, p. 323).

Вы видите, — св. Августин неизменно остается верным своему основному принципу. К сожалению, недостаточно оставаться верным определенному принципу, чтобы отыскать правильное об'яснение исторических явлений. Нужно прежде всего, чтобы этот основной принцип *был правильно выбран*, и нужно, во-вторых, чтобы философ истории, оставаясь верным своему основному принципу, тщательно изучил все факты, предшествовавшие и сопровождавшие явление, которое он стремится об'яснить. Основной принцип может и должен всегда служить лишь путеводной нитью в анализе исторической действительности.

А между тем, теория св. Августина слаба в обоих указанных отношениях. Никакого метода анализа исторической действительности она не дает. А что касается ее основного принципа — прошу вас заметить следующее. Св. Августин говорит о том, что он называет законами провидения, с такой

убежденностью и с такими подробностями, что невольно спрашиваешь себя, читая его, не раскрывал ли перед ним его бог свои сокровенные тайны. Однако тот же автор с такой же убедительностью, оставаясь столь же верным своему «основному принципу», в том же произведении говорит, что *пути господа неисповедимы*. Но если это так, то зачем задаваться по необходимости неблагодарной и бесплодной задачей разбирать эти «пути»? И зачем ссылаться на эти «неисповедимые пути», как на об'яснение событий человеческой жизни? Противоречие очевидное, и так как оно очевидно, то даже люди с горячей и непоколебимой верой вынуждены отказываться от теологического толкования истории, если они только хоть сколько-нибудь считаются с логикой и если они не думают утверждать, что *неисповедимое*, т.-е. *не поддающееся об'яснению и пониманию, об'ясняет все и делает все понятным*.

Перейдем к Боссюэ (1627—1704). Подобно св. Августину, Боссюэ становится в области толкования истории на теологическую точку зрения. Он убежден, что исторические судьбы народов, или, как он выражается, движения империй (révolutions des empires), регулируются провидением. «Эти империи, — говорит он в «Discours sur l'histoire universelle», — тесно связаны с историей божьего народа. Бог воспользовался ассирийцами и вавилонянами, чтобы наказать этот народ; персами, чтобы восстановить его; Александром и его первыми преемниками, чтобы охранять его; знаменитым Антиохом и его преемниками, чтобы испытать его; римлянами, чтобы поддержать его свободу против сирийских царей, которые во что бы то ни стало хотели его уничтожить. Евреи существовали до Иисуса Христа под владычеством тех же римлян. Когда они отказались его признать и распяли его, те же римляне, не ведая того, содействовали божьему возмездию и истребили этот неблагодарный народ» и т. д. («Discours», édition de Garniers frères, p. 334). Словом, все народы и все великие государства, одни за другими появлявшиеся на исторической арене, разными способами способствовали одной и той же цели — *процветанию христианской религии и славе божией*.

Боссюэ открывает своему ученику, на основании откровения св. духа св. Иоанну, которое последний истолковал

в Апокалипсисе, тайный суд божий над Римской империей и над самим Римом. Боссюэ также говорит обо всем этом таким образом, как если бы пути господа перестали быть неисповедимыми, — и, что достойно особого внимания, изучение исторического процесса внушает ему лишь *мысли о суетности людских дел*. «И вот, когда вы видите, — говорит он, — как в одно мгновение проносятся перед вашим взором, — не говорю, цари и императоры, — но эти великие империи, приводившие в трепет всю вселенную; когда вы видите, как последовательно предстают перед вами древние и новые ассирияне, мидяне, персы, греки, римляне и падают, так сказать, одни за другими, — это ужасающее крушение показывает вам воочию, что нет ничего прочного у людей и что непостоянство и волнение — удел, свойственный людским делам» («Discours», p. 339).

Этот *пессимизм* — одна из наиболее замечательных черт философии истории Боссюэ. Вдумавшись внимательно, нужно признать, что эта черта правильно отражает основной характер христианства. И в самом деле, христианство сулит верующим утешение — и даже много утешения. Но как утешает оно их? Отвлекая их от всего земного и убеждая их, что на земле все — суета и что счастье для людей возможно только после смерти [1]). Прошу вас, милостивые государыни и милостивые государи, запомнить эту черту; в дальнейшем изложении она нам даст материал для сравнения.

Другой замечательной чертой философии истории Боссюэ является то, что в своем истолковании исторических событий он не довольствуется, подобно св. Августину, ссылкой на волю господа бога, — он направляет уже свое внимание на то, что он называет *особенными причинами движения империй*.

«Ибо, — говорит он, — тот же бог, который сотворил совокупность вселенной и который, всемогущий сам по себе, пожелал, для установления порядка, чтобы части столь великого целого зависели друг от друга, — этот бог пожелал также, чтобы ход человеческих дел имел свою последовательность и соответствие разных своих частей. Я хочу этим

---

[1]) Здесь рукою Плеханова вставлено карандашом: «Неудивительно, что историк твердит: суета сует».

сказать, что отдельные люди, как и целые народы, обладали качествами, соответствовавшими той степени возвеличения, для которой они были предназначены, и что, не считая некоторых исключительных событий, в которых, по желанию бога, должна была проявляться одна лишь собственная воля его, не происходило в жизни народов таких заметных перемен, которые не имели бы своих причин в предшествовавших веках. И так как во всех делах есть то, что их подготовляет, то, что побуждает их предпринимать, и то, что способствует их успешному завершению, то задачей действительной исторической науки является установление для каждого данного периода скрытых причин, подготовлявших крупные перемены, и важных стечений событий, приводивших к их осуществлению» («Discours», pp. 339—340).

Таким образом, по Боссюэ, в истории бывают события, в которых проявляется лишь перст божий, или, другими словами, в которых бог действует *непосредственно*. Подобные события являются, так сказать, *историческими чудесами*. Но в большинстве случаев, при обычном течении жизни народов, события, происходящие в данный период, обусловливаются причинами, порожденными предшествующим периодом. *Задачей действительной науки является изучение этих причин, в которых нет ничего сверх'естественного, ибо они находятся в зависимости от природы людей и народов.*

В своем теологическом понимании истории Боссюэ уделяет, следовательно, обширное место *естественному об'яснению исторических событий*. Правда, это естественное об'яснение у него тесно связано с *теологической идеей*, ибо все же господь бог неизменно наделяет людей и народы качествами, соответствующими той степени возвеличения, для которой он их предназначает. Но когда эти качества уже богом отмерены, они проявляются самостоятельно, и, пока они проявляются, *мы не только в праве*, но, как Боссюэ категорически заявляет, *мы обязаны искать естественного об'яснения истории.*

Философия истории Боссюэ имеет перед философией истории св. Августина то большое преимущество, что она настаивает на необходимости изучать частные причины событий. Но это преимущество в сущности является лишь

признанием, — конечно, бессознательным и невольным, — *бессилия* и *бесплодности* собственно теологической концепции, т.-е. метода, состоящего в *об'яснении явлений действием одной или нескольких сверх'естественных сил*.

Этим признанием сумели воспользоваться в следующем столетии противники теологии. Самый опасный из этих противников, фернейский патриарх Вольтер, весьма ехидно говорит в своем знаменитом «Essai sur les moeurs des Nations»: «Ничто не заслуживает в такой мере нашего любопытства, как то, каким образом основалась церковь, следуя желанию бога, заставлявшего вторичные причины содействовать торжеству его вечных законов. Предоставим почтительно божественное тем, кому оно поручено, а сами будем интересоваться только историческими событиями» («Essais», изд. Beychot, t. I, p. 346).

Теологическое понимание истории откладывается, таким образом, в сторону. Вольтер обращается только к историческим событиям и старается об'яснять их вторичными, т.-е. естественными причинами. Но в чем же состоит наука, если не в естественном об'яснении явлений? Философия истории Вольтера есть *опыт научного истолкования истории.*

Рассмотрим этот опыт несколько более подробно. Рассмотрим, например, *какие причины вызвали, по Вольтеру, падение Римской империи.*

Римский декаданс развивался медленно и долго. Но из бедствий, вызвавших падение колоссальной империи, Вольтер, главным образом, выдвигает следующие два: 1) варваров, 2) религиозные распри.

Варвары разрушили Римскую империю. «Но почему, — спрашивает Вольтер, — римляне не истребили их, как Марий истребил кимвров? (Марий победил кимвров в 101 году при Аахене — Aix.) Потому что не оказалось подобного Мария. А почему не оказалось Мария? Потому что нравы римлян изменились. И самым ярким показателем этого изменения нравов было то, что Римская империя насчитывала в то время больше монахов, нежели солдат. «Эти монахи перебирались толпами из города в город, поддерживая или оспаривая единосущность бога-сына»... (ibid., t. I, p. 377).

«Так как потомки Сципионов превратились в спорщиков, и так как личное уважение, которым окружали Гортензиев

и Цицеронов, было перенесено на Кириллов, Григориев и Амвросиев, то все погибло. И если нужно чему-нибудь удивляться, так это тому, что Римская империя еще продержалась в течение некоторого времени (ibid., t. I, p. 377).

Вы ясно видите здесь, какая была, по Вольтеру, главная причина падения Рима. *Эта причина — торжество христианства.* Впрочем, Вольтер это сам говорит со свойственной ему едкой иронией: «Христианство дало доступ в небо, но погубило империю» (ibid., t. I, p. 377). Был ли он прав? Ошибался ли он? Это нас сейчас не интересует. Что для нас важно, — это точно разобраться в исторических воззрениях Вольтера. Критическим разбором этих воззрений мы займемся потом.

Итак, мы видим, что, по Вольтеру, Римскую империю погубило христианство. С точки зрения человеческой, позволительно спросить себя: *почему же христианство восторжествовало в Риме?*

По мнению Вольтера, главным орудием победы христианства был *Константин*, которого он, в согласии с исторической правдой, рисует злым и лицемерным государем. Но разве какой-нибудь определенный человек, даже будь он император и будь он очень злым и очень суеверным, может один, своими собственными силами, вызвать торжество какой-либо религии? Вольтер думал, что может. И в его время он не один так думал. Все философы так думали тогда. Для примера я приведу вам соображения другого писателя о происхождении еврейского народа и о христианстве [1]).

Если *теологическое понимание* истории состоит в об'яснении исторической эволюции волей или действием, прямым или косвенным, одной или нескольких сил, то *идеалистическое понимание* состоит в об'яснении той же исторической эволюции эволюцией нравов и идей или, как говорили в восемнадцатом веке, *мнения* (de l'opinion).

«Под мнением я разумею, — говорит Сюар, — общую сумму истин и заблуждений, распространенных среди данного народа, — сумму, определяющую его симпатии и антипатии, обусловливающую его склонности и его привычки, его пороки и его добродетели, одним словом — его нравы» (Suard, «Mélanges de littérature», t. III, p. 400).

[1]) Как видно будет из следующей лекции, Плеханов имел в виду «соображения» Гольбаха. Какое именно место из Гольбаха цитировалось здесь — конечно, трудно установить. *Е. С.*

Так как идеи управляют миром, то очевидно, что идеи являются основной наиболее глубокой причиной исторического процесса, и не приходится удивляться, если историк ссылается на идеи, как на силу, обусловливающую в последнем счете события того или другого исторического периода.

И если *идеи вообще* об'ясняют исторические события, то *вполне естественно искать в религиозных идеях* (например, в христианстве) наиболее глубокую причину процветания или упадка какой-нибудь империи (например, Римской империи). Вольтер оставался, следовательно, верным философии истории своего времени, когда говорил, что христианство вызвало падение Римской империи.

Но среди философов XVIII столетия было несколько таких, которые известны в качестве материалистов. Такими были, например, *Гольбах*, автор знаменитой «Système de la Nature», и *Гельвециус*, автор не менее знаменитой книги «De l'esprit». Вполне естественно было бы предполагать, что, по крайней мере, эти философы не одобряли *идеалистического об'яснения истории*. И однако такое предположение, как бы естественно оно ни было, ошибочно: Гольбах и Гельвециус, будучи материалистами в своем понимании *природы*, были идеалистами в области *истории*. Подобно всем философам восемнадцатого столетия, подобно всей «армии энциклопедистов», материалисты того времени полагали, что идеи управляют миром и что эволюция идей об'ясняет в последнем счете всю историческую эволюцию.

«Невежество, заблуждения, предрассудки, недостаток опыта, размышления и предвидения — вот действительный источник морального зла. Люди вредят себе самим и причиняют вред своим сообщественникам (associés) лишь потому, что они не имеют представления о своих истинных интересах» («Système social», t. II, chap. I, p. 5).

В другом месте того же произведения мы читаем: «История нам показывает, что в деле управления народы всегда были жертвами своего невежества, своего неблагоразумия, своей доверчивости, своего панического страха и, в особен-

ности, темпераментов тех, кто умел подчинять себе толпу. Подобно больным, которые беспрестанно ворочаются в своих постелях, не находя себе удобного положения, народы часто меняли форму своего правления, но никогда не было у них ни сил, ни способности преобразовать сущность, добраться до действительных источников своих зол, и они постоянно бросались в противоположные крайности под властью слепых страстей» (ibid., t. II, p. 27).

Эти цитаты показывают вам, что, по мнению материалиста Гольбаха, невежество было причиной моральных и политических бедствий. Если народы злы, то это происходит благодаря их невежеству; если их правительства нелепы, то это потому, что народы не сумели открыть истинных принципов общественной и политической организации; если революции, совершенные народами, не искоренили морального и общественного зла, то это потому, что у них не было достаточно знаний. Но что такое невежество? Что такое заблуждение? Что такое предрассудок? Невежество, заблуждение, предрассудок — все это лишь ошибочные идеи. И если невежество, заблуждение, предрассудок мешали людям открыть истинные основы политической и общественной организации, то ясно, что миром правили *ошибочные идеи*. Гольбах придерживается, следовательно, в этом отношении тех же воззрений, которых придерживалось большинство философов восемнадцатого столетия.

Что касается Гельвециуса, то я приведу вам только его мнение относительно феодального строя.

В письме к Сорену о «Духе законов» Монтескье он говорит: «Но что хочет он нам поведать своим «Трактатом о феодах»? Разве это предмет, над выяснением которого стоило трудиться мудрому и рассудительному уму? Какие законодательные нормы можно извлечь из этого хаоса варварских законов, которые установлены насилием, которые освящались невежеством и которые всегда будут мешать учреждению правильного порядка?» («Oeuvres», t. III, p. 266).

В другом месте он говорит: «Монтескье — слишком феодалист, а феодальный строй верх нелепостей» («Oeuvres», t. III, p. 314).

Таким образом Гельвециус находит, что феодализм, т.-е. целая система общественных и политических учреждений,

был верхом нелепости и, следовательно, обязан был своим происхождением *невежеству* или, другими словами, *ошибочным идеям*. В результате получается, что миром — худо ли хорошо ли — правят всегда идеи.

Я сказал раньше, что нам важно не критиковать эту теорию, а точно выяснить ее и установить ее характер. Но теперь, когда мы ее уже знаем, нам не только позволительно, но даже необходимо подвергнуть ее критическому анализу.

Что же, правильна эта теория или ложна?

Верно ли, что люди, не сознающие своих интересов, не в состоянии разумно их отстаивать? Конечно, *это верно, неоспоримо*. Верно ли, что невежество причиняло много зла человечеству и что общественный и политический строй, основанный на подчинении и эксплоатации человека человеком, каким был феодализм, возможен лишь при господстве глубоко вкоренившихся предрассудков и невежества?

Да, это совершенно верно, и я не представляю себе, как можно опровергать столь несомненную истину.

Верно ли, или же неверно, одним словом, что идеи в установленном Сюаром смысле имеют большое влияние на поведение людей?

Кто знает людей, скажет, что это столь же несомненно и неоспоримо.

Таким образом выходит как будто, что идеалистическое понимание истории основано на истине, и мы должны принять его.

Отвечаю: и да и нет. И вот что я этим хочу сказать. Идеалистическое понимание истории правильно в том смысле, что оно заключает в себе часть истины. Да, *часть истины оно заключает в себе*. Идеи имеют очень большое влияние на людей. Мы имеем, следовательно, право сказать, что идеи управляют миром. *Но мы имеем право спросить себя: не управляются ли, в свою очередь, чем-либо управляющие миром идеи?*

Другими словами, мы можем и должны спросить себя: зависят ли идеи и настроения людей просто от случая? Поставить этот вопрос — значит вместе с тем разрешить его в отрицательном смысле. Нет, идеи и настроения людей не от случая зависят. Их зарождение, как и их развитие

подвержены законам, которые мы можем и должны изучать. И как только вы это допускаете — а как можно этого не допустить? — вы вынуждены признать, что если идеи управляют миром, то управляют они им не как верховный властитель, — что они, в свою очередь, чем-то управляются, и что, следовательно, тот, кто ссылается на идеи, далеко не указывает нам основную, самую глубокую причину исторического процесса.

Есть поэтому доля истины в идеалистическом понимании истории. Но в нем нет еще всей истины.

Чтобы познать всю истину, нам необходимо продолжить изыскание как раз с того момента, на котором идеалистическое понимание истории его оборвало. Нам нужно попытаться точно выяснить *причины зарождения и развития идей у людей, живущих в человеческом обществе.*

Чтобы облегчить нашу задачу, поведем наше изыскание методически и прежде всего посмотрим, являются ли идеи, т.-е., согласно данному Сюаром определению, сумма истин и заблуждений, распространенных среди людей, врожденными, рождаются ли они вместе с людьми, чтобы исчезнуть лишь вместе с ними. Это значит спросить себя: *существуют ли врожденные идеи?*

Было время, когда были твердо убеждены, что идеи, по крайней мере, отчасти, являются врожденными. И, допуская существование врожденных идей, вместе с тем допускали, что эти идеи составляют общий для всего человечества фонд, фонд, который остается одинаковым во все времена и во всех странах.

Это воззрение, некогда весьма распространенное, было победоносно опровергнуто весьма выдающимся английским философом *Джоном Локком* (1632—1704). В своей знаменитой книге, озаглавленной «Изыскание о человеческом познании» («An Essay concerning human understanding»), Джон Локк доказал, что в уме человека нет врожденных идей, принципов и понятий. Идеи и принципы возникают у людей *из опыта*, и это одинаково верно как в отношении спекулятивных принципов, так и в отношении практических принципов или *принципов морали*. Принципы морали меняются в зависимости от времени и места. Когда люди *осуждают* какое-нибудь действие, то поступают они так потому, что

оно для них *вредно*. Когда они его *хвалят*, то значит — оно для них полезно.

Следовательно, интерес (не личный интерес, а интерес общественный) определяет суждения людей в области явлений общественной жизни.

Таково было учение Локка, убежденными сторонниками которого были все французские философы восемнадцатого столетия. Мы имеем, следовательно, право принять это учение за исходную точку нашей критики их понимания истории.

В уме людей нет врожденных идей. Опыт определяет *спекулятивные идеи*, а общественный интерес определяет *идеи «практические»*. Примем это положение и посмотрим, какие выводы из него вытекают.

ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ

(15 марта 1901 г.)

Милостивые государыни и милостивые государи!

Если повторение, согласно латинской поговорке, есть мать познания, то резюме является его интендантом. Оно подводит итог тому, что уже известно, и выясняет его значение. Я начинаю, поэтому, свою вторую лекцию резюмированием предыдущей.

Я сказал, что теологическое понимание истории состоит в об'яснении исторического процесса и прогресса рода человеческого действием одной или нескольких сверх'естественных сил, волею одного или нескольких богов.

Затем я рассмотрел философию истории *св. Августина и Боссюэ* и показал, что философия истории Боссюэ имела то большое преимущество перед философией истории св. Августина, что она отказывалась от об'яснения исторического процесса непосредственным действием бога и настаивала на необходимости искать *частные* причины исторических событий или, другими словами, их *естественные причины*.

Искание естественных причин событий означает отказ от *теологической* точки зрения и переход к точке зрения *научной*, ибо научная точка зрения состоит в об'яснении

явлений их естественными причинами и в полном отвлечении от всякого влияния сверх'естественных сил.

Я вам цитировал Вольтера, который говорил, что предоставляет все божественное тем, которые являются его носителями, сам же интересуется только *историческими* факторами, т.-е. естественными причинами. Точка зрения Вольтера, как и всех французских философов восемнадцатого столетия, была научной точкой зрения. Но так как и наука сама тоже эволюционирует, развивается, то нам пришлось несколько подробнее разобрать вольтеровскую точку зрения. И мы нашли, что эта точка зрения была *идеалистической*, т.-е., что Вольтер, подобно всем философам восемнадцатого столетия, даже тем, которые в своем понимании природы были материалистами (Гольбах, Гельвециус и др.), об'яснял исторический процесс *эволюцией идей* или, как говорили в то время, мнения.

Переходя к критике этого об'яснения истории, я сказал, что оно было *относительно* верно, ибо мысль (мнение) имеет поистине большое влияние на поведение людей. Но затем я присовокупил, что возникновение и эволюция мысли регулируются определенными законами, и что историк не может, следовательно, считать идеи основной и наиболее глубокой причиной исторического процесса. Тот, кто желает углубить изучение этого процесса, должен пойти дальше и приступить к изучению причин, которые в каждый данный исторический период обусловливают господство одних идей, а не других.

Заканчивая предыдущую лекцию, я указал вам и направление, в котором это изучение происходило. Оно происходило в направлении, указанном Джоном Локком: 1) нет врожденных идей, 2) идеи возникают из опыта и 3) что касается *практических* идей, то интерес (общественный, а не частный) обусловливает причисление одних действий к разряду *хороших*, а других — к разряду *дурных*.

Вот что мы уже знаем. Попытаемся теперь узнать нечто новое.

Великое историческое событие отделяет восемнадцатое столетие от девятнадцатого — французская революция, которая, словно ураган, пронеслась по Франции, разрушив *старый порядок* и сметая его *остатки*. Она оказала глубокое влияние на экономическую, общественную, политическую и умственную жизнь не только Франции, но и всей Европы. Она не могла, конечно, не оказать влияния и на философию истории.

Каково же было это влияние?

Наиболее непосредственным результатом революции было чувство *огромной усталости*. Великие усилия, проявленные людьми того времени, вызвали *властную потребность в отдыхе*.

На-ряду с этим чувством усталости, неизбежным после всякой большой траты энергии, наблюдался также *известный скептицизм*. Восемнадцатый век твердо верил в торжество *разума*. *Разум в конце концов всегда победит*, — говорил Вольтер. Революционные события разбили эту веру. Развернулось столько неожиданных событий; восторжествовало много такого, что казалось совершенно невозможным и абсолютно иррациональным; столько мудрых расчетов и предвидений было опрокинуто грубой логикой фактов, что люди стали говорить себе, что *разум, вероятно, никогда не восторжествует*. Мы имеем в этом отношении ценное показание умной женщины, умевшей наблюдать то, что происходило вокруг нее. «Большинство людей, — говорит мадам де-Сталь-Гольштейн, — устрашенные ужасающей превратностью развернувшихся перед ними политических событий, утратили всякий интерес к самоусовершенствованию и слишком подавлены всемогуществом случая, чтобы верить в преобладающее влияние интеллектуальных способностей» («De la littérature», Paris, an 8, préface, p. XVIII).

Люди были, следовательно, устрашены всемогуществом случая. Но что такое случай? И каково значение случайностей в жизни обществ? Эти вопросы заключают в себе материал для философского обсуждения. Но, не входя в их обсуждение, мы можем сказать, что слишком часто люди *приписывают случаю то, причины чего остаются им неизвестными*. Поэтому, когда случай слишком сильно и слишком длительно подавляет их своим могуществом, они в конце концов пытаются об'яснять явления, которые они до той поры считали случайными, а потом и открывают естественные причины этих явлений. И именно это мы наблюдаем в области исторической науки в начале *девятнадцатого столетия*.

Сен-Симон, один из наиболее энциклопедических и наименее методических умов первой половины девятнадцатого столетия, пытался создать основы *общественной науки*. Общественная наука, *наука о человеческом обществе*, социальная физика, как он ее иногда называет, может и должна, по его мнению, стать наукой столь же точной, как и *естественные науки*. Мы должны изучать факты, относящиеся к прошлой жизни человечества, чтобы открыть законы его *прогресса*. *Мы только тогда сможем предвидеть будущее, когда поймем прошлое.*

И чтобы понять, чтобы об'яснить прошлое, Сен-Симон изучает, главным образом, историю Западной Европы со времени падения Римской империи.

Он видит в этой истории борьбу *промышленников* (или третьего сословия, как говорили в предыдущем столетии) против *аристократии*. Промышленники заключили союз с королевской властью, и оказанной королям поддержкой они дали им возможность захватить политическую власть, находившуюся ранее в руках феодальных властелинов. В обмен за эти услуги королевская власть предоставила им свою поддержку, при помощи которой они оказались в состоянии одержать ряд важных побед над своими противниками. Постепенно, благодаря труду и организации, промышленники достигли внушительной социальной мощи, значительно превышавшей мощь аристократии. Французская революция была в глазах Сен-Симона лишь эпизодом длившейся несколько веков великой борьбы между *промышленниками и дворянством*. И все его практические предложения сводились к проектам мер, которые, по его мнению, необходимо было принять, чтобы дополнить и консолидировать победу промышленников и поражение дворянства. Но борьба промышленников против дворянства была борьбой *двух противоположных интересов*. И если эта борьба заполнила, как говорит Сен-Симон, всю историю Западной Европы со времени пятнадцатого столетия, то мы можем сказать, что борьба крупных социальных интересов обусловила исторический процесс в указанный период.

Мы очень далеко ушли, следовательно, от философии истории восемнадцатого столетия: не идеи, а общественный интерес или, лучше сказать, интерес крупных конститутивных элементов общества, интерес классов и социальная борьба, вызываемая противоположностью этих интересов, управляют миром и определяют ход истории.

Своими историческими воззрениями Сен-Симон оказал решающее влияние на одного из наиболее крупных французских историков *Огюстена Тьери*. И так как Огюстен Тьери произвел настоящую революцию в исторической науке своей страны, то для нас будет весьма полезно проанализировать его взгляды.

Вы, надеюсь, помните приведенный мною отрывок из Гольбаха[1]) относительно истории еврейского народа. По Гольбаху, эта история была делом одного человека — *Моисея*, который сформировал характер евреев и дал им их *общественное и политическое устройство*, равно как и их *религию*. И каждый народ, — говорил при этом Гольбах, — имел своего Моисея. Философия истории восемнадцатого столетия знала лишь личность *великих людей*, — *масса, народ, как таковой*, для нее почти совсем не существовал. Философия истории Огюстена Тьери представляет собою в этом отношении полную противоположность философии истории восемнадцатого столетия. «Совсем своеобразное явление, — говорит он в одном из своих «Писем об истории Франции»,—представляет собою то упорство, с которым историки никогда не признают ни инициативы, ни идей за людскими массами. Когда целый народ переходит из одной страны в другую и в ней поселяется, то летописцы и поэты так описывают всегда это событие, будто какой-то герой задумал основать новое государство, чтобы прославить свое имя; когда вырабатываются новые обычаи, то оказывается непременно, что какой-то законодатель выдумал их и заставил их принять; когда вырастает новое государство, то непременно какой-нибудь князь основал его. А народ и граждане всегда являются лишь прикрытием мысли одного какого-нибудь человека» [2]).

Революция была делом *народных масс*, и эта революция, память о которой была столь свежа в эпоху реставрации, уже не позволяла рассматривать исторический процесс как

---

[1]) См. конец первой лекции. *Е. С.*

[2] «Dix ans d'études historiques», La Haye. 1835, p. 348.

дело более или менее мудрых и более или менее добродетельных личностей. Вместо того, чтобы заниматься настроениями и деяниями *великих людей*, историки хотели отныне *истории народов*.

Это результат уже чрезвычайно важный — и он стоит того, чтобы его запомнить.

Но идем дальше. Историю творят большие массы. Прекрасно. Но почему творят они ее? *Другими словами — когда массы действуют, то с какою целью действуют они?* С целью обеспечить свои интересы,—отвечает Огюстен Тьери. «Хотите вы, — говорит он, — доподлинно узнать, кто создал данное учреждение, кто задумал данное общественное предприятие? Выясните для этого, кому, действительно, нужны были это учреждение и это предприятие,—у них-то и должна была зародиться первая мысль о них, от них должна исходить воля действовать в этом направлении, им должно принадлежать главное участие в осуществлении Is fecit, cui prodest [1]), — эта аксиома одинаково применима как в истории, так и в правосудии» («Dix ans», p. 348).

Масса действует, следовательно, в своих интересах; интерес — вот источник, вот двигатель всякого социального творчества. Легко, таким образом, понять, что когда какое-нибудь учреждение становится враждебным интересам массы, масса начинает бороться против этого учреждения. И так как учреждение, вредное для *народной массы*, часто бывает полезно для привилегированного класса, то борьба против этого учреждения становится борьбою против привилегированного класса. *Борьба противоположных классов людей и интересов* играет большую роль в философии истории Огюстена Тьери. Эта борьба заполнила, например, историю Англии со времени норманского нашествия вплоть до революции, ниспровергшей династию Стюартов. В английской революции XVII столетия боролись два класса людей: победителей — дворянства и побежденных — народной массы, в том числе и буржуазии. «Каждый землевладелец, — говорит наш историк, — предки которого принимали некогда участие во вторгшейся норманской армии, покидал свой замок, чтобы направиться в королевский лагерь и занять там командный

[1]) Сделал тот, кому это нужно было.

пост, на который его титул давал ему право. Жители городов и портов толпами направлялись в противоположный лагерь. Можно было сказать, что сборными лозунгами для обеих армий были, с одной стороны, *праздность и власть*, а с другой — *труд и свобода*. Ибо люди праздные, люди, которые хотели только одного занятия в жизни — наслаждаться, не трудясь, — все, к какой бы касте они ни принадлежали, присоединялись к королевским войскам, чтобы вместе с ними защищать общие им интересы; семьи же из касты былых победителей, занимавшиеся промышленностью, присоединялись к войскам общин» [1]).

Эта *борьба двух классов* определяла ход истории не только в области социальной и политической. Ее влияние наблюдается и в области *идей*. Религиозные верования англичан семнадцатого столетия обусловливались, по мнению Тьери, их общественным положением. «Война велась с той и с другой стороны во имя этих положительных интересов. Все остальное было лишь показным, либо служило только предлогом. Те, что выступали в рядах подданных, были большею частью пресвитерианцами, т.-е. они и в области религии не хотели над собою никакого ига. Те, что боролись в противоположном лагере, были сторонниками епископов и папы, ибо даже в формах религии они искали прежде всего власти, которою они могли бы пользоваться, и налогов, которые они могли бы выколачивать из людей» [2]).

Вы видите, мы еще дальше ушли от философии истории восемнадцатого столетия. В восемнадцатом столетии утвер-

[1]) «Dix ans d'études historiques», p. 91. — Кроме тетрадей, в которых были записаны конспекты лекций, у Г. В. при чтении этих лекций была под руками «синяя тетрадь», на которую он постоянно ссылается. В этой тетради были собраны все цитаты, которые он приводит в этих лекциях. К сожалению, этой тетради у нас нет, и ее отсутствие сильно затрудняет пользование предлагаемым конспектом лекций. Дело в том, что если при первых цитатах Плеханов указывает в конспекте страницу цитируемой книги и начало и конец самой цитаты, то затем он второпях не указывает ни страницы цитируемой книги, ни — иногда — конца цитаты, а иногда нет и начала цитаты. Восстановление текста цитат потребовало, поэтому, больших розысков. Быть может, в некоторых случаях у Плеханова цитаты были короче или длиннее, — это сейчас в точности установить невозможно. *Е. С.*

[2]) «Dix ans d'études historiques», p.p. 91, 92.

ждали, что миром управляют идеи. По мнению же Тьери, идеи, даже в области религии, определяются, обусловливаются борьбой классов.

И заметьте, что историк, о котором я говорю, отнюдь не один так думает. Его философию истории разделяли все замечательные историки эпохи Реставрации. Современник Огюстена Тьери, *Минье*, придерживается той же точки зрения. В своем замечательном труде «De la féodalité» он следующим образом рассматривал социальную эволюцию. «Господствующие интересы определяют ход социального движения. Это движение пробивается к своей цели сквозь все стоящие на его пути препятствия, прекращается, когда оно достигло цели, и замещается другим, которое на первых порах совершенно незаметно и которое дает о себе знать лишь тогда, когда оно становится наиболее мощным. Таков был ход феодального строя. Этот строй нужен был обществу до того, как он установился в действительности, это — первый период его; затем он существовал фактически, перестав быть нужным, — второй период. И это привело к тому, что он перестал быть фактом» [1]).

И здесь мы опять очень далеки от философии истории восемнадцатого столетия. *Гельвеций* ставил в вину *Монтескье* то, что он слишком подробно изучал феодальные законы. По его мнению, феодальный строй был верхом нелепости, и поэтому не стоило его изучать. Минье, наоборот, думает, что было время, именно в средние века, когда феодальный строй соответствовал потребностям общества и был ему, следовательно, полезен. Он говорит, что именно это его соответствие потребности общества и вызвало его к существованию. Минье часто повторяет, что не люди ведут за собою вещи, а вещи ведут за собою людей. И с этой точки зрения он и рассматривает события в своей истории французской революции. Описывая учредительное собрание (конституанту), он говорит: «Интересы аристократических классов были противоположны интересам национальной партии. Поэтому дворянство и высшее духовенство, составлявшие первую часть собрания, были в постоянной оппозиции большинству его, за исключением тех дней, когда они поддавались охватывавшему собрание общему энтузиазму. Эти недовольные революцией элементы, которые оказались неспособными ни предупредить ее своими жертвами, ни остановить ее, присоединившись к ней, систематически выступали против почти всех проводившихся ею реформ» [1]).

[1]) *Mignet*, «De la féodalité», partie I, chap. IX, pp. 77—78.

Таким образом, политические группировки определяются интересами классов. И те же интересы порождают определенные политические конституции. Минье говорит, что конституция 1791 года «была делом среднего класса, который был тогда наиболее сильным, ибо господствующая сила всегда, как известно, завладевает учреждениями. Но когда эта сила находится в руках одного человека, она — деспотизм; в руках некоторых — она привилегия; в руках всех — она право. И право является завершением общества, как оно есть и его начало. Франция, наконец, достигла этого положения, пройдя через феодализм, который был учреждением аристократическим, и через самодержавную власть, которая была учреждением монархическим» [2]).

«День 10 августа, — говорит он в другом месте того же труда, — был восстанием толпы против среднего класса и против конституционной монархии, как день 14 июля был восстанием среднего класса против привилегированных классов и против неограниченной власти короны. С 10 августа начался диктаторский и произвольный период революции. Так как положение дел становилось все более и более затруднительным, то вспыхнула обширная война, вызвавшая новый прилив энергии, и эта энергия, стихийная, неорганизованная, потому что она исходила из народных масс, сделала господство низшего класса тревожным, гнетущим и жестоким. Тогда все положение целиком изменилось: не свобода уже была целью, — целью стало общественное спасение. И весь период конвента, со времени конца конституции 1791 года до того момента, когда конституция III года установила директорию, был лишь длительной борьбою революции против политических партий и против Европы. И разве могло быть иначе?» [3]).

[1]) «Histoire de la Revolution française», t. I, p. 104.
[2]) Ibid., t. I, p. 206.
[3]) Ibid., t. I, p. 286.

Подобно Тьери, Минье является убежденным представителем среднего класса. Поскольку речь идет об оценке политической деятельности этого класса, Минье доходит до восхваления насильственных средств: «прав своих добиваются только силою», — говорит он.

У *Гизо* мы находим те же тенденции, те же симпатии и ту же точку зрения. Но у него эти тенденции и симпатии резче выражены и точка зрения более определенно очерчена. Уже в своих «Essais sur l'histoire de France», появившихся в 1821 году, он с большею ясностью формулирует свой взгляд на то, что составляет основание социального здания.

«Большинство писателей, ученых, историков и государствоведов пыталось путем изучения политических учреждений распознавать состояние общества, степень и характер его цивилизации. Было бы более благоразумно исходить из изучения самого общества, чтобы на этом основании познавать и выяснять его политические учреждения. Прежде чем стать причиною, эти учреждения являются следствием: общество порождает их, прежде чем изменяется под их влиянием. И прежде чем по системе или по формам правительства устанавливать, каково было состояние народа, нужно выяснить состояние народа, чтобы знать, каково должно было быть его правительство» [1].

Английская революция; французская революция. Социальная борьба. Тринадцать веков; прения в палате депутатов; конституции; ответ на один упрек. Эпиграф к брошюре Гизо: приятно и т. д. Что писал Гизо в январе 1849 года. Его брошюра «De la démocratie». Обстоятельства были уже не те. Он сам это говорит: «А теперь» и т. д. Арман Каррель. Альф. де-Токвиль: Природа человека (письмо к его отцу); *общественный строй*. Литература [2].

И вот, после всех этих цитат я имею, надеюсь, полное основание сказать, что уже с самого начала XIX столетия социологи, историки и художественные критики, все указывают нам на *общественный строй*, как на самое глубокое основание явлений человеческого общества.

---

[1]) *Guizot*, «Essais sur l'histoire de France», 4-me essai, p. 73.

[2]) Напоминаем, что тетради с цитатами у нас нет. *Ред.*

Мы уже знаем, что такое этот *общественный строй*. Это «положение личностей», как говорит Гизо, это — *состояние собственности*. Но откуда происходит последнее, от которого все зависит в обществе? Как только мы будем иметь ясный и точный ответ на этот вопрос, мы будем в состоянии объяснить себе ход исторического процесса и причины прогресса рода человеческого. Но именно этот большой вопрос, этот вопрос вопросов истории оставляют без ответа.

И получается противоречие: идеи, настроение, мысль *определяются* общественным строем, а общественный строй определяется идеями. *А* является причиною *В*, а *В* является причиною *А*. В следующей лекции мы увидим, какой выход можно найти из этого логического тупика.

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

(23 марта 1901 г.)

Милостивые государыни и милостивые государи!

Говоря об эволюции философии истории, я до сих пор останавливался главным образом на Франции. За исключением св. Августина и Гольбаха, все писатели, исторические воззрения которых я излагал пред вами, были французы. Теперь мы переберемся через французскую границу и вступим на германскую почву.

Германия в первую половину девятнадцатого столетия была классической страной философии. Фихте, Шеллинг, Гегель и столько других, менее крупных, менее знаменитых, но не менее преданных делу искания истины, одни за другими углубляли философские вопросы, эти трудные вопросы, которые уже так стары и которые, однако, всегда останутся новыми. Среди этих больших вопросов философия истории занимала одно из самых важных мест. Не будет, следовательно, бесполезно для вас посмотреть, как германские философы отвечали на вопрос о том, каковы причины исторического процесса и прогресса рода человеческого.

Но так как мы не располагаем достаточным временем, чтобы подробно разобрать философию истории, выдвигавшуюся каждым философом отдельно, мы вынуждены удоволь-

ствоваться ознакомлением с двумя из них: Шеллингом и Гегелем. И даже на их исторических воззрениях мы можем только слегка остановиться. Так, например, что касается Шеллинга, я коснусь лишь его понятия свободы.

Историческая эволюция есть цепь явлений, подчиненных определенным законам. Явления, подчиненные определенным законам, суть явления *необходимые*.

Пример: дождь. Дождь есть явление закономерное. Это значит, что при определенных условиях капли воды непременно падают на землю. И это вполне понятно, когда речь идет о каплях воды, не обладающих ни сознанием, ни волей. Но в исторических явлениях действуют не неодушевленные предметы, а люди; люди же одарены сознанием и волей. Поэтому можно с полным основанием поставить вопрос: не исключает ли понятие необходимости, вне которого не может быть *научного* познания явлений как в истории, так и в естествознании, понятия *человеческой свободы?*

Этот вопрос можно другими словами формулировать следующим образом: *можно ли примирить свободу действия людей с исторической необходимостью?*

На первый взгляд кажется, что примирить невозможно, что необходимость исключает свободу — и наоборот. Но так кажется только тому, чей взгляд скользит по поверхности вещей, не проникая глубже внешней оболочки явлений. В действительности же это пресловутое противоречие, эта якобы антиномия свободы и необходимости, вовсе не существует. Свобода не только не исключает необходимости, но является ее предпосылкой и ее основанием. И именно это положение Шеллинг старается доказать в одной из глав своей книги, озаглавленной «Система трансцендентального идеализма».

По его мнению, свобода невозможна без необходимости.

Если я в своих действиях должен считаться только со свободою других людей, я не в состоянии *предвидеть последствий своих действий*, ибо самый точный мой расчет может в любой момент быть снесен чужой свободой, и поэтому из наших действий может получиться совсем не тот результат, какой я предвидел. У меня, следовательно, нет никакой свободы, и жизнь моя подвержена случайностям. Я могу быть уверен в последствиях моих действий лишь в тех случаях, когда я могу предвидеть действия других людей, а чтобы я мог их предвидеть, нужно, чтобы они были подчинены каким-нибудь законам, т.-е. нужно, чтобы они чем-нибудь обусловливались, чтобы они были *необходимы*. Необходимость действий других людей является, таким образом, первым условием свободы моих действий.

Но, с другой стороны, действуя *необходимым* образом, люди могут в то же время сохранять свободу своих действий. Что такое *необходимое* действие? Это — действие, которое данный индивидуум не в состоянии не произвести в определенных условиях. Откуда же проистекает невозможность не совершить этого действия? Она обусловливается *природой* этого человека, созданной его наследственностью и предшествующим его развитием. Природа этого человека такова, что он не может не действовать данным образом в данных условиях. Это ясно,— не правда ли? Прибавьте же к этому, что природа этого человека такова, что он не может не испытывать определенных хотений — и вы примирите понятие *свободы* с понятием *необходимости. Я свободен*, когда могу действовать так, как я хочу. И мое свободное действие в то же время необходимо, потому что мое хотение обусловливается моей природой и данными обстоятельствами. Необходимость не исключает, следовательно, свободы. необходимость — это та же свобода, но рассматриваемая с другой стороны, с другой точки зрения.

Обратив ваше внимание на ответ, который Шеллинг давал на великий вопрос о необходимости и свободе, я перехожу к его товарищу и сопернику — *Гегелю*.

Философия Гегеля была, подобно философии Шеллинга, *идеалистическою* философиею. По его мнению, Дух или Идея составляют сущность и как бы душу всего существующего. Даже материя есть лишь проявление Духа или Идеи. Возможно ли это? Есть ли материя в самом деле лишь проявление Духа? Это — вопрос, который имеет огромную важность с философской точки зрения, но на котором нам теперь нет надобности останавливаться. Сейчас нам нужно изучить исторические воззрения, возникшие на этой идеалистической основе в системе Гегеля.

По воззрениям этого великого мыслителя, *история есть лишь развитие универсального духа во времени*. Философия

ствоваться ознакомлением с двумя из них: Шеллингом и Гегелем. И даже на их исторических воззрениях мы можем только слегка остановиться. Так, например, что касается Шеллинга, я коснусь лишь его понятия свободы.

Историческая эволюция есть цепь явлений, подчиненных определенным законам. Явления, подчиненные определенным законам, суть явления *необходимые*.

Пример: дождь. Дождь есть явление закономерное. Это значит, что при определенных условиях капли воды непременно падают на землю. И это вполне понятно, когда речь идет о каплях воды, не обладающих ни сознанием, ни волей. Но в исторических явлениях действуют не неодушевленные предметы, а люди; люди же одарены сознанием и волей. Поэтому можно с полным основанием поставить вопрос: не исключает ли понятие необходимости, вне которого не может быть *научного* познания явлений как в истории, так и в естествознании, понятия *человеческой свободы?*

Этот вопрос можно другими словами формулировать следующим образом: *можно ли примирить свободу действия людей с исторической необходимостью?*

На первый взгляд кажется, что примирить невозможно, что необходимость исключает свободу — и наоборот. Но так кажется только тому, чей взгляд скользит по поверхности вещей, не проникая глубже внешней оболочки явлений. В действительности же это пресловутое противоречие, эта якобы антиномия свободы и необходимости, вовсе не существует. Свобода не только не исключает необходимости, но является ее предпосылкой и ее основанием. И именно это положение Шеллинг старается доказать в одной из глав своей книги, озаглавленной «Система трансцендентального идеализма».

По его мнению, свобода невозможна без необходимости.

Если я в своих действиях должен считаться только со свободою других людей, я не в состоянии *предвидеть последствий своих действий*, ибо самый точный мой расчет может в любой момент быть снесен чужой свободой, и поэтому из наших действий может получиться совсем не тот результат, какой я предвидел. У меня, следовательно, нет никакой свободы, и жизнь моя подвержена случайностям. Я могу быть уверен в последствиях моих действий лишь в тех случаях, когда я могу предвидеть действия других людей, а чтобы я мог их предвидеть, нужно, чтобы они были подчинены каким-нибудь законам, т.-е. нужно, чтобы они чем-нибудь обусловливались, чтобы они были *необходимы*. Необходимость действий других людей является, таким образом, первым условием свободы моих действий.

Но, с другой стороны, действуя *необходимым* образом, люди могут в то же время сохранять свободу своих действий. Что такое *необходимое* действие? Это — действие, которое данный индивидуум не в состоянии не произвести в определенных условиях. Откуда же проистекает невозможность не совершить этого действия? Она обусловливается *природой* этого человека, созданной его наследственностью и предшествующим его развитием. Природа этого человека такова, что он не может не действовать данным образом в данных условиях. Это ясно, — не правда ли? Прибавьте же к этому, что природа этого человека такова, что он не может не испытывать определенных хотений — и вы примирите понятие *свободы* с понятием *необходимости*. *Я свободен*, когда могу действовать так, как я хочу. И мое свободное действие в то же время необходимо, потому что мое хотение обусловливается моей природой и данными обстоятельствами. Необходимость не исключает, следовательно, свободы. Необходимость — это та же свобода, но рассматриваемая с другой стороны, с другой точки зрения.

Обратив ваше внимание на ответ, который Шеллинг давал на великий вопрос о необходимости и свободе, я перехожу к его товарищу и сопернику — *Гегелю*.

Философия Гегеля была, подобно философии Шеллинга, *идеалистической* философией. По его мнению, Дух или Идея составляют сущность и как бы душу всего существующего. Даже материя есть лишь проявление Духа или Идеи. Возможно ли это? Есть ли материя в самом деле лишь проявление Духа? Это — вопрос, который имеет огромную важность с философской точки зрения, но на котором нам теперь нет надобности останавливаться. Сейчас нам нужно изучить исторические воззрения, возникшие на этой идеалистической основе в системе Гегеля.

По воззрениям этого великого мыслителя, *история есть лишь развитие универсального духа во времени*. Философия

истории — это история, рассматриваемая разумно. Она берет факты такими, как они есть, и единственная мысль, которую она вносит в их оценку, это *мысль, что разум управляет миром*. Это вам, без сомнения, напоминает французскую философию восемнадцатого столетия, согласно которой миром управляют идеи или разум. Но Гегель понимал эту мысль особым образом. В своих лекциях по философии истории он говорит, что Анаксагор первый философски признал, что разум управляет миром, разумея под этим не сознающий себя разум, не ум, как таковой, а *общие законы*. Движение планетной системы совершается по незыблемым законам — и эти законы составляют их разум, но ни солнце, ни планеты, движущиеся согласно этим законам, не сознают этого. Разум, направляющий исторический процесс, есть, следовательно, по Гегелю, бессознательный разум, — *историческое движение обусловливается лишь совокупностью законов*. Что же касается человеческой мысли, мысли, которую французские философы восемнадцатого столетия считали главной пружиной исторического движения, то Гегель в большинстве случаев считал ее обусловливаемою образом жизни или, другими словами, *общественным строем*. Именно к общественному строю обращается он, чтобы об'яснить ход исторического процесса. В своей философии истории он говорит, например, что причиной падения Спарты было крайнее неравенство состояний. Он говорит также, что государство, как политическая организация, обязано своим происхождением неравенству состояний и борьбе бедных против богатых. И это еще не все. Происхождение семьи, по Гегелю, тесно связано с экономической эволюцией первобытных народов. Словом, каким бы идеалистом ни был Гегель, он, подобно французским историкам, о которых шла речь в предыдущей лекции, считал *общественный строй* самой глубокой основой жизни народов. В этом отношении он не отставал от своего времени. Но он и не опередил его. Он был бессилен об'яснить происхождение общественного строя. Ибо говорить, как он это делает, что в данный период общественный строй данного народа, как и его строй политический, как его религиозные и эстетические воззрения, как его моральное и интеллектуальное развитие зависят от *духа времени* — значит ничего не об'яснять. В качестве

идеалиста Гегель считает дух последним источником исторического движения. Когда какой-либо народ переходит с одной ступени своей эволюции на другую, это значит, что *абсолютный* (или универсальный) *дух*, лишь носителем которого является этот народ, поднимается на высшую фазу своего развития. Так как подобные об'яснения решительно ничего не об'ясняют, то Гегель топтался в том же порочном кругу, в котором топтались французские историки и социологи: они об'ясняли общественный строй состоянием идей и состояние идей — общественным строем.

Мы видим, таким образом, что со всех сторон, — со стороны философии, как и со стороны истории литературы, — эволюция общественной науки в ее различных отраслях приводила к одной и той же проблеме: *выяснить происхождение общественного строя*. Пока эта проблема оставалась неразрешенной, наука продолжала топтаться в логическом тупике, заявляя, что *B* есть причина *A*, и указывая при этом, что *A* есть причина *B*. И наоборот — все, повидимому, должно было раз'ясниться, как только вопрос о происхождении общественного строя будет разрешен.

К разрешению этой-то проблемы и стремился *Маркс*, когда он вырабатывал свое *материалистическое* учение.

В предисловии к одному из своих произведений, «К критике политической экономии», Маркс сам рассказывает, каким образом его занятия привели его к этой концепции.

«Мои изыскания привели меня, — говорит он, — к заключению, что правовые отношения, как и формы государства, не могут быть поняты ни из самих себя, ни из так называемого общего развития человеческого духа, а скорее коренятся в материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель, по примеру англичан и французов восемнадцатого столетия, назвал гражданским обществом, и анатомию гражданского общества нужно искать в политической экономии» [1]).

Это, как видите, тот же вывод, к которому — помните? — пришли как французские историки, социологи и художественные критики, так и немецкие философы-идеалисты.

[1]) «К критике политической экономии», 4-е изд., Москва 1922 г., стр. 38. (Цитируется перев. по новому изданию.)

Но Маркс идет дальше их. Он спрашивает, каковы причины, определяющие строй гражданского общества, и отвечает, что *анатомию гражданского общества нужно искать в политической экономии.* Таким образом, экономический строй каждого народа определяет его общественный строй, а общественный строй народа, в свою очередь, определяет его политический, религиозный строй и т. д. Но — спросите вы — и экономический строй тоже ведь должен иметь свою причину? Конечно, как все на земле, и он имеет свою причину, и эта причина, — *основная причина всякой общественной эволюции и, следовательно, всякого исторического движения, есть борьба, которую человек ведет с природой за свое существование.*

Я прочту вам то, что Маркс говорит об этом:

«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, от их воли не зависящие, отношения — производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производственных сил. Совокупность этих производственных отношений образует экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

«На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями или, что является только юридическим выражением этого, — с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социального переворота. С изменением экономической основы более или менее быстро преобразуется и вся громадная надстройка над ним».

«При рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических условиях про-

изводства от юридических, политических, религиозных, художественных или философских, — короче, от идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт и борются между собою на почве его. Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что он сам о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворотов по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо об'яснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями» [1]).

«Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые, высшие производственные отношения никогда не появляются на свет раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах старого общества. Поэтому человечество ставит себе только такие задачи, которые оно может решить, так как при ближайшем рассмотрении всегда окажется, что сама задача только тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее разрешения, или когда они, по крайней мере, находятся уже в процессе возникновения».

Допускаю, что эти строки, хотя и чрезвычайно ясные и точные, могут, однако, показаться темными. Поэтому я спешу раз'яснить основную мысль материалистического понимания истории.

Основная идея Маркса сводится к следующему: 1) *Производственные отношения определяют все другие отношения, существующие между людьми в их общественной жизни.* 2) Производственные отношения, в свою очередь, определяются состоянием *производительных сил.*

Посмотрим прежде всего, что такое *производительные силы.*

Подобно всем животным, человек принужден бороться за свое существование. Всякая борьба сопряжена с известной тратой *сил.* Состояние сил определяет результат борьбы. У животных эти силы зависят от *самой структуры их организма;* силы дикой *лошади* весьма резко отличаются

---

[1]) «К критике политической экономии», стр. 38, 39.

от сил *льва*, и причина этого различия кроется в различии их *организмов*.

Физическая организация человека также оказывает, конечно, решительное влияние на его способы борьбы за свое существование и на результаты этой борьбы. Но физическое строение человека дает ему некоторые преимущества, которых не имеют другие животные. Так, например, человек наделен *рукою*. Правда, его соседи, *четверорукие* животные (обезьяны) тоже обладают руками, но их руки менее приспособлены к различным работам, чем руки человека.

Рука вместе с предплечием является *первым инструментом*, первым *орудием*, которым человек пользуется для своей борьбы за существование. Мускулы руки и плеча служат пружиною для ударяния или бросания. Но мало-по-малу машина отделяется от организма человека. Камень сперва служил человеку своей тяжестью, своей массой. Но затем масса эта прикрепляется к рукоятке — и получается *топор, молот*. *Рука*, первое орудие человека, служит ему таким образом для производства других орудий, служит приспособлению материи к борьбе с природою, т.-е. со всей остальной независимой материей. И чем более совершенствуется эта покоренная материя, чем более развивается пользование инструментами, тем более разрастается и сила человека в отношении к природе, тем более усиливается *власть его над природою*.

Кто-то назвал человека *животным, производящим инструменты*. Это определение глубже, чем кажется на первый взгляд.

И действительно, как только человек завоевал возможность покорять себе и приспособлять одну часть материи для борьбы со всей остальной материей, естественный отбор и другие аналогичные причины должны были оказывать уже совсем второстепенное влияние на телесные изменения человека. Уже не органы его тела меняются, — меняются его инструменты и вещи, которые он приспособляет к своему употреблению при помощи этих инструментов; не кожа его изменяется с изменением климата, — меняется его *одежда*. Телесная трансформация человека прекращается (или становится незначительной), чтобы уступить место его *технической эволюции*. Техническая же эволюция — это *эволюция производительных сил*, а эволюция производительных сил имеет решительное влияние на *группировку* людей, на состояние их культуры.

Современная нам наука отличает несколько социальных типов: *1) тип охотничий, 2) тип пастушеский, 3) тип земледельческий оседлый, 4) тип промышленный и торговый*.

Каждый из этих типов характеризуется определенными отношениями между людьми, отношениями, отнюдь не зависящими от их воли и обусловливающимися состоянием *производительных сил*.

Так, рассмотрим, например, *отношения собственности*. Строй собственности зависит от способа производства, ибо распределение и потребление богатств тесно связаны со способом их приобретения. У первобытных охотничьих народов часто несколько человек бывают принуждены об'единиться, чтобы захватить крупную дичь; так, например, австралийцы охотятся за кенгуру отрядами в несколько десятков человек; эскимосы собирают целую флотилию челноков для охоты за китами. Захваченные кенгуру, вытащенные на берег киты считаются общей добычей, и каждый с'едает столько, сколько ему нужно для удовлетворения своего аппетита. Территория каждого охотничьего племени у австралийцев так же, как и у других охотничьих народов, считается коллективной собственностью; каждый охотится в ее пределах по своему усмотрению, с единственным только обязательством — не переходить на территорию соседних племен.

Но среди этой общей собственности некоторые предметы, находящиеся в личном пользовании данного индивидуума — его одежда, его оружие — считаются его личной собственностью, между тем как палатка и ее обстановка составляют собственность семейную. Точно так же челнок, которым пользуются группы, состоящие из пяти или шести человек, принадлежит им сообща. Моментом, определяющим принадлежность в собственность, является способ работы, способ производства. Я отточил своими руками кремневый топор, — он мой; мы с женой и нашими детьми построили хижину, — она принадлежит семье; мы охотились с другими соплеменниками, — убитые звери принадлежат нам сообща. Звери,

которых я один убил на территории племени, принадлежат мне, и если зверь, мною раненый, случайно добит другим, он принадлежит нам обоим, а шкура его принадлежит тому, кто нанес смертельный удар. Для этого каждая стрела отмечалась определенным знаком своего собственника. Вещь поистине замечательная: у краснокожих Северной Америки, до введения огнестрельного оружия, охота на бизонов была строго регламентирована. Если в тело бизона проникало несколько стрел, то их расположение решало, кому должна принадлежать та или другая часть убитого животного. Так, шкура его отдавалась тому, чья стрела проникла ближе к сердцу. Но так как, с введением огнестрельного оружия, пули не отмечены никакими отличительными знаками, то распределение убитых бизонов производится равными частями, — они считаются, следовательно, общей собственностью.

Этот пример показывает с очевидностью, какая тесная связь существует между производством и строем собственности.

Таким образом, отношения между людьми в производстве определяют отношения собственности или, как говорил Гизо, состояние собственности (l'état de la propriété). Но раз состояние собственности дано, уже легко понять строй всего общества, который отливается по форме собственности.

Так теория Маркса разрешает проблему, которую не могли разрешить историки и философы первой половины девятнадцатого столетия.

Часто говорили, — и до сих пор продолжают повторять, что Маркс клевещет на людей, отрицая существование всякого другого жизненного стимула, кроме стимула экономического — стремления приобретать материальные блага. Это ложно. И чтобы показать вам, до какой степени это ложно, я приведу вам один пример из области *зоологии*. Вы, конечно, знаете, что все анатомическое строение, все привычки, все инстинкты животного определяются его способом добывать себе пищу или, другими словами, его способом бороться за свое существование. Но это отнюдь не значит, что лев имеет лишь одну потребность — пожирать мясо, или что баран испытывает лишь одно стремление — щипать траву. Действительность очень от этого далека. Как травоядные, так и плотоядные животные имеют много других потребностей и много иных склонностей: потребность размножать свою породу, потребность забавляться и т. д. Но способ удовлетворения этих многочисленных потребностей определяется способом добывания себе пищи. Так, возьмем для примера игры животных.

ЛЕКЦИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

(23 марта 1901 г.)

Милостивые государыни и милостивые государи!

Прежде чем перейти к тому, что можно было бы назвать *философией искусства с точки зрения материалистического понимания истории*, я хочу представить вам некоторые об'яснения, касающиеся *права и религии*.

Чтобы выяснить вам, каким образом *право* данного народа связано с его экономическим строем, прошу вас принять во внимание, что, как очень хорошо замечает Летурно в своей «Histoire de la propriété», — более или менее справедливое регулирование материальных вопросов и забота об охране этих интересов составляют прочную основу всех писанных законодательных кодексов. В самом деле, возьмем, например, гражданское право. Что такое гражданское право? Это совокупность юридических институтов, имеющих целью регулировать правовые отношения, возникающие между людьми в области их частных интересов, т.-е. поскольку они рассматриваются как частные лица. Эти правовые отношения вытекают из двух различных источников: они рождаются из общности крови, об'единяющей известных индивидуумов в группу, называемую семьею, или вытекают из власти, которою человек может пользоваться над вещами внешнего мира, над материею, над которой он господствует и которую подчиняет своей воле. Совокупность отношений первого рода составляют семейное право, а отношения второго рода образуют вещное и обязательственное право или, другими словами, частное право в собственном смысле слова (Ceux de la seconde forment le droit des biens et des obligations ou, en d'autres termes, *le droit du patrimoine)*.

Что касается вещного права, то я вам уже показал, каким образом оно возникает из *экономических отношений*, из *про-*

изводственных отношений. Австралийцы и эскимосы. Но раз право собственности существует, весьма понятно, что оно порождает известные правила, регулирующие передачу имуществ, их переход из рук одного лица в руки другого лица. Весьма понятно также, что переход имущества из рук одного лица в руки другого лица порождает те или иные *обязательства.* Весьма понятно, наконец, что институты, имеющие целью нормировать отношения, возникающие между людьми, нуждаются в определенной *гарантии со стороны общества.* Право определяют ведь как *совокупность предписаний и правил поведения, к соблюдению которых позволительно обязывать человека внешним или физическим принуждением.*

Когда одно лицо нарушает право другого лица, оно подвергается *обществом наказанию.* Такова основа *уголовного права.*

«Собственность — это воровство». Это определение с теоретической точки зрения совершенно неверно. *Воровство предполагает существование частной собственности.* У диких коммунистических племен нет воровства, потому что нет частной собственности.

Публичное право. Строй общества отливается по форме собственности. Мы видели уже, каким образом в древнем ирландском праве публично-правовые отношения, отношения между вассалом и его сюзереном, строились на отношениях собственности. В древней Греции и в древнем Риме мы видим, как поземельные собственники учреждают аристократию, которая одна лишь пользуется политическими правами. Народ принимал участие в управлении лишь в тех городах, в которых ему удавалось завладеть землею.

Мы видим, таким образом, с большою ясностью, что отношения собственности определяют юридические учреждения.

Семья. Законом освящаемая моногамическая семья обязана своим происхождением развитию частной собственности и разрушению *коммунистической собственности клана.*

Религия. Что такое религия? Существует бесчисленное множество определений религии. Что касается меня, то я предпочитаю определение, данное графом Гоблэ д'Альвиелла (Goblet d'Alviella), который понимает под религией *форму, в коей человек осуществляет свои отношения к сверхчеловеческим и таинственным силам, от которых он*

считает себя зависимым. Все признают, что религия имела большое влияние на эволюцию рода человеческого. Не говорю уже о Боссюэ, Вольтере. Не подлежит сомнению, что это влияние было очень велико. Но чтобы понять характер этого влияния, нужно отдать себе отчет в происхождении религии или отношений человека к сверх'естественным силам.

Каким же образом возникает у человека вера в существование сверх'естественных сил? Это очень просто. Вера в эти силы обязана своим возникновением *невежеству.*

Первобытный человек приписывает свойства личности, аналогичной человеческой личности, известным существам, известным предметам внешнего мира. Он с трудом допускает движение и действие без воли и без сознания. В его глазах все становится одушевленным в природе. Затем сперва бесконечное поле этой воображаемой жизни сокращается в его глазах все более и более, по мере того, как он научается лучше наблюдать и больше рассуждать. Но пока это поле мнимой жизни продолжает для него существовать, оно населено божествами.

Заметьте, что на первых порах этот *анимизм не оказывает никакого влияния на поведение человека в обществе. Представление о богах, как и представление о продолжении жизни после смерти, сперва лишено всякого морального характера,* и потусторонняя жизнь обычно есть лишь продолжение земной жизни; край мертвецов очень похож на населенную живыми землю, в нем господствуют те же привычки, те же обычаи, тот же образ жизни. Потусторонний мир есть лишь двойник земного мира, населенного людьми; как злым, так и добрым приготовлена там одна и та же участь.

Но мало-по-малу выступают различия. Жизнь в другом мире приятна для одних, печальна и тяжка для других. То потусторонняя жизнь выпадает на долю одних лишь великих мира сего и богатых; души простых людей погибают вместе с их телами или пожираются богами. То для душ умерших приготовляются два различных обиталища: в одном пребывают великие мира сего, воины, сильные, — там царствует обилие и радость; в другом рабы и бедняки влачат жалкое существование или, по крайней мере, лишены

тех удовольствий, которыми сколько угодно наслаждаются те, кого даже за гробом сопровождает счастье. Здесь влияние морали отсутствует. Но мало-по-малу оно появляется. В Futuna Horne Islande, en Polynésie (Полинезия) женатые воины, убившие неприятелей на поле сражения, возносятся на небо, где обитают также боги и где они имеют в изобилии самую изысканную пищу, развлечения и игры. Самые почетные места предоставляются убиенным на войне. Когда они чувствуют, что наступает старость, они окунаются в живительные воды озера Вайола и выходят из него, сияя блеском молодости и красоты.

Словом, возмездие за преступления сперва представляется частным делом как в загробном, так и в земном мире. Но мало-по-малу власть богов разрастается, как разрастается и власть земных начальников, и функции их размножаются: не довольствуясь наказаниями за преступления, непосредственно их затрогивающие, боги наказывают и тех, чьими жертвами являются их преданные служители, их верные поклонники. А затем боги, по крайней мере, те из них, что обитают в краю мертвецов, выступают уже как судьи, распространяющие свою судебную власть на все деяния людей, и наказывают их даже за такие грехи, которые их совсем не задевают. И тогда укореняется представление о боге-судье, и, по естественной ассоциации, представление о боге, распределяющем награды, о боге, который в загробной жизни вознаграждает за несправедливости, перенесенные в земной жизни, о боге — справедливом и благом, который в загробной жизни осушает на глазах своих верных последователей слезы, пролитые в земной жизни под тяжестью незаслуженных несчастий.

Слагающееся постепенно у людей представление о божестве преобразуется, следовательно, параллельно социальному преобразованию. Лишь в обществах сравнительно сильно развитых религия становится фактором общественной жизни. Но этот фактор создается, *строится*, как мы видели, социальной эволюцией. И если нам удастся связать эту последнюю с экономическим развитием, мы будем иметь право сказать, что религиозная эволюция определяется эволюцией экономической

Перейдем к искусству.

Наука в настоящее время признает, что животные (высшие) употребляют не все свои мускульные и психические силы на добывание себе средств материального существования, а что они тратят их также и с бескорыстной целью, не рассчитывая на какие-либо выгоды, — только для того, чтобы забавляться; словом, они отдаются *играм*. Люди также забавляются играми, а *игра — это зародыш артистической деятельности*.

Рассмотрим сперва наиболее дикое из всех искусств — *танец*. Самцы птиц некоторых видов исполняют совсем настоящие танцы перед своими самками, когда хотят их очаровать.

Танцы этого рода существуют также и у людей: это *любовные* танцы. Их характер меняется вместе с эволюцией нравов. Но на-ряду с этими танцами появляются другие, значение которых совсем иное.

Охотничий танец. Он сводится к подражанию движениям и ухваткам животного, за которым преимущественно охотится племя. Так, например, австралийцы пытаются подражать движениям кенгуру и эму, потому что охота за этими животными и ловля их являются главным делом их жизни. Точно так же танец камчадалов копирует аляповатые движения медведя. У краснокожих танец буйволов, исполняемый в подобающих нарядах, предшествовал охоте на это животное. Я мог бы удлинить число примеров этого рода, но полагаю, что приведенных примеров достаточно, и предпочитаю перейти к *женским танцам*.

Серьезные танцы. Эти танцы обычно изображают мимикой те или другие явления из их борьбы за существование, их труда. Так, например, австралийская женщина представляет, как она ныряет в воду на ловле раковин, как она выкапывает с'едобные корни в пищу своим детям, как она карабкается на деревья для ловли виргинской двуутробки и т. д.

Прибавим к этому, что игры детей являются подражанием работе взрослых.

Что же представляют собою все эти танцы? Воспроизведение в развлечении, в примитивном искусстве, *производственной деятельности людей. Искусство есть непосредственный образ процесса производства.*

Военные танцы. Война есть лишь другой вид охоты, в которой человек служит дичью для человека; она также имеет свои танцы. Эти танцы воспроизводят сцены сражения. Иногда они сопровождаются драматическими диалогами. Так, жители Новой Каледонии танцовали, ведя диалог со своими начальниками:

— Атакуем мы наших врагов?
— Да.
— Сильны ли они?
— Нет.
— Мужественны ли они?
— Нет.
— Мы их убьем?
— Да.
— Мы их с'едим?
— Да!
И т. д.

Иногда танец сопровождается пением — и тогда он становится настоящим произведением искусства, как тот танец фаланги, который Стэнли описывает в своей книге «Dans les Ténèbres de l'Afrique». См. цитату [1]).

Пение. У первобытных народов пение всегда сопровождает работу. Мелодия здесь вещь совершенно второстепенная, равно как и текст. Главное — это ритм. Ритм песни точно повторяет ритм работы, — музыка обязана своим происхождением труду. В зависимости от того, производится ли работа

[1]) Цитаты здесь, как и в большинстве других мест, нет. В указанной В. Г. Плехановым книге Стэнли, в XVI главе, т. I, стр. 405 и след., мы находим подробное описание «танца фаланги», в котором принимает участие карэ воинов из 33 рядов, по 33 воина в каждом, с пиками, с украшениями из петушиных перьев, человеческих зубов, клыков разных животных и т. п. По сигналу барабанов, их начальник Като запевает дикую песню, возвышая постепенно свой голос до самых пронзительных нот, — тогда он поднимает свою пику — и оглушительный хор 1.089 воинов-танцоров отвечает запевале и подвигается вперед, потрясая пиками. Все 1.089 человек поют свои жалобные восточные песни, двигаются, танцуют, ударяют своими пиками о землю с поразительным ансамблем, как один человек. Стэнли заканчивает свое подробное описание следующими словами: «Это, конечно, одно из самых прекрасных и волнующих зрелищ, какое я видел в Африке» («Dans les Ténèbres de l'Afrique», t. I, p. 407). *Прим. Е. С.*

одним лицом или группой лиц, существуют песни для одного голоса или для группы голосов.

Выводы Бюхера:

«Мои исследования привели меня к тому выводу, что труд, музыка и поэзия самым тесным образом связаны между собою. Можно поэтому поставить такой вопрос: были ли сперва эти три элемента независимы друг от друга или же они вместе и родились и отделились друг от друга лишь впоследствии после длительного процесса постепенной дифференциации? А если так, то какой из этих трех элементов составлял ядро, к которому прибавились затем другие? *Ответ.* Труд был тем элементом, который составлял ядро, и к нему присоединились затем два другие элемента — музыка и поэзия.

Пример: песня негров-носильщиков английского путешественника Бертона (Burton).

Соло: Злой белый человек прибыл с берега.
Хор: Пути! Пути!
Соло: Мы последуем за ним — за злым белым человеком.
Хор: Пути! Пути!
Соло: И мы останемся с ним, пока он нас будет хорошо кормить.
Хор: Пути! Пути!

Песня молотильщиков пшеницы в Литве:

Клапп, Клапп, Клапп,
Клипп, Клипп, Клипп,
Клипп, Клипп, Клапп, Клапп!»

И это сопровождается выпадами против надсмотрщика или против хозяина.

Песня литовской мельничихи (ручная мельница):

Пой, пой, моя мельница,
Сдается мне, что я не одна».

Или еще:

«Зачем остановил ты взор свой,
О, ты, нежный молодец,
На мне, бедной девушке?».

И т. д.

Живопись. Охотничьи народы — хорошие живописцы.

Орнаментация. Орнаментация этих отдаленных времен ясно обрисовывает путь развития декоративных искусств. Первобытные горшечные произведения представляют чисто прямолинейный орнамент, образуемый из зигзагов, излучин и разнообразных рисунков из ромбов, косоугольников и крестообразных линий.

Но оставим наших антиподов и переберемся через эвкалиптовые леса на европейский континент. А здесь мы, по многим причинам, сделаем лучше всего, остановившись на Франции.

Франция XVII и Франция XVIII столетий была страной цивилизованной. В ней можно было розыскать еще лишь некоторые следы первобытного коммунизма. Уже в течение ряда веков ее население разделено было на два крупных класса: на аристократию и на *простолюдинов*, третье сословие.

Какое влияние оказывало это разделение на французское искусство? В ответ на этот вопрос прошу вас припомнить слова *Маделон* в пьесе Мольера «Les precieuses ridicules»:

«Ах, отец мой, да вы говорите, как самый последний *мещанин*. Мне прямо стыдно слушать, когда вы так говорите»...

Для дворянина было позорно говорить, «как *мещанин*». Манера выражаться, следовательно, также различалась, соответственно форме социальной структуры. И эта тенденция неизбежно должна была проявляться как в литературе, так и в искусстве. Ипполит Тэн уже показал, каким образом французская трагедия порождена была нравами и вкусами французской аристократии XVII столетия. Эти вкусы и эти нравы имели настолько сильное влияние на литературу не только во Франции, но и в Англии, что в эпоху английской реставрации (1660—1688) *Шекспир* впал в полную немилость у читающей публики. Пьеса «Ромео и Джульетта» считалась (см. книжку) [тогда «плохой»] [1]).

[1]) Фраза окончена на основании статьи Г. В. Плеханова «Об искусстве» (сб. ст. «Искусство», изд. «Новая Москва», 1922 г., стр. 52). Там об отношении к Шекспиру Плеханов говорит: «Шекспира стали третировать... как *«пьяного дикаря»*. Его «Ромео и Джульетта» считалась тогда *«плохой»*, «Сон в летнюю ночь» — *«глупой и смешной»* пьесой; «Генриха VIII» находили *«наивным»*, «Отелло» — *«посредственным»*. Ссылка на Тэна, «Hist. de la litter. anglaise», т. II, стр. 508—512.

Прим. ред.

В то же время укоренился обычай выводить на сцену только королей и королев, героев и принцев и заставлять говорить о вещах не менее важных, чем обладание короною и сокрушение государств. Подобно мольеровской Маделон, боялись казаться «мещанами». На сцене превращали во французских маркизов героев самой отдаленной древности: в середине восемнадцатого столетия выводили еще Цезаря на сцену в *четыреугольном парике*, а Улисс показывался среди волн *весь посыпанный пудрой*. «Вольтер о Гамлете». «Вообразите себе, господа, Людовика XIV в его зеркальной галлерее (в Версали), окруженного блестящим двором, и представьте, что покрытый лохмотьями шут расталкивает толпу героев, великих людей и красавиц, составляющих этот двор; он предлагает им покинуть Корнеля, Расина и Мольера для Петрушки, который имеет проблески таланта, но кривляется. Как вы думаете? Как встретили подобного шута?» [1]).

Реакция. Слезливая или чувствительная комедия (la comedie larmoyante), жанр средний между комедией и трагедией, выводящий частных лиц, добродетельных или почти добродетельных, в серьезных, торжественных, иногда патетических действиях, и побуждающий нас к добродетели, растрогивая зрелищем несчастья и заставляя нас аплодировать торжеству добродетели. Этот жанр комедии ввел во Франции Ла Шоссэ (La Chaussée), но он зародился в Англии. Безграничная распущенность литературы и, в особенности, театра в эпоху реставрации вызывает в конце семнадцатого столетия реакцию, которой содействовали политические события.

[1]) Цитата закончена по статье Г. В. Плеханова «Французская драматическая литература и французская живопись с точки зрения социологии» (Сб. ст. «Искусство», изд. «Новая Москва», 1922 г.). В пояснение мысли Г. В. приводим полностью и начало этой цитаты в той же статье, как отзыв Вольтера о «Гамлете»: «Эта пьеса, — говорит он, — полна анахронизмов и нелепостей, в ней хоронят Офелию на сцене, а это такое чудовищное зрелище, что знаменитый Гаррик выкинул сцену на кладбище. Эта пьеса изобилует вульгарностями. Так, в первой сцене часовой говорит: «я не слыхал даже мышиного топота». Можно ли допускать подобные несообразности? Без сомнения, солдат способен выразиться так в своей казарме, но он не должен выражаться так на сцене, перед избранными особами нации, — особами, которые говорят благородным языком и в присутствии которых надо выражаться не менее благородно» (там же, стр. 106). *Прим. ред.*

Настроение публики толкало писателей в направлении чрезмерной добродетели. Посредственный поэт Блэкмор (Blachmore) первый открыл крестовый поход против цинической распущенности театра. Но решительный удар нанес ей Джереми Колльер (Jeremy Collier), а за ним последовал Вильям Лилло (Lillo) («Fatal curiosity», 1737 г.), где два старца...

Таким образом, в первобытном, более или менее коммунистическом обществе искусство подвергается непосредственному влиянию экономического положения (de la situation économique) и состояния производительных сил. В цивилизованном обществе эволюция изящных искусств определяется *борьбой классов*. Борьба классов, конечно, определяется экономической эволюцией, но действие экономической структуры во всяком случае *посредственно*.

Л. ДЕЙЧ

ПОЛУВЕКОВЫЕ ГОДОВЩИНЫ

Каждый год, в большей или меньшей степени, является памятным для тех или других событий, происшедших за столько-то лет до них. В этом отношении в ином году их особенно много, в другом, наоборот, их мало. Настоящий год принадлежит к числу первых: в конце его будет столетие знаменитого в нашей истории декабрьского выступления нескольких гвардейских полков на Сенатской площади, — знаменитого военного восстания, закончившегося, как известно, стрельбой картечью по густой толпе, после чего оказались сотни убитых и раненых: так ознаменовал день своего вступления «на прародительский престол» жестокий изверг Николай I. Теперь мы вступаем в период, особенно обильный полувековыми годовщинами. События, которые они напоминают, имели значительное влияние на дальнейший ход нашего революционного движения, и я поэтому остановлюсь на них подробнее.

Полагаю, я не сделаю большой ошибки, начав обзор этих событий с так называемых «крестьянских волнений» в прославившемся с тех пор в истории нашего революционного движения Чигиринском уезде, Киевской губернии. Эти волнения послужили поворотным моментом в сторону наибольшей революционности, вызвав в свое время много толков и споров. В виду этого позволю себе коснуться здесь в самых общих чертах их возникновения, хода и вызванных ими последствий.

I

ЧИГИРИНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

Волнения среди русских крестьян происходили с давних времен. Особенно участились они в XIX столетии, в период, предшествовавший освобождению крестьян от

крепостной зависимости, что, как известно, повлияло на принятие Александром II решения приступить к этому акту, так как, по его словам, «лучше сделать это сверху, чем дожидаться, когда оно совершится снизу».

Лишь изредка эти волнения принимали сколько-нибудь серьезный, насильственный характер; в большинстве же случаев «крестьянские бунты» происходили, по удачному определению Герцена, «стоя на коленях» перед разного рода начальством, что, однако, служило для последнего достаточным основанием, чтобы направлять против безоружных масс отряды войск, нередко пускавшие в них залпы, как это произошло в селе Бездне, Казанской губ., после чего оказалось сто убитых и несколько сот крестьян тяжело раненых. Аналогичные возмутительнейшие расправы произошли в то время во многих местностях, в том числе также на Украине, в особенности в Киевской губ.

Причиной этих «бунтов на коленях» являлось полное разочарование крестьян в полученной ими от царя «воле»: не такой они ее себе представляли и потому были убеждены, что разного рода начальство, сговорившись с помещиками, утаило действительную, «настоящую волю», дарованную им добродетельным царем. Вследствие этого ложного взгляда крестьян на Александра II, «волнения» среди них происходили еще долго спустя после их раскрепощения.

Летом 1875 г. они возникли в нескольких волостях Чигиринского уезда из-за стремления властей ввести подворное, частное владение, между тем как многие крестьяне желали общинного пользования отведенной им земельной площадью. На этой почве произошли «волнения», сопровождавшиеся обычными в таких случаях усмирениями «бунтовщиков», т.-е. были применены розги, аресты, насилования солдатами женщин и т. д...

Потерпевшие чигиринцы были глубоко убеждены в том, что все испытанные ими насилия произведены без ведома и согласия царя, что, наоборот, узнай он о совершенных над ними жестокостях, досталось бы от него всем виновным. Поэтому, собрав последние оставшиеся от солдатского постоя крохи, крестьяне снарядили к царю нескольких ходоков. Власти, однако, скоро проведали про эту депутацию; «ходоки» были переловлены и доставлены по этапу

обратно, за исключением одного, довольно смышленого и ловкого крестьянина, по имени Фома Прядко, которому удалось избежать ареста, после чего он скрылся. Но по прошествии короткого времени он тайком появился среди односельчан, которым, — конечно, под большим секретом, — сообщил, будто ему удалось добраться до царя и что он имел с ним конспиративным образом обставленную беседу с глазу на глаз, в подтверждение чего Прядко показывал слушателям какую-то бумажку, будто бы врученную ему царем. Слух о появлении этого неуловимого ходока и о сообщаемом свидании с любимым «батюшкой-царем» быстро распространился среди обездоленного населения волновавшейся местности. Дошел он, конечно, и до властей, предпринявших самые энергичные меры к поимке этого опасного агитатора. Но, благодаря приобретенной им чрезвычайной популярности, приверженцы употребляли все усилия, чтобы скрывать его. Нередко, поэтому, ему удавалось ускользать, как говорится, из-под самого носа местных властей, почему вскоре по поводу Фомы Прядко стали распространяться прямо легендарные рассказы, — словно он обладал «шапкой-невидимкой». Тем не менее он все же был пойман в 1875 г., кажется, вследствие выдачи его кем-то из односельчан.

На почве пущенной Фомой Прядко выдумки о будто бы состоявшемся у него с царем свидании, Я. Стефанович зимой все того же 1875 г. завязал сношения с чигиринскими крестьянами: он развил им план новой посылки ходоков, что привело, в конце концов, к созданию им, — сообща со мною и Ив. Бохановским, — путем ложного царского манифеста заговора среди крестьян многих сел и деревень Чигиринского уезда. Подробно это давно было изложено самим Стефановичем в первых двух номерах «Черного Передела» [1]). Отсылая туда лиц, интересующихся дальнейшим ходом этой попытки, остановлюсь на втором полувековом юбилее, тесно связанном с указанными «волнениями» в Чигиринском уезде, а именно: на возникновении небезызвестного «Киевского бунтарского кружка».

---

[1]) Отчасти об этой же попытке мною сообщено в «За полвека», ч. 2-я, изд. «Колос». 1923 г.

* * *

После разразившегося осенью 1874 г. разгрома знаменитого хождения «в народ», результатом которого оказалось много арестованных в разных местах заключения, нескольким десяткам лиц удалось избегнуть поимки их властями. Часть этих неразысканных эмигрировала за границу, немногие, оставшиеся в стране, перешли на «нелегальное положение». В их числе были также уже тогда приобревшие известность в революционной среде, ярые последователи Бакунина — Вл. Дебогорий-Мокриевич и Як. Стефанович.

Из непродолжительного своего опыта, вынесенного ими из хождения «в народ», они пришли к заключению, что крестьян мало, если не сказать, вовсе не интересуют рассказы о прелестях будущего социалистического строя, и, наоборот, что их всецело занимают сообщения, слухи и известия о предстоявшем, будто бы, вскоре полном отобрании земли у помещиков с тем, чтобы передать ее в общее пользование всех желающих ее обрабатывать. В виду этого, по мнению названных двух революционеров, нужно было заняться агитацией среди крестьян, опираясь на указанное народное желание. С этой целью они признали необходимым избрать сферой для применения их агитации местности, в которых в недавнее пред тем время происходили крестьянские волнения. Вскоре затем Мокриевич побывал в Петербурге, где встретился с неким помещиком П. В. Григорьевым, который считал возможным путем ложного царского манифеста или «самозванца» в любой момент вызвать народные волнения. Признав целесообразным этот способ деятельности, Мокриевич, по возвращении в Киев, поделился этим взглядом со своим приятелем, Стефановичем, который также его одобрил. Как раз в это время произошли вышеупомянутые «волнения» среди крестьян Чигиринского уезда. Тогда эти два бунтаря решили применить в этой местности план Григорьева, т.-е. агитацию путем царских манифестов, и с этой целью начали подбирать испытанных, надежных единомышленников, бакунистов, главным образом лиц нелегальных, окончательно сжегших за собою корабли.

И действительно, уже к осени 1875 г. в состав этого первого в России «бунтарского» кружка вошли лица, очень прославившиеся в истории нашего революционного движения. Кроме самих инициаторов, в нем состояли: Мария Павловна Ковалевская, Вера Ивановна Засулич, Мария Александровна Коленкина, Анна Марковна Макаревич-Розенштейн, Михаил Феодорович Фроленко, Сер. Чубаров, Ив. Дробязгин, Вик. Малинка, Вик. Костюрин, Вас. Лепешинский и др.

II

ГЕРЦЕГОВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Еще большее возбуждение, чем «волнения» в Чигиринском уезде, вызвало в 1875 г. происшедшее в Боснии и Герцеговине восстание: не только либерально настроенные молодые люди прониклись горячей симпатией к угнетенным турками «братьям-славянам», но даже некоторые ярые бакунисты устремились в качестве волонтеров на Балканский полуостров. В этом их порыве, на-ряду с желанием оказать свое содействие восставшим, немалую роль также играло начавшее в то время впервые проявляться у некоторой части нашей социалистической молодежи стремление к сильным ощущениям, к рискованным предприятиям и т. п. Пребывание бакунистов среди волонтеров на Балканах должно было послужить в своем роде школой для приобретения закала, выносливости, отваги, не говоря уже об уменьи владеть оружием и вообще участвовать в партизанской войне, — все это нам, революционерам, казалось тогда необходимым узнать в виду близкого будущего.

Но, увы! Суровая действительность разбила радужные надежды, с которыми экзальтированная молодежь устремилась на Балканы. Очень скоро почти все вернулись обратно, в крайне угнетенном, подавленном состоянии. Оказалось, что волонтеры не только не могли принести пользу, но, наоборот, вследствие полной своей неприспособленности к перенесению неимоверно тяжелых местных условий, они являлись страшной обузой для и без того обремененных туземных борцов: при непрерывных и быстрых переходах в знойные дни партизанских отрядов по горным скалистым местностям, лишенным воды и какой-либо растительности, русские интеллигенты-добровольцы быстро выбивались из сил от усталости и жажды, почему бывали вынуждены отставать

по дороге; это было крайне опасно для той или иной военной комбинации начальников и тормозило исполнение данного ими распоряжения, а для отставших было сопряжено с риском, попав в руки турок, подвергнуться мучительной смерти. Поэтому в таких случаях партизанские начальники предлагали своим туземным добровольцам подбирать выбивавшиеся из сил «русских воинов» и нести их на себе иногда в течение нескольких часов. Естественно, такие задачи вскоре вызвали ропот, а затем отказы исполнять и, наконец, угрозы тут же прикалывать таких негодных охотников. Только присутствие духа военачальников, их находчивость и самопожертвование не раз спасали русских от гибели: видя полную невозможность убедить или заставить своих подчиненных понести на себе в горы свалившегося русского добровольца, военачальники сами взваливали на свои спины, — и без того уже обремененные разными походными вещами, — эту живую ношу, что вызывало по ее адресу далеко нелестные замечания со стороны туземных воинов. Не трудно себе, поэтому, представить, как скверно должны были себя чувствовать наши товарищи, находившиеся на спинах военачальников, принужденных в зной итти по горам с такой ношей: у рассказывавших об этом по возвращении в Киев товарищей бывал до того угнетенный вид, что тяжело было на них смотреть.

Тут мне вспоминается как живой, стоящий перед моими глазами один такой доброволец, и, хотя поездка его на Балканский полуостров произошла год спустя, т.-е. в 1876 г., но, раз заговорив об этом движении, считаю возможным, не откладывая до будущего года, сообщить о нем здесь.

* * *

Он родился в Севастополе, был сыном морского офицера; окончивши гимназию, он решил, минуя университет, отправиться волонтером на Балканский полуостров. В это время меня кто-то познакомил с ним. Звали его Евгением Бальзамом, и все в нем гармонировало с этим именем. Чрезвычайно красивый по внешности, просто и вместе изящно одетый, он сразу привлекал к себе каждого чрезвычайно симпатичными чертами лица и характера: что-то особенно нежное, обаятельное, скорее напоминавшее миловидную девушку, чем юношу, было во всем облике этого 19—20-летнего молодого человека.

Будучи почти ровесниками, — я был немного старше, — мы очень скоро сошлись с ним. Зная уже из вышеупомянутых рассказов вернувшихся обратно добровольцев об ожидающих таких вояк тяжелых физических и моральных страданиях, я настойчиво убеждал моего нового приятеля отказаться от своего намерения, но, несмотря на все доводы мои и других одесских товарищей, он остался непреклонным. В ответ на мое заявление, что едва ли ему будет приятно оказаться бременем для боснийских или герцеговинских воинов, которые, вместо помощи от него, должны будут таскать его на своих спинах, славный юноша, помню, возбужденно воскликнул:

«Нет, я не допущу до этого, — я покончу с собою».

Перед от'ездом он вручил мне свой аттестат зрелости с тем, чтобы я воспользовался им лишь после получения известия о его гибели. Не долго пришлось ждать этого. Погиб он при следующих обстоятельствах: в одном из боев он был ранен и при отступлении партизанам пришлось нести его на плечах. В это время пронесся слух, будто турки недалеко. Тогда самоотверженный юноша настоял на том, чтобы отряд спасался, оставив его. Вскоре выяснилось, что тревога была ложная, но, несмотря на тщательные поиски, партизаны не могли найти места, где оставили раненого. Таким образом он выполнил свое обещание не быть в тягость тем, кому он хотел помочь.

Легко представить себе, каким горем была смерть этого в физическом и духовном отношении красивого юноши для его семьи.

Я унаследовал от него вместе с аттестатом его имя, ставшее моим революционным псевдонимом.

III

ПЕЧАЛЬНО ОКОНЧИВШАЯСЯ ПОПЫТКА

В то самое время, когда некоторые бунтари, руководимые, как мы видели, отчасти желанием приобрести необходимую для революционера отвагу, устремились на юго-запад, один

из наиболее выдававшихся во всем нашем революционном движении приверженцев Бакунина задался целью освободить из Вилюйска (Якутской области) замечательного нашего ученого и публициста Н. Г. Чернышевского. Как известно, попытку эту произвел в 1875 году Ипполит Мышкин, о котором, в виду 50-летия, также не излишне напомнить современным читателям.

Сын крепостной крестьянки и военного фельдшера, Мышкин обучался сперва в городском училище, затем в таксаторской школе где, между прочим, научился стенографии. Благодаря огромным дарованиям, настойчивости и любознательности, он достиг обширного умственного развития. Став по окончании таксаторской школы правительственным стенографом, Мышкин сделался затем владельцем типографии. Когда же в начале 70-х годов возникло массовое движение «в народ», он целиком примкнул к нему и в своей типографии печатал большое количество революционных произведений, тысячами распространявшихся в народе. Но вследствие разразившегося осенью 1874 г. разгрома, жандармам стала известна также и «преступная» роль Мышкина, поэтому решено было его арестовать, но, когда полиция явилась к нему, его не было дома. Узнав об этом посещении, он перешел на «нелегальное положение». Чтобы замести следы, Мышкин на время отправился за границу, где вскоре затем у него созрел план освободить Чернышевского, к осуществлению которого он немедленно приступил.

Приехав в Вилюйск в мундире жандармского офицера, он отправился к местному исправнику, которому пред'явил предписание от иркутского правления о передаче ему Чернышевского для доставки в Благовещенск. Исправник выразил удивление, что этот офицер не пред'явил ему соответствующего предписания от ближайшего начальника, якутского губернатора, а потому предложил ему остаться в Вилюйске впредь до получения распоряжения от последнего. Видя, что план сорвался, офицер заявил, что сам отправится в Якутск за требующимся предписанием; тогда исправник приказал двум верховым казакам сопровождать его. В Якутске несомненно должен был раскрыться замысел мнимого офицера, и ему предстоял арест. Поэтому Мышкин решил отделаться от навязанного ему конвоя: от'ехав не-



И. Мышкин.

которое расстояние, он стал стрелять в казаков, при чем один был смертельно ранен. Мышкин скрылся в тайге, но затем был пойман.

Так печально закончилась эта попытка освободить Чернышевского, еще в значительной степени ухудшившая и без того тяжелое его положение. Мышкин же, как известно, привлеченный затем по большому процессу (193-х), был приговорен к 10-ти годам каторжных работ, а впоследствии его расстреляли в Шлиссельбургской крепости за оскорбление смотрителя.

Чтобы воскресить в памяти современников образ этого замечательного революционера, приведу следующие о нем отзывы. «Это прямо-таки чудесное явление, — пишет Виташевский в своих воспоминаниях. — Его всякий замечал издалека, благодаря особому отпечатку индивидуальности, благодаря сектантскому исканию истины, благодаря оригинальности каждого его суждения и замечания».

Еще более лестный отзыв дал о нем Вл. Короленко: «Мышкин, быть может, был самым ярким представителем не только народнического периода, но пожалуй и всех напластований революционного времени». В этом имеется некоторое преувеличение.

IV

ЦЮРИХСКИЙ КРУЖОК

Арест Мышкина, происшедший, как мы видели, ровно 50 лет тому назад, являлся огромной потерей для нашего движения. В этом отношении 1875 г., подобно предыдущему, дал обильную жатву царским тюремщикам.

Известно, что некоторые учившиеся в Цюрихе русские студентки, а также студенты, преимущественно из Грузии, проникшись социалистическими взглядами, составили кружок, который вернулся в Россию с тем, чтобы осуществить на деле свои воззрения. Эти молодые девушки и юноши избрали ареной своей деятельности, главным образом, фабрично-заводских рабочих Москвы, Тулы, Орехова-Зуева, Иваново-Вознесенска, где большая их часть поступила в число рабочих и работниц, вынося всевозможные лишения при непосильном труде и ужасных антигигиени-

ческих условиях. В немногие свободные часы после чрезвычайно долгого рабочего дня эти юные пропагандистки с увлечением рассказывали и читали из книжек собравшимся вокруг них утомленным товарищам-рабочим про их тяжелую долю и о том пути, который выведет всех обездоленных из неприглядного их положения. Некоторым из этих энтузиасток удавалось своей страстной проповедью вызвать даже у совершенно темных невежественных полу-рабочих полукрестьян готовность следовать за ними.

Но недолго длилась эта деятельность, — предательство одного из пропагандируемых навело жандармов на след существования этого кружка, и пошли аресты, — один вслед за другим были захвачены в разных городах все наиболее видные члены, фигурировавшие затем в так называемом «Московском процессе» или «50-ти», а именно: Софья Бардина, Петр Алексеев, Джабодари, Чикондзе, Бетти Каменская, Агапов, Ольга Любатович, Цицианов,—первый, оказавший при аресте вооруженное сопротивление, Геся Гельфман, Лукашевич, Лидия Фигнер, Екатерина Туманова-Гамкрелидзе, Варвара Александрова и др.

Следующая выдержка из обвинительного акта, полагаю, перенесет отчасти современного читателя в ту отдаленную эпоху, когда сотни и тысячи лучших детей страны томились многие годы в тюрьмах и крепостях за прочитанную социалистическую брошюрку или за рассказ о причинах испытываемых трудящимися массами лишений, бедствий, страданий. Вот как в правительственном отчете излагаются ужасные деяния перечисленной выше «преступной молодежи и их товарищей»:

«28 марта 1875 года в московское губернское жандармское управление явился ткацкой фабрики купца Шибаева в г. Москве крестьянин Яков Яковлев и, представляя две книги преступного содержания «Емелька Пугачев» и «История французского крестьянина», заявил, что 25 и 27 марта он получил эти книги от крестьян Ивана Васильева Баринова и Василия Григорьева... При свиданиях Баринов и Васильев, об'ясняя ему, что собственность должна быть общею, что крестьян нужно сравнять во всем с другими сословиями, и что все это должно быть скоро приведено в исполнение, советовали проводить подобные мысли в на-

род, устраивать с этой целью кружки, собирать возможно большее число последователей таковых мыслей и взглядов и т. д.» [1]).

Аналогичным образом узнала полиция о происходившей «зловредной» пропаганде в Иваново-Вознесенске, — где в августе 1875 г. «крестьянин Алекс. Трухин отобрал у рабочего фабрики Тимофея Бурова «Сказку о четырех братьях» и передал ее начальству, после чего задержаны были Топоркова, Семен Агапов и др.

«Из отобранной переписки у лиц, арестованных в Иваново-Вознесенске, — читаем далее, — видно было, что в июле 1875 г. в г. Туле проживал на заводе член сообщества, некто Злобин, занимавшийся «преступной пропагандой». Конечно, как он сам, так и соприкасавшиеся с ним лица были арестованы, при чем вновь найдено было письмо, адресованное в Киев Гесе Гельфман. По этому адресу полиция направила свои розыски, в результате которых она получила обильную поживу.

Таким образом, кроме предательства некоторых спропагандированных рабочих, причинами разгрома этой организации явились также неосторожность и неконспиративность многих, если не сказать — преобладавшего большинства членов этой организации. Оно и не удивительно, так как почти все они были очень юны, неопытны, непрактичны.

Вследствие этих неблагоприятных обстоятельств, спустя очень короткое время были захвачены не только почти все лица, действительно входившие в этот кружок, но сверх того еще огромный контингент случайно подвертывавшихся жандармам лиц, так или иначе соприкасавшихся с замешанными в чем-либо «злоумышленниками». Эти «попутчики» являлись затем на суде выгодным для жандармов и прокуроров орудием против обвиняемых. Но что особенно поражает теперь, при чтении судебного отчета по этому, как и по аналогичным процессам, это — характер преступления, вызывавший последние: жандармы бросали в тюрьмы и в другие гиблые места сотни молодых людей, затем, после многолетнего предварительного заключения, эти «преступники» предавались суду, отправлявшему их в Сибирь, на ка-

[1]) См. «Процесс 50-ти», изд. Саблина, М. 1906 г.

торгу и поселение. Десятки разного рода должностных лиц — полицейских, жандармов, прокуроров, следователей, судей-сенаторов — годами были заняты уловлениями и изобличениями «страшных крамольников», осмелившихся прочитать или отдать нескольким, а то и одному лишь крестьянину, рабочему или интеллигенту запретную сказку!!

Гнетущее впечатление производят воспоминания обо всем этом, в особенности об огромном количестве предательств, выдач полиции и жандармам самими же несознательными рабочими своих юных просветителей, которые не останавливались ни перед какими жертвами и мучениями для блага трудящихся масс, как они его понимали. Конечно, не все пропагандируемые этой молодежью рабочие оказались слабыми, малодушными людьми, — были между ними и диаметрально противоположные лица — благородные, непреклонные их последователи, вполне оценившие бескорыстную роль своих интеллигентных руководителей. Как известно, наиболее выдававшимся среди привлеченных по процессу 50-ти рабочих был Петр Алексеев, прославившийся своей речью на суде.

«Русским рабочим остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме как от одной нашей интеллигентной молодежи, — сказал он, между прочим. — Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской Империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значит и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа, *и она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока* (при этом П. А. поднял вверх руку) *подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда*»...



Н. Г. Чернышевский.

В этом месте возмущенный председатель суда, вскочив, закричал «молчать!» Но П. А., возвысив голос, продолжал: «И ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..».

Жандармы набросились на него, чтобы помешать закончить эту речь, которая произвела на многих потрясающее впечатление. Надо ли прибавлять, что как для подсудимых по этому процессу, так и вообще для революционеров того времени, да и последующих тяжелых периодов, речь П. Алексеева служила огромным утешением и вознаграждением за все испытанные нашими интеллигентными социалистами мучения и страдания. Нужно ли также напоминать, что ровно через сорок лет исполнилось пророчество Петра Алексеева, так как в 1917 г. от «мускулистых рук миллионов рабочего люда», связанного с передовыми революционерами-интеллигентами, «ярмо деспотизма разлетелось в прах».

V

НЕИСЧИСЛИМЫЕ ЖЕРТВЫ

Массовое хождение «в народ», начавшееся весной 1874 г., как известно, быстро закончилось почти полным разгромом, и сотни, если не тысячи, молодых людей оказались заключенными в тюрьмах. Благодаря попечительному начальству, уже через год большой контингент заключенных так или иначе расстался с жизнью. Не излишне, полагаю, привести здесь известные мне имена из этого длинного мартиролога: Коробов, рабочий, — кончил самоубийством в Литовском замке, Крутиков — повесился в Харьковской тюрьме, Леонтович — зарезался в Московской тюрьме, Львов — зарезался в доме предварительного заключения, Чижов, заболев в тюрьме, скончался, Ласточкин — умер в Петропавловской крепости, Поваренков, рабочий, — скончался в психиатрической больнице, Крылов, рабочий, — умер в Московской тюрьме, Митрофанов, рабочий — тоже, М. Никифоров — тоже, Запольский — зарезался.

Это далеко не полный перечень погибших в течение лишь одного 1875 г. В то время царское правительство еще не применяло смертной казни по отношению к «полити-

ческим преступникам», но господствовавший в местах их заключения режим был до того «мягок», что многие после перенесенных чрезвычайных физических и душевных страданий в течение года погибали в самом цветущем возрасте. Так отечески царское правительство расправлялось с мирными социалистами, вся вина которых, как мы видели, состояла в распространении, а то лишь в хранении у себя какой-нибудь подпольной книжки.

Среди этих преждевременно погибших было немало высоко талантливых, чрезвычайно крупных людей. Одной из наиболее тяжелых утрат являлась гибель Евг. Осип. Заславского, основателя первого южно-русского рабочего союза в Одессе. Этот, по единодушному отзыву всех знавших его, изумительно гуманный, необыкновенно отзывчивый, чуткий, чрезвычайно даровитый и образованный человек, целиком посвятивший себя исключительно деятельности среди городских рабочих, довольно скоро после ареста, произошедшего также в 1875 г., сошел с ума и затем скончался.

* * *

Все в том же 1875 г. состоялись два политических процесса, о которых не только теперешнее поколение социалистов, но и далеко не все современники осужденных тогда знали о них что-нибудь. Между тем уже одной своей тяжелой участью эти жертвы царского режима заслужили к себе внимание. Я имею в виду дело Дьякова, Сирякова и четырех других подсудимых, разбиравшееся летом 1875 г. в сенате. Газетные отчеты об этом, как и о всех аналогичных процессах, были крайне сухи и состояли, подобно приведенному мною выше, в воспроизведении донесений некоторых из числа самих же распропагандированных молодыми энтузиастами крестьян и рабочих, а в этом процессе еще и нижних военных чинов, которые сообщали властям, какие речи вели и какие запрещенные книжки читали являвшиеся к ним студенты.

Всего по этому делу судились следующие восемь человек: Дьяков, студент, 21 г., Сиряков, студ., 20 л., Герасимов, рабочий, 22 г., Александров, рабочий, 25 л., Янсон, фельдшерск. ученик, 24 г., Зайцев, рядовой, 29 л., Ельцов, студ., 22 г. и Вечеславов, студ. 20 л. Суд особ. прис. правит. сената постановил: Дьякова сослать в каторжные работы на десять лет, Герасимова и Александрова на девять лет каждого, Сирякова — на шесть, Зайцева и Янсона, по лишении всех прав, отдать в воен.-исправ. роты на год и девять мес., Ельцова и Вечеславова — подвергнуть аресту.

Не довольствуясь осуждением молодых людей по совершенным пустякам на каторгу, их затем, словно закоренелых преступников, отправили в знаменитую в те времена центральную одиночную Ново-Борисоглебскую каторжную тюрьму (под Харьковом), приобревшую своим ужасным режимом репутацию, аналогичную Алексеевскому Равелину и Шлиссельбургской крепости [1]). Неудивительно, поэтому, что едва достигший совершеннолетия, «главный преступник» Дьяков, прекрасный юноша, схватив туберкулез, там же скончался. Александров и Герасимов [2]), выросшие в воспитательных домах, после шестилетнего пребывания в Борисоглебской тюрьме были отправлены на Кару доканчивать срок наказания.

* * *

Еще печальнее была судьба второго произошедшего в сентябре того же года процесса: его постигло полное забвение, так что даже в известной книге Б. Базилевского (Богучарского) «Государственные преступления в России в XIX в.» о нем совершенно не упомянуто и лишь в «За сто лет» В. Бурцева этому делу посвящены две строчки петита: «СПБ. сент. 11, дело Донецкого, приговорен — 5 л. кат. (сошел с ума в тюрьме)». В этих немногих словах — ужасная трагедия.

Насколько могу припомнить, единственным источником, кроме «Вперeда», откуда можно узнать об этом ни за что погубленном юноше, являются воспоминания Вл. Дебогория-

[1]) См. брош. «Заживо погребенные» Долгушина и «Надгробное слово Александру II» Свитыча.

[2]) Его чрезвычайно интересные записки под загл. «Жизнь русского рабочего полвека тому назад», изд. «Красной Нивы». М. 1923 г. Очень рекомендую эту брошюру.

Мокриевича, также, кажется, ставшие библиографической редкостью. Поэтому, полагаю, читатель не посетует на меня за наивозможно лаконичную передачу всего изложенного там о Донецком.

Дебогорий-Мокриевич сообщает, как, очутившись в начале 70-х годов вместе с бывшим киев. студ. Донецким в Швейцарии, они надумали «сделаться рабочими и войти в организацию Интернационала». С этой целью они отправились искать работу к Сен-Готарду, где тогда рыли тоннель и прокладывалась железная дорога. Но вследствие огромного стечения рабочих им не удалось там пристроиться. После продолжительного пешего путешествия они добрались до Женевы, где при помощи товарищей-эмигрантов они пристроились в качестве землекопов с платою по 3 фр. (1 р. 20 к.) в день. Донецкий не был привычен к столь тяжелому физическому труду, почему выбивался из сил: «Я читал в его глазах страдание, — сообщает Мокриевич, — тяжело было смотреть на его изнуренное, залитое потом лицо. Земляная пыль набивалась в глаза, ноздри, а летнее солнце невыносимо жгло сверху. Но он не унывал и скоро стал даже привыкать к работе».

Но однажды, когда он один возвращался с работы домой, на него напали два неизвестных «джентльмена», которые самым грубым образом обошлись с ним, после чего поволокли его в кутузку, где он переночевал; в виду отсутствия у него, как эмигранта, «permis de sejour'а» (вида на жительство), ему предписано было немедленно выехать из Женевы.

Такие случаи, рисовавшие «свободу» этой демократической республики, побудили наших двух анархистов отказаться от желания «слиться с западно-европейским рабочим», после чего они решили возвратиться в Россию, но так как Мокриевич предпринял затем предварительно ряд поездок, то они разделились с Донецким.

Оставшийся позже Мокриевича в Женеве Донецкий вернулся в Россию с чужим паспортом. Отдав на станции на хранение станционному жандарму свой чемодан, он пешком пошел в находившуюся невдалеке д. Луку, где жил Дебогорий-Мокриевич со своими родителями. Ввиду холодного ноябрьского утра он закутался находившимся у него одеялом, а для сокращения пути пошел по рельсам. Встретившиеся ему рабочие с дорожным мастером, обратившим на него внимание, вздумали его арестовать, но, бросив узелок и одеяло, он пустился бежать в прилегавший лес, где, споткнувшись, упал: его настигли и повели к становому. Последний велел обыскать его, при чем в узелке нашли пакет печатных листков, оказавшихся прокламацией «К русским революционерам», изданной «Общиной цюрихских анархистов» [1]). Такими же листками оказался набитым оставленный на станции чемодан его.

Таково было «преступление» несчастного Донецкого. После двухлетнего предварительного заключения он был предан суду особ. прис. сената, который за одно лишь хранение прокламаций приговорил его к пяти годам каторжных работ; затем он был отправлен в ужасную Борисоглебскую центральную одиночную тюрьму, откуда лишь в 1881 г., т.-е. восемь лет спустя после ареста, его, как умалишенного, перевезли в психиатрическую лечебницу, в которой вскоре затем он скончался...

Нужны ли еще перечисления отеческого попечения царского правительства об увлекшейся «химерическими мечтами» учащейся молодежи?

VI

НОВЫЕ ПОДПОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПЕЧАТИ

С самого возникновения в начале 70-х годов массового движения «в народ», как известно, обозначились два направления — лавристское и бакунистское, при чем первое сперва преобладало, имело больше сторонников и располагало большими материальными средствами. Поэтому лавристы в состоянии были сразу приступить к изданию хорошо поставленного обширного органа «Вперед», первый номер которого появился уже в августе 1873 г.; между тем как бакунисты в течение долгого времени довольствовались лишь выпуском книг и брошюр: «Государственность и анархия», «Историч. развитие интернационала», «Анархия по Прудону» и др.

Но в 1875 г. группа старых эмигрантов-бакунистов, — Ралли, Эльсниц, Жуковский, — об'единившись с незадолго

[1]) Ралли, Эльсниц, Гольштейн.

пред тем прибывшими в Швейцарию из уцелевших от разгрома чайковцев, — Аксельродом, Клеменцом, Морозовым, — надумала издавать популярный орган под названием «Работник». Он довольно умело редактировался, был содержателен, общедоступен, почему пользовался значительным успехом.

Совсем нельзя того же сказать о втором новом органе, появившемся в том же знаменательном 1875 г., — я имею в виду «Набат»: он был встречен сторонниками обоих направлений крайне недружелюбно, что продолжалось вплоть до его прекращения в 1881 г.

Причиной нерасположения к новому органу было господствовавшее в те времена враждебное отношение к направлению, которое выражал «Набат»: как известно, главный его редактор, П. Ткачев, являлся проповедником якобинско-бланкистской тактики: это он неоднократно излагал еще до представившейся ему возможности приступить к изданию названного органа в двух брошюрах — «Анархия мысли» (в 1873 г.) и в «Задачах революционной пропаганды в России» (1874 г.), в ответ на которые тогда же Лавров выпустил чрезвычайно интересную брошюру — «Русской социально-революционной молодежи». Так как взгляды и тактика, которые проповедывал Ткачев, повидимому, еще не потеряли у нас интереса, то постараюсь в немногих словах напомнить здесь о них.

Приверженцы существовавших в России в первой половине 70-х годов революционных направлений, как известно, являлись сторонниками анархических взглядов как по поводу будущего общественного строя, так и организационных приемов, тактики, взаимных между собою отношений членов и т. д.. В качестве социалистов они целиком признавали все постановления существовавшего тогда первого интернационального союза рабочих, основным принципом которого было «освобождение рабочих должно быть делом самого рабочего класса». Поэтому, сторонники господствовавших тогда у нас направлений для осуществления своих стремлений признавали необходимым заниматься предварительно пропагандой и агитацией среди трудящихся масс, в частности, — в виду преобладающего в России земледелия и, наоборот, ничтожного развития промышленности, — главным

образом, среди крестьян. Что касается формы организации кружков, то после возмутительных последствий практиковавшейся Нечаевым иерархии, — всюду между членами их установились не только вполне товарищеские, а прямо братские отношения, основанные на взаимном доверии, уважении, дружбе.

Между тем, Ткачев, с момента прибытия в эмиграцию, занял исключительное положение: он начал проповедывать такие взгляды, которые шли в полный разрез с уже крепко установившимися среди передовой части нашей молодежи вообще, и революционеров, в частности, обычаями, привычками. Он считал ребячеством, глупостями задачи, стремления лавристов и бакунистов, отрицал пропаганду социализма, а также агитацию за осуществление народных стремлений, находил нелепым хождение в народ и т. д. Единственно целесообразной и плодотворной деятельностью, на которой, по его мнению, необходимо было сосредоточить все силы и все внимание, которой следовало все подчинить, всем пожертвовать, было — захват власти революционерами-интеллигентами с тем, чтобы затем путем декретов осчастливить трудящиеся массы, предоставив им во владение всю землю, орудия производства и т. п. Для осуществления такого переворота Ткачев находил вполне достаточным существовавший тогда крайне незначительный контингент интеллигентов-революционеров, к которым, по его убеждению, при малейшей попытке к восстанию, обязательно примкнут все недовольные, а таковы в России, — за ничтожным исключением, — почти все трудящиеся. Но необходимо как можно скорее осуществить эту задачу, так как, мол, пока «государства» никто у нас не поддерживает, — «оно висит в воздухе» [1]), — у нас нет ни буржуазии, ни рабочих. Поэтому, если будет упущен благоприятный ныне момент, у нас также установятся западно-европейские буржуазные отношения, и тогда революционерам-заговорщикам будет уже чрезвычайно трудно, а то и совершенно невозможно, захватить в свои руки власть и установить наилучшее из возможных

[1]) Известно, что по этому поводу Энгельс на адресованное ему Ткачевым «Открытое письмо» ответил, что русское государство имеет под собою довольно солидное основание, и не оно, а сам Ткачев висит в воздухе.

эльдорадо (земной рай). Ввиду этого вполне понятно, почему лозунгом своего органа, бившего в «Набат», Ткачев избрал: «Теперь, или очень поздно, быть может, никогда».

«Прогресс,—заявлял Ткачев,—укрепляет все более и более рабство, усовершенствуя орудия угнетения, усиливая правящие классы и затрудняя борьбу против них». Поэтому, восклицал он: «пришло время ударить в набат». «Смотрите, огонь экономического прогресса уже коснулся коренных основ нашей народной жизни. Под его влиянием уже разрушаются старые формы общины... Нарождаются формы буржуазной жизни. Каждый день приносит нам новых врагов... Экономический прогресс дает государственным формам ту силу и крепость, которых пока еще в них нет».

Поэтому революция в России должна быть совершена *немедленно*, пока капитализм еще не развился, или она станет *невозможна*.

«Народ, сам себе предоставленный, не может устроить своей судьбы сообразно своим реальным потребностям, не может осуществить в жизни идей социальной революции... ни в настоящем, ни в будущем».

«Великую задачу нашей революции,—писал он,—могут осуществить только люди, понимающие ее и искренно стремящиеся к ее разрешению, т.-е. умственно и нравственно развитое меньшинство, которое и должно завладеть властью во имя революции».

Ткачев рекомендовал заговорщический метод не только русским революционерам, но и западно-европейским, он высмеивал легальные организации и, в частности, I Интернационал.

Естественно также, что, предлагая революционной молодежи столь разумную, целесообразную задачу, наш якобинец настаивал на введении самой строгой иерархической организации с клятвами в верности, беспрекословным подчинением и жестокими расправами в случаях малейших отступлений от драконовского устава, словом — Ткачев желал повторить столь печально окончившуюся нечаевщину, к сторонникам которой он принадлежал [1]).

[1]) См. в конце наст. Сборника отзыв Маркса об «Открытом письме» к Энгельсу родоначальника нашего якобинизма, которого теперь кое-кто стремиться возвеличить.

Теперь, полагаю, современным читателям будет понятно, почему столь враждебно отнеслись социалисты всех оттенков к иезуитской проповеди Ткачева: с ним повторилось то, что за несколько лет перед тем произошло с его единомышленником, Нечаевым [1]), также и Ткачев не во время стал бить в набат, почему революционеры 70-х годов не только не проявили готовности поторопиться с осуществлением его лозунга, но награждали его смехом, сарказмом и даже презрением, как какого-то жалкого юродивого. Между тем, несмотря на полную вздорность его проповеди, нельзя не признать, что он являлся одним из наиболее талантливых революционных публицистов той эпохи. Статьи его были всегда хлестки, остроумны, едки, и все же, на тогдашнюю молодежь не имели никакого влияния, почему его проповедь захвата власти не причинила ни малейшего вреда, и во всей России едва ли привлекла больше полудесятка приверженцев. Но с 1880 г., когда «Набат» стал хиреть и еле влачил существование, редко выходя в свет, среди народовольцев появилось несколько его единомышленников, открыто, однако тоже открещивавшихся от солидарности с ним.

VII

ПОЛУВЕКОВЫЕ ГОДОВЩИНЫ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»

В жизни каждого из нас 1875-й год также оказался знаменательным: Г. В. Плеханов в этом году завел первое знакомство с рабочим, который произвел на него сильное впечатление. Напомню его собственный рассказ: «Первый рабочий-революционер, с которым столкнула меня судьба, — сообщает Г. В. в статье «Русский рабочий в революционном движении», — был довольно известный когда-то в русской революционной среде Митрофанов, впоследствии умерший в тюрьме от чахотки. Я познакомился с ним у студентов Медицинской Академии братьев Х. в конце 1875 года. Митрофанов был уже тогда «нелегальным» и жил у братьев Х., скрываясь от полиции. Как и все студенты-революционеры

[1]) Подробно о нем — в № 2 нашего «Сборника».

того времени, я, конечно, был большим народолюбцем и собирался «итти в народ», понятие о котором было у меня, однако, — опять-таки как и у всех нас, студентов-революционеров того времени, — очень смутным и неопределенным. Любя «народ», я знал его очень мало, а лучше сказать, не знал совсем, хотя и вырос в деревне. Когда я в первый раз встретился с Митрофановым и узнал, что он рабочий, т.-е. один из представителей «народа», в моей душе шевельнулось смешанное чувство жалости и какой-то неловкости, точно будто я в чем-нибудь перед ним провинился. Мне очень хотелось заговорить с ним, но в то же время я решительно не знал, как и в каких выражениях стану с ним разговаривать. Мне казалось, что язык нашего брата студента будет совершенно непонятен этому «сыну народа», и что в разговоре с ним я должен держаться того нелепого, переряженного слога, которым были написаны многие из наших революционных брошюр. К счастью, Митрофанов вывел меня из затруднения. Он заговорил первый, и, не помню уж как, разговор перешел на революционную литературу. Я увидел, что мой собеседник читал не одни только ряженые брошюры. Ему знакомы были сочинения Чернышевского, Бакунина, Лаврова, и он умел отнестись к ним критически. Журнал и газета «Вперед» казались ему недостаточно революционными. Он склонялся к «бунтарству» и отстаивал этот способ действий с помощью тех же самых доводов, которые приводились обыкновенно «бунтарями»-студентами. Удивлению моему не было границ. Личность Митрофанова решительно не входила в узкие рамки моего сентиментального представления о «народе». Зато тем более заинтересовала она меня. Я стал часто встречаться с Митрофановым и жадно расспрашивал его об его революционной деятельности в народной среде. Из всех слоев народа ближе всего ко мне, по моему тогдашнему положению, были, конечно, петербургские рабочие, и вот я засыпал своего нового знакомого вопросами о том, что представляют они собою. Митрофанов относился к ним отрицательно. Из его слов выходило, что настоящий народ, это — крестьянство, городские же рабочие в значительной степени развращены и проникнуты буржуазным духом, вследствие чего революционеры должны итти в деревню. Подобные отзывы, вполне соответствовавшие

нашим собственным представлениям о народе, не могли возбудить во мне склонности к ближайшему знакомству с петербургской рабочей средой, и в течение нескольких месяцев Митрофанов оставался единственным, лично известным мне, рабочим. А между тем, в то время велась в этой среде довольно деятельная пропаганда, в которой и мне пришлось вскоре принять посильное участие».

Через рабочих Г. В. познакомился с членами тогда же начавшего организовываться кружка северных народников («троглодитов» или «землевольцев»).

Зимой того же года познакомился с ним П. Б. Аксельрод, незадолго пред тем приехавший нелегально из Швейцарии, куда он эмигрировал после разразившегося осенью предшествовавшего года разгрома.

Возвращение в Россию для Аксельрода было очень крупным фактом в его жизни. Вызван был этот приезд двумя мною в начале настоящей статьи подробно изложенными событиями: герцеговинским восстанием и волнениями чигиринских крестьян. В опубликованных Аксельродом недавно воспоминаниях «Из пережитого и передуманного» он сообщает:

«Летом 1875 г. у нас [1]) было решено, что кто-нибудь должен поехать из Женевы в Россию. Выбор пал на меня». Целью этой поездки было — «содействовать развитию добровольческого движения в революционной среде». Относительно же волнений в Чигиринском уезде указанная женевская группа решила «обратиться к тамошним крестьянам с воззванием, которое об'яснило бы им, что напрасно надеются они на царя, так как он держит сторону помещиков. Чтобы усилить впечатление от нашего воззвания, мы решили напечатать его золотыми буквами, т.-е. придать ему внешний вид той самой «золотой грамоты», которой мужики ждали от царя» (стр. 145—146).

Первый революционер, с которым по приезде на юг встретился этот делегат, был нелегальный М. Ф. Фроленко. Выслушав заграничного делегата, он заявил: «Людей у нас

[1]) П. Б. имеет в виду проживавших в Швейцарии единомышленников, в число которых входили Судзиловский (он же Россель), Н. Жебунев и др. *Л. Д.*

мало, — нужно у себя работать; где нам за границу отряды посылать!».

Так же отрицательно Фроленко и его товарищи отнеслись к плану заграничников распространять среди чигиринских крестьян «золотые прокламации». После этого и сам Аксельрод охладел к своей миссии.

Чтобы ознакомиться с положением революционного движения в России, он отправился на север, в Москву и Петербург, где познакомился с некоторыми видными тогда деятелями, в том числе — с Софьей Перовской, Натансоном, Германом Лопатиным.

«Между членами кружка [1]), — сообщает он, — чувствовалась братская близость, та сердечность и простота отношений, которая бывает порой в хорошей дружной семье... Все жили лишь одной заботой — собрать вновь рассеянные силы и возобновить революционную работу, которой были нанесены столь тяжелые удары полицейскими преследованиями».

Об упомянутом выше знакомстве его с Плехановым П. Б. сообщает следующее:

«Как нелегального, меня устроили однажды для ночевки в комнате студента-горняка 1-го или 2-го курса. Юноша произвел на меня приятное впечатление. Говорил он хорошо, деловито, просто и вместе с тем весьма литературно. Чувствовалась в нем большая любознательность, привычка читать, думать, работать.

Этот студент был Георгий Плеханов.

Он мечтал в это время окончить Горный Институт и поехать за границу усовершенствоваться в химии. Мне этот план не понравился.

«Это — роскошь, — говорил я молодому человеку: — Если вы будете так долго совершенствоваться в химии, когда же начнете работать для революции?».

В нашем кружке я рассказал о встрече с горняком и отрекомендовал Плеханова, как молодого человека, на которого надо обратить внимание и которого следует привлечь к революционному делу» (стр. 156—157).

---

[1]) Это не был более или менее организованный кружок, а лишь группа близких товарищей. *Л. Д.*

* *
*

Для Веры Ивановны Засулич указанный год также был знаменателен.

Как известно, уже задолго до 1875 г. она была арестована по Нечаевскому делу, провела около двух лет в Петропавловской крепости, затем была отправлена административно на север, где ее переводили с места на место в течение нескольких лет. Наконец, весной 1875 года ей дозволено было для изучения акушерства переехать в Харьков, конечно, под надзор полиции. Но вскоре она там встретилась с некоторыми бунтарями, членами упомянутого выше киевского кружка, быстро сошлась с ними, самовольно ушла из-под надзора полиции и, став нелегальной, осенью того же года отправилась вместе со Стефановичем и Бохановским «в народ», при чем изображала собою жену одного из них. занимаясь «хозяйством» в нанятой ими избе. О том, как она, великоросска, справлялась с хозяйством среди украинцев, очень живо изобразил в своих воспоминаниях М. Ф. Фроленко на страницах сборника «Каторга и Ссылка» (№ 3 (10)), куда и отсылаю читателя.

В ту же зиму я познакомился и вскоре затем подружился на всю дальнейшую жизнь с Верой Ивановной и Я. В. Стефановичем. Я также примкнул к киевским бунтарям в 1875 г. Но не этим лишь памятен и для меня этот год: еще весной я отправился «в народ», где пробыл до осени, затем также собирался в качестве волонтера на Балканский полуостров, и только вышеизложенные неблагоприятные известия о тамошних трудностях для непривычных к местным условиям людей остановили мое намерение.

Убедившись в невозможности стать волонтером, я поступил в армию в качестве вольноопределяющегося. Тогда же, как упомянуто выше, я сошелся с бунтарями.

Наконец, также и для пятого члена группы «Освобождение Труда», для В. Н. Игнатова 1875-й г. явился знаменательным: он тоже в этом году примкнул к происходившему тогда революционному движению, отправился «в народ», затем сошелся с «троглодитами» и свою дальнейшую короткую жизнь целиком посвятил интересам трудящихся масс.

VIII

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОБЩЕСТВА СЕВЕРНЫХ НАРОДНИКОВ

Мы видели, что 1875-й год был очень обилен разного рода, — преимущественно трагического характера, — событиями и происшествиями, о которых в виду полувековой их годовщины необходимо вспомнить. Но, кроме перечисленных мною фактов, следует указать еще на одно чрезвычайно важное обстоятельство, проявившееся в том же году.

Мне уже неоднократно приходилось упоминать о постигшем в предшествовавшем году массовое движение в народ разгроме, в результате которого несколько сот молодых людей очутилось, при ужасных условиях, в разных местах заключения. Этот разгром вызвал среди и без того не особенно храброго тогдашнего нашего общества сильнейшую панику. Напуганные подданные царя боялись чем-либо помогать немногим уцелевшим от разгрома революционерам.

Лишенные материальных средств, пристанищ, видов на жительство, вынужденные, поэтому, метаться из стороны в сторону, разыскиваемые полицией революционеры попадались в ее цепкие лапы. Положение «нелегальных» было крайне плачевным. Повышенное настроение, охватившее революционеров в предшествовавшие два года, значительно понизилось, ослабели энтузиазм и готовность на безграничное самопожертвование. Неудивительно, поэтому, что из менее устойчивых лиц, особенно сильно поддававшихся влиянию печально сложившихся в конце 1874 г. обстоятельств, одни готовы были пойти на всякие компромиссы или совсем устранялись от дальнейшего участия в движении, а другие и вовсе открещивались от недавнего своего прошлого, становясь ренегатами и предателями.

Но в этот же тяжелый период, под влиянием общих и частных причин, породивших движение в народ 1873—1874 г.г., появились новые адепты социализма, охваченные почти теми же чувствами и настроениями, какие были у их предшественников: они стремились вступить на практическое поприще, но, понятно, не желали повторять промахи

и ошибки первых пилигримов в народ. В этом отношении огромную пользу своим опытом, указаниями и предостережениями принесли некоторые из уцелевших «разыскиваемых», «нелегальных» или выпущенные за отсутствием серьезных улик из тюрем поднадзорные. Постепенно в университетских городах, в особенности же в Петербурге, начали устраиваться, — конечно, нелегально, — собрания, на которых подвергались обсуждению причины, вызвавшие разгром массового движения в народ. Много поучительного извлекали вновь нарождавшиеся сторонники революционного движения из этих дискуссий. Особенно часто стали устраиваться такие совещания, начиная с осени следующего, т. е. 1875 года в Петербурге, куда с'езжались из провинции, как молодые, так и некоторые из уцелевших от разгрома «старые» участники движения прежних лет.

Зимой все того же года такие сходки, между прочим, впервые начали посещать молодые студенты Г. В. Плеханов и А. Д. Михайлов [1]). Тогда же на этой арене появились вернувшиеся из ссылки М. А. Натансон и Дм. А. Лизогуб, связанный в предшествовавшем году подпиской о невыезде из своей деревни в Черниговской губ. и получивший кратковременный отпуск в столицу. В связи со всем вышеизложенным, встреча этих двух лиц в Петербурге имела значительные последствия для дальнейшего хода нашего революционного движения.

Дело в том, что Натансон тогда пользовался заслуженной репутацией выдающегося организатора, а Дм. Лизогуб был обладателем крупного поместья, оценивавшегося в 200.000 руб., которое он целиком предоставил революционному движению. Сговорившись с ним насчет получения от него материальных средств, Натансон немедленно принялся за привлечение скрывавшихся в разных захолустьях и бежавших за границу революционеров, а также за об'единение вновь нарождавшихся отдельных разрозненных групп и лиц, в чем, само собою понятно, ему оказывали немалую пользу предоставленные Лизогубом в его распоряжение значительные материальные средства. Этим было зимой 1875—

[1]) См. упоминания об этом у Плеханова в «Рус. раб. в рев. движ.», а также в его «Воспом. об Ал. Михайлове».

1876 года заложено основание Северного народнического общества, принявшего через три года название «землевольцев», которые, как известно, сыграли огромную роль в истории нашего революционного движения.

Заканчивая далеко неполный перечень пятидесятилетий, напоминаю, что по своему значению 1875-й год, как и следующий, является переходным от летучей пропаганды и лавризма к поселенческому периоду и агитации на почве назревших народных требований. В течение этого, а также и 1876 года, производился, как мы видели, всесторонний разбор происшедших в предшествовавшие годы неудач, рассматривались причины последних, намечались новые приемы деятельности и складывались иные, чем бывшие раньше, взаимные отношения между членами революционных кружков. Таким образом и в этом отношении 1875-й год занимает особенное положение в истории нашего революционного движения [1]).

---

[1]) Более подробно эту же тему я надеюсь развить в приготовляемой мною к печати книжке о «Семидесятниках», отрывком из которой является настоящий очерк.

Р. М. ПЛЕХАНОВА

ПЕРИФЕРИЙНЫЙ КРУЖОК «ЗЕМЛИ И ВОЛИ»

(отрывок из воспоминаний)

I

Рассказ об основании и развитии одного из периферийных кружков, который является темой настоящего отрывка из моих воспоминаний, так тесно связан с именами Плеханова и А. Д. Михайлова, что я нахожу необходимым, прежде всего, сказать несколько слов о моем знакомстве с этими выдающимися революционерами и закадычными друзьями в описываемую мною эпоху.

В первый раз услышала я о Плеханове в доме Корниловых от Любови Ивановны и Александры Ивановны, известных чайковок, привлекавшихся по процессу 193-х. С большой похвалой эти милые сестры, — горячо преданные революционному движению и много делавшие для облегчения участи заключенных и ссыльных, — отзывались о молодом студенте «Жорже», очень любимом и популярном в рабочих кружках Петербурга.

Это было в 1876 г., осенью. Живо сочувствуя пропаганде среди рабочих и имея желание посвятить себя этому делу, я очень заинтересовалась рассказами сестер Корниловых и мечтала встретиться с таинственным «Жоржем», фамилия которого мне не была сообщена, и я, конечно, не спрашивала ее из конспиративных соображений.

Наступило 6-е декабря. Из газет и рассказов молодежи я узнала о демонстрации на Казанской площади, что «Жорж» произнес пламенную противоправительственную речь, что студентка Шефтель кричала: «За мной вперед!», а молодой рабочий держал знамя с надписью: «Земля и Воля».

Мы, революционно настроенное студенчество, были в восторге от этого события, до слез жалели, что никто из нас не знал своевременно об этой демонстрации, почему мы и не приняли в ней участия. Хотя мои друзья и кружок саморазвития, к которому я принадлежала, были пропитаны лавристским духом и к политическим выступлениям относились не очень доброжелательно, но обаяние от демонстрации было сильное у нас. Смелость участников ее чрезвычайно поразила наше молодое воображение.

Фамилия Плеханова мне тогда была уже знакома: я знала его жену Наталию Александровну, очень выдававшуюся в нашей студенческой среде своим радикализмом, смелостью и политическим развитием. Я вспомнила также, что незадолго до демонстрации встретила супругов Плехановых в студенческой библиотеке, и образ стройного молодого человека, с интеллигентным лбом, зачесанными назад длинными волосами каштанового цвета и темно-русой бородкой, запечатлелся в моей памяти. Но это впечатление было мимолетное.

Осенью 1877 г. я встретила Г. В. на вечеринке, как говорили тогда, «с выпущенными», устроенной в честь освобожденных из заключения участников и участниц процесса 193-х. Вечеринка эта состоялась на квартире «двенадцати спящих дев», женской студенческой коммуны, в которой было у меня много приятельниц.

На этот раз, мой друг Теофилия Васильевна Полляк, находившаяся в хороших отношениях с Наталией Александровной и встречавшая у нее Г. В., хотела мне его представить, но, чувствуя себя, не знаю почему, очень взволнованной, я отклонила это предложение.

Плеханов и его жизнь меня очень интересовали, хотя, став убежденной лавристкой, я не сочувствовала его бунтарским взглядам. Теофилия, знавшая интимную жизнь Плеханова и его скитания, рассказывала мне много о его неблагоприятных семейных условиях и беззаветной его преданности делу. Будучи нелегальным скитальцем, он приходил к Наталии Александровне плохо одетый, голодный, в то время, когда в кармане его бывали крупные общественные суммы.

Его деятельная, кипучая жизнь, постоянные занятия пропагандой и агитацией требовали большой затраты сил



Р. М. Боград-Плеханова.

и энергии. Между тем он плохо питался и часто, не имея своего угла, проводил ночи, скитаясь по улицам, не рискуя присесть на скамейку, чтобы не обратить на себя внимание какого-либо полицейского. На замечания жены и Теофилии Полляк, что он своей бережливостью и излишней щепетильностью губит свои силы и рискует в виду своей неизящной внешности попасть в руки полиции, Георгий Валентинович отвечал, что, хотя организация ему не отказывает в необходимом, он сам определил известный минимум для своих личных затрат и этой черты не хочет переступить.

С сияющими восторгом глазами говорила мне Теофилия об этом акте щепетильности и ригоризма Плеханова. Она же мне, еще задолго до моего личного с ним знакомства, рассказывала о его рыцарском поведении по отношению к Наталии Александровне и ее дочери: Плеханов усыновил ребенка, заботился о нем — поскольку мог, будучи сам скитальцем, лишенным средств — до устройства его у родителей ее отца в Орле.

Говорили мне также и мои приятели, члены лавристского кружка — Антон Таксис, Семеновский и др., что Плеханов очень способный юноша, чрезвычайно начитанный, что он обладает блестящим даром слова и пр., но, по их словам, он, как все бунтари — отличается слишком большой горячностью и легковерием.

Осенью или зимой 1877 г. мне в первый раз пришлось услышать Плеханова во время одной из его бурных схваток с лавристами. Это происходило на сходке, состоявшейся в квартире нашей студенческой коммуны в доме Николаева на 7 улице Песков, сплошь населенной студентами, студентками и их семьями. Председателем собрания был С. А. Вьенцковский, величавшийся в революционных кругах «паном Вьенцковским». Это был очень блестящий молодой поляк, высокого роста, красивой внешности, с изящными барскими манерами, кажется, незадолго перед тем окончивший Технологический Институт. По-русски он говорил хорошо, но с сильным польским акцентом, был очень образован, остроумен и интересен в разговоре. Он стоял особенно близко к польской революционной молодежи, от которой часто являлся в аналогичные русские круги в качестве парламентера.

Я его знала довольно хорошо, так как в это время он был женихом моей приятельницы, Анны Михайловны Маркевич, у которой я часто с ним встречалась. Мне всегда казалось, что к русским он относился свысока, считая польскую цивилизацию более высокой и польское революционное движение более организованным и более глубоким. Он настойчиво приглашал меня и мою подругу ехать в Польшу, чтобы стать там в ряды местных революционных организаций.

Среди русских революционеров отношение к нему было в общем недурное, но несколько недоверчивое, не в смысле революционной выдержанности, а скорей находили небольшой элемент хлестаковщины в его рассказах о шири и глубине польского революционного движения. Вообще же, повторяю, пан Вьенцковский был очень интересный и в личных отношениях обаятельный молодой человек.

Другими членами президиума на упомянутой сходке были лавристы — Рагуза [1]) и Семеновский. Мне смутно припоминается образ первого: высокая, неуклюжая, слегка сутуловатая фигура с медвежеобразными конечностями и походкой. В лавристском кругу его считали дельным, неглупым товарищем, но не очень устойчивым во взглядах. Над его манерой спорить добродушно посмеивались, так как в начале спора он решительно высказывался против тезисов противника, говоря, сильно заикаясь: «я, я...с...ва.ва.вами совершенно не согласен», а в конце спора, соглашаясь с противником и не менее заикаясь, говорил: «я, я...с.с...вами совершенно с.с.с.согласен».

Третий член президиума — Семеновский играл среди лавристов крупную роль. Это был очень интеллигентный и образованный молодой человек, со стройным лавристским миросозерцанием, талантливый пропагандист и организатор молодежи. Квартира его являлась центром, притягивавшим революционную молодежь лавристского направления. Очень убежденной, деятельной и влиятельной личностью в этом кругу была также жена его — женщина-врач Брайкевич-Семеновская.

[1]) Не знаю, настоящее ли это имя известного лавриста средины 70-х годов или псевдоним.

После доклада Семеновского, представлявшего, в сущности, лишь изложение давно известной программы Лаврова, начались бурные дебаты. Главными оппонентами выступили бунтари, а среди них наибольшей страстностью выделялся Плеханов.

Кстати, не знаю, это ли самое выступление описывает Н. С. Русанов в своих недавно появившихся очень интересных воспоминаниях, но, во всяком случае, думаю, что оно относится к тому же периоду. Внешний образ, приданный Н. С. Русановым Плеханову того времени, совершенно не соответствует действительности, и длинный, пестрый балахон, надетый автором на Плеханова, и сжатые в горсточки руки, и энергичное раздвигание публики, — все это несомненный продукт фантазии или плохой памяти Н. С. Русанова: в ранней молодости, как и в старости, Георгий Валентинович не любил рядиться в оригинальные, пестрые костюмы. Он всегда имел приличный, не кричащий внешний вид, как в периоды большой материальной нужды, так и в те, увы, короткие промежутки, когда средства к жизни притекали широко. Жесты его во время речей и разговоров были всегда простые, а внешность Г. В. имел изящную, главным образом, благодаря врожденной статной фигуре. Не думаю также, чтобы возгласы рабочих, увидевших своего любимого «оратора», соответствовали той картине, которую рисует Русанов.

Первая речь Плеханова, которую мне пришлось услышать, отличалась стройным, логичным изложением бакунинских взглядов, горячим убеждением, что одна социалистическая пропаганда не достаточна для поднятия народных масс, что нужна агитация на почве непосредственных интересов крестьян, необходимо организовать последних для восстания против помещиков и всякого начальства. Для этого надо приучать крестьян к вооруженной борьбе.

В отдельных словесных схватках Плеханов доводил своих оппонентов сократовским методом до крайнего смущения и растерянности, что вызывало смех в некоторой части аудитории. Хотя, в качестве лавристки, я принадлежала к его противникам, тем не менее он произвел на меня впечатление человека чрезвычайно талантливого, очень начитанного и беззаветно преданного своим убеждениям.

Припоминается мне такой эпизод: на этой сходке были также Н. А. Плеханова и Елизавета Николаевна Ковальская. Наталию Александровну, которая была несколькими годами старше своего мужа и относилась к нему с материнским чувством, видимо, сильно волновал задорный тон Г. В., — она все восклицала: «уж этот Жорж! уж этот Жорж!». Елизавета Николаевна ее успокаивала, стараясь ей доказать, что ничего плохого в горячности Плеханова нет, что в нем говорит его темперамент.

* *
*

В ту же зиму мне суждено было близко познакомиться с Георгием Валентиновичем. В нашу коммуну, в которую входили: Софья Павловна Чудновская, Софья Николаевна Присецкая-Богомолец, Теофилия Полляк и я, привели однажды скрывавшегося от преследования полиции и, сколько мне помнится, бежавшего перед этим из ссылки рабочего.

Нас просили приютить его на время. Думаю, что это был Митрофанов, о котором Г. В. Плеханов сообщает в своей брошюре: «Русский рабочий в революционном движении», и который, благодаря своей находчивости, спас Георгия Валентиновича от ареста на Казанской площади.

Этот рабочий поразил нас с первого раза своими умственными и нравственными чертами. Невысокого роста, некрасивый, скуластый, он был изысканно одет, с цилиндром на голове. Наша прислуга, деревенская девушка Саша — молодая, остроумная стрекоза — сейчас же решила, что это не барин, а мужик, и сразу отнеслась к нему насмешливо-приветливо.

В первый же день своего прихода наш гость попросил книгу почитать, но что мы ему ни предлагали, все, к нашему великому удивлению, оказывалось, было уже им прочитано. Наконец, он остановился на биологии Спенсера, единственной книге из нашей библиотеки, явившейся для него новой. Из первого моего с ним разговора для меня выяснилось, что он начитаннее и в известном направлении образованнее нас, студенток, считавших себя «развитыми». Зачитывался наш гость до утра, а вставал, к неудовольствию Саши, в полдень. «Ишь, какой барин!» — восклицала она, готовя для него в неурочное время утренний чай.

Насколько могу припомнить, с просьбой о предоставлении приюта разыскиваемому нелегальному рабочему на нашей квартире обратился Плеханов через чье-то посредство к Полляк и ко мне. Остальные члены нашей маленькой студенческой семьи охотно согласились, и я с Полляк уступили гостю нашу комнату. Г. В. Плеханов, также сильно разыскиваемый в то время, вскоре явился к своему приятелю. Тогда мы впервые с ним познакомились. У нас тотчас же завязался горячий спор, длившийся до поздней ночи.

От него я впервые узнала о Чигиринском восстании: Г. В. рассказывал о нем с увлечением, энтузиазмом. Я же отнеслась более чем скептически как к самому факту, так и к его значению. Вообще, мы, лавристы, относились очень отрицательно к рассказам бунтарей, в особенности «троглодитов», как в революционной среде называли членов Северной организации народников, вскоре затем принявших название землевольцев. Мы были убеждены, что в своих рассказах они, по принципу, непомерно раздувают факты и даже изобретают их, чтоб поражать воображение молодежи и увлекать ее на революционный путь. Против «троглодитов» я была предубеждена рассказами моих единомышленников-лавристов о том, что сам основатель этой организации, М. А. Натансон, разрисовывает лицам, которых он желает привлечь в свою организацию, необыкновенные картины ее мощи и богатства. Этому приему следуют, — думала я, — все «троглодиты», в том числе и Плеханов.

После памятного для меня первого вечера нашего знакомства я еще несколько раз встретилась у моего гостя с Г. В. В одно из его посещений у нас завязался разговор о сектантах и о том, представляют ли они благоприятную среду для развития революционных идей. Поводом к этому разговору послужил мой рассказ о вынесенных мною впечатлениях из пребывания в сектантской среде. За несколько месяцев перед тем я вернулась из большого села Николаевского уезда, Самарской губернии, где я пробыла лето и часть осени в качестве фельдшерицы при земском враче. Я жила в крестьянской избе, была в постоянных сношениях с кре-

стьянами, занимаясь культурной работой и распространением социалистических идей в их среде. Богатая местность эта была населена, главным образом, молоканами. Были там также духоборы и православные. Уровень развития сектантов был неизмеримо выше уровня развития православного населения. В особенности выделялись духоборы. Среди них мне удалось завязать близкое знакомство с большими знатоками священного писания, интересовавшимися также светскими науками и общественными вопросами. С одним из них, с сапожником Федором, — очень бедным, но богатым по своим духовным интересам, к которому все село относилось с большим уважением, гордилось им, — я состояла в переписке в течение некоторого времени по возвращении в Петербург, высылала ему книги, газеты. Он очень интересовался естествознанием. Мои популярные беседы с ним по космографии, астрономии выявляли его ненасытную любознательность. Тронутая ею, я часто до поздней ночи засиживалась у моего ученика, рассказывая ему о явлениях сказочного для него мира. На эти беседы иногда приходили близкие его товарищи. Тут же, борясь со сном, сидела и его красавица молодая жена, очень страдавшая от бедности своего идеалиста-мужа, но гордившаяся им.

Несмотря на эти благоприятные впечатления, я не строила себе иллюзий насчет революционности сектантов. Совсем наоборот!

Молокане представляли привилегированный слой, благодаря своей зажиточности, и хотя и страдали от правительственных преследований и часто жаловались на власть, но в большинстве, за очень малыми исключениями, были консервативны, очень осторожны и совсем глухи к социалистической пропаганде. Своей восприимчивостью и чуткостью к внешней культуре, своими духовными потребностями они, по-моему, представляли интерес для культурного работника, но не для пропагандиста революционных идей и социализма.

Плеханов со мною не соглашался. Он с жаром, с горящими глазами говорил о сектантах, как о лучшем отражении характера русского народа, его исканий истины, как о непочатом источнике самопожертвования идее протеста против гнетущего его векового государственного ига. Слова Георгия Валентиновича были настоящим гимном русскому



Г. В. Плеханов.

народу и таящимся в глубине его величайшим революционным возможностям. Мы оба, я и гость мой, рабочий Митрофанов, впились в лицо Плеханова, не сводили с него глаз. Я была удивлена и потрясена его глубокой верой и его пылким революционным темпераментом. Митрофанов с гордостью и любовью смотрел на своего друга.

Помню также вечер, когда мы читали сообща наивное творение одного рабочего с завода Максвеля. То была корреспонденция, которую автор просил поместить в подпольном органе. Озаглавлена она была так: «То что делается на заводе *падлеца Макселя*». В наивной форме, но содержательно передавалась горькая участь рабочего, который трудится сверх сил, получая крайне скудный, недостаточный для прожития заработок; к этому еще прибавляются нравственные унижения, — окрики, ругань, зуботычины. Заканчивалась корреспонденция очень красноречиво: «работаешь в поте лица, а он, свенья, не доволен нами». Мы много смеялись, читая это заключение, но вместе с тем были тронуты первым литературным шагом начинающего сознавать свое положение рабочего. С тех пор, в течение долгих лет жизни в России и в эмиграции мы часто повторяли между собой, когда хотели выразить черную неблагодарность кого-нибудь из близких — заключительные слова этой корреспонденции. Слегка исправленная, сколько мне помнится, она была напечатана в подпольном листке.

* * *

Пропаганда и агитация среди рабочих вызвали во мне глубокий интерес. Из членов кружка лавристов мне более всех нравился Антон Таксис, чрезвычайно талантливый пропагандист и организатор петербургских рабочих.

Этот выдающийся, впоследствии заеденный нуждой, человек оставил несомненно крупный след в рабочих массах Петербурга. Мне кажется, что по отношению к нему история революционного движения глубоко несправедлива, совершенно замалчивая о его деятельности. Моя симпатия к рабочей среде и мое желание работать в ней были усилены рассказами Георгия Валентиновича.

В эту же зиму я начала заниматься с некоторыми рабочими в одиночку. Наиболее выдающимся из маленького круга, с которым мне пришлось работать, был Василий Кириллов, молодой рабочий ткач с фабрики Торнтона за Невской заставой, который очень ко мне привязался. Мы с ним подружились, читали газеты, обсуждали злободневные вопросы на политические и социальные темы, читали с ним печатавшуюся тогда поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», а также подпольные социалистические брошюры, между прочим, брошюру Лаврова «Общественная служба в будущем обществе». Мои занятия с ним и с его товарищами длились до весны 1878 г.

Василий Кириллов убеждал меня организовать занятия и революционную пропаганду среди жен рабочих: «Они у нас темные, — говорил он, — мешают мужьям учиться, посещать сходки, — ты бы, Марковна, к ним походила бы, хорошее дело сделала бы!».

После от'езда нашего гостя, рабочего Митрофанова, я редко встречала Г. В. Плеханова, но до меня доходили сведения о его выступлениях на студенческих сходках и о его занятиях и пропаганде среди рабочих. Я знала, что он часто покидал Петербург для партийных дел, а я продолжала изучать медицину, посещала лекции и клиники; свободное же от этих занятий время отдавала урокам с рабочими, которые по воскресным дням, иногда и по вечерам, после окончания работы, приходили ко мне на нашу студенческую квартиру.

Как видит читатель, мои незначительные занятия с рабочими носили случайный, несистематический характер. Я работала одна, не принадлежала ни к какой организации. К лавристам вскоре я охладела, но еще не вполне разделяла взгляды моих новых друзей — Георгия Валентиновича Плеханова и А. Д. Михайлова, о котором также сообщу здесь кое-какие характерные черты.

* *
*

Встретила я впервые этого недюжинного человека на одной из сходок, собиравшихся довольно часто в 1877 г. на нашей студенческой коммунальной квартире. Сколько мне

помнится, он на этой сходке не выступал, но остался после того, как публика разошлась, чтоб посидеть и побеседовать за чашкой чая. Как деятельный член организации «Земля и Воля», он присматривался к молодежи и выуживал из ее среды тех, которые ему казались годными, как об'екты революционного влияния. Разговор наш зашел о русской литературе, — кажется, о Некрасове. Видимо смущенный от направленных на него молодых женских глаз, а также присущего ему недостатка — заикания, увеличивавшегося при волнении, он никак не мог развить свою мысль. Мы, ожидавшие от него пламенного красноречия, были сильно разочарованы и даже, — о, жестокость молодости — вместо того, чтоб сделать вид, что не замечаем его смущения, мы самым искренним образом расхохотались. Таково впечатление, оставшееся у меня от первого нашего знакомства с этим выдающимся революционером. Но после этого вечера я очень часто встречалась с ним, оказывала ему и его товарищам разные услуги как по части добывания средств для революционных надобностей, так и организацией, благодаря моим связям в либеральном мире, крайне важного в то время дела — приискания семейных домов, где нелегальные члены общества «Земля и Воля» могли найти временный или продолжительный приют.

А. Д. Михайлов или «дворник», как его называли, видимо, относился ко мне хорошо и всячески старался заняться моим революционным воспитанием. В один из вечеров, когда я пришла проведать его на квартиру В. А. Семенского, у которого я его временно устроила, он предложил мне почитать вместе «Катехизис революционера» Нечаева [Бакунина]. Составление этого катехизиса приписывается теперь Бакунину, но тогда он распространялся среди молодежи как Нечаевский. Читая тот знаменитый пункт, в котором говорится об обязанностях революционера пожертвовать личной жизнью для дела, отказаться от любви, личного счастья и т. д., Михайлов строго на меня посмотрел. Я почувствовала его пристальный взгляд, и, сколько мне помнится, мне сделалось не по себе. Взгляд этот был испытующий, точно он хотел видеть меня насквозь, взгляд, характерный для человека, который, действительно отдал всего себя дорогому делу. В отмеченной молодой девушке, которую он считал способной

на революционный подвиг, ему хотелось выработать твердость и фанатическую преданность делу. На его вопрос, что я думаю об этом пункте, я, сколько мне помнится, ответила, что автор «Катехизиса» прав, но что касается до меня, то этот вопрос — нов для меня, и над ним я еще не задумывалась.

А. Д. Михайлов проявлял большую строгость, как ментор моих первых шагов на революционном поприще. Он мне составил целую топографию Петербурга с обозначением домов с проходными воротами, учил меня, как надо уходить от шпионов, когда видишь их за своей спиной. Очень строго требовал, чтоб на окнах моей комнаты, выходивших на улицу, был условный знак, по которому он мог бы решить, все ли у меня обстоит благополучно. Однажды я встретилась с ним, к моему большому удивлению, в театре. Давалась опера «Жизнь за Царя». Когда мы столкнулись в антракте в коридоре, он вдруг мне заявил: «Я уверен, что вы привели за собой целую массу хвостов: отправляясь в театр, вы наверное уже забыли, чему я вас учил, а между тем здесь скорее, чем где бы то ни было, можно выследить, с кем вы встречаетесь». Охваченная красотой музыки, увлеченная любимыми мелодиями, я ответила ему, смеясь: «Если вы так боитесь шпионов, то вам лучше оставаться дома и не ходить в театр».

Учитель мой был искренно огорчен, когда вскоре затем заметил во мне признаки личного увлечения, которое я начала питать к Плеханову. Хотя он очень любил Георгия Валентиновича, высоко ставил его, неизменно дружил с ним, но у него вырывалось иногда недружелюбное восклицание: «Ну уж эти женщины! Подай им только элоквенцию!».

Не выдержала я экзамена и, как мне казалось, сильно потеряла в глазах моего учителя еще в одном случае, но, не желая забегать вперед, я расскажу о нем ниже.

После этого несколько растянувшегося введения, приступлю к главной цели моего рассказа — к ознакомлению читателя с нашим периферийным кружком, ставшим под руководство организации «Земля и Воля».

II

Наступила весна 1878 г. Шла освободительная война на Балканском полуострове. Общество и молодежь были охвачены сочувствием к боровшимся за свое освобождение «братушкам». Некоторые члены лавристских и бунтарских кружков сражались на театре военных действий.

Во мне и в юных моих товарищах по курсу тоже загорелось желание поехать туда, где совершается большое дело освобождения угнетенных народов. Человек двенадцать студенток подали через директриссу наших курсов, генеральшу Ермолову, прошение об отправке нас, слушательниц предпоследнего курса, в качестве сестер милосердия, на театр военных действий. Прошение подано было еще осенью 1877 г., но назначение мы получили только в конце июля 1878 г., т.-е. тогда, когда война уже прекратилась, уцелевшая армия возвращалась на родину и происходила эвакуация госпиталей.

Меня и моих друзей отправили в Бухарест, где нас распределили по госпиталям. На нашу долю выпал тяжелый труд борьбы с эпидемическими болезнями — тифом, дезинтерией, — зловещими спутниками войны. Но и за это ужасное занятие мы принялись с энергией и самоотверженностью. Проделавшие почти всю кампанию врачи с удовольствием взвалили на наши молодые, свежие плечи значительную часть неприятной работы.

Присматриваясь к порядкам, выслушивая рассказы медицинского персонала о злоупотреблениях и хищениях интендатского и других ведомств, узнав о бесконечных страданиях, которые испытывали как больные, так врачи и служители от высшего начальства, о небрежности к интересам «серой скотинки», — я прониклась таким бунтарским чувством, что когда в октябре того же года вернулась в Петербург и возобновила свои революционные связи, то с особенной радостью встретила моего старого приятеля Александра Михайлова.

Узнав о моем возвращении из Румынии, он пришел ко мне с Оболешевым [1]), которого я увидела впервые. Михайлов очень заинтересовался моими сообщениями о том, что я видела в Румынии, и попросил изложить мои впечатления для статьи в газете «Земля и Воля».

---

[1]) Оболешев, он же «Алешка» — выдающийся член общества «Земля и Воля», арестованный в 1878 г. по делу убийства Кравчинским ген. Мезенцева; приговоренный по процессу д-ра Веймара и Адриана Михайлова (проц. 11-ти весной 1880 г.), он умер в тюрьме. *Л. Д.*

В эти же дни ко мне явился один незнакомый мне молодой человек, назвавший себя Николаем Мухачевым, и передал мне письмо от моего приятеля Василия Кириллова, который за время моего отсутствия из Петербурга был арестован за пропаганду среди своих товарищей и подлежал высылке в одну из северных губерний [1]). Он рекомендовал мне товарища, бежавшего из ссылки, как человека, имеющего большие связи в рабочей среде Петербурга и заслуживающего полного доверия.

Прочитав письмо, я начала расспрашивать незнакомца о его прошлом, а также о том, кто в Петербурге его знает. Он сказал, что он сам интеллигент, вышел из 6 класса гимназии, чтоб посвятить себя революционной деятельности среди рабочих, что в Петербурге почти на всех фабриках и заводах у него имеются связи, и он может их возобновить в несколько дней.

От этих сообщений отдавало, как мне казалось, некоторым хвастовством, и, вообще, впечатление, произведенное на меня Мухачевым, было не в его пользу. Этому способствовала отчасти и его внешность: худой, на вид полуинтеллигент-полумастеровой, небритый, оборванный, с красными воспаленными веками, обветренным лицом, с хитрыми, бегающими глазами, Николай Мухачев производил впечатление человека сомнительного, не революционера, а скорее искателя приключений. Но хорошая рекомендация Василия Кириллова, честного, беззаветно преданного делу своих братьев, и желание войти в близкие сношения с рабочими, чтобы осуществить мечту о пропаганде и организации в их среде, заставили меня отогнать от себя первое неблагоприятное впечатление, произведенное пришедшим.

Я сказала ему, что поговорю о его предложении с друзьями и просила его заглянуть ко мне через несколько дней. Посоветовавшись с Софьей Присецкой и с А. М. Маркевич-Вьенцковской, я решила обратиться в высшую инстанцию, т.-е. в организацию «Земля и Воля», через моего приятеля Александра Михайлова.

[1]) За недостаточностью улик В. К. был на этот раз освобожден и вернулся на ф-ку Торнтона.

Несколько дней спустя явился в мою квартиру Александр Михайлов в сопровождении Г. В. Плеханова, которых организация «Земля и Воля» часто делегировала для завязывания сношений и пропаганды среди молодежи. Волнуясь, я развила перед этими, еще молодыми, но уже испытанными революционерами наш план организации петербургских рабочих. Говорила о Мухачеве, об абсолютном моем доверии к Василию Кириллову, рекомендовавшего Мухачева как знатока петербургской рабочей среды и опытного работника, имеющего в ней связи.

План наш был таков: завести по возможности во всех рабочих районах свои конспиративные квартиры, поселив в них хозяек из интеллигенток, ходивших в народ и, следовательно, умевших подойти к рабочему, не вызывая в нем подозрения. На этих квартирах должны были поселиться уже распропагандированные рабочие, чтобы привлекать туда своих малосознательных товарищей. Среди моих приятельниц, как мне казалось, были подходящие для этого лица.

План наш был одобрен делегатами от «Земли и Воли». По конспиративным соображениям на свиданиях с делегатами были только я и Софья Присецкая [1]).

Николай Мухачев приступил к работе по завязыванию связей, а я занялась организацией конспиративных квартир.

[1]) В то время Софья Николаевна была моим близким другом; когда-нибудь расскажу подробно всё, что помню о ней. Пока скажу лишь, что в то время, когда я увлекалась социалистической пропагандой среди рабочих в столице, она всеми силами своего пламенного темперамента стремилась в деревню для изучения и пропаганды в народе. План ее состоял в том, чтобы увлечь на эту работу и мужа своего, земского врача Черниговской губ., Богомольца, заставить его изучить какое-нибудь ремесло и, сбросив с себя и с мужа интеллигентную внешность, целиком посвятить себя деятельности в народе. Так она и сделала. План ее вполне удался. Насколько мне помнится, она жила с мужем в какой-то станице на Урале, где отдалась целиком делу. В конце 1880 года она примкнула в Киеве к Южно-Русскому Рабочему Союзу, в котором работала до начала 1881 года. Затем, привлеченная вместе с Н. П. Щедриным, Е. Н. Ковальской и другими к суду по этому делу, она была приговорена к десяти годам каторжных работ. Ослабленный организм ее не выдержал тяжелой жизни на Каре при беспрерывной тюремной борьбе — Софья Николаевна умерла от легочной чахотки тридцати шести лет в 1892 году (подробнее о ней см. «16 лет в Сибири» Л. Дейча).

В хозяйки их я первым делом пригласила Олимпиаду Евграфовну Кутузову-Кафиеро, с которой познакомилась за год перед тем в большом селе, о котором я рассказывала выше, куда мы с ней приехали под видом фельдшериц, с целью пропаганды среди крестьян.

Помещица Орловской губ., друг Бакунина и жена известного итальянского революционера-бакуниста Кафиеро, также близкого друга Бакунина, Олимпиада Евграфовна своей необычайной искренностью, простотой и необыкновенным уменьем подойти к трудящемуся люду являлась исключительной личностью, как нельзя лучше подходившей к намеченной нами цели.

Стосковавшись в своем имении по живому делу, она с радостью отозвалась на мое предложение, приехав в Петербург, взять на себя роль хозяйки в квартире для рабочих, устроенной на Выборгской стороне.

Благодаря стараниям Мухачева, вскоре явились и квартиранты. Олимпиада Евграфовна стряпала на них, чинила им белье, беседовала и занималась с ними. Первые жильцы, уже спропагандированные рабочие, привлекли еще несколько своих товарищей. На квартире велась пропаганда политическая и социалистическая.

Члены нашего кружка, мужчины, переодевшись после занятий в простые рабочие платья, а женщины, накинув на головы платки, отправлялись на работу. Скоро у нас появилась еще другая квартира на Петербургской стороне, куда хозяйкой была определена, если не ошибаюсь, отрекомендованная Олимпиадой Евграфовной ее приятельница, тоже умелая и опытная в ведении революционной пропаганды среди крестьян. Третью квартиру мы имели ближе к центру, на Екатерининском канале; хозяйкой ее была сестра Софьи Присецкой-Богомолец — Ольга Николаевна Присецкая, жившая там с мужем своим, прекрасным молодым человеком, Брониславом Байрашевским, которому два года спустя трагически оборвала жизнь истеричка Качка [1]). На эти рабочие

---

[1]) Розалия Марковна имеет здесь в виду следующее ужасное происшествие: зимой 1881—1882 г. в Москве на студенческой квартире собрался небольшой кружок молодежи; беседовали, веселились. Попросили одну, там присутствовавшую студентку, 17-летнюю Качку что-нибудь спеть. Она запела романс; пела она с особенным чувством. Вдруг раздался выстрел: это Качка выстрелила в висок сидевшему напротив нее Байрашевскому, убив его наповал. Сделала она это из ревности, узнав, что в этот день к нему приезжает Ольга Никол. Присецкая. Суд, признав Качку психически расстроенной, оправдал ее. *Л. Д.*

квартиры приходили, кроме Мухачева и меня, еще Степан Ширяев, Николай Васильевич Шмеман, Наум Давыдович Гутерман и изредка О. В. Аптекман.

Г. В. Плеханов и Александр Михайлов приходили на собрания руководителей кружка и иногда оставались для бесед с рабочими [1]). Пропаганда велась народническая. Читалась и раз'яснялась книга Флеровского «Положение рабочего класса в России», излагалась его же «Азбука социальных наук», читался реферат о трех фазисах угнетения трудовых масс: о рабстве, крепостничестве и наемном труде, читались статьи из «Земли и Воли», иногда газетные статьи; брались из газет и обсуждались свежие факты из народной жизни, как, например, факты о народных волнениях, связанных со взысканием податей и др. Велись беседы о положении рабочих на западе, о рабочих союзах и товариществах. Помню, с каким интересом рабочие слушали мое изложение статьи П. Аксельрода об английских трэд-юнионах: она вызвала оживленные беседы об организации рабочих и о международной солидарности [2]).

Мы старались развивать классовое сознание рабочих, говорили о противоположности их интересов с интересами хозяев, раз'ясняли рабочим теорию прибавочной стоимости К. Маркса.

В описываемый период деятельности среди рабочих уже крайне редко пользовались брошюрами вроде: «Чтой-то братцы», «Сказка о копейке», «О четырех братьях» и т. п. Мы находили неуместным говорить с рабочими, как с детьми, а потому совсем не пользовались сказками для крестьян, хотя в популярной литературе для рабочих чувствовалась большая нужда.

---

[1]) О. В. Аптекман сообщил мне недавно, когда мы с ним вспоминали об одновременном посещении одной из вышеупомянутых рабочих квартир, что он помнит о прочитанных Плехановым прекрасных, как он выразился, лекциях перед рабочими на одной из конспиративных квартир нашего кружка. Я этого не помню, но это вполне возможно.

[2]) Статья эта была напечатана в выходившем в Петербурге легально ежем. жур. «Слово», за 1878 г. *Л. Д.*

Мухачев, несомненно, обладал организаторскими и пропагандистскими способностями и был всецело предан своему любимому делу. Мое неблагоприятное впечатление совершенно рассеялось.

В несколько месяцев от ноября 1878 г. до апреля 1879 г. у нас организовалось пять рабочих квартир, в которых велись усиленные занятия. Они являлись местами сходок, бесед и чтений. Среди рабочих было много лиц, поражавших нас своим революционным темпераментом и преданностью делу. Особенно запечатлелись в моей памяти два молодых рабочих, любимцы Олимпиады Евграфовны Кафиеро и мои: фабричный — Андрей, молодой парень 19—20 лет, еще не совсем оторвавшийся от крестьянской среды, с задумчивыми глазами, тонким и красивым лицом. Проникшись революционными взглядами, он мечтал вернуться в родную деревню, чтобы повести там работу среди своих односельчан. Другой — по прозванию «Марат» — обладал страстной, пламенной натурой. Глаза его горели смелостью, отвагой, он был всегда готов на самые отчаянные шаги: прокламации он наклеивал под носом у полицейских и, лишь только замечал, что они направляли свои шаги в его сторону, удирал от них с изумительной ловкостью. Наклейкой прокламаций он предпочитал заниматься по ночам, после чего он возвращался домой упоенный, как после любимого, но опасного спорта. Ему было лет 18; способный, даже талантливый, он отлично воспринимал развиваемые перед ним идеи и сам умело излагал их затем своим товарищам. Мы опасались, что его необыкновенная смелость и дерзость погубят его раньше, чем он успеет дать революционному движению все, что смог бы дать, если бы он еще некоторое время развивался и учился. Наши опасения скоро оправдались. Но я еще вернусь к нему.

Выше я упомянула о Степане Ширяеве, как об одном из членов нашего кружка. Его ввел в наш кружок Г. В. Плеханов, который познакомился с ним в Париже весною 1877 г., в короткий период своей первой эмиграции. Наш новый товарищ производил чарующее впечатление своим интеллигентным лицом, мягкими манерами, простым подходом к рабочим. Мы с ним очень подружились. Но мне тогда казалось, что он недостаточно энергичен в работе, не отдается ей всецело, и что его заедает червь сомнения. Я приписывала его вялость отчасти и плохому здоровью, — он был всегда очень бледен, задумчив... Но мое первое об'яснение было ближе к истине: Степан Ширяев изверился в народническом движении. Он один из первых в нашем кружке увлекся террором [1]).

Это, в общем, верная характеристика времени и деятельности нашего кружка, но не верно, что члены кружка состояли, главным образом, из зеленой молодежи. Были студенты, кончавшие свое образование, были и революционеры, имевшие за собой несколько лет революционной деятельности.

---

[1]) Вот как он описывал настроение в среде рабочих Петербурга и народнических руководящих кругов в эпоху образования и действия нашего кружка.

Подробные показания, данные в тюрьме С. Ширяевым, с которым я познакомилась в революционном архиве в Ленинграде, меня очень поразили; хотя они не имеют характера откровенной исповеди, все же производят тяжелое впечатление самым фактом их существования: с образом Ширяева не вяжется исповедь перед тюремным начальством.

«Большая часть рабочих, сочувствовавших народнической программе, была в разброде: многие в ссылке, другие добровольно покинули Петербург и лишь немногие оставались здесь, не будучи ничем между собой связаны и колебались куда пристать, — к лавристам ли, зазывавшим их на свои лекции и сулившим наслаждение гармонией будущего, к инициаторам ли Сев. Раб. Союза, который начал образовываться, кажется, в конце 1878 г., или образовать особую группу с народнической программой? Бездеятельность народнической организации в этом случае об'яснялась очень естественными причинами: недавние погромы отозвались тяжело на этой группе народников, а из тех, кто имел счастье избежать ареста, большинство выбыло из Петербурга в другие города или села для поселения среди крестьян. Не было людей, да и материальные средства были плохи. Была, впрочем, «зеленая молодежь», новички в социально-революционном деле, большею частью из студентов первых курсов, которые, усвоивши основные положения программы народников, искали себе дела. Тогда-то возникла идея об образовании нового кружка со специальной целью агитации среди петербургских рабочих, поддержания стачек, устройства отдельных мелких рабочих кружков в разных частях города, образования частных кружковых касс и общего стачечного фонда и пр. В числе других и мне было предложено принять участие в этом кружке. Это было около середины января 1879 г.; кружок признавал свою солидарность с программой, выставленной газетой «Земля и Воля», не вступая ни в какие формальные сношения с народнической организацией, да и сам, строго говоря, не был кружком организованным,

III

Конец 1878 г. и начало 1879 г. были эпохою крупных волнений на разных заводах и фабриках. Эти волнения внесли в нашу работу живую струю; энергия наша усилилась, мы собирали деньги, составляли прокламации и сами носили их пачками на фабрики и заводы.

Живо помню мою поездку за Невскую заставу на фабрику Торнтона на свидание с Василием Кирилловым, чтобы передать ему пачку прокламаций, в которых говорилось о стачке на Новой Бумагопрядильне и горячо взывалось к рабочей солидарности. Вызванный по моей просьбе одним товарищем, Василий — мой ученик и добрый приятель — вышел на соседний с фабрикой пустырь. Он обрадовался мне, точно я принесла ему самую радостную весть, а не опасное поручение, исполнение которого связано было для него с риском лишиться надолго свободы: после временного ареста осенью в 1878 году он находился под надзором полиции. Проворно спрятав пачку прокламаций за пазуху, он обещал разбросать их на фабрике и сделать сбор в пользу стачечников. Василий Кириллов не был бобылем: у него была молодая жена и сын, но дело стояло для него выше всего.

Возила я прокламации и на Охту к одному моему ученику фабричному рабочему, немолодых лет, обремененному большой семьей. Пришла я к нему довольно поздно. Дети спали, жена тоже легла, но главу семьи я застала еще сидящим и толкующим на разные темы с товарищем, который поразил меня своим интеллигентным видом. Несмотря на позднее время, мне был оказан ласковый прием, воззвания приняли из моих рук с благодарностью, точно я принесла в этот дом бесценный подарок. Увы! Это приношение было причиной ссылки моего старого ученика, вдумчивого, любознательного, с сектантским складом ума.

Ходила я с воззваниями, чтобы посмотреть, что там делается, и на табачную фабрику Шапшал, где работали женщины. Меня встретила работница с энергичным лицом, которая, указав на выставленные на стене условия, сказала, что товарки ее решили не уступать, а добиваться согласия на их условия. От этих слов отдавало бодрящей энергией. Это были первые ласточки будущего расцвета нашего рабочего движения.

С такой же миссией я отправилась однажды на взморье к одному из бывших учеников Плеханова, заводскому рабочему, на его квартиру. Помню, что мне бросилась в глаза относительно большая зажиточность этого рабочего, — довольно приличная, даже с признаками некоторого изящества домашняя обстановка. Сам хозяин — молодой с очень интеллигентным лицом рабочий — произвел на меня впечатление вполне культурного, смелого и преданного делу освобождения своих братьев от экономического и политического рабства. Он взял без всяких колебаний пачку привезенных мною прокламаций, обещал распространить их на своем заводе и говорил со мной о солидарности интересов всего рабочего класса. Я ушла от него очарованная и личностью его, и приемом. Я мысленно сравнивала цивилизованную обстановку, в которой жил этот заводский рабочий, с жалкими жилищами, лишенными малейших удобств и элементарных гигиенических требований, его собратий, фабричных рабочих; я вспомнила комнату, в которую меня ввели, когда я явилась к Василию Кириллову: пока его товарищ побежал искать его на фабрику, я осмотрела комнату и познакомилась с ее обывателями, которых было несколько десятков человек. То была большая, длинная комната, с низким потолком, и насколько я могу теперь припомнить, с двумя окнами.

Был поздний вечер, и я не могла уяснить себе, достаточно ли этих окон для столь обширной комнаты. Она была разделена деревянными перегородками на небольшие каморки с каждой стороны, по середине проходил узкий коридор. В каморках, тонкие перегородки которых не до-

---

не имея своей детальной программы и устава, не налагая на своих членов никаких обязательств и вовсе не имея администрации. Инициаторы в основании этого кружка принадлежали к народническому «обществу», смотревшему на наш кружок, главным образом, как на искус новобранцев, которые должны были при этом обнаружить свои способности, знания, понимание программы, преданность делу, уменье вести его, осторожность и энергию».

ходили до потолка, ютились семьи рабочих, состоявшие иногда из четырех-пяти членов. Тяжелое впечатление от этого жилища и его обстановки усугублялось еще видом одной древней старушки, страдавшей хроническим бронхитом и жаловавшейся, что она, больная, едва передвигающая ноги, живет в одной клетушке со своим сыном, невесткой и малолетним внуком.

Возвращаясь поздно вечером из-за Невской заставы и находясь под впечатлением жалоб старухи и рассказов молодых жен рабочих об их тяжелой жизни, я думала о том, что надо отдать себя этим людям всецело, а не уделять им остатки, как это делала я. Ко мне опять вернулась мысль, которая не оставляла меня в покое: надо бросить медицину и целиком отдаться пропаганде и организации среди петербургских рабочих.

С таким настроением я явилась в условленное место на собрание нашего кружка. Я застала там Плеханова, Николая Мухачева, Степана Ширяева и др.

Меня ждали с некоторым волнением, так как я сильно опоздала. Все с интересом расспрашивали меня, как я справилась с моей миссией. Когда я заговорила о тяжелом впечатлении, вынесенном мною от жилищ фабричных рабочих и от безотрадных рассказов жен и матерей фабричных рабочих, Мухачев вдруг сделал замечание: «Розалия Марковна, что же вы «не постучали» старушку с бронхитом, — вас бы это утешило, и время ожидания Василия не показалось бы долгим».

Все засмеялись, кроме меня: я рассердилась и сделала Мухачеву замечание за неуместную остроту. Тут только я заметила, что плессиметр и молоточек были вставлены в петличку моего корсажа, я не разлучилась с этой эмблемой моей профессии, даже отправляясь к рабочим на фабрики для передачи воззваний. Вообще революционеры-профессионалы относились к нам, студенчеству, прикасавшемуся только к революционному движению, но еще не отдававшемуся ему всецело, с некоторым неодобрением. Я почувствовала эту стрелу тем более, что сама была недовольна своим двойственным положением революционерки, не сжегшей еще своих кораблей. Но, об'ективно говоря, мы и в нашем положении не были бесполезны.

IV

Я описываю конец 1878 г. и начало 1879 г., т.-е. эпоху стачек на ткацких фабриках Кенига, Новой Бумагопрядильни и фабрики Шау. Трудно себе представить волну сочувствия к первым шагам нашего рабочего движения среди студенческой молодежи. На ее призывы о помощи отозвалась и лучшая часть нашего либерально-радикального общества. Материальные средства для стачечников стекались с разных сторон. Тут я не могу не сказать несколько слов о супругах Семенских, о которых я упомянула выше.

Судебный пристав Вячеслав Андреевич Семенский и жена его Александра Константиновна хотя и не состояли членами нашего кружка, но имели к нам очень близкое отношение, оказывая нам и нашему делу неоценимые услуги. Познакомила меня с ними в 1875 г. моя соученица по гимназии и однокурсница по Военно-Медицинской академии Ольга Федоровна Анисьина [1]).

Супруги Семенские представляли большой физический контраст: Вячеслав Андреевич был невысокого роста, худой с болезненным цветом лица, с кроткими и добрыми глазами; жена его — Александра Константиновна — была статная женщина, высокая, полная, с правильными, красивыми чертами лица, с энергичными, властными манерами.

Я стала бывать у моих новых знакомых во время приемов и одна. Семенские ввели меня на собрания «Общества трезвых философов», которое об'единяло в середине 70-х годов все, что

---

[1]) Ольга Федоровна Анисьина-Сергеева, выдававшаяся в радикальной студенческой среде 1874—1875 г.г. своей красотой, талантливостью и энергией, была деятельным членом студенческого кружка лавристов, который был нами основан вскоре по приезде в Петербург зимой вышеуказанного года. Членами кружка были: Реброва-Харизоменова, Софья Левина-Чудновская, О. Ф. Анисьина, студент университета Сергей Иванович Сергеев, судившийся и сосланный в конце 1875 г. в Томскую губ. за социалистическую пропаганду среди крестьян Рязанской губ., студент медик Дегтярев, изображенный довольно верно Тургеневым в его романе «Новь» под именем Кислякова, и студент университета Котелянский, умерший в ранней молодости, едва успев выступить на литературном поприще двумя-тремя талантливыми рассказами из жизни «чиншевиков», и я.

было блестящего и талантливого в петербургской литературе и науке. Собрания эти устраивались, сколько мне помнится, раз в неделю, по субботам, то у одного, то у другого члена общества. Помню, раз собрались у Лисевича, который читал нам курс по древней философии; помню вечер у Михайловского, который был тогда в блеске молодости и славы. На собрании у Водовозова выступал Кулишер с изложением нашумевшей во всем мире книги Штрауса о христианстве и легенде об Иисусе Христе.

Таким образом я попала, благодаря моим новым друзьям, в самую сердцевину отборного русского общества, имевшего очень радикальный оттенок. Эти знакомства были мне очень полезны впоследствии, когда я погрузилась в революционную деятельность.

Частые встречи и беседы с супругами Семенскими выяснили мне, что в этих людях, уже немолодых (ему было лет 35, а жене его лет 30), бьется глубокая симпатия к обездоленным и страстное стремление улучшить их судьбу. Скоро я их втянула во все дела, которыми сама увлекалась. Я их привлекла к тайному обществу помощи заключенным и ссыльным, доставала, благодаря им и богатому кругу их друзей и знакомых, деньги на революционную литературу; у них же устраивала часто склад ее. Вячеслав Андреевич, пользуясь своим званием судебного пристава, проводил меня беспрепятственно на политические процессы 50-ти, 193-х, на процесс Заславского. Нас иногда сопровождала в эти святилища политического и революционного воспитания молодежи 70-х годов и Александра Константиновна. Наконец, в апреле 1878 г. А. Хотинский привел ко мне на квартиру Преснякова сейчас же после его освобождения. Как известно, освободили его Хотинский и Квятковский при помощи знаменитого рысака Варвара, которым управлял последний.

Надо было его моментально скрыть в очень верном месте. Куда? Я вспомнила своих друзей. Не колеблясь ни минуты, Александра Константиновна повезла переодетого до неузнаваемости Преснякова в свое имение Тугановичи, оставалась с ним сама, чтобы поправить его и откормить. Эти добрые люди были в отчаянии, когда симпатичный Пресняков после трехнедельного отдыха заявил хозяевам, что он должен их покинуть, что его призывают революционные обязанности.

В письме ко мне Александра Константиновна благодарила меня за доставленный случай познакомиться с такой прекрасной, чуткой, деликатной личностью; она писала, что она и Вячеслав Андреевич полюбили Преснякова, как сына, и что им крайне тяжело было расставаться с ним.

Осенью 1878 г., когда, — как я уже сообщила, — волна стачек захватила ряд петербургских фабрик, Семенские горячо отозвались на эти волнения среди петербургских рабочих. Они не жалели своих средств; кроме того, Александра Константиновна неутомимо собирала деньги и вещи, справлялась об арестованных в участках, словом, проявляла неутомимую энергию и самоотверженность.

Не надо забывать, что муж ее занимал официальное положение, и она была матерью трех малолетних сыновей. Зимой 1879 г. в разгар белого террора они дали в своей квартире приют Мирскому и Александру Михайлову. Полиция долго ничего не подозревала, и Семенский оставался на хорошем счету у начальства.

Мои последние встречи с этими необыкновенными людьми из нашего радикального общества относятся к январю-февралю 1879 г. Уже будучи в эмиграции, я узнала, что Семенские были вероломно выданы полиции сослуживцем и близким приятелем, указавшим, что они укрывали Мирского. В июне 1879 г. Семенский был арестован; содержался сперва в III Отделении, потом в Петропавловской крепости. Его организм не выдержал потрясения и одиночного заключения: он заболел во время следствия тяжелой формой душевного недуга.

Переданная мне подробность его психоза глубоко потрясла меня. Пораженный тяжелой меланхолией, Семенский рисовал на бумаге виселицы и непрерывно повторял: «Розу не надо пускать в дом». На вопрос тюремного начальства, кто такая Роза, — женщина или цветок? — он угрюмо молчал. Как тяжко больного, его не судили, а жена его, привлеченная к процессу за укрывательство Мирского, за отсутствием улик по суду была оправдана. На каждом из нас революционеров лежит не один грех, подобный совершенному мною по отношению к мирной счастливой семье Семенских. Мне до сих пор тяжело вспомнить об этой трагедии, которой я была главной виновницей. Одно утешение, что вместо счаст-

ливой мещанской жизни моим друзьям выпало на долю явиться пионерами великого русского освободительного движения.

V

Наша центральная квартира, хозяевами которой являлись Ольга Николаевна Присецкая и ее муж Бронислав Байрашевский, содержалась прекрасно и служила штабом нашего кружка: там собирались руководители всех рабочих квартир для серьезных совещаний общего характера, а также и для других революционных предприятий; там же хранился небольшой склад оружия. Это относится к тому времени, когда среди революционеров твердо установилось правило — не отдаваться в руки полиции без вооруженного сопротивления, но, чтобы оказать отпор, необходимо было предварительно научиться владеть оружием. Поэтому наша штаб-квартира превратилась в школу для упражнений со всякого рода смертоносным оружием.

Живо помню, как Г. В. Плеханов, Шмеман и др. упражнялись на табуретах в умении действовать кинжалом. Злополучные табуреты, к ужасу хозяйки, были истыканы остриями этого оружия. Не надо забывать, что я описываю зиму 1878 г. и 1879 г., когда еще было свежо глубокое впечатление, произведенное геройским поступком Кравчинского, заколовшего кинжалом среди бела дня шефа жандармов ген. Мезенцева.

Тогда некоторые члены организации «Земля и Воля» уже сильно склонялись к тому, чтобы революционную пропаганду и агитацию среди народа заменить единоборством между кучкой героев-террористов с царским правительством. Террор, как одно из средств борьбы для большей успешности в процессе революционизирования народных масс — рабочих и крестьян, — признавался логичным и рациональным даже такими правоверными народниками, какими являлись Плеханов и М. Р. Попов. Видя большую опасность для народнического движения в увлечении лучших сил организации «Земля и Воля» центральным террором, Плеханов и его единомышленники делали как бы уступку террору, допуская его применение на почве агитации среди крестьян и рабочих.

В этой же штаб-квартире нашего периферийного кружка был произведен один из таких террористических актов. Душой его организации являлся член «Земли и Воли» Николай Васильевич Шмеман. Исполнителями его были рабочие-стачечники фабрики Шау, так называемые «шависты». Мне живо вспоминается на нашей конспиративной квартире небольшое собрание рабочих, на котором был выработан план террористической попытки. Последняя действительно была приведена в исполнение на рассвете одного из следующих дней. В одной из петербургских газет появилось сообщение «о преступном замысле неизвестных злоумышленников, пытавшихся поджечь фабрику, к счастью не имевшем успеха». Но неудача входила в самый план организаторов, преследовавших лишь цель таким путем обратить внимание общественного мнения на тяжелое положение рабочих и на эксплоатацию их труда хозяевами, а также дать толчок рабочему движению, в то время еще находившемуся в зародыше. В связи с этой острасткой капиталистам припоминаю курьезный и характерный эпизод.

В ближайшее утро на нашу конспиративную квартиру пришли рабочие — участники этого поджога. По окончании распределения небольшой суммы денег для поддержки нуждавшимся семьям рабочих, один из присутствовавших, отозвав товарища Шмемана в сторону, сказал ему, что, если ему дадут некоторую сумму, он попытается поджечь другую фабрику. Вид у этого полукрестьянина-полурабочего был при этом очень хитрый. Ему, понятно, было наотрез отказано в исполнении его услуг, и, насколько мне помнится, с этого момента наш кружок начал его остерегаться: мы просили наших друзей-рабочих больше его не приводить. Инцидент нас больше смешил, чем огорчал. Несомненно, этот очень наивный, мало сознательный рабочий решил, что попытка сжечь фабрику является барской затеей богатых студентов, у которых водятся деньги: почему же не доставить им вновь удовольствие, а себе возможность получить некоторую материальную выгоду? Смелости же у этих буйных головушек было много.

Считаю небезынтересным привести здесь недавно полученное мною письмо О. Н. Присецкой, в качестве иллюстрации к моему рассказу:

Полтава, ноябрь 1924 г.

«Глубокоуважаемая и дорогая Розалия Марковна.

К сожалению, после смерти дочери я потеряла довольно сильно память и не могу вспомнить, на какой улице была конспиративная квартира, — кажется, на Екатерининском канале. Квартира состояла из трех комнат и кухни. В ней жили я и Бронислав Байрашевский. Квартира была строго конспиративная. Из наших личных знакомых никто не мог приходить. Более частые посетители были: Георгий Валентинович, Александр Михайлов и Немец (Шмеман. *Р. П.*). Бывали собрания человек в десять. В таких случаях Александр Михайлов иногда говорил, что «собрался Исполнительный Комитет» [1]). На совещаниях, конечно, ни я, ни Байрашевский участия не принимали и фамилий участников не спрашивали.

«Особенно часто бывал Георгий Валентинович. Он приходил, переодевался в рабочий костюм, — для этого в квартире было несколько костюмов, — и шел на завод и в рабочие кружки. Возвращался довольно поздно, чтобы переодеться. Во время забастовки на одном заводе или фабрике, на каком именно, не помню [2]), — решено было произвести взрыв. В квартиру принесли большой мешок с порохом. Дня через два пришел рабочий и взял порох; поздно вечером прибежал уже другой рабочий, очень взволнованный, и рассказал, что они, разбив окно, влезли внутрь завода, положили мешок с порохом и фитилем, а сами, — их было несколько человек, — перешедши на другую сторону улицы, стали ждать взрыва, который, конечно, не произошел, а только загорелось внутри помещение. Некоторые рабочие говорили, будто бы был убит сторож, но было ли это в действительности, не знаю. Вскоре стала заметна слежка за нашей квартирой, и она была ликвидирована.

«Собраний рабочих на нашей квартире не бывало, приходили один-два для свиданий с Плехановым. Георгий Валентинович хорошо относился к Байрашевскому, иногда

---

[1]) Под «Исполнительным Комитетом» Михайлов, несомненно, подразумевал или собрание «членов руководителей кружка» или «руководителей стачки». *Р. П.*

[2]) Фабрика Шау. *Р. П.*

приносил свои статьи для совместного чтения, при чем очень горячился, если в чем-либо не были с ним согласны. После ликвидации квартиры я вскоре уехала в Москву и больше с Георгием Валентиновичем не встречалась...».

VI

Стачка на фабрике Шау и террористическая попытка произошли в конце января. В начале февраля кружок наш приобрел новых членов: Наума Гутермана и жену его, — оба молодые, энергичные. Наум Гутерман был привлечен в кружок Плехановым, который познакомился с ним в Ростове-на-Дону, знал его отца и брата и очень любил всю семью за их честность, благородство, сердечную доброту. Старики Гутерманы с большим сочувствием относились к революционерам, — давали свою квартиру для сборищ, оказывали приют нелегальным, прятали революционную литературу, а сыновей своих благословили на революционное поприще.

Сыновья занимались деятельной пропагандой среди рабочих в Ростове-на-Дону. Отец и старший брат Наума были сосланы в Сибирь в 1879 г. Наум уцелел потому, что скрылся во-время из родного города и перешел на нелегальное положение. Он был ценным членом нашего кружка. Живой, энергичный, он быстро приобрел связи среди студенчества и в либеральном обществе. Состояние нашей кассы, благодаря его и моим стараниям, было довольно сносное, но это, казалось бы, счастливое обстоятельство явилось предметом трений в нашем кружке. Поражавшее прежде нас, молодых революционеров, единодушие между нашими учителями и менторами, дружественная гармония в отношениях между А. Михайловым и Георгием Валентиновичем были нарушены на наших глазах впервые на одном собрании, состоявшемся на квартире Гутермана.

Дело шло о распределении имевшихся у нас средств. Александр Михайлов осторожно высказывался против ассигновок на расширение рабочих квартир и на пропаганду среди рабочих. Он говорил, хотя еще смутно, о том, что деньги понадобятся для других дел, более важных: «Не надо тратить зря с трудом добытые деньги». Тон и намеки Ал. Михайлова меня очень поразили. Плеханов был видимо этим недоволен, но сдерживался, возражал слабо. Мы,

однако, чувствовали происходившую размолвку между нашими вожаками. Когда после собрания я выразила Георгию Валентиновичу свое удивление по поводу странного поведения Ал. Михайлова, Г. В. сказал мне следующее: «Не поддавайтесь ему, отстаивайте интересы и цели кружка; мой друг все больше склоняется к террору, — он готов все средства направить на террористические замыслы». После этих слов я поняла, почему в отношения недавно закадычных друзей закрался элемент взаимного раздражения. Плеханов очень тяжело переживал уклон своего друга.

Описанная выше террористическая попытка прошла для нашего кружка и нашей конспиративной квартиры вполне благополучно: как и остальные, она просуществовала почти до Соловьевского выстрела в царя (2/15 апреля 1879 г.). По конспиративным соображениям, а также вследствие совета Клеточникова, некоторые из этих квартир были совершенно ликвидированы за несколько дней до покушения Соловьева, а остальные были закрыты вскоре после этого события.

Дело, однако, не обошлось без тревожных моментов. тут я позволю себе рассказать об упомянутом мною выше случае, по-моему, крайне характерном для человека-кремня, каким был наш друг А. Д. Михайлов.

Это было в марте 1879 г. Явившись ко мне, против обыкновения, рано утром, он передал неприятную весть от Клеточникова [1]). Последний предупреждал меня, что не сегодня-завтра начнутся обыски и аресты в рабочих кварталах и что, по всей вероятности, придут и на наши конспиративные квартиры; необходимо, поэтому, было немедленно предупредить живших там, чтобы они очистили их от нелегальщины. Зная, что на квартире, находившейся на Выборгской стороне, было много нелегальной литературы, а также оружие, которым обзавелся проживавший там наш любимец «Марат», я пришла в ужас: без сопротивления

[1]) Такова, как известно, была фамилия товарища, поступившего в III Отделение, чтобы узнавать там и своевременно предупреждать о предстоявших обысках и арестах членов «Земли и Воли», а после раскола — «Народной Воли». Арестованный в 1881 г. Клеточников в следующем году был по процессу 22-х приговорен к бессрочной каторге и в 1885 г. умер в Шлиссельб. крепости. *Л. Д.*

«Марат» не отдастся в руки полиции, произойдет стрельба, и могут оказаться жертвы, гибель ценных, молодых сил, а также наших начинаний по части агитации и пропаганды среди рабочих этого района.

В это время у меня был Георгий Валентинович, которому я и высказала эти опасения, заявив при этом, что немедленно пойду предупредить наших ребят о грозящей им опасности, а также заберу у них литературу и оружие. Опасаясь за меня, он выразил желание сопровождать меня. Я и Михайлов решительно отстранили это предложение; «дворник» был также против того, чтобы я взяла на себя эту опасную миссию.

— «Безумно жертвовать вами, когда можно отправить на квартиру какого-нибудь молоденького студентика, не имеющего никакого отношения к революционному движению», — сказал он. — «Пошлите своего знакомого, студента Дуката [1]), если он попадется, то тотчас же выяснится полная его невиновность, а если и поплатится, то лишь непродолжительной ссылкой; вас же могут здорово упечь». Когда же, не соглашаясь с его доводами, я заявила, что считаю своей обязанностью пойти сама и не подводить совершенно невинного юношу, он воскликнул: «В вас говорят «сантименты», — и это непростительно для революционного деятеля». У нас завязался горячий спор. Он ушел рассерженный и, вероятно, думал с грустью, что из меня настоящей революционерки никогда не выработается.

С наступлением сумерек я пошла на Выборгскую сторону, пробралась в рабочую квартиру, предупредила своих товарищей о грозящей им опасности и забрала у них нелегальную литературу, а имевшееся у них оружие было

[1]) А. О. Дукат, впоследствии небезызвестный врач, был тогда студентом 1-го курса Военно-Медицинской Академии, совсем юный, необыкновенно добрый, он молился на революционеров, был готов пойти для них в огонь и в воду: приютить у себя, предоставив свою постель, накормить нелегального — было для него высшим счастьем. Сам бедняк, добывавший средства к жизни жалкими уроками, он на последние деньги накупал билеты в кухмистерской «Елены Павловны», и, встретив кого-нибудь из знакомых революционеров, тоном, не допускавшим возражений, заявлял: «вы наверно еще не ели сегодня, — вот вам билет». Всунув его оторопевшему человеку, он быстро удалялся. Золотое сердце этого 18-летнего юнца было среди нас нередко предметом острот и шуток.

вынесено и под покровом темноты запрятано. Все кончилось благополучно. Но это была счастливая случайность. А элемент случайности не должен входить в расчеты истинного революционера.

Тревога наша на этот раз была напрасной: с обыском на выборгскую конспиративную рабочую квартиру не приходили. Между тем, полиция неистовствовала в поисках Плеханова: обыски в квартирах, где она надеялась его схватить, участились; случалось, что агенты, врываясь в студенческие комнаты с револьвером в руках в надежде на производимый этим маневром испуг, требовали указаний, где Плеханов. Такой прием остроумной полиции имел место на одной из коммунальных квартир, во главе которой стояла студентка Торопова. К счастью, студент О., в комнату которого ворвался агент, не имел никакого представления о местах, где скрывался Плеханов.

Все эти обстоятельства заставили Плеханова, за неимением не только квартиры, но и угла, скитаться с места на место: он приходил ко мне часто измученный и голодный.

В эту пору я жила у студентки Е. Н. Сабининой, невесты В. Н. Сиротинина, будущего лейб-медика. Очень привязанная ко мне Екатерина Николаевна, познакомившись у меня с Плехановым, прониклась к нему большой симпатией. Она была очень тронута его полной опасностей и лишений жизнью. Поэтому предложила ему ночевать в ее квартире, предоставив в его распоряжение диван в столовой.

С помощью этой доброй хозяйки топография ее квартиры была хорошо изучена Плехановым. Он при малейшей тревоге имел возможность через кухонное окно выскочить на крышу сарайчика, а оттуда с высоты второго этажа, спустившись во двор, скрыться.

Под подушкой у Плеханова всегда были на-готове револьвер и кастет, чтобы, в случае внезапного появления в комнате полиции, не отдаться в ее руки без сопротивления. План последнего был выработан нами сообща с Г. В. При этом, помню, нас чрезвычайно беспокоило сознание, что наша милая и отзывчивая хозяйка, вполне неповинная в политическом отношении, сильно пострадает за свое гостеприимство и доброе движение души, если жандармы пронюхают о местонахождении Плеханова.

К счастью, из этого тяжелого состояния нас вывел незабвенный Клеточников. Дней за шесть до выстрела Соловьева явился к нам член «Земли и Воли» Никандр Мощенко от имени Клеточникова и других членов организации, сообщивший об их настойчивом требовании, чтобы мы с Г. В. покинули Петербург, так как жизнь и свобода его подвергаются большой опасности, в виду усиления террора, которое несомненно последует за предстоящим покушением Соловьева на Александра II.

Мы быстро собрались в путь; но я еще успела зайти проститься с единственной в своем роде Олимпиадой Евграфовной Кутузовой и с ее симпатичными жильцами — неистовым «Маратом» и тихим, поэтическим Андреем. Я просила их, и через них других товарищей-рабочих, никаких собраний больше не устраивать и вообще не подавать никакого повода к возбуждению подозрения со стороны полиции, обещав возобновить с ними работу по возвращении.

За три дня до покушения Соловьева на царя мы с Г. В. Плехановым покинули столицу.

VII

Вернулась я в Петербург недель через шесть, но, увы, ни квартиры, ни незабвенного «Марата», ни поэтического Андрея я уже не нашла. От квартирной хозяйки Олимпиады Евграфовны Кафиеро я позже узнала, что в постигшей наше учреждение катастрофе был виноват, — как мы и предвидели, — «Марат».

Отправившись однажды на рынок, он соблазнился купить ружье, — повидимому, соскучился по огнестрельному оружию. Спрятал его под полушубок, но так, что дуло торчало наружу: это заметил полицейский, который потребовал, чтобы «Марат» свел его на свою квартиру, последний не согласился на это, чем спас хозяйку и товарищей, за то сам он угодил в тюрьму на многие месяцы, а потом — в ссылку. Квартира была ликвидирована; рабочие разбрелись, а Олимпиада Евграфовна Кафиеро вернулась в свою деревню. Затем начались мои скитания и переход на нелегальное положение, и моя связь с рабочими-друзьями была прервана.

Закончив воспоминания о лицах и деятельности нашего «периферийного кружка» организации «Земля и Воля», считаю нелишним поделиться еще двумя эпизодами, до некоторой степени дополняющими приведенную выше характеристику А. Михайлова.

Я уже сообщила какую бурю негодования вызвал у этого необыкновенного человека мой отказ принести в виде жертвы на алтарь конспирации добрейшего, юного, ни в чем неповинного Дуката. Теперь покажу, какой нежной, любящей душой обладал этот человек-кремень, ригорист, крайне требовательный к себе и к другим, готовый без колебаний, безжалостно жертвовать людьми, когда этого требовало дело. Вот при каких обстоятельствах я в этом убедилась.

На обратном пути из Румынии в Россию я остановилась в Одессе, чтобы повидать своих родителей. Они сообщили мне, что их навестил болгарский врач, работавший со мною в одном госпитале: он привез им от меня поклон, долго сидел у них и рассказывал им обо мне. Меня очень удивил этот визит, так как никакого болгарского врача в мою бытность в Румынии я не знала, и никому я не поручала передать привет моим родным. Однако, не желая разочаровывать своих стариков, я оставила их в приятном заблуждении; сама же я с недоумением думала: «кто бы этот мог быть?».

Осенью, на первом свидании со мной А. Михайлов с укоризной попрекнул меня за то, что я редко пишу своим родителям, заставляя страдать и томиться таких милых людей. При этом он мне сообщил, что, очутившись в Херсоне по одному конспиративному делу, он вспомнил, что мои родные живут там, и, надеясь найти меня у них, решил зайти к ним, чтобы попросить меня помочь ему кое в чем в этом деле. Представившись моим родным болгарским врачом, работавшим со мной в одном госпитале, он затем обворожил их рассказами обо мне. С другой стороны, искренность, бесконечная любовь ко мне и гостеприимство моих стариков, в свою очередь, очень расположили к ним А. Михайлова. С тех пор, при каждой встрече со мной, он осведомлялся, написала ли я родителям и упрекал меня за недостаточное к ним внимание. Благодаря его настойчивым приставаниям я обрадовала моих стариков целым рядом нежных писем.

Сильно преследуемая полицией, я в июне 1879 г. решила на время скрыться из Петербурга, после чего устроилась в Киеве под чужим именем. Туда же по окончании Воронежского с'езда приехал и Георгий Валентинович. Мы были очень удивлены, когда спустя несколько дней на мою квартиру явился А. Михайлов. Вскоре разговор зашел о результатах с'езда, при чем Г. В. страстно и резко нападал на его резолюции, которые называл отступническими, изменой народным интересам и революции. А. Михайлов неменее резко и запальчиво возражал. Вчерашние друзья стояли друг против друга с блестевшими гневом и неприязнью глазами. Это было невыносимо тяжело. Я, наконец, настояла на прекращении страстного спора и условилась с А. Михайловым свидеться с ним на следующий день в каком-то парке.

Состоявшаяся на другой день наша встреча была последним свиданием и последней нашей беседой. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. С тех пор прошло 45 лет, но я живо представляю себе скамейку, на которой мы сидели, и слышу голос, взволнованный голос друга, полный безграничной веры в правильность избранного им пути и вместе — глубокой грусти из-за неизбежного разрыва с нами, — со мной и Плехановым. О «Жорже» он в этот раз говорил с большой любовью и нежностью.

Теперь он был задушевен, мягок, нежен и даже захватывающе красноречив. Вследствие сильного духовного под'ема Михайлов был неузнаваем: исчезло заикание, на лице сияло особое благородство.

— Вы знаете, Роза, как я любил работу в народе, — готов был на всякое пожертвование, которое мне доступно, но нас горсточка, мы бессильны что-нибудь сделать там при самодержавии; все лучшие наши силы погибнут без результата. С нашими малыми силами у нас одна альтернатива: или совсем отказаться от революционной деятельности, или вступить с правительством в единоборство. Для последнего у нас хватит сил, героизма и способности к самопожертвованию.

Он горячо убеждал меня, взвесив все, стать в их, «террористов», ряды. Но я была целиком на стороне их противников, разделяла взгляды Георгия Валентиновича.

Однако сознание неизбежности разрыва с другом, которого мы оба искренно любили, высоко ставили, и вообще вся разыгравшаяся трагедия раскола в нашей единственной тогда революционной организации потрясла меня до глубины души. Я чувствовала себя неспособной противопоставить горячим, вдохновенным словам его сколько-нибудь дельное возражение. Я не произнесла ни слова.

— Вы молчите, Розалия Марковна? Ваше молчание тяжелее нападок. — Я с трудом проговорила: «Простите, мне не по себе.»

Мы вышли из парка; взяв извозчика, Михайлов довез меня до Выдыбецкого монастыря, в окрестности которого я переехала накануне. Тяжело было на душе у меня и у моего друга. Больше мы не затрагивали этого мучительного вопроса. Из тяжелого настроения нас несколько вывела раскрывшаяся перед нами чудная панорама.

Дача, на которой я поселилась с моей подругой Т. В. Полляк и куда должен был на несколько дней переехать и Георгий Валентинович, помещалась на горе. Кругом нее — сады, а впереди нее открывался прелестный вид на Днепр с его островками. И сады и река были залиты яркими солнечными лучами прекрасного августовского дня. Сидя в саду, мы с Михайловым восхищались этим видом. Когда он поднялся, чтоб уйти, я проводила его до калитки сада и, прощаясь, сказала ему, что иду с Плехановым по старому пути. Я высказала при этом уверенность, что усилия наши не пропадут даром и что мы верим в успех.

Пожимая мою руку он процедил: «В личный успех, в личное счастье!»

— «Нет, — не в личный, — запротестовала я. Мы верим в успех дела, дела русского народа».

Л. ДЕЙЧ

ИЗ КАРИЙСКИХ ТЕТРАДЕЙ[1])

В ЭМИГРАЦИИ

(ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ Я. В. СТЕФАНОВИЧА В РОССИЮ)

I

Ты помнишь, как расстались мы с тобой в середине августа 1881 года на Лозаннском вокзале? Ты возвращался в Россию с намерением присоединиться к организации «Народная Воля», а я оставался за границей на довольно неопределенное время, так как никто из нас не знал, скоро ли удастся и мне вернуться на родину. Намерение вернуться у меня, помнишь, было, но сделать это вместе с тобою нельзя было, во-первых, потому, что ты возвращался, согласившись на обращенное к тебе прямое предложение со стороны народовольцев через Тихомирова[2]), во-вторых, у нас и средств не было на обратный путь для двоих. Мы решили, поэтому, что, как только ты осмотришься, по приезде, найдешь присутствие мое в России небесполезным, наметишь для меня какое [нибудь] занятие, тогда пришлешь мне деньги и все необходимое [паспорт, адреса] для приезда. Хотя ни я, ни ты, кажется, не сомневались, что разлука наша лишь временная и что мы скоро свидимся в России, как это уже было в 1879 г., когда ты также раньше меня возвратился в Россию, но на этот раз особенно грустно было

[1]) См. Сборники №№ II и III. Как я уже сообщал, я писал эти заметки для Стефановича, будучи в Карийской каторжной тюрьме.

[2]) Из этого, между прочим, явствует, насколько верно сообщение А. П. Корбы-Прибылевой, написавшей («Былое», № 25), будто «Стефанович первый предложил «Исп. Ком-у» свои услуги и предоставил себя в полное распоряжение последнего».

мне расставаться с тобой. Сердце ли чуяло, что нам уже не свидеться больше на воле, или неопределенность срока моего пребывания за границей, при сознании, что каждый день твоей жизни тогда в России несравним с неделями и даже с месяцами жизни в 1879 г. по шансам попасться и, следовательно, расстаться, как тогда казалось, навсегда? Не знаю...

Проводив глазами поезд, в котором ты уехал, я взял билет и вскоре возвратился в Женеву, где решил жить до от'езда в Россию.

Не буду рассказывать, что́ испытывал я, оставшись один.

В первые дни, по приезде в Женеву, я сперва, до приискания квартиры, поселился в пансионе старушки немки — хозяйки того, в котором, помнишь, жили Мишка с Росселем [1]) и другие знакомые. Денег, помнится, оставалось у меня немного, и определенных каких-нибудь видов на существование я не имел. Да вообще, на этот счет я не беспокоился, не задумывался об этом: по опыту жизни за границей в продолжение двух лет [в два периода: в 1878—1879 и 1880—1881] я знал, что не умру с голода, что как-нибудь буду изворачиваться, а там ты, может быть, устроившись в России, будешь присылать что-нибудь.

Но в первый же день мне удалось устроить следующую «финансовую операцию». Помнишь, затевая издание за границей «Черного Передела» № 2, ты предложил Ив. Ив. [2]) составить хронику русской жизни по газетам и журналам. Окончив ее, он прочел нам написанное, и мы с тобою нашли, что для газеты эта хроника чересчур велика, а сокращать ее было жалко, так как она вышла у него бойкой и интересной. Тогда мы надумали издать ее отдельной брошюрой, которую автор озаглавил «Началом конца». В этой, действительно, вскоре вышедшей в свет брошюре с народнической точки зрения массой собранных фактов из официальных источников доказывалось, что все говорит за сильное

[1]) «Мишка» — была кличка Вл. Дебогория-Мокриевича; Россель — псевдоним известного эмигранта, д-ра Судзиловского.

[2]) Иван Иванович Добровольский — старый эмигрант, привлекался по процессу 193-х; приговоренный на каторгу, он тем не менее был выпущен на волю под залог в 10.000 рубл. и после неутверждения царем ходатайства Сената бежал за границу; теперь живет близ Москвы.

возбуждение в народе в разных концах России, что экономические его бедствия дошли до крайних пределов, и, кажется, недостает лишь последней искры, которой должны явиться революционеры, чтобы разразилась в России революция. Хотя и живо написанная, брошюра эта не представляла ничего оригинального, она не давала [в сущности] ничего нового. К тому же выход ее совпал с делом 1-го марта, делом, поднявшим и до того стоявшие уже высоко фонды «народовольчества», террора, привлекшего к себе почти все революционные элементы. Брошюра прошла совсем незамеченной: все экземпляры ее лежали в типографии, в Россию, не помню, переслан ли был десяток их, а за границей книгопродавцы взяли, вероятно, не более этого на комиссию. Я вздумал разделаться с нею следующим образом.

Главным книгопродавцем, бравшим, вообще, наибольшее число экземпляров на комиссию, был старый эмигрант Эльпидин [1]), который уже от себя рассылал другим книгопродавцам в некоторые большие города Западной Европы. Но ты помнишь, что Эльпидин, этот тип мелкого кулака-мироеда, поселенного судьбою вместо русской деревни в цивилизованном городе, из книг, полученных им на комиссию, извлекал (как и из всего, что подвертывалось ему под руку) всю выгоду лишь для себя, — издателям подпольных произведений не удавалось от него ничего получать, так как он всегда уверял их, что книжки не проданы книгопродавцами, получившими их от него на комиссию, но как только, мол, получит от них, сейчас же разочтется с издателями. Этого «сейчас», тщетно, помнишь, приходилось ждать целые годы; многие собственники таких произведений, не дождавшись никакой выручки или получив какие-нибудь пустяки в несколько франков, возвращались в Россию (Морозов, Романенко), оставив в пользу одного Эльпидина все выгоды от издания. Я не хотел отдать ему «Начало конца» на «обыкновенных» условиях, а предложил ему купить у меня все издание по 25% выставленной на обертке цены

[1]) По делу студенческих беспорядков в Казани в 1861 г. Всеми правдами и неправдами Эльпидин добывал средства: захватил цюрихскую русской колонии библиотеку в свою частную собственность, сделавшись издателем газеты «Общее Дело», ничего не платил сотрудникам и кончил тем, что стал тайным полицейским агентом.

(в 2 фр.). На предложение это он согласился, но наличными всей суммы (кажется, в 250 фр.) он дать не захотел, а — с рассрочками, на таких, помнится, условиях: 50 фр. — сейчас, 100 фр. — спустя 3 месяца, а на остальные я мог набрать у него всякие революционные издания или через него выписать иностранные книги. Поторговавшись, конечно, предварительно, я согласился в конце концов, но настоял, чтобы наша сделка была изложена на бумаге по форме (по-французски) и чтобы на ней подписался свидетель, что и было в точности сделано. Когда, получив от него 50 фр., я возвратился домой и рассказал близким (Сергею, Марфе[1] и др.) о заключенной мною сделке, все очень хвалили мою выдумку. Сам я также был ею очень доволен, так как кроме получения нескольких десятков франков, которые не были мне излишни, я убедился, что и впредь можно иметь дело с Эльпидиным, стоя лишь на той же коммерческой почве, на какой он стоял. К тому же и ему, видимо, понравился мой прием, так как, спустя некоторое время, он сам уже заявил мне, что хочет взять на наличные деньги все оставшиеся у меня экземпляры № 2 «Черного Передела». При этой операции, помнится, я уже ему не сделал никакой уступки или, быть может, незначительную, так как экземпляров оставалось очень немного, а он, видимо, сильно желал все приобрести. С этих пор, вплоть до моего от'езда из-за границы, я постоянно вел сношения с Эльпидиным по самым разнообразным делам, о чем при случае расскажу ниже, и почти всегда к обоюдной выгоде. Из полученных от него за «Начало конца» денег я часть отдал ее автору, — теперь не помню сколько.

Вечером того же дня приехали в Женеву Сергей с Фанни, Анкой и двоюродной сестрой Фанни, «рыженькой Верой»[2].

Сергей, как помнишь, провел то лето в Сен-Серге над Нионом в ожидании от'езда в Россию. Его также звали «народовольцы» еще весной, тотчас после 1-го марта. Он вполне тогда уже настроился, наэлектризовался, со дня на день

[1]) С. Кравчинскому, В. Ив. Засулич.

[2]) Фанни Марковна Личкус, студентка, была женой Сергея Кравчинского; «Анкой» называлась Анна Михайловна Эпштейн, медичка, жена Дм. Алек. Клеменца; «рыженькой Верой» мы называли молоденькую родственницу Фанни за золотистый цвет ее волос.

ждал, что ему пришлют все нужное для от'езда, но не знаю уж почему, поездка его не состоялась. Помню, как он жаловался, что его измучили этими призывами и держанием наготове в продолжение нескольких месяцев, а в конце концов не то отказали, не то замолчали. Теперь он приехал в Женеву лишь на несколько дней, чтобы устроить некоторые свои дела, так как решил уехать на довольно долгое время в Италию, в Милан: там он надеялся заняться самостоятельным творчеством, — писать для русских легальных журналов статьи об итальянской литературе, между тем как до того единственным источником его средств к существованию были переводы беллетристических произведений. Кроме того, тогда же у него возникла мысль написать ряд очерков и биографий революционного характера. Ниже я коснусь того, насколько впоследствии он выполнил эти планы. Относительно возвращения в Россию он решил впредь не полагаться легкомысленно на одни лишь обещания, не настраиваться зря, а только тогда начать собираться, когда это будет несомненно выполнимо и когда окончит намеченные им себе в Италии цели.

Через несколько дней он, действительно, уехал в Милан, оставив, пока он устроится, Фанни в Женеве, так как средств у них не было на поездку вдвоем и на жизнь в первое время в новом месте. В виду особенной его нелегальности избранное им для поселения государство мы все решили держать в секрете от большой эмигрантской публики[1]). Уезжая, Сергей просил, чтобы я сообщал ему обо всем сколько-нибудь интересном из твоих писем ко мне.

Тогда же уехал также из Женевы Россель [Судзиловский] в Париж, где он надеялся приискать какое-нибудь занятие, которое могло бы прокормить его с семьей. Если помнишь, он перед твоим от'ездом условился с тобой, что раз получит от тебя деньги на дорогу, то поедет в Россию. Так же и Людвиг Варынский, по получении от тебя известий, собирался вернуться в Россию, с тем, чтобы примкнуть к Народной Воле; деньги же на его поездку обещал доста-

[1]) Известно, что Кравчинский убил ген. Мезенцова, поэтому, подобно Нечаеву, мог по требованию русского царя быть выданным континентальными зап.-европейскими странами в качестве уголовного.

вить Василий Николаевич (Игнатов). Таким образом, ты видишь, что с твоим от'ездом в Россию и сообщением о вынесенном тобою впечатлении по поводу положения дел там связана была участь нескольких лиц, и писем твоих не я один, но и другие, менее тебе близкие, ожидали с нетерпением.

II

Ты не заставил нас долго дожидаться писем. Не говоря уже о частых и подробных сообщениях с пути, ты, вскоре по приезде в Москву, стал присылать хотя и короткие, но ежедневные уведомления о себе заранее условленным между нами способом [1]). Эти ежедневные получки доставляли мне невыразимое удовольствие. Из них, правда, я немногое мог вынести об общем положении дел и о полученных тобою впечатлениях, но они служили ежедневно доказательством, что три — четыре дня [перед тем] ты был здоров и на воле. Изредка попадались в этих записках и важные для меня сообщения, уведомления. Так, помню, что в одной из них ты уведомлял, что принят агентом Исполнительного Комитета. Это сообщение меня, признаться, как бы оскорбило за тебя, так как я в душе ожидал, что ты немедленно, а не после некоторого искуса, займешь подобающее тебе место в самом Комитете [2]).

С первых же «ежедневных записок» почувствовался бодрый, приподнятый тон, уверенное и энергичное настроение твое, что передавалось немедленно и мне. Видно было, что положение дел в России произвело на тебя сильное впечатление, что ты многого ожидаешь в близком будущем от террористического направления, что людей, планов и серьезных дел ты нашел в России достаточно [3]). Одно, на что ты сетовал почти в каждом сообщении — это [по поводу] временного затруднения, [вызванного] массой предшествовавших погромов, в добывании денег на дела. Возвращение мое в Россию, поэтому, откладывалось на некоторое время. Кроме этих «ежедневных записок», хотя и редко, я получал от тебя и подробные, большие письма, в которых бывало много очень интересных сообщений как об общем положении, так и о твоих планах, намерениях и проч. В виду того важного значения, которое имело твое пребывание в России для многих оставшихся за границей товарищей, я сообщал содержание твоих писем как бывшим в Женеве, так и, в сокращениях, Кропоткину, Лаврову, Мокриевичу, Аксельроду, Хотинскому, Присецкому, Судзиловскому, Ивановскому, находившимся в разных городах Европы.

Передавшееся мне от тебя бодрое, полное хотя и неопределенных надежд, настроение я затем отчасти естественно, но отчасти умышленно старался передать и другим. Делясь с товарищами содержанием твоих писем, я сперва не преследовал никакой цели, но, мало-по-малу, в голове моей стали возникать все более и более определенные планы относительно заграничников, — о той пользе, какую можно получить для террористического движения в России от некоторых эмигрантов. Планы мои сперва ограничивались намерением вызвать у лучших, могущих быть кое-чем полезными для России, лиц благоприятное отношение к народовольцам. Поэтому, письменные и устные сообщения мои из твоих посылок я сопровождал некоторыми комментариями, наводил мысль других на возможность кое-чем оказывать помощь русскому движению из-за границы, напирал и подчеркивал особенно сильно на твои жалобы на безденежье, хотя я и не имел в виду какого-нибудь определенного плана раздобыть за границей средства для России. Смутно, правда, мелькала мысль, что вдруг кто-нибудь и откуда-нибудь да отзовется. Несколько более определенные надежды явились у меня только после следующего обстоятельства.

Больше года проживший во Франции Ив. Ник. Присецкий, который, помнишь, приехал из России, будучи ярым народником, после твоего от'езда поселился в Швейцарии. Он, как знаешь, был состоятельным человеком, к тому же,

[1]) На внутренней стороне бандероли «Московских Ведомостей» Стефанович писал химическими чернилами.

[2]) Впоследствии, через четыре года я узнал от тебя, что так оно и было на самом деле, но ты из личных соображений относительно меня счел необходимым поконспирировать со мною, так как меня народовольцы наметили сперва в агенты.

[3]) Напоминаю, что это писано под свежим впечатлением, около 40 лет тому назад, — в чем каждый желающий может лично убедиться. Не правда ли, как сообщения Стефановича подтверждают клеветы некоторых старых народовольцев, будто он присоединился к «Н. В.» с тем, чтобы «взорвать ее изнутри».

в его воззрениях, как я вскоре узнал, произошло значительное изменение в сторону признания необходимости политической борьбы, хотя и не вполне в духе народовольчества [1]). Пожив некоторое время в Женеве, где я с ним виделся, но не говорил ни о чем существенном, деловом, он отправился в Кларан, чтобы повидаться с жившими в Божи Розой Марковной [Плехановой] и Теофилией [Поляк], с которыми он был в приятельских отношениях. Зная о последнем, я в одном из писем к Розе [2]) особенно энергично напирал на приведенные мною выдержки из твоих писем, в которых ты жаловался на задержки, причиняемые отсутствием средств. Я не просил ее прочитать мое письмо Ив. Ник. и, вообще, ничего не предлагал ей, но в душе я питал надежду, что она сама догадается извлечь конкретную пользу из моего письма.

И, действительно, спустя несколько дней, на эмигрантском собрании подходит ко мне только что вернувшийся из Кларана Ив. Ник. и заявляет, что имеет переговорить со мною о чем-то и предлагает на другой день притти ко мне в условленное время.

Нетрудно было догадаться, какова была цель его свидания со мною. С первых же слов он, помнится, прямо заявил, что, узнав из моего письма к Розе о денежных затруднениях в России, он готов, насколько может, помочь в этом отношении и просит меня познакомить его с положением дел народовольцев. Я, конечно, охотно это сделал, снабдив свое изложение ссылками на выдержки из твоих писем. Он, в свою очередь, сообщил мне, каковы материальные его условия. Оказалось, что немедленно он не располагает никакой суммой, но что через некоторое время он собирается в Сербию, куда выпишет отца своего на свидание с собою и попросит его привезти с собою деньги, тогда пришлет мне тысячу рублей. Зная его за человека серьезного, не дающего зря обещаний, я, конечно, считал эти деньги обеспеченными, о чем тебе тогда же сообщил.

[1]) С примесью украинского федерализма в духе Драгоманова, с которым он, как и Дебогорий-Мокриевич, очень сблизился.

[2]) Жорж оставался в Мюльере (близ Парижа), откуда не мог долго выбраться, вследствие невозможности расплатиться со всевозможными мелкими кредиторами — лавочниками, молочницей и т. д.

После этого свидания мы часто с ним видались и много говорили о программе народовольцев, о революционных делах в России; главным образом, он расходился с террористами во взглядах на «окраины», то-есть ему не нравилось в них то, что они говорят о «всероссийском» земском соборе, не упоминают Украины. Последнее было на него навеяно Драгомановым, влиянию которого, по приезде из Франции, он, кажется, сильно поддался. Желая расположить его к народовольчеству и имея в виду, что с приобретением такого члена много выиграет действующая революционная партия, я всячески старался примирить его с теми сторонами программы [последней], которые ему не нравились. Он, ты знаешь, умный и довольно развитой человек, но с большим самолюбием и, главное, упрямством. Переубедить, поэтому, его довольно трудно, если не сказать вполне невозможно. Тем не менее, в конце концов, он заявил мне, что, по приезде в Россию, куда он собирался весною следующего года, будет материально и, вообще, практически помогать Народной Воле, но сам не примкнет к ней, раз она не внесет в свою программу признания автономии Украины в будущем. Все же я не терял надежды, что с приездом в Россию он, волей-неволей, присоединится к народовольцам, так как не найдет других групп, с которыми он смог бы действовать в духе своих воззрений, тем более что он, еще будучи за границей, вполне сочувственно и одобрительно относился к политической, вернее — к террористической деятельности народовольцев.

Спустя некоторое время, он, действительно, уехал в Сербию, откуда часто переписывался со мною. Я старался поддерживать в нем интерес к русским революционным делам, для чего приводил в своих письмах выдержки из твоих, пересылал получавшиеся от тебя подпольные издания и т. п. Впоследствии, как знаешь, он, действительно, прислал мне тысячу рублей, которые я тогда же, помнится, переслал тебе [1]).

Вскоре после его от'езда представился план получения денег в значительно более грандиозных размерах. Как-то

[1]) См. помещаемое ниже мое к Ст—чу письмо от того отдаленного времени.

раз Мишка [1]), который после твоего от'езда тоже стал сходиться с Драгомановым на симпатиях к Украине, пришел ко мне со следующим сообщением. Какой-то важный старый польский эмигрант, живущий в Италии, обратился к Драгоманову через общего знакомого с вопросом, может ли он передать непосредственно Исполнительному Комитету план добыть из какого-то польского банка деньги на русские революционные дела каким-то нелегальным способом, при чем Исполнительный Комитет напечатает, что дело это им, Комитетом, совершено? Подробности этого плана «старый эмигрант» соглашался передать только устно лицу вполне надежному и имеющему непосредственные сношения с Комитетом. Насколько был серьезен этот денежный проект, можно было видеть отчасти из того, что, по словам Мишки, Драгоманов не только проявил полное доверие к этому плану, но даже выразил готовность дать Мокриевичу деньги на поездку в Италию для переговоров с этим старым эмигрантом. Я, собственно, несколько скептически отнесся к этому плану, зная из прошлого, что сто-и более тысячные проекты, в конце-концов, оказывались лишь мыльными пузырями, почему я всегда более предпочитал «синицу в руках — журавлю в небесах». Тем не менее, хотя я высказал свой скептицизм Мишке, но не счел возможным ни отговаривать его от поездки, ни не исполнить предлагаемого условия, т.-е. «довести до сведения Исполнительного Комитета», что я в ближайшем письме и сделал. Еще до получения твоего ответа Мишка, действительно, снабженный Драгомановым деньгами на дорогу, поехал в Италию для переговоров. Спустя, кажется, неделю, он вернулся и рассказал значительно охладевшим тоном, что план, помнится, состоял в следующем: в каком-то польском банке имелся у того старого эмигранта знакомый поляк-демократ, который мог помочь Исполнительному Комитету своими указаниями захватить деньги из банка, но так, чтобы этот служащий остался вполне незаподозренным, а «Комитет» должен был напечатать, что это дело совершено им. Указать место банка и то лицо старый эмигрант соглашался, лишь уверившись, что Мишка, действительно, уполномочен «Комитетом» для

[1]) Т.-е. Дебогорий-Мокриевич.

ведения переговоров; для этого он предложил, чтобы в ближайшем № «Народной Воли» в ответах редакции была напечатана произнесенная им фраза. Сам Мишка уже скептически относился к этому плану и допускал, что, вероятно, зря издержал 150 — 200 франков на поездку в Италию. Деньги эти, оказалось, Драгоманов дал лишь заимообразно с тем, что, во всяком случае, Иван Николаевич возвратит их ему по получении от отца. Хотя я уже почти окончательно потерял веру в этот план, но все же написал тебе об условиях, — о напечатании приведенной фразы в «Народной Воле» и о присылке Мишке уполномочия от «Комитета» на ведение дальнейших переговоров с польским эмигрантом. Впоследствии, уже незадолго до твоего ареста, «Исполнительным Комитетом» все условия были приняты и исполнены, но слух об этом эмигранте и его «обширном денежном плане» совершенно замолк.

Этот эпизод может отчасти служить некоторой иллюстрацией того, что даже лица, еще недавно относившиеся недружелюбно к «Народной Воле», как Драгоманов, а также Мишка, после твоего от'езда стали проявлять готовность оказывать террористическому направлению существенную помощь.

Каждое получавшееся мною от тебя русское революционное издание, с моего согласия, перепечатывалось эмигрантами и широко распространялось в публике. Вообще, заметно было изменение отношений эмиграции к народовольчеству, что обусловливалось многими причинами. Не говоря уже о том, что еще при тебе почти замолкли слухи о каких-нибудь других действующих в России кружках и направлениях, уже тот факт, что ты пристал к «Народной Воле», и бывшая очевидной также наша склонность присоединиться не могли не влиять примирительным, располагающим образом на всю публику. Не было и тени прежнего не то недружелюбного, не то безразличного отношения эмиграции к народовольчеству, — наоборот, у меня, по крайней мере, была полная уверенность, что, несмотря на некоторые принципиальные разногласия у старых эмигрантов [Жуковского, Эльсница и др.] с террористами, можно каждого из них привлечь к любому практическому делу, плану, раз таковой явился бы. Но, не говоря уже о том,

что конкретно, в первое, по крайней мере, время, у меня не было никакого плана для привлечения эмиграции в целом или хотя бы отдельных из нее лиц к практическому содействию, — нам самим, старым чернопередельцам, необходимо было выяснить свое отношение к «Народной Воле» и определить более или менее пункты нашего согласия и расхождения с нею.

Ты помнишь, что мы, т.-е. я, Марфа, Жорж, Павел, Вас. Ник. и отчасти Мишка, Россель, Александр Хотинский, Сергей и Лавров, хотя и не составляли какого-нибудь организованного, сплоченного кружка, все же, в силу старого приятельства и теоретического в большей или меньшей степени согласия, являлись чем-то цельным, единым. Уезжая в Россию, каждый из нас не был связан какими-нибудь формальными обязательствами по отношению к оставшимся, но, будучи за границей, странно, неловко, да и невозможно было бы действовать, не спевшись, выступать не солидарно с другими. Лично я, начав еще при тебе придавать первенствующее значение политической борьбе народовольцев, понимая под ней стремление добиться всевозможными способами политической свободы, мирился с некоторыми, хотя и довольно существенными в теоретическом отношении, разногласиями с террористами. Правда, некоторые их выходки, — например, прокламация на украинском языке по поводу анти-еврейских беспорядков на юге России, призывавшая к избиению евреев, — сильно меня коробили, раздражали и огорчали, но я надеялся, что с нашим к ним присоединением естественно изменится несколько их отчасти ошибочное, по моему мнению, отчасти просто непрактичное отношение к некоторым вопросам и обстоятельствам. Я был самым искренним и готовым на многие даже существенные уступки кандидатом в народовольцы, к тому же, как я выше упоминал, зараженным от тебя жаждой делать, и делать как можно больше, на пользу народовольчества, пока я за границей. Мне хотелось, прежде чем я отправлюсь в Россию, если можно так выразиться, все вытянуть, извлечь из-за границы, оставить что-нибудь существенное там, хотя конкретно оно мне и самому тогда еще не представлялось. Но я чувствовал и знал, что необходимо, во всяком случае,

сперва подготовить почву, расположить публику к народовольчеству, что я всячески и старался делать [1]).

III

В Женеве, как я уже упомянул, после от'езда Сергея и Росселя, остались в начале осени, кроме меня и Марфы, только Фанни с Анкой и Мишка. С последним мы часто видались, с первыми реже. Скоро и Фанни уехала к Сергею в Италию, Анка жила далеко, в Овиве, мы трое — в Паки. Главный интерес нашей, по крайней мере, моей жизни был сосредоточен на твоих письмах, — на заключавшихся в них сообщениях, поручениях и пр. Каждый почти вечер мы собирались вместе на квартире Марфы: я приносил полученное от тебя «ежедневное» письмецо [2]) и русскую газету, приходившую, как знаешь, с четырехчасовым поездом; пили чай, читали газету, заводили разговор на теоретическую или практическую тему.

Часто приходил кто-нибудь из поляков: Дикштейн, Людвиг Варынский, Пекарский, а то и все трое. Разговоры, конечно, вертелись около тебя, твоих сообщений, полученных от тебя изданий и пр. Днем у каждого из нас была своя работа, занятие. Я у себя в уютной, тихой, хорошенькой квартирке [очень красивой комнате с большим альковом] по утрам читал, если не был занят письмами и поручениями, Марфа имела денежную работу — перевод какой-то французской книжки, Мишка занимался французским языком, собираясь переселиться в Париж. С публикой мы встречались редко, — жили мы, как всегда за границей, своим тесным кружком. Реферативных собраний в ту осень не бывало. Лишь несколько раз состоялись эмигрантские собрания по следующему поводу.

К Драгоманову, который, как знаешь, порвал всякие сношения с публикой, приехал с рекомендацией из Парижа

[1]) Не правда ли, как все это подтверждает «заключенный мною со Стефановичем заговор», в котором нас обвиняют А. П. Прибылева и др.?

[2]) То-есть, повторяю, газету с бандеролью, сорвав которую, смазывал внутреннюю ее сторону известным химическим составом, благодаря чему выступали фразы.

от Пекюльского[1]) один молодой человек, по фамилии Франк, попросивший свести его с Сергеем, к которому, мол, имел важное дело. Драгоманов заявил ему, что Сергея нет в Женеве, но если он желает, то может написать ему письмо и принести ему, Драгоманову, а он отошлет его Сергею. Франк же настаивал крайне неудачно, чтобы Драгоманов ему сообщил непосредственный адрес Сергея. Несмотря на рекомендацию Пекюльского, это возбудило у Драгоманова подозрение против Франка. Вскоре разнеслось среди эмиграции, что приехавший юноша, имевший рекомендации и к другим лицам (все от того же Пекюльского), — шпион, разыскивающий нелегального Сергея. Некоторые, кажется, кн. Черкезов, Гутерман[2]) и еще кто-то задались целью изобличить этого шпиона, для чего стали с ним выпивать, желая выведать от него какие-нибудь существенные доказательства. Раз даже, ночуя вместе с ним на одной квартире, они обыскали его одежду, думая таким образом напасть на след, но, конечно, они ничего не нашли, а один из собутыльников (кажется Кузька)[3]) на второй день сам же передал Франку, кто его обыскивал. Он стал перед ними разыгрывать роль «оскорбленной невинности», упрекал их, на каком основании они его, человека честного, заподазривают в подлости, и потребовал открытого суда над собой эмиграции, заявляя, что он докажет свою политическую непорочность. Те охотно ухватились за это предложение, обещав изложить перед собранием имеющиеся у них для подозрения Франка данные, а также публично извиниться, в случае, если его доводы и опровержения будут приняты большинством. По этому поводу назначалось несколько собраний, на которые Черкезов должен был привести Франка, но каждый раз собрание расходилось, не дождавшись последнего, который под разными предлогами откладывал свой приход и, наконец, тайно совсем исчез из Женевы. Тогда собрание постановило опубликовать в заграничных русских изданиях [«Общем Деле» и «Вольном Слове»] предостережение, в котором сообщалось, что суб'ект с такими-то приметами, старающийся втереться в среду эмиграции, — шпион. Но этот эпизод повлек за собою довольно крупное столкновение между Драгомановым и всей эмиграцией, о чем расскажу в соответствующем месте, а теперь скажу несколько слов о новом заграничном органе «Вольное Слово».

[1]) Пекюльский — эмигрант, считавшийся безупречным.

[2]) Черкезов, Гутерман — довольно известные эмигранты.

[3]) Кузька — псевдоним старого эмигранта-наборщика из драгомановцев, украинца Ляхоцкого.

IV

В последние дни твоего, помнишь, пребывания в Кларане мы впервые узнали, что в Женеве затевается на солидных основаниях новый орган некиим Мальчинским, специально для этого приехавшим за границу и имевшим рекомендации к Лаврову и Драгоманову. Направление органа предполагалось умеренное, либерально-конституционное; с материальной стороны он обставлялся как почти ни один, за исключением старого «Колокола» Герцена. Он должен был выходить раз в неделю, в очень большом формате, сотрудникам положена была сразу небывалая по своей значительности плата, вводились постоянные отделы: политический, о рабочем движении на западе и прочее. Последний отдел — хронику рабочего движения — согласился вести П. Аксельрод, в качестве постоянного сотрудника, с довольно большой ежемесячной платой, кажется, в 250 франков (около 95 р.). Чтобы с большим удобством следить за этим движением он — еще при тебе — переехал в Цюрих, куда выписал из России и семью свою. Драгоманов принял самое деятельное участие в этом органе: кроме передовых статей и разных заметок он стал печатать длинный ряд очерков под заглавием «Историческая Польша и великорусская демократия», впоследствии вышедших отдельным изданием и составивших довольно большую книжку. В этих очерках (более яркие я тогда же тебе пересылал) он эксплоатировал своего излюбленного конька: всевозможные обиды и несправедливости, которые наносили Украине, наравне с правительством, будто бы также и польско-русские революционеры. В общем орган велся довольно прилично и чистоплотно. В нем прямо заявлялось, что редакция не только не разделяет воззрений «Народной Воли», но считает их вредными, не ведущими к цели и ставит своей задачей бороться с ними путем печати; наоборот, к таким направлениям, какого придерживались

социалисты начала 70-х годов, орган относится вполне сочувственно и готов во многом итти с ними рука-об-руку. По отношению к внутренним делам России этот орган выражался осторожно, не вполне определенно; можно было только косвенно вывести, что он с чем-то не согласен и чего-то желает. Все же как с внешней, так и с внутренней стороны он производил хотя и неопределенное, но не неблагоприятное впечатление. Иногда там попадались очень интересные корреспонденции как из России, так особенно из балканских государств, встречались и обще-теоретические статьи на социалистические темы и прочее. Отдел «Хроника рабочего движения» П. Б. Аксельрод вел очень дельно, занимательно, а однажды он поместил также и полемическую статью в ответ на неподписанную статью «О социализме», в которой автор (Присецкий) опровергал положение Интернационала, что «освобождение народа должно быть делом самого народа», доказывая, что оно всегда было делом немногих — для народа. Опровержение Аксельрода было написано сдержанно и убедительно. Редакция в этом случае держала себя очень прилично и об'ективно. Словом, казалось, ни к чему нельзя было придраться по отношению к этому органу.

Но после первых же его номеров «Общее Дело», издававшееся Эльпидиным, Христофоровым, — старыми эмигрантами по Казанскому делу 1861 г. — и другими лицами — д-ром Якоби, Алисовым [1]) и Зайцевым [2]), — задало по адресу «Вольного Слова» такого рода вопрос: «а какого мнения «Вольное Слово» о министерстве Игнатьева? Кто-то, мол, определил кого-то [теперь не помню, кто и кого] одной фразой: «c'est une canaille» [это каналья]. Поэтому и «Вольному Слову» предлагалось хоть одной фразой определить свое отношение к тогдашнему министру, гр. Игнатьеву. На этот ехидный вопрос «Вольное Слово» ответило довольно уклончиво, заявив, что, мол, новое министерство вовсе не такое простое, несложное явление, которое можно было бы определить одной фразой, и прочее в этом же роде. Все знакомые, с которыми мне приходилось тогда говорить

[1]) Бывший русский довольно богатый помещик, эмигрировавший в начале 80-х годов за границу, где стал печатать огромное число памфлетов.

[2]) Зайцев — известный соратник Д. Писарева в «Русском Слове» 60-х годов.

об этой полемике между «Общим Делом» и «Вольным Словом», вынесли впечатление, что «Общее Дело» хотело набросить тень на «Вольное Слово», будто оно на жалованьи у Игнатьева [1]), и мотивом к тому с его стороны была боязнь нового и сильного конкурента на почве распространения конституционных идей. Это была первая стрела, пущенная в новый орган, далеко еще не определившийся и очень загадочного происхождения. Но эмигрантская публика отнеслась вполне об'ективно, скорее склоняясь в сторону «Вольного Слова» и допуская, что «Общее Дело» руководилось в данном намеке нечистыми, торгашескими побуждениями.

Хотя, относительно, как видишь, в эмиграции после твоего от'езда явилось несколько бо́льшее возбуждение и интерес, чем это было при тебе, тем не менее, в общем, она так же праздно и бесцельно проводила время, живя изо дня в день как и прежде. Совсем иначе, как я уже напоминал выше, чувствовал себя я в то время. Прежде всего мне хотелось привлечь к народовольческому движению близких: Марфушу нетрудно и незачем было располагать к этому направлению, так как она сама чувствовала и угадывала наперед то, что во мне происходило, разделяла пункты моего схождения и несогласия с «народовольцами», сама дополняла и развивала далее то, что я высказывал лишь как предположение или что мне самому даже еще неясно представлялось. Она также целиком готова была оказывать всяческое содействие «Народной Воле», но не могла придумать, каким способом. Спустя короткое время, она, действительно, как знаешь, всей душой отдалась делу заграничного «Красного Креста Народной Воли», о чем, впрочем, ниже расскажу подробнее. На Мишку можно было также рассчитывать, что, хотя и не особенно энергично, он все же кое-что будет делать при определенном плане, затее. То же приблизительно можно было предполагать и относительно других близких: Павла, Василия Николаевича [Игнатьева] Жоржа, Лаврова, Кропоткина, Мокриевича и др., не говоря уже о Кравчинском, Иохельсоне и прочих находившихся в эмиграции настоящих народовольцах. Особенно, конечно, важно и ценно было привлечь Плеханова в число доброжелателей «Народной Воли».

[1]) Министр внутренних дел.

V

Розе [1]) удалось, спустя несколько месяцев, достать необходимую сумму (кажется, у Ивана Николаевича (Присецкого), чтобы высвободить Жоржа из Мельера [2]), где жизнь его с наступлением осени становилась день-ото-дня невозможнее. Пробыв недолго в Кларане, он приехал повидаться с нами. Я и теперь живо помню, как мы с ним встретились после годичной разлуки. Он всегда, как я чувствовал, относился ко мне с симпатией и на этот раз встретил меня с той же веселой, добродушной улыбкой, как и раньше.

— «Ну, что нового?» — спросил он, после обмена приветствиями, когда мы вечером собрались у Марфуши, где был и Мишка. — «Вы, кажется, записались в народовольцы?» — продолжал он добродушно. — «Да, записался», — ответил я довольно сухим, серьезным тоном. И у нас тотчас же завязался спор, быстро принявший резкий, задорный тон со взаимным обменом колкостями, при чем победа, конечно, осталась за ним. Я не припомню теперь, что я отстаивал, и как он опровергал. В общем, помню только, что он не придавал никакого значения террористическим удачам народовольцев. «Еще одного Александра убьют, еще двух — трех генералов, и на этом закончат они свое существование», — говорил он. Я с этим, конечно, не соглашался, доказывая, что они добьются политических реформ [3]).

Раз у собеседников завязывается резкий спор, то такого рода обмен мыслями никогда не приводит к выяснению воззрений друг друга. Особенно это немыслимо было в таких случаях с Жоржем: он из любви к спору, из привычки побеждать противника наговаривал многое, что могло только

---

[1]) Розалии Марковне.

[2]) Деревушка вблизи Парижа, где поселились Плехановы весной 1881 г. и где он оставался после их выезда оттуда в Швейцарию в конце лета.

[3]) По поводу этого-то резкого спора со мною и отчасти с Верой Ивановной Плеханов писал Лаврову, что «настроение женевских товарищей не особенно радует: оно может быть формулировано словами — соединимся во что бы то ни стало, хотя и поторгуемся сколько возможно». (См. в моей брошюре о нем восьмое письмо от 31 октября 1881 г.)

разжечь, раздразнить, а ничуть не вызвать охоту поделиться действительными своими воззрениями.

Из этого спора я, как и он, вынес только неприятный, тяжелый осадок и чувствовал, что нам не сговориться. Это меня сильно раздражало и огорчало в течение нескольких дней, хотя мы с ним встречались у Марфы, но чувствовали, что между нами стало нечто очень неприятное. Мы довольно холодно здоровались, и если обменивались отдельными фразами, то в том же неприязненном, задорном тоне. Таким образом, с каждым днем отношения наши обострялись и могли кончиться лишь полным разрывом.

Как я уже упомянул, Марфа принимала очень слабое участие в наших спорах, подавая небольшие реплики, указывавшие на ее со мною согласие. Мишка же, наоборот, скорее поддерживал Жоржа. Они, раньше никогда не встречавшиеся, как-то быстро сошлись: Жорж ночевал у него, и так как оба они любят поговорить, то беседовали далеко за полночь, рассказывая друг другу всякие происшествия из прошлого и пересыпая рассказы остротами, каламбурами. Мишка особенно живо передавал свои скитания по Сибири после побега из Иркутска; Жоржу очень нравилась его манера передавать в лицах всякие случаи и приключения. Оба были, видимо, очень довольны, и нам с Марфушей они не могли достаточно нахвалить один другого: остроумный, веселый и симпатичный человек», — говорил то тот, то другой о своем новом собеседнике, оставаясь с нами наедине.

А у меня, как говорится, кошки скребли на душе из-за размолвки с Жоржем. Не радовало меня и его сближение с Мокриевичем, хотя в другое время я, вероятно, был бы этим доволен. Не могла не огорчать меня перспектива приобрести в Жорже, вместо доброжелателя народовольцев, врага их. А ты знаешь, как опасен он, раз считает себя принципиальным врагом отдельного ли лица или целой группы. К тому же, как раз в эти дни, ты в одной из своих «ежедневных записок», в ответ на полученные тобою от меня выдержки из статей Драгоманова в «Вольном Слове», предлагал, чтобы Жорж написал для «Народной Воли» критическую заметку о последнем. Но как было обратиться к нему с разговором об этом при возникших между нами не то

холодных, не то даже враждебных отношениях? Марфушу и Мишку тоже огорчала моя с Жоржем размолвка. Оба они настаивали, чтобы я с ним примирился, так как и я был неправ в споре, потому что слишком горячился и сам говорил резко. Не помню, сознавал ли я это в душе, но знаю, что без внешних, благоприятных условий, мне трудно было бы первому заговорить добрым, товарищеским тоном.

Случилось, что мы целой компанией отправились в театр на «Риголетто». Эта опера очень нравилась Жоржу, и с тех пор, как я с ним познакомился (в 1876 г.), он любил напевать из нее один и тот же куплет: «Милые женщины, как вы изменчивы»... Возвращаясь из театра, я предложил ему пойти ко мне ночевать, на что он, видимо, охотно согласился. Я первый заговорил в добром примирительном тоне, но что́ именно, конечно, теперь не помню. Кажется я указывал ему на необходимость и даже обязанность нашу, несмотря ни на какие крупные разногласия, стараться, по мере возможности, поддерживать народовольцев, ввиду того значения, какое их деятельность имеет, быть может, помимо их воли, на общий ход развития политических идей в России. Не знаю, согласился ли он в душе с какими-нибудь из моих доводов или только мой искренний, дружеский тон на него действовал, только он, кажется, по существу ничего не возразил. В таких, ведь, случаях не смысл фраз, а тон, которым они произносятся, действует примирительно, если между повздорившими людьми существует взаимная симпатия, если в душе они дорожат взаимной близостью. Спустя несколько минут, помню, мы говорили уже старым, веселым и добродушным тоном; я запросто излагал ему свои воззрения, намерения, прямо предлагал ему также стать в дружелюбные отношения к народовольцам и тут же сообщил ему о твоем предложении, чтобы он написал критическую статейку для «Народной Воли» в ответ на задирания Драгоманова. Хотя наружно он как бы колебался — соглашаться ли на мое предложение, но, думаю, оно в душе должно было ему понравиться. Его смущала форма, какую должен был он придать этой статейке: писать от своего имени в качестве постороннего лица казалось ему неудобным, от имени же редакции — он не был уверен, понравится ли это народовольцам. В конце концов он все же согласился и обещал по возвращении в Кларан попытаться написать эту статью.

Я не помню теперь, насколько определенно сложились тогда его новые воззрения относительно политической деятельности в России. Ты знаешь, что раньше он был ярым народником, принципиальным противником политической борьбы, вообще, и терроризма — в частности. В описываемую мною пору (т.-е. осенью 1881 г.) он, наоборот, придавал уже громадное значение политической борьбе, но исходною точкою для нее была не вера в особенности русского народа и в лучшую часть интеллигенции, как у народовольцев, а — марксизм. Он и раньше был ярым приверженцем Маркса и умел подкреплять им свои народнические воззрения. Теперь же, по приезде из Парижа, он, видимо, значительно прогрессировал; за этот год он успел массу перечитать и передумать и стал еще более ярым марксистом.

Марфуша и я за это время также ближе познакомились с воззрениями Маркса и Энгельса, и хотя мы не являлись еще вполне последовательными их приверженцами, все же мы уже придавали громадное значение их теориям. Совсем не то было с Мишкой. По старой привычке «разрушать авторитеты» и по традиции относиться скандачка к «книжкам», он, еще до приезда Жоржа, часто брался опровергать Маркса, доказывая, что «к нам его теории не применимы». В начале споров на эту тему, благодаря его смелости обо всем говорить уверенным тоном, с апломбом, нам, действительно, казалось, что он, хоть поверхностно, все же прочитал, как он говорил, «Капитал», но помню, раз, на прямо поставленный мною вопрос: — «Да прочитал ли ты всю книгу?» — он сознался, что не мог дочитать до конца, а лишь 150—200 страниц, т.-е. общую теорию ценности, денег и тому подобные научные положения, имеющие одинаковое значение как для западно-европейских стран, так и для Персии, Китая и т. д. Это мы ему раз'яснили, выразивши при этом удивление, как он умудрился из прочитанных им общих научно-экономических глав вывести заключение о применимости или неприменимости историко-философских воззрений Маркса к России. Но он нисколько не смутился и хотя не с такой уверенностью, все же не с меньшим упорством продолжал

отрицать Маркса. Самым веским опровержением «исторических фаз» Маркса был для него пример Китая: «вот мы видим, что Китай — столько тысячелетий живет, а все же не имеет капитализма», — указывал он нам и полякам. И на все наши об'яснения этого факта находил всегда какой-нибудь выверт. Тот же маневр пустил он в ход, когда с Жоржем завел спор против Маркса. — «Мишка, пора тебе пустить в ход Китай», — замечаю я. — «Да, да», — говорит он, — вот, например, Китай». Но и этот избитый его пример, который, как самое непреодолимое орудие, он припасал напоследок, в споре с Жоржем не имел успеха: Мишка, считавший себя знатоком Китая (потому что странствовал по Сибири!), должен был сдаться и на этой позиции, так как Жорж сыпал такой массой сведений о Китае, указывая на источники, так ясно и убедительно об'яснил отсталость этой страны, что нельзя было не признать его доводов убедительными. Нет, марксистом он, конечно, все же не сделался и, вероятно, и теперь в спорах — в отсутствии Жоржа — обезоруживает новичка стереотипным восклицанием: «А Китай?» [1]).

Были еще вопросы, по поводу которых между Мишкой и Жоржем не могло состояться соглашения. Последний и раньше был сторонником централизма, как по отношению революционных организаций, так и во взгляде на будущую Россию. Мишка же, старый бунтарь-анархист, был ярым противником централизма. Но самым непримиримым пунктом в спорах являлось их различное отношение к Украине. Мишка, отчасти под влиянием Драгоманова, стал сторонником ее (полной) автономии, Жорж же никаких автономий не мог терпеть. Эти несогласия несколько повлияли на охлаждение первого, очень симпатичного впечатления, произведенного Мишкой на Жоржа. Под конец своего пребывания в Женеве последний говорил уже: «нет, он неисправимый, старый бунтарь!» Между нами, наоборот, после состоявшегося примирения, молча, без особого соглашения, установились единство, взаимное понимание и готовность заодно действовать в интересах «Народной Воли». Не говоря уже

[1]) Из приводимого ниже письма его к В. И. Засулич видно, что, живя на Балканском полуострове, он обогатился новыми примерами.

о том, что он обещал писать статьи для народовольческой рабочей организации, он и в сношениях с посторонними не отказывался выступать в качестве доброжелателя террористов. Это его расположение несколько дней спустя проявилось в переговорах с поляками [1]).

К сожалению, не помню теперь, каким образом и по чьей инициативе поляки предложили нам сообща с ними обсудить вопрос об отношении их к «Народной Воле». Вероятно, и на них повлияло общее настроение, начавшее распространяться по отношению к «Народной Воле». Ты помнишь, что они всегда являлись как бы нашими союзниками, в вопросах как обще-социалистических, так и в случавшихся за границей практических обстоятельствах. Они заодно с нами выступали в полемической борьбе с Драгомановым, вместе вырабатывали адресы на социалистические конгрессы, мы выражали им свою солидарность в их торжественном праздновании 50-летнего юбилея польской революции 31-го года и т. п. Почти с первого года их приезда за границу (в 1878 г.) и основания ими польского журнала «Równosc» они, хотя и не вполне определенно и выдержанно, все же придерживались основных воззрений Маркса и в своей практической деятельности в Царстве Польском вели пропаганду среди рабочих в западно-европейском духе, поскольку, конечно, это было возможно при русских политических условиях. Правда, вначале они были под сильным влиянием определенно-анархических воззрений Жуковского [2]), но это не мешало им относиться с большим уважением к теориям Маркса и, вообще, к немецким социал-демократам. Последнее обстоятельство явилось даже поводом к некоторому расколу в их среде. Летом 1881 г. анархисты затеяли конгресс, кажется, в Лондоне, и вот Варынский и Дикштейн, бывшие в это время (единственными членами редакции) в Швейцарии, от имени редакции «Równosci» послали приветствие на этот конгресс. Между тем Мендельсон в это время был в Германии и затевал сообща

[1]) Группа «Równosci» («Равенства»), в которую входили: Л. Варынский, С. Дикштейн, К. Длусский, Мендельсон, Пекарский, Яблоновская и другие.

[2]) Известный старый эмигрант 60-х годов, друг Бакунина.

с [тамошними] социал-демократами практические предприятия, о которых, вероятно, упомяну ниже. Увидев, что на социал-демократов, вследствие их враждебных отношений к Мосту [1]) и, вообще, к анархистам, произвело дурное впечатление напечатанное в отчетах конгресса приветствие от редакции «Równosci», к которой принадлежал и Мендельсон, он, насколько помню, печатно в «Social-Demokrat» отрекся от солидарности с приветственным адресом, посланным от имени поляков-редакторов «Równosci» и, кажется, тут же заявил о прекращении этого журнала. Не знаю, как других поляков, но помню, что Людвига Варынского страшно разозлило такое самовольное заявление Мендельсона о прекращении совместно с другими редактируемого журнала, к тому же из-за такого незначительного повода. Ему, кажется, тем обиднее показалось это заявление, что [журнал] «Równosc», главным образом, издавался на средства Мендельсона и Марии Яблоновской — близкой приятельницы последнего. Уже раньше, вероятно, прорывавшееся отношение Мендельсона к журналу, как к своей собственности, теперь рельефно выступило наружу: «не понравился, мол, мне частный факт, я и прекращаю издание». Это обстоятельство, несомненно, в значительной степени способствовало тому, что Людвиг Варынский окончательно вышел из кружка поляков и решил ехать в Россию для вступления в «Народную Волю».

В точности не помню, был ли он еще в Женеве, когда товарищи его поляки пригласили меня с Жоржем к себе для обсуждения, как я уже упоминал, вопроса об отношении их к «Народной Воле». Кажется, что и он был, а также Дикштейн, Пекарский и Длусский (Мендельсон и Мария Яблоновская были в Познани для участия в предвыборной агитации, где их вскоре арестовали). Я совсем забыл, чего собственно хотелось полякам и что они предлагали, но помню, что Жорж заодно со мною высказывался в выгодном для «Народной Воли» направлении, и, после непродолжительной беседы, под его руководством, было написано поляками дружественное обращение к «Народной Воле» с выражением ей всякого рода добрых пожеланий и каких-то предложений. Обращение это, кажется, в печатном виде я переслал тогда же тебе; ты сообщил, что [народовольцы] собираются им ответить, но, к крайнему нашему огорчению, такого ответа [они] почему-то не собрались прислать.

[1]) Известный немецкий анархист, бывший раньше видным социал-демократом.

Здравое и дружелюбное к «Народной Воле» отношение Жоржа на этом совещании с поляками отчасти убедило меня, что он мало-по-малу втянется в народовольческое направление и будет, по мере сил, содействовать его успеху. После этого свидания с поляками я, помню, был Жоржем очень доволен.

VI

Пробыв недели две—три в Москве, ты сообщил, что едешь в Питер для переговоров с тамошними народниками-чернопередельцами. О московских передельцах ты в письмах отзывался очень неодобрительно. Помню, что ты изображал их крайне миролюбивыми, недеятельными, прикрывающимися лишь кличками «народников», «передельцев», чтобы увильнуть от деятельности, сопряженной с риском. Такая характеристика московских народников очень совпадала с тем впечатлением, какое и мы, будучи за границей, вывели о них из личных сношений с некоторыми московскими народниками и по письмам и слухам о них. Диаметрально противоположное впечатление произвели на тебя, судя по письмам, питерские народники: их ты очень расхваливал, находил их очень энергичными, деятельными, толково и умело занимавшимися пропагандой среди рабочих, изданием газеты «Зерно» для последних и пр. Тем желательнее, поэтому, было тебе, чтобы они присоединились к «Народной Воле», от которой, не покидая своей излюбленной деятельности среди рабочих, они могли, как тебе казалось, получить всевозможного рода поддержку и, таким образом, достигнуть значительно более существенных результатов, чем продолжая действовать особняком, вне связи с более или менее сильной организацией.

Вскоре по приезде в Питер ты сообщил, что послал мне с оказией много интересных документов и большое по-

дробное письмо. «Оказией» этой был Страсбургский юноша [1]), с которым мы за год перед тем познакомились по такому же поводу: с ним питерские народники прислали нам деньги на возвращение в Россию. Ты писал, что юноша этот не приедет в Женеву, а сообщит мне по почте, куда я должен приехать для свидания с ним и личного получения от него всего привезенного им от тебя. Известие это меня очень обрадовало, так как со времени твоего приезда в Россию я еще не получил от тебя ни одного обстоятельного письма. А по той конспиративности, с которой ты обставлял получение мною твоих посланий с этой оказией, я должен был заключить, что в них заключается нечто особенное, в противном случае, юноша мог бы по приезде в Германию переслать мне все привезенное им по почте, а не вызывать меня на личное с ним свидание.

С большим нетерпением стал я ожидать письма от этого юноши. Вскоре он, действительно, сообщил мне, что приехал в Страсбург, но не может теперь ехать в Женеву, а готов встретиться со мною в Базеле, и что если я согласен, то чтобы уведомил его телеграммой о дне моего выезда. Жорж, Мишка и Иван Николаевич Присецкий, бывшие в это время еще в Женеве, так же как и Марфуша с Анкой, узнав от меня об этой оказии, тоже предполагали, что ты прислал с нею нечто особенное, очень интересное и важное. Помню, что все они, а также «рыженькая Вера», кажется, и Дикштейн с Людвигом Варынским собрались провожать меня. Все строили предположения о том, что именно ты посылаешь с этой оказией; все просили [меня] не засиживаться долго в пути, а Жорж настаивал, чтобы, возвращаясь, я завернул к ним в Кларан, куда он на второй день после моего от'езда должен был вернуться. «Рыженькая Вера», в свою очередь, просила меня, на обратном пути побывать в Берне, куда и она уезжала на второй день; Павел также желал, как я узнал впоследствии из его письма, чтобы я завернул к нему в Цюрих. Словом, меня или, вернее, то, что я с собою должен был привезти из Базеля, все нарасхват хотели поскорее увидеть.

[1]) «Страсбургским юношей» мы прозвали А. Тилло, специализировавшегося в естественных науках, по окончании петербургского университета, в Страсбурге.

На вокзал собрались проводить меня все близкие, и я в самом лучшем настроении сел в поезд. Не говоря уже о заманчивой, неизвестной твоей посылке, мне приятна была и предстоявшая поездка, сопряженная со свиданиями по пути с близкими и знакомыми лицами.

Выехал я из Женевы с последним вечерним поездом на Берн, откуда, переночевав у Александра Хотинского [1]), должен был на рассвете отправиться в Базель. Провожавшие меня (в Женеве) обещали немедленно телеграфировать Александру, чтобы он меня встретил на вокзале. Но каково же было мое удивление, когда, приехав в полночь в Берн, я не нашел его на вокзале и должен был отправиться ночевать в гостинницу. На рассвете, до отхода поезда, я поспешил на квартиру к Александру узнать причину его отсутствия. Оказалось, что он телеграммы не получил, и что, следовательно, провожавшие меня забыли ее выслать, о чем он и я, конечно, сильно пожалели, так как мне не удалось провести с ним ночь в беседах, как мы оба любили. Уговорившись теперь с ним, что он приедет вечером того же дня на вокзал, я утром отправился в Базель, куда и прибыл в полдень и, как было условлено, нашел на вокзале ожидавшего меня Страсбургского юношу. В ближайшем ресторане, куда мы зашли с ним пообедать, он вручил мне не особенно больших размеров пакет, 25 рублей, несколько карточек осужденных социалистов, 2 экземпляра «Народной Воли» и, кажется, еще какие-то подпольные издания. Я с нетерпением набросился на пакет, но он, к великому моему удивлению, не оправдал моих ожиданий: в нем не оказалось ничего необыкновенного, и я недоумевал, почему понадобилось тебе обставить получение его такой сложной процедурой?!.

Наскоро пообедав и пробежав мельком твое письмо, мы с юношей отправились отыскивать квартиру «маленького Ефрона» [2]), адрес которого я имел. По дороге к нему я расспрашивал о тебе, о знакомых и, вообще, о том, что он знает

[1]) Бывший член общества «Земля и Воля», а также «Черного Передела», о котором сообщу подробно в следующем отрывке из «Карийских тетрадей».

[2]) Так прозвали мы, впоследствии довольно известного в Париже, д-ра Ефрона; он умер в Петрограде в 1920 г.

о революционной деятельности в России. Он, видимо, охотно рассказывал, что знал; но, к сожалению, сам-то он стоял вдали от движения и имел лишь незначительные личные сношения с немногими, да и то только с народниками, что он чистосердечно и признал. Таким образом, и устных сообщений, которых ты не мог бы передать письменно, чем еще можно было бы об'яснить необходимость личного свидания с юношей, я также не получил никаких и все более терялся в догадках насчет смысла этой большой конспирации для получения твоей [неважной] посылки. Сам юноша произвел на меня еще более благоприятное впечатление, чем какое я вынес после первого знакомства с ним. Хотя он и мало был посвящен в дела, но, повидимому, искренно сочувствовал движению и готов был даже с риском кое-что делать по возвращении в Россию [весной 1882 г.].

Ефрона мы застали дома; посидели у него в ожидании отхода поезда и, побеседовав еще о России и знакомых, отправились на вокзал, так как я вечером хотел быть обратно в Берне. Условившись с юношей насчет переписки с ним и поговорив с Ефроном относительно устройства контрабандной переправы через швейцарскую границу нелегальных изданий, я вернулся в Берн, где Александр уже ждал меня. Далеко за полночь проболтали мы с ним о всякой всячине, читали привезенные мною издания и выдержки из твоих писем.

Возвращаясь из Берна в Женеву, я завернул к Жоржу в Кларан. Он также был очень разочарован привезенными мною из Базеля материалами, не оправдавшими наших ожиданий чего-то особенного. Не помню наверное, но, кажется, в присланных тобою номерах «Народной Воли» была громовая статья против «русского гостя» на Хурском интернациональном социалистическом конгрессе, т.-е. против Павла. Статья эта страшно огорчила и обидела всех, так как была явно несправедлива по отношению к Павлу, — ниже я подробнее расскажу как об этом конгрессе, так и о роли на нем Павла. В письме ты всячески старался смягчить неприятное впечатление, которое, как ты верно предвидел, должна была произвести статья о Павле. Но, несмотря на все твои

старания, тяжелое впечатление не могло быть ничем сглажено [1]).

Пробыв трое или четверо суток в раз'ездах, я вернулся в Женеву, где Мишка и Марфуша ожидали меня с нетерпением и были привезенным мною так же разочарованы, как и другие. А я, хотя и не получил того, о чем мечтал или вернее неопределенно предвкушал, все же, в конце концов, был доволен этой поездкой, внесшей после долгого пребывания на одном месте некоторое разнообразие и оживление в мою жизнь. Если я не привез ничего особенного, таинственного, то все же кое-что узнал, увидел, за короткое время побывал в разных городах. Настроение мое в таких случаях всегда бывало приподнятым, приятно возбужденным, и в душе я очень тебя благодарил за предоставленный мне случай проехаться. Впоследствии об'яснилось, что, вручая свое письмо ко мне юноше и условливаясь с ним, чтобы он лично передал мне посылку, ты, действительно, имел в виду передать мне на хранение в «архив» важные документы [сообщения Клеточникова, письма Нечаева], но в день от'езда юноши, почему-то, не удалось это сделать.

---

[1]) См. об этом ниже — письма: мое к Стефановичу и П. Б. Аксельрода ко мне.

Л. ДЕЙЧ

ПИСЬМО К Я. СТЕФАНОВИЧУ

Это [т.-е. нижеследующее] письмо Павла [Аксельрода] ко мне в ответ на твои и (Лейб... [1]) упреки за [его] речь в Хуре. Я вполне с ним согласен и вижу наглядно, что он принес здесь пользу кащеям [2]), и они же его ругают! Какая горькая несправедливость, Митя, и с твоей стороны к нему. Я, конечно, смягчил тон твоего письма по поводу его речи, все же, видишь, как он огорчен. Это письмо писано еще до получения № 7 «Народной Воли», в котором так грубо и несправедливо нападает на него О... [3]). Чем он умалил значение кащеев, мы здесь решительно понять не можем. Наоборот, если бы Павел захотел им отомстить, ему стоило бы только перевести статью Лейб[ы] без всяких от себя прибавлений, тогда, иностранцы увидели бы, как вы сами себя умал[яете]. Боже, до чего можно дойти, получив некоторый успех, удачу! Вы думаете, что постоянными самовозвеличениями добьетесь симпатии Европы? Заявлениями, что никогда не ошибались? Никогда не меняли программы, в противность очевидности, действительности? Ведь иностранцы не то, что русские, они ведь читают газеты, брошюры и на слово не верят. Вы сами себе вредите, и это-то и больно. Несмотря на всю к вам симпатию многих за ваши поступки, факты, вам угрожает опасность сделаться посмешищем Европы из-за ваших писаний. Посмотрите, что стало с Гартманом, ведь его теперь к себе в дом не пустит ни один порядочный человек (Чайковский не иначе называет его, как «революционный Хлестаков»), а он ли не расхваливал

[1]) «Лейб»..., «Лейба» — кличка, данная нами Тихомирову путем перевода его имени — Лев — на еврейский язык. *Л. Д.*

[2]) Кличка народовольцев. *Л. Д.*

[3]) «Центральный Орган». *Л. Д.*

народовольцев? Как тяжело видеть, что люди сами себе вредят, сами копают себе могилу. О, если бы вы могли лучше писать, или по крайней мере не извращать фактов, не говорить о вещах, совершенно вам незнакомых. Чтобы подробно ответить по поводу передовой статьи № 7, нужно было бы написать целую статью. Я ограничусь только указанием двух мест: 1) «Откуда, — спрашивает автор, — «Русский Гость» взял, что мы прежде отрицали деятельность в народе? Он вероятно введен в заблуждение тем, что на западе раз занимаются политикой, так не занимаются [с] рабочими, а так как мы занимаемся политикой, следовательно, не занимались [с] рабочими» (не ручаюсь, точно ли я привел эту выдержку, так как у меня нет под рукой № 7). Какое незнание Европы! Здесь-то именно всякая политическая партия старается привлечь на свою сторону рабочих. Как[им] же образом европейская буржуазия могла бы завоевать себе политическую свободу, если бы она сперва искренно (во время Великой Французской Революции), а потом путем лжи и подлостей не вовлекла рабочих в политические революции? А затем, разве в № 1 «Народной Воли» не говорилось, что «действовать в народе, это — то же, что биться, как рыба об лед», — вот оттуда Павел взял, что они прежде находили бесполезным этого рода деятельность; 2-й пункт: в № 7 говорится: «основной пункт наших воззрений, это — как можно более производительно употреблять свои силы». Это так же может считаться основным пунктом, как если бы кто сказал, что его основной пункт: есть, спать и проч., потому что это уже закон природы, закон борьбы за существование, чтобы как можно более производительно каждое животное употребляло свои силы, иначе оно будет уничтожено другими, более сильными. То же, конечно, применимо и к политическим партиям. Не говорю уже о таких образчиках невежества как: «странно к нам применять клички: социалисты, демократы и т. д.». Что же вы? «Мы всегда уважали народ». Боже, боже! Если бы все это перевести на иностранные языки, — как бы разводили руками европейцы! Как бы возмутились Реклю, Петя [4]) и другие искренние, честные люди, мнением которых мы дорожим!

[1]) Петр Кропоткин. *Л. Д.*

П. АКСЕЛЬРОД

ПИСЬМО К Л. ДЕЙЧУ

(Зима 1881 г.)

...Теперь относительно «хурской» речи [1]). Так как ты мне не посылаешь соответствующего места из письма Лейбы, то я так-таки абсолютно и не соображаю, чем «хурская речь» «ужасно нам напутала». Я, конечно, не знаю, насколько она в России могла напутать; но здесь, т.-е. на иностранцах я убежден в противном — это легко проверить косвенными расспросами и у поляков и у немцев. Хотя я и не заявлял себя делегатом на конгрессе и раз 5 в течение речи повторил, что я из России уже больше года с $^1/_4$, тем не менее почел бы своей обязанностью раз'яснить товарищам свое поведение на конгрессе, если бы я имел хоть какое-нибудь представление, в чем именно меня упрекают. Собственно брату [2]) я прошу передать следующее, и, конечно, если ту же вину приписывает мне Лейба, то пусть передаст это от меня и ему. Предполагаю при этом, что брат безусловно верит в мою искренность, когда я говорю товарищу и в особенности ему. Прежде всего я должен категорически заявить, что насквозь проникнут был на конгрессе «суб'ективизмом» именно к «Народной Воле» и до такой степени, что вызвал недоверчивые вопросы и возражения в частном разговоре со стороны некоторых делегатов. И этот суб'ективизм мой проявился бы в речи еще в более резкой форме, если бы в то время так определенно установились отношения некоторой части «Черного Передела» к «Народной Воле», как это теперь имеет место. При тогдашнем же положении дел,

[1]) О «хурской речи» П. Аксельрода много уже сообщалось в печати. *Л. Д.*

[2]) Т.-е. Стефановичу. *Л. Д.*

беспрерывно при этом напоминая собранию, что я давно из России, — больше я сказать не мог. Мало того, принимая во внимание уверенность многих, особенно социал-демократов, в либерально-буржуазных тенденциях «Народной Воли», более резкие утверждения с моей стороны ослабили бы, быть может, впечатление моей речи. Что касается до «ужасного, необ'яснимого суб'ективизма» относительно «Черного Передела», то, во-первых, при суб'ективности брата и забвении всего прошлого, ему показались мои слова столь суб'ективными, во-вторых, под «Черным Переделом» на конгрессе подразумевали: Стефановича, Веру, Дейча и Плеханова, как основателей этой фракции. Этого-то я, собственно, ни на минуту не забывал и, считая всех этих моих товарищей ничуть не ниже членов «Народной Воли», я имел в то время право и даже некоторую обязанность намекнуть, почему эта фракция ничем серьезным не проявила своего существования, особенно говоря о прошлом. Пока фракция «Черного Передела», связанная неразрывно с именами упомянутых лиц, не присоединилась открыто в лице своих основателей к «Народной Воле», я не мог о ней не говорить и, конечно, хотя рядом с богами, вроде Веры Засулич или Стефановича, попадались впоследствии и божки, вроде Ефрона (последние, однако, как видно из слов приезжей сестры, потом провалились), я, однако, не мог марать грязью и презрительно говорить о фракции, т.-е. о старых богах и о той молодежи, которую теперь все-таки стараются всеми силами привлечь к «Народной Воле», и несчастье которой состояло именно в том, что старики по особым причинам не могли основать из себя центра, аналогичного «Народной Воле».

Тяжело мне, признаться, со стороны брата быть заподозреваемым в сознательных преувеличениях из-за исключительно личных мотивов. Между тем, как вся моя вина состояла в том, что я серьезнее отнесся к факту разделения, совершенному помимо моего участия, нежели оно было в действительности, и затем считал себя или, точнее, чувствовал всеми своими нервами до такой степени нравственно ответственным за этот факт, что взялся поддержать здание, построенное на песке, несмотря на все мои личные симпатии

к Соне, Льву, Михайле [1]) и т. д. и на постоянную внутреннюю борьбу между личными влечениями и принципиальным долгом. Об одном я прошу брата: пусть он в этом случае поступает, как я по отношению к товарищам близким, а именно — хорошенько войти в мое положение на конгрессе, как члена фракции «Черного Передела», т.-е. товарища Веры, Стефановича и т. д., пусть вспомнит тогдашние еще крайне неопределенные отношения и обратит внимание на мои многократные повторения (в печати эти повторения, впрочем, сокращены), что слова мои относятся к прошедшему (за эту мою скромность я, между прочим, удостоился комплиментов на конгрессе) и т. д., и т. д.

И еще не мешает ему знать, что моя речь — почти импровизация, так как только на конгрессе я увидел, что мне нельзя не говорить (посылаю тебе нарочно листок, вырванный из моей записной книжки, на котором я тогда наскоро набросил план речи, и, как видишь из плана, целая половина или $^1/_3$ речи уже вполне импровизирована). А из этого следует, что если бы я из России получил серьезные полномочия и писанный рапорт о положении дел, то я, конечно, говорил бы, как делегат и, разумеется, вполне попал бы в точку. Но и теперь дело это поправимое: пусть мне лично пришлют в виде письма дополнительные сведения и отчасти как бы поправки к моей речи, и я это письмо, как P. S., приложу к моей речи, которая будет напечатана вместе с отчетами других делегатов в особой брошюре на немецком, французском и английском языках. В заключение позволю себе заметить, что, именно благодаря мне, и программные резолюции и сочувственные резолюции были приняты конгрессом, и от посторонних лиц вы можете узнать, что я нашу партию не скомпрометировал».

* * *

Из этого письма, полагаю, ясно каждому здравомыслящему и добросовестному человеку, что, с одной стороны, Стефанович, в качестве народовольца, резко напал на своего старого друга П. Б. Аксельрода за будто бы неверное из-

[1]) Т.-е. к Перовской, Тихомирову, Фроленко. *Л. Д.*

ображение последним террористов на Хурском конгрессе; с другой стороны, несомненно, что на П. Б. Аксельрода, оказавшего *огромную услугу этой партии*, совершенно неосновательно напустились террористы, чем крайне его огорчили. После этого, не прав ли я, утверждая, что только легкомысленные и злобствующие люди могут обвинять Стефановича в том, будто он «неискренно» присоединился к этой партии: также, думаю, безусловно не прав А. В. Прибылев, заявивший в своем письме [1]), будто ничего обидного для Аксельрода не было в передовой статье, посвященной хурской речи, в № 7 «Народной Воли», и что будто бы все изложенное в ней — правильно. Так пристрастно умеют читать некоторые грамотные люди!..

Л. Д.

[1]) «Былое» № 25.

Я. СТЕФАНОВИЧ

ПИСЬМА К Л. ДЕЙЧУ

Петербург, 10 мая 1882 г.

I

Дорогой друг мой!

Вот уже 4-й месяц, как я в заключении и до сих пор не могу равнодушно вспомнить обстоятельств, приведших меня к настоящему положению. Так это до нельзя глупо случилось. Тебе, конечно, уже известно, каким образом я арестован, и ты, разумеется, удивлялся, как это я, при всей своей осторожности, мог войти в квартиру без знака. Если бы со мной не было тюка раскольничьих прокламаций, я не вошел бы. Но, чтобы миновать дом, предстояло неизбежно пройти мимо городового, который, как это часто бывает, мог полюбопытствовать, что в моем тюке (а дело было вечером). Вот почему я легко поддался коварным нашептываниям злого духа, что знак есть, но мало заметен, потому что окна замерзли (этот злой дух провел таким манером еще нескольких человек). Ну, я и вошел и оказалось попал в засаду. Первое время не знали, кто я и, очевидно, не придавали особенной важности моей персоне, посадили в части и даже в очень холодной и сырой камере (за неимением, впрочем, другой, так как все были заняты). Два раза возили меня в жандармское управ[ление] всего с одним жандармом. Попытаться бежать при таких обстоятельствах вовсе не было бы безрассудным. Я, разумеется, об этом помышлял. Но, надо полагать, сам бог был против меня: всякий раз, лишь только я готовился сделать движение, чтобы соскочить с извозчика, я к моему ужасу ощущал, что у меня подкашиваются ноги. Это странное явление при одной мысли о побеге об'ясняется следующим, тоже

очень глупым происшествием. За несколько дней до ареста шел я по Садовой и нес под пальто пачку изданий «Зерна», «Черн. Пер.», «Нар. Воли». На дворе была страшная вьюга; ветер рванул с головы шапку, и я инстинктивно схватился за нее руками. В это время связка выпала из-под пальто, и прежде чем я успел наступить на нее ногой, ветер моментально разметал мою литературу по всей улице. Я бросился собирать листы, но это было совершенно невозможно: ветер рвал и кружил их во все стороны. Несколько дворников поднялись из своих подворотень и направились на середину улицы, очевидно, с тем, чтобы помочь мне. Тут уж мне ничего не оставалось, как, предоставив революцию ветру, завернуть в ближайший переулок. Я так и сделал, но продолжал бежать, делая вид, что гоняюсь за листами. Добежав до другого переулка, я обернулся назад и, к немалому моему неудовольствию, увидел двух дворников, бежавших вслед за мной и движением рук как бы приглашавших меня остановиться. К счастью, благодаря погоде, улицы были совсем пусты. Поворачивая из переулка в переулок, я, наконец, наткнулся на извозчика. Но тут уж силы меня оставили, и я упал. Извозчик помог мне подняться. Мой договор состоялся с ним мимикой, потому что я так задыхался, что звуки не выходили из груди. Это скорее комический, чем грустный казус; я сам потом много смеялся. Но странно, когда я вспоминал о нем или рассказывал другим, то всегда ощущал приступ того состояния, которое называют «подкашиванием ног». Александр [1]), как доктор, пусть об'яснит тебе это по-ученому.

То же глупое ощущение не оставило меня при моих поездках в жанд[армское] упр[авление]. Оно меня до того бесило, что когда новая обстановка устранила всякие поводы к искушениям, я даже был очень доволен. Ко всему описанному прибавь опасение, что вот-вот ты можешь приехать, боль от ревматизма и несколько бессонных ночей (дело происходило на масленой, часть была переполнена народом, драки и орание не прекращались ни днем, ни ночью), и тебе станет понятным, почему я на карточке вышел не таким, каким ты привык меня видеть.

---

[1]) Хотинский.

В Питере у меня обстановка даже довольно комфортабельная, но заключение в полном смысле одиночное. Мы с тобой, сидя в Киеве, собственно его не испытывали. Это, действительно, кажется, самое тяжелое наказание для человека, потому что совершенно противно его природе. К нему едва ли можно привыкнуть, не потеряв многих человеческих способностей или не превратившись в идиота. Книги облегчают положение в том случае, если заключенный, лишившись свободы, все-таки не лишается цели существования, надежды когда-нибудь вернуться к жизни. В противном случае, книга не интересует и читается механически для того только, чтобы отвлечь внимание от неприятной действительности; от этого она получает такое же значение, как сон или забытье.

Что касается меня лично, то я не могу сказать, чтобы меня покинула всякая надежда. Не знаю, может быть это одна иллюзия, ибо пока организм существует физически и действует воображение, надеяться свойственно ему так же, как свойственны и другие суб'ективные состояния. Но сколько я могу понимать вещи, а не воображать их, я думаю, что последние 18 лет XIX ст[олетия] должны ознаменоваться большими переменами в России. Многие из нас, которых минует смертная казнь, еще доживут до этих времен, а следовательно, могут облегчать тяжесть своего существования перспективой опять быть в обществе.

Ты пишешь, что не веришь, чтобы нам никогда уж больше не пришлось увидеть друг друга. Я тоже не могу свыкнуться с этой мыслью, потому ли, что она не вяжется с только что высказанными мною ожиданиями, или потому, почему человек, у которого внезапно отрубили руку, долго должен напрягать сознание, чтобы убедиться, что ее у него нет. Как бы ни было и что бы ни случилось, ты настолько сросся с существованием моего «я», что, мне кажется, и после смерти я буду жить вместе с тобою.

На случай, если бы наша переписка прекратилась (а это весьма вероятно и даже в скором будущем), я просил отца всегда извещать меня о тебе и тебя обо мне. Конечно, я не перестану употреблять все свое старание, чтобы время от времени нам и впредь позволяли сообщаться. Ты знаешь, все зависит от большей или меньшей гуманности или суровости того или другого начальства. Поэтому, дорогой мой, не обусловливай своего спокойствия и прилежания в занятиях частой перепиской со мною.

Последнее твое письмо (получил его 4-го мая) меня чрезвычайно обрадовало спокойным тоном и решимостью предаться наукам. Зная, что ты себя чувствуешь хорошо, я тем самым облегчаюсь от собственных тяжелых чувств. Не понимаю, каким образом в конверте не оказалось твоей карточки, когда ты пишешь, что посылаешь ее. Не послал ли ты ее отдельно, так что этот конверт мог затеряться дорогой? Об'ясни. Мне так хочется скорее иметь твою фотографию! Жаль, что моя не может доставить тебе полного удовольствия (не более ли верный снимок у Кафиэро?).

Из письма твоего я узнал много новостей. Неприятно поразило меня возобновление еврейских избиений. Со времени колиивщины [1]) ничего подобного у нас не было... Что-то будет! Надеюсь, уже не приписывают это явление влиянию революционеров? Но поскольку тут [много] мрачного трагизма, постольку комично покушение на жизнь Петра Лавровича. Я оч[ень] рад, что ему разрешают вернуться опять на rue St-Jacques. Кланяюсь ему. То, что ты сообщаешь о Драгоманове, меня ничуть не удивляет. При всем его стремлении всегда быть в первых ролях, что у него ловко маскируется хохлацкой простотой и якобы философским об'ективизмом, вся его жизнь — ряд неудач. Нигде не удалось ему занять желанного поста; ни в историч[еской] литературе, ни в украинофильстве, ни в социализме, ни, наконец, в русс[ком] политическом либерализме. Естественно, что сквозь философское беспристрастие все больше прорывалось, что мы и замечали давно уже, раздражительное отношение ко всему, развивающемуся помимо его участия и влияния. Его до такой степени мало ценили, что легко поверили (в том числе и аз, многогрешный) ловко пущенному слуху, кому это было выгодно, что редактируемое (между прочим) им «Вольное Слово» на субсидии у правительства. Могло ли что-нибудь подобное случиться с Герценом, Огаревым, Лавровым? А между тем

---

[1]) Так называлось вспыхнувшее в 1768 г. на Украине восстание против поляков. *Л. Д.*

в «Нар[одной] Воле» чуть-чуть не появилось категорическое заявление от самого «Исп. Ком.» о правительственной поддержке «В[ольн]. Слова»! Эмигранты же, как Эльпидин и Алисов, настолько мало его уважали, что не остановились перед коммерческим расчетом — дискредитировать газету публично. Могу себе представить, как все это подействовало на такого человека, как Драгоманов, и на его расположение к рус[ским] революционерам! Сергей же по своей незлобивости и терпимости, может быть, все это понимает, «donc il pardonne» [а потому — прощает]. Воображаю, однако, до чего этот несчастный Драг[оманов] увлекся своей озлобленностью, если даже седовласый Жеманов и Эльсниц из ост-зейского края решились не здороваться с ним! А что же его «Громада» все также продолжает «вылазить»?

Каково материальное положение Павла, если он перестал писать в «В[ольном] Слове»? Книга его едва ли будет годиться для рабочих: он не мастер для них писать. О чем же трактует Сергей в своем сочинении? У вас, как видно, большое оживление теперь за границей, если даже Чайковский воспрянул духом. Воображаю, как горячится кн. Кропоткин и как жестоко страдает Россия у него на устах! Не потащили ли и Веру в Англию?

О себе пока ничего не могу сказать тебе. Судиться буду, вероятно, осенью. Следствие еще не кончилось, и освободят ли меня от обвинения в деле Гориновича, тоже еще не знаю. Хотя мой прокурор Желиховский уже не верит в мою причастность к этому делу, но нужны юридич[еские] доказательства, так как потерпевший указывал на меня. Записка Костюрина имеет некоторое значение, но не важное, как от лица осужденного. Впрочем, я надеюсь, что на этом обвинении меня настаивать не будут. Никаких новых деяний, как и ты сам знаешь, за мной не имеется. Зато против меня давно сложившееся у властей представление, не благоприятное мне, как подсудимому.

Ты хочешь, чтобы я описал тебе свой день. Это очень просто. Встаю в 8-м часу, пью 2 стакана чаю в прикуску и с белым хлебом; в 12 ч. обед — суп и жаркое — довольно порядочный. В 6-м часу опять 2 стакана чаю, а в 8 или колбаса или 3 яйца на ужин. Как видишь, материальная

сторона вполне удовлетворительна. Книги дают, но без выбора: что принесут, то и читай (раз, напр., получил учебник биологии, в другой — географию). Я просил доставлять мне преимущественно исторические. Обещали. В настоящую минуту лежит у меня Дарвин «О пр[оисхождении] чел[овека]» и Essay sur la rev. fr. Lanfrey'я. Курить можно, но я потребляю не более 10 папирос в сутки, так что ты табаку мне не присылай, да этого и не позволят. Камера моя пока оч[ень] хорошая. У окна, как и во всякой тюрьме, ютятся голуби. Я иногда кормлю их хлебом, а одного совсем было приручил и очень жалею, что он, вот уже давно, исчез куда-то. Голуби напомнили мне о Ляле Павловне [Барышевой]. Передай ей мой поклон и сожаление, что едва ли придется когда-нибудь опять заниматься с нею математикой. А впрочем, бог знает!

С отцом переписываюсь. С месяц назад получил от него письмо и фотографическую группу сестер и брата Миши. Отец все молит бога, чтоб меня не казнили. Приехать ему никак нельзя, а сестра, может быть, и приедет.

Воображаю, как у вас теперь хорошо! Тут, должно быть, деревья только что начинают распускаться, а вы уже нарцисы рвете. Проведи лето в горах, а не в Женеве. Как-то твои средства, не бедствуешь ли ты? Лизины цветы получил. Большое ей спасибо. Жаль, что не могу послать ей ничего на память. Кстати: я слыхал от начальства, весьма высоко стоящего и, следовательно, компетентного, что и Лиза и Александр могут свободно вернуться в Россию, поплатившись лишь штрафом за беспаспортную отлучку за границу. Что поделывает Жорж, здравствует ли еще Полляк? Будучи на воле, я рассчитывал этой весной гулять с тобою по горам, не потому ли я часто гуляю с тобою во сне? Ты пишешь, что я напрасно считаю за такое большое одолжение твое согласие остаться за границей, и что ты хотел бы сделать для меня что-нибудь более конкретное, осязательное. Но я так сильно беспокоился за тебя в первое время ареста, что в самом деле, оставаясь вне опасности, ты делаешь для меня огромное одолжение. Наконец, с меня довольно твоей преданности и любви, чтобы чувствовать себя значительно лучше, чем, быть может, многие в моем положении. Если ты будешь заниматься, то многое при-

обретешь, что поможет тебе сделаться и счастливым и полезным человеком в будущем. Ты ведь гораздо способнее меня и к тому же такой молодой еще! Как бы я хотел когда-нибудь увидеть тебя хоть через 10, 15 лет... Об'ясни же, почему нет твоей карточки, и непременно пришли мне хоть прежнюю. До свидания, дорогой мой брат и друг, я думаю, что еще буду писать тебе. Обнимаю тебя горячо.

Твой.

Пиши по тому же адресу. Я рад, что и Сергей не забывает меня. Кланяюсь Фанни, Анне Мих. Как живет Мокриевич? Ивану кланяюсь, всем, всем. Имеет ли заработок Вера? Еще раз целую тебя, милый мой.

Дм.

11-го мая.

II

Август [1882 г.]

Дорогой мой Женя!

Твое письмо доставило мне великое удовольствие. Все то, что ты мне сообщаешь, для вольного человека, у которого на виду всплывает и исчезает всякая волна житейского моря, — все это не может казаться особенно интересным. Совсем другое для меня. Как ни отрывочны приводимые тобою факты, для заключенного, ничего не ведающего, они дают очень много, хотя бы потому, что являются канвою, по которой может работать воображение и тем заполнять томительную пустоту дней. Едва ли кто-нибудь так много думал, или вернее — фантазировал об этом Фрейсине [1]), чем я. Я мог бы нарисовать подробнейшую картину, как он падал, мог бы написать множество корреспонденций, как египтяне били европейцев, как убийцы вице-короля развязно расхаживают по палубе парохода, направляясь куда-нибудь в Америку... Все это я очень подробно теперь знаю, и если и не верно, что за важность? Зато сколько пустых часов лихо промчалось!

О своей жизни хотя ты и пишешь очень мало, но тут уж я с бо́льшим, конечно, правдоподобием делаю заключения. Недоволен я, что ты ведешь такую сидячую жизнь, —

[1]) Тогдашний франц. премьер. *Л. Д.*

слишком комнатную, оскорбительную и для швейцарской природы и неудобную для здоровья, которым ты напрасно так хвалишься. У тебя очень слабая грудь. Не этой ли жизни влиянием следует об'яснить твою веру в чудеса, когда ты так убежден, что нам придется свидеться не через десятилетия, а «гораздо раньше»? Положим, я тоже предаюсь мечтаниям, при помощи которых могу очутиться с тобой хоть завтра, но, мечтая, я, с другой стороны, хорошо чувствую действительность; и снисходя к своему положению, произношу пословицу — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. У тебя же есть полная возможность тешиться более благоразумными способами. Я не верю так фаталистически, как ты; может статься, что когда-нибудь и увидимся опять на воле, но может и никогда. Пока больше шансов за последнее, а там не знаю, как сложатся обстоятельства. Одно могу сказать, покуда ты живешь и здравствуешь, я охотно буду допускать овладевать собою приятным грезам. Здоровьем хоть я и слаб, но не настолько, чтобы не протянуть до следующего лета, а затем обстоятельства изменятся, — будет больше движения, так что, может быть, и поправлюсь. Работы на каторге, говорят, не изнурительные. Самое страшное там, это — нравственный гнет, нравственная каторга, если только местное начальство слишком грубо. Хорошо было декабристам, когда у них был такой смотритель, как Лепарский, и когда чуть не у каждого из них или брат, или сват — влиятельным лицом в Петербурге. Да и времена тогда были как-то благороднее: рядом с Николаевским деспотизмом уживалась какая-то симпатичная chevalerie [рыцарство].

Когда буду судиться и с кем, не знаю. Думаю, что в числе вообще арестованных за последнее полугодие из «Нар. В[оли]». Так как я, и на воле будучи, мало кого знал, то, полагаю, и в процессе очень мало окажется знакомых. Жаль, что затерялся 4 № «Ч[ерного] П[еределa]». Во всяком случае оповести публику, если он у кого найдется, чтобы тебе его прислали. А то придется допустить посмеяться над собой судьбе; ибо никто не оспаривал так упорно многих статей, как я. С автором «Блюнчли, Гегеля и пр.» [1]) мы так и остались холодны друг к другу, как

[1]) Стефанович имеет в виду Герасима Романенко.

были прежде. Он имел дурную привычку верить в непогрешимость своих писаний и еще более в обаятельную силу своей учености. Отчасти тем же страдал и Л. [1]), весьма неглупый человек. Впрочем, он был бы гораздо умнее, если бы сам находил себя таким немного меньше. Но более других мне приходилось выдерживать баталий с Павой [2]), к которой, однако же, сохраняю почтение. С ней удобно разговаривать, но нет никакой возможности спорить: она не слушает никаких доводов и единственный способ сбивать своего противника, ронять его мнение в глазах других — это с негодованием восклицать: вы проповедуете чернопередельщину, противную програме Н. В., — оружие, в силе которого она убедилась опытом многих лет. Страх как она, — дай ей бог долго жить, — не любила самых незначительных новшеств! Я ее всегда сравнивал с раскольниками, которые в числе обвинительных пунктов против православных включают «ядение травы салата, пение итальянских песней с сотрясением рук, ног и всего тела (опера) и пр.»

Воскресенье.

С мая месяца я не получаю писем от отца. Начинаю беспокоиться, жив ли он. Я написал домой вчера, хотел бы, чтобы письмо застало семью не раз'ехавшейся, да не знаю, подоспеет ли оно во-время. Боюсь, если отец умрет, семья очутится в самом жалком положении. То хоть положение отца защищало сколько-нибудь от местных добровольных охранителей, да и то трое старших под надзором полиции, а без него, воображаю, что будет! Он жалуется, что всякие панки постоянно распространяют про него и сестер самые нелепые политические слухи: то будто бы я приехал в Дептовку и виделся с сестрой Машей, — за что она и отдана под надзор; то его в железной клетке возили в Питер на допрос и пр., наконец, пустили слух, что он повесился, и жадные попы поспешили подать архиерею 17 прошений на его место. Замечательные нравы в наших провинциях!

---

[1]) Лев Тихомиров.

[2]) Пава — Марья Ник. Ошанина.

Тебя интересует, какие книги я читаю? Из русских все больше уже известные попадаются, ну да я им рад, а то когда не бывает дней по нескольку, так становится довольно-таки тоскливо. Из французских наиболее интересные: Histoire de dix ans. L. Blanc, Hist. des proletaires. Lacroix, Hist. de la litterature fran. — Godefroy и еще несколько уже менее интересные (напр., L'année 1879, вроде календаря, Les passions et les inconvenients, qu'ils produisent pour la societé et pour la famille и пр.). Из отечественных за все время случилась одна, которую я перелистывал прежде, но не читал — Ист[ория] славянских литератур Пыпина и Спасовича. Советую тебе иметь ее. Сначала, было, давали все романы, из них, впрочем, Вальтер-Скотта прочел с удовольствием; с неменьшим перечитал кое-что из Шекспира, при чем всегда вспоминал Зеленого [1]), который так любил его цитировать. Байрон скучен, а там, где интересен (Дон-Жуан), часто слишком по-французски реален. Если б можно было в будущем получать книги и если б было кому их доставлять мне, я бы по примеру Егип.[?] стал учиться итальянскому яз., а потом бы за английский взялся. Но, кажется, это будет напрасно. Плохой знак, что заграничная литература увядает. «В[ольное] С[лово]», хотя и дает подчас верные сведения, — довольно вялое издание, впрочем, довольно распространено оно в России, а с обесцвечением внутренней прессы, можно ожидать, что пойдет в гору. А как иностранная литература? Не появилось ли новых, достойных внимания, журналов? Интересуюсь я также, какого сорта собственно агитация Кропоткина, — политическая ли, главным образом, или иная какая? Что же алхимик знаменитый [2]) присмирел, — что о нем ни слуху ни духу? Я помню, он немало надоедал всякими аферистическими прожектами; и он должен претендовать на меня, если к ним отнеслись безучастно. Впрочем, ему самому хорошо это известно, ибо купно с Голдов[ским] в своих письмах они предостерегали революционное начальство оказывать мне доверие (на тебя тоже жаловались).

Ты, друже, хочешь, чтобы я описывал тебе разные случаи из своей жизни на воле. Да таких и не было, чтобы стоило

---

[1]) «Зеленый», «Капитан» были псевдонимы Чубарова (казнен в 1879 г. в Одессе).

[2]) Лев Гартман.

рассказывать. Встреч тоже не было интересных. Случилось только неожиданное свидание с одним старым товарищем (бывший Анин приятель, с которым она приезжала вместе ко мне в квартиру 1-й гимназии). Не видал я его с 79 г. Совсем больной человек, быть может, уже умер. По нраву такой же остался. Болезнь сделала его чрезвычайно раздражительным. С ним неразлучна его супруга, тоже Анина приятельница по Цюриху еще [1]). Очень милая особа; вся поглощена заботами о нем. Я бывал у них, старину вспоминали. Он сохранил слабость много говорить о себе и хорошо ценить свои достоинства. Я терпеливо выслушивал его рассказы такого genre'а — это очевидно облегчало его болезненные страдания. Если когда-нибудь увидишь их, поклонись им от меня. Она очень симпатичный человек.

Встречал приятеля [2]) Жоржа, изменившего ему в пользу Аркадия [3]). Не знаю, каков он был прежде, но в мое время он не чувствовал себя хорошо. Дела его мало занимали, он как-то рассеянно к ним относился. Однажды я просидел с ним в трактире до поздней ночи, — так просто, хотелось узнать, чего он такой скучный. Уговаривал я его уехать за границу: там, мол, повеселеете, свет повидаете и друзей, б[ыть] м[ожет], найдете. И уехал бы, если б другие поддержали. О других, кого приходилось мне видеть, ты знаешь сам. Ученик Павла [А. Буланов] — юноша довольно способный, но человек мало гуртовой: самолюбие у него несколько больше, чем следует иметь. Супруга его [О. Трубникова] — добрейшее существо, до революции не имевшее никакого почти отношения. Прокурор говорил мне, что в тюрьме она постоянно печальна. Я оч[ень] рад, что ее отпустили, а то она к тому же родить должна была.

Понедельник.

Ты, дорогой, может, удивляешься, что я это небольшое письмо пишу так долго. Это потому, что несколько последних дней у меня нету книг, и я, чтобы занять время, пять минут пишу и пять часов мысленно провожу в разговорах с тобою и другими. Когда я вижу этот листок

[1]) Андрей Франжоли и его жена Евг. Завадская.
[2]) Ст. Халтурина.
[3]) Псевд. Ар. Зунделевича.

бумаги лежащим на столе, зная, что он полетит в Швейцарию и точно так же будет лежать на твоем столе, то веселее как-то чувствуется. Много раз перечитывал твои письма; последним особенно доволен, во-1), пот[ому] ч[то] оно последнее, во-2), много интересного для меня сообщает.

Спасибо Лизе за цветок; с ним легче переноситься к вам в Швейц[арские] горы, ибо этот цветок специально альпийский. Когда Лизе придется вернуться в Россию, пусть побывает у моих родных, они будут рады видеть знакомого мне человека.

Ты, дружок, подозреваешь, что я скрываю от тебя истину насчет своего здоровья. Нисколько, п[отому] ч[то] нечего скрывать. Можно самого здорового расписать так, что жалость разберет. Я не здоров, но не болен, — это ты и сам знаешь, а такого ничего нет, чтобы тебе беспокоиться. Вот у вас там на что благодатные места, а Лиза, Алекс[андр] и Полляк все хворают. Конечно я не вынес бы долгого заключения, но, повторяю, с следующего лета условия б[ыть] м[ожет] будут лучше. Другие в гораздо худшем состоянии. Вспомни Романенко — чахоточный, Дмитрий Кл[еменц] не успел доехать до места ссылки, а уже слег в Иркутске (не знаю, здоров ли он теперь?), да и мало кто из нашей братии отличается здоровьем — не таковская жизнь. Из всех, кого я знал тут на свободе, редкий был здоров.

Не слыхал ли чего о Кате [1])? Как-то ей теперь живется? Или ты, как видно, потерял всякое общение с Россией и ничего не ведаешь?

Чем ближе к концу письма, тем более хотелось бы растянуть время его окончания. Но вот уже 12-й час, утешаюсь тем, что, б. м., эти строки помчатся к тебе сегодня же, а мне, может быть, книг принесут. Что сказать тебе, дорогой, на прощание? Не стану разбивать твоей веры, что мы еще увидимся. Хочу и сам тому же верить. Но не с такой ли верой мы расставались в Лозанне? Хотя, чего доброго, тогдашняя вера для того именно и не осуществилась, чтобы осуществиться теперешней. Я всегда буду повторять одно и то же: живи, как можно дольше, на свободе, будь здоров и счастлив — это лучшее средство поддержи-

[1]) Екатерина Брешковская.

вать мои надежды. Суда надо мной нечего ожидать тебе со страхом: ты же говорил, что за приговор не опасаешься. Больше 20 лет каторги едва ли будет, а что вечная, что 10 лет, то в сущности одно и то же. По закону есть разница во времени заключения в каторж[ной] тюрьме, но относительно политических, как известно, закон этот почти не применяется.

Вот уже полгода, как меня арестовали, и скоро год, как мы расстались с тобою. Оба мы не ожидали того, что случилось, не ожидал также я (и ты, конечно), что в состоянии буду писать тебе из заключения.

Однако, я не забываю всякий раз, когда пишу тебе письмо, думать, что, б. м., оно последнее. Может быть, оно и не так, да лучше предполагать худшее, чем лучшее.

Шлю всем поклоны и поцелуи.

Твой.

Не было ли слуха о Маше [1]), жива ли она? Не притекает ли новых эмигрантов?

III

С.-Прг. 10-го (кажется) сент. 1882 г.

С неделю тому назад пришло твое письмо, мой друг. Перед этим были письма от Веры [сестры], от Миши [брата] и затем от отца. Сестра подавала просьбу губернатору о снятии с нее надзора и разрешении выехать из деревни для подыскания места, но ей отказано. Надежда [сестра] уехала в Киев, отец побоялся-таки отпустить ее в Питер: там в Киеве, по его (крайне ошибочному) мнению, ей будто бы будет безопаснее. «Боюсь Петербурга, как пекла», — пишет он. Не знаю теперь, придется ли иметь с кем-нибудь из них свидание? Так как В[ера] получила отказ в выезде из Дептовки [2]), то нужно просить директора департамента об особом разрешении ей сюда приехать, что я и намерен сделать, как только удастся его увидеть. Свидание с сестрой мне, конечно, желательно, хотя ради этого одного плестись

[1]) М. А. Коленкина.

[2]) Село Конотоп. уезда (Черниг. губ.), где род. Я. В. Стефанович.

за 2.000 верст едва ли стоит. Для меня было бы выгоднее, если бы она жила в Питере и если б ей было дозволено носить мне книги. Хочу узнать, разрешат ли, и тогда окончательно напишу, — пусть которая-нибудь приезжает. Беда без книг: все уже передумано, перефантазировано на тысячу ладов. Бывает, что не знаешь, куда и деться. Говорят, казенные я все перечитал, оттого и затрудняются в выдаче. Недавно получил немецкую «Allgemeine Kulturgeschichte» [Всеоб. ист. культ]. Спасибо, словарь при сем не забыли прислать. В виду того, что ты ждешь от немцев выручки, я готов преодолеть эту 6-титомную Kulturgeschichte, несмотря на свою антипатию к их языку. А что немцы могли бы более, чем кто и что-либо, подействовать на наше отечество, я с этим согласен вполне; не по мировому значению их движений, чем они никогда не отличались, а просто потому, что немцы наши соседи. Если земледельческие отношения в наших юго-и северо-западных краях складывались и продолжают складываться по типу немецкой культуры (т.-е. полное обезземеление крестьян, а если не совсем, так с майоратом, с миноратом, а, следственно, и с пролетариатом), то основательно ожидать, что преобразованная Германия понесет к нам и преобразованное влияние. Я очень уважаю немцев за их политику у себя дома, но эта политика умна и выгодна для них самих. Судьба была бы к нам благосклоннее, если бы сделала нашими соседями французов, всегда заботившихся больше о прогрессе всего человечества («gloire»), чем о собственном благоденствии (Kulturkampf). Не все, что они совершали, неистово жестикулируя и декламируя, шло им впрок, но непременно служило на пользу всему миру. С немцами же очень часто случалось совсем наоборот, как, напр., реформация для Ирландии. Зато, я думаю, что и Кроп[откин] согласится, что воздействие возродившейся Германии будет благоприятно для России. Раз немецкая империя уступит место немецк. республике, à la France contemporaine [современной Франции], России ничего не останется, как превратиться в федеративно-конституционную монархию. Прибавляю «федеративную», ибо никакой иной ей быть невозможно. Пока социал-демократия, по своему обыкновению, потихоньку, да помаленьку будет сводить счеты с 8.000 Gutsbesitzer'ов [собственников] и

со своим starker Bauernstand [крепкое, зажиточное крестьянство], мы, вероятно, успеем покончить с нашим историческим беганьем от начальства, исканием, где лучше, начнем оседать на местах и станем «крепки земле» не только в экономич[еском], но и в географ[ическом] смысле. И когда немцы водворят, наконец, у себя свое Arbeiterstaat [рабочее государство], Всероссийская Империя превратится в «Восточно-Европейские Соединенные Штаты», западные из них должны будут явиться подражателями Новой Германии в экономическом своем прогрессе; у центральных и восточных в этом отношении явится преобладающим чисто русский принцип (землед. община). Когда я фантазирую таким образом, мне припоминается некий Стронин, написавший странную книгу «Политика, как наука», где он предсказывает России господство над всем миром. Великорус[ское] племя, по его мнению, воплощает в себе завоевательную историч[ескую] миссию, и это, между прочим, доказывается тем, что в его языке «повелительный» (?) звук *а* стремится вытеснить все другие гласные звуки (многа́, мала́й, ча̀во), если мои фантазии в подробностях, о которых я и не распространяюсь, так же смешны, то, право, в общем они верны. Вот почему я охотно разделяю симпатии Павла к немцам и был бы недоволен, если бы Кроп[откин] вздумал нас ссорить с ними. Ему, как русскому, следует быть любезным с ними, и всякая иная политика относительно их, по-моему, прежде всего, непатриотична.

11 (суббота)

Не думай, что я занимаю свое воображение исключительно политикой и другими высокими предметами. Нигде, как в одиночном заключении, настроения и мысли не подвержены такой изменчивости от самых ничтожных причин: зазвонят колокола или начнут палить пушки в табельный день, — воображаю коронацию, а с нею, невольно как-то (черта чисто российского происхождения), поднимается рой надежд; хорошо знаю, что эти надежды — мечтание пустое, а все же думается, может быть, последуют хоть кое-какие облегчения для заключенных. То вдруг раздадутся шаги в коридоре, загремят засовы камеры: арестовали, значит, кого-то. Новый толчок для мыслей: припоминаю, как меня

арестовали, свое состояние, тревоги за тебя, и проч., и проч.. и думаю, что-то в эту минуту чувствует новый узник, размышляет ли он о предстоящем пути-дороженьке, или весь поглощен мыслью об оставленных им на воле приятелях, друзьях, родных, а то, может быть, повалился на койку и спокойно заснул, не чувствуя себя более в нелегальном положении. Однажды, я постучал к соседу, спрашиваю, кто вы такой; он долго отстукивался без значения слов, а я все повторял свое; наконец, слышу мерные удары: «я болен». Так мне стало его жалко; едва ли на воле развивается такое сострадание к другому, как в тюрьме. Но я не узнал, ни кто он, ни чем он болен. Перестукивание здесь строжайше преследуется, чем одиночность заключения достигается в совершенстве. Мне только раза два удалось обменяться с соседями несколькими словами. Раз, слышу, стучат. Спрашиваю: кто? Говорит фамилию, затем: «меня, быть может, выпустят на поруки, не могу ли чем быть вам полезен?» Отвечаю: «Передайте поклон Евгению», имя сорвалось с пальцев само собой, и только что я приготовился об'яснять, кто такой этот Евгений, как дверь моей камеры отворилась и меня, раба божьего, перевели в другую. Я думаю, на воле ему нетрудно будет узнать, кто такой Евгений и кто мог ему передавать поклон. Затем еще: на вопрос «кто вы?» — слышу продолжительный равномерный стук, как часовой маятник. Повторяю вопрос, опять то же и т. д. Я понял так, что он не умеет стучать, и бросил его допрашивать. Но сосед разохотился, застучит этак бойко, зовет, значит. Отвечаю, что готов слушать. Опять начинает стукать без перерыва до бесконечности; пришло мне на ум, не стучит ли он по порядку азбуки, так что, напр., щ — 26 ударов. Стучу ему этим манером, ужасно утомительным и для говорящего и для слушающего. Хочу узнать, кто он. Отвечает: А-р-х-а-н-г-е-л-ь-с-к-о-й губернии...». Тут стражи прервали нашу беседу. Спустя некоторое время спрашиваю то же. Он снова начинает «архангельской губернии...». Прерываю его и говорю: «Как ваша фамилия?». Слышу — что-то вроде Заметаев, словом, на аев и еще с. «За что? — спрашиваю, — сидите?» «Мы газеты и письма...». Тут и конец, стражи помешали. Больше нам не удалось разговаривать. Это мои самые крупные приключения, как видишь, мало занимательные. Ты

просишь сообщить все мелочи моей бедной впечатлениями жизни, оттого я их и описываю. Иногда, знаешь, нападает какое-то тупое состояние: ничего не чувствуешь, вся нервная система как будто замерла, и себя самого не сознаешь. В такие минуты, кажется, если б неожиданно вошли и об'явили смертный приговор или полную свободу, остался бы совершенно равнодушным. Раз как-то являются ко мне и заявляют: «Здесь петь нельзя!» — «Вы, вероятно, не туда попали», — я говорю. — «Нет, — возражает, — в соседстве никого не имеется», и часовой утверждает, что я пел. И поныне недоумеваю, кто из нас прав. Помню только очень хорошо, что никаких звуков своего голоса я не слышал. Правда, у меня была тогда бескнижица, я шатался из угла в угол, о чем-нибудь думал, или просто фантазировал. Но все-таки склонен верить, что часовой ослышался: этой «службе» ведь тоже присущи галлюцинации. Я не умею изобразить тебе все переливы душевных состояний одиночного заключения. Если б твоя фот[ографическая] карточка да возымела вдруг способность из'ясняться, она бы пересказала тебе больше и лучше, чем я. На ней вполне отражается мое суб'ективное настроение, когда я гляжу на нее: то она смеется, то плачет, а то без всякого выражения или серьезная, или не в духе... Обыкновенно, как получаю из дому письмо, впадаю в особенное семейное настроение, б[ольшею] частью невеселое, как случилось и в последний раз, п[отому] что беды продолжают преследовать моего отца и сестру. Жаль мне ее очень, ибо совсем-таки как есть ни за что заключили ее в глухой деревне. Отец говорит: ходит оборванная, а чтобы он ей пошил платье на свои деньги — не хочет. Уж я сам писал ей, чтобы хоть из моих денег взяла на одежду; едва ли согласится. А то всего досадней, пишет отец, что годы проходят, все лучшие годы. Спрашивает она меня, что ей делать, но какой совет я могу дать, когда ей заниматься ничем нельзя? Будь я на воле, я бы в таком положении посоветовал ей эмигрировать за границу (на что, конечно, она бы не согласилась). Она знает фр[анцузский язык] и играет недурно, и может нашла бы там себе работу, а то бы хоть и замуж вышла за какого-нибудь итальянца. Полиция собирает сведения о состоянии отца, что, я полагаю, имеет отношение к судебным издержкам

по моему процессу. Но он ужасно этим напуган, и вообще местные власти так его терроризировали, что он, по собственным словам, дрожит при звуке колокольчика. Из домашних писем я узнал одну приятную новость: ссыльным позволено вести переписку помимо контроля полиции. Вчуже немного веселей стало.

Воскресенье

Спасибо тебе, Вера [1]), за приписку. Когда мне принесли письмо, свернутое так, что твоя страница была снаружи, я тотчас узнал твой почерк; в первый момент мысль не успела сообразить, что не все письмо принадлежит тебе,— «а что же бы могло статься с Евг[ением]?». Разные предположения уже зародились в уме. Развертываю письмо, а он, шутник, тут, в середине...В самом деле Кр[опоткин] неузнаваем в Англии, — совсем таков, каким прилично быть с такою бородой. Помнится мне, что К[расный] К[рест] должен был знакомить Европу с положением России не только посредством конференций, но и литературно. Ты ничего не сообщаешь на этот счет; вероятно, не оказалось писателей? Ново также для меня, что Катя очутилась на Каре. Признаюсь, я как-то этим нисколько не огорчен. Во-1), она уже так притерпелась ко всяким тюрьмам и неудачам, что ей это salto mortale едва ли чувствительно; да и вообще она умеет весело встречать всякую беду. Второе, что карийским узницам Катино сообщество — чистая божья благодать. Маша, я уверен, поздоровеет от одного ее присутствия, Шурка [Софья Иванова] тоже. Будь я на воле, мож[ет] быть, иначе отнесся [бы] к заточению Кати, но мертвым, естественно, больше думать о мертвых, ч[ем] о живых.

Не могу, Женюк, об'яснить особую внимательность к тебе тамошних незабудок. Во всяком разе не придаю этому серьезн[ого] значения; а что домогались твоего вида, то просто, может, хотели убедиться, ты ли именно — Дейч.

Здоровье мое, о котором ты так допытываешься, совсем недурно. Этот месяц не было никаких обострений ни в катарре, ни в геморрое. Слаб только стал, и вообще все жизненные отправления ослабели, — обыкновенная вещь у всех за-

[1]) Это обращение к В. И. Засулич.

ключенных, волосы идут сильно; если и увидишь меня когда-нибудь, то, наверное, лысым. Борода подросла, усы все выщипаны. В бане ни разу не пришлось быть, на ногах в пол-пальца грязи. Вот тебе мой портрет. Но все это пустяки и с избытком вознаграждается перепиской с тобой. Долго ли будем пользоваться этой возможностью, не знаю. Может статься и так, что настоящее письмо — последнее: «все в руце божией», — говорит мой отец. Я согласился бы быть прикованным на цепь, лишь бы не лишаться нашей переписки. Но когда бы она ни прекратилась, я до смерти останусь за нее благодарен, и ты, разумеется, также. Дело мое все в неопределенном положении (по крайней мере для меня); передано от ген. Федорова и Желиховского в здешнее жандармское упр[авление], к т[оварищу] прокурора Добржинскому. Спрашивал я его о времени суда; говорит, пока неизвестно, — будет зависеть от того, к какой группе меня причислят. По его же словам, за мной главное дело — все то же Чигир[инское] (провались оно в тартарары). Передай Лизе мое соболезнование, что она все хворает. Наверно, дурно питается и не хочет обратиться к серьезному врачу. Вы бы с Алекс[андром] настояли, чтобы она это сделала. Никогда ты не пишешь мне ничего о Серг[ее Кравчинском], Ф[анни] и Ан[не Мих. Эпштейн]. Тут ведь все сходит за интересное. Иногда мысль остановится на таком эмигранте, о котором на воле никогда бы не вспомнил. Слыхал я, что Дурново вышла замуж церковным образом? Если правда, — поздравляю. Ане [Кулешова-Турати] шлю взаимно свой поцелуй вместе с ее красавицей. Павлу, Ивану и всем также передай по поклону. А с тобой, друже, попрощаюсь завтра...

Та самая луна, которая, вероятно, еще скрывается у вас за горами, теперь как раз заглядывает ко мне в окошко. Всего 10-й час. Будь здоров, твой...

Понед[ельник]

Я не имел случая узнать, можно ли тебе прислать для меня итальянскую грамматику. Пожалуй, рискни 4—5 fr., — вышли (в деп[артамент] гос[ударственной] пол[иции], где было III отд.) только франц[узско]-итальянскую грамматику, такую, как если бы француз захотел учиться этому яз[ыку]. Авось передадут. Мне важно, собственно, не знание самого языка, а возможность бо́льшего выбора книг для чтения. Я все питаю надежду, что рано или поздно осужденным не станут запрещать получать книги. Жаль расставаться с французскими. Если бы позволили, заказал бы тебе несколько, которых мне очень хотелось бы прочесть.

Сестра писала, что ты продолжаешь высылать для меня деньги. Совсем напрасно, п[отому] что я не знаю, могу ли ее теперь выписывать для свиданий. Раз она будет здесь, тогда напишу, нужны ли деньги. — Пиши, дорогой мой, что делается на белом свете. Интересует меня, какой оборот приняло теперь движение Ирланд[ской] Лиги. Отец так заключает свое последнее письмо: «ничего нового, везде тьма, уныние, ожидание чего-то». Ты иногда характеризуешь положение буквально теми же словами. Это, по крайней мере, заставляет меня не слишком жалеть, что не вижу газет.

Как же ты устроился после Фонтан[иван]? В город переезжать еще рано. А у нас совсем уже холодно. Прошел год, как я расстался с тобою... Стало годом ближе к смерти, а может быть, и к нашей встрече. Будь счастлив, милый мой брат и друг. Верно ли или нет, а я представляю себе, что ты не тяготишься заграничной жизнью, как иногда случалось, когда мы были вместе; поэтому я за тебя спокоен. Прощай, крепко тебя целую, дорогой мой Женя. Твой.

IV

СПБ. 16-го окт. 1882 г.

Милый и дорогой мой друг! Начал и я уже было беспокоиться, что нет от тебя письма, пока не узнал, что мое отослано только недавно. Тем паче мне было грустно, что суд в ноябре или декабре, а там уж — прощай, наша переписка! Лежал я в постели, закутав ноги в халат и одеяло: ломота была в этот день (ревматизм). Побежденная «Kulturgeschichte» (3 т.т.) давно лежала на столе закрытою. Надоела она мне жестоко и злила часто своими приговорами вроде Stumpfheit gedenkenloses russisches Volkes, Victor Hugo's sinnlose Tiraden, französische hochgeschürzten Musen [1]) и т. д.

[1]) «Тупость бессмысленного русского народа, безумные тирады Виктора Гюго, высокоторжественная французская муза».

Лежал я и думал, как должен быть смешон немец, когда он слишком тщеславен, между тем как этот порок ничуть не лишает француза эстетичности... Вдруг не в обычное время отворяют камеру и подают мне твое письмо. Предоставляю тебе самому вообразить мое удовольствие!

Почти все тобою сообщаемое для меня совсем ново, хотя и не неожиданно, с тех пор как, отчасти благодаря тебе, я узнал о перемене в министерстве. Своих «фантазий» по поводу неотрадных вестей не расписываю: не было еще времени расфантазироваться, да и перо не свое, казенное — не всякую мысль в строку выведет. Конечно, искусственная задержка поступательного общественного развития только уродует его проявления, но прекратить его не в силах. Гони природу в дверь, — она войдет в окно. Этот последний способ движения природы и есть революционный образ действия. Один из моих следователей сказал мне как-то, что, по его мнению, нашему правительству вовсе не следовало бы тревожиться существованием революционной партии, ибо таковые всегда и везде были и теперь есть. Так-то-так, потому что тому всегда были и есть коренные причины, от правительств мало зависящие; скажу даже больше: отсутствие оппозиционных партий, как бы там они ни назывались, есть признак застоя страны, ибо les idées ne se fécondent, qu'en se rapprochant [1]). Но характер деятельности этих партий, более или менее острый, разрушительный, исключительно обусловливается отношением к ним власти. Ни в одной ведь стране не видим мы революционного движения в такой отчаянной форме, как у нас (в Ирландии по другим причинам). Хоть и были в наши дни и на Западе аттентаты, но лишь как факты случайные, и все — совершенно тождественного значения с выстрелом в Glion'е в мнимого Лаврова. А у нас террор длится 5 лет, и бог знает, когда он найдет возможность уступить место более спокойному образу действий. Не одним нам вполне понятно, что послужило первым поводом к его появлению. Мне приходилось слышать и от начальствующих лиц, что, кабы не такое усердие в преследованиях 74 г., не процесс 193, не сечение Боголюбова («и так далее» — прибавлял я), в нашей истории была бы

[1]) «Идеи оплодотворяются от соприкосновения».

вычеркнута не одна кровавая страница. Да что толковать об этом попусту; песенка моя спета, остается глотать время да выжидать, как его умные люди поймут.

17-го (воскр.)

Действительно, дружок, ты на этот раз был чрезвычайно содержателен. До сих пор не могу ориентироваться в массе новых для меня впечатлений. Стоны умирающей Цакни, маршировка кадетов, жалобы отцов на повышение учебной платы, бряцание студенческих шпор, Sehnsucht балтийских немцев nach baronicher Verfassung [1]), казни... все это в беспорядочной куче в голове. С трудом разбираюсь в мыслях, о чем писать тебе; возьму перо, а в ушах раздается: «ноги коченеют, пульс ослабевает» — и остановлюсь. То захочу припомнить, много ли будет $1/2$ литра молока, или приблизительно вычислить количество 5% окончивших в этом году евреев... И вот так и не могу приковать внимание к этому письму.

О суде мало думаю, может оттого, что редко видаюсь с производящими следствие, — всего раза 4 за все время. Дело мое совсем несложное. Конечно, для нас с тобою было бы лучше, если б с судом не так спешили, потому что на переписку после суда не рассчитываю; да и вообще надо ожидать больше строгостей и лишений.

В ноябре приедет которая-нибудь из сестер (Вера или Надежда), буду видеться с ней еженедельно, но все ли время, пока буду здесь, не знаю: может быть тоже только до окончания процесса. Постараюсь через сестру запастись книгами. Так как по правилу назад книги не возвращаются, а остаются принадлежностью крепостной библиотеки, то придется их покупать. Деньги, что ты прислал, и пойдут на это да на поздку сестры (на чай, сахар, табак и белый хлеб). Потом пришлешь еще, как окажется нужда. Буду хлопотать, чтобы приобретенные таким образом книги позволили взять с собою на каторгу; а нет — так не без пользы останутся в крепости, где, кажется, больше заключенных, чем книг. Совершенно не могу взять в толк, какой смысл имеет лишение заключенных газет, журналов и вообще

[1]) «Мечты остзейских немцев о баронской конституции».

литературной пищи. Сведений в периодических изданиях никаких таких не полагается, которые могли бы иметь отношение к ходу следствия (да и после него не разрешают) или ободряюще действовать на арестованных. Конфисковать умственный капитал (у кого таковой имеется) и лишить рассудок прав, дарованных ему природой? Конечно, я таких целей не допускаю, ибо это было бы слишком жестоко. Даже каторжники-декабристы в Петров[ском] заводе получали книги и *газеты* на всевозможных языках; мало того, у них в казематах было фортепиано, мастерская, своя кухня, физический кабинет... Не мудрено, что никому из них не приходила охота бежать и что все они возвратились потом на волю «умиротворенными», а не с злобой и ненавистью в сердце [1]), к чему так часто, как известно, располагает теперешнее заключение. Но, если и нам не будет запрета хоть на книги, то забота обо мне в этом отношении будет лежать на тебе (через отца, конечно). Расскажу тебе маленькую историю с одним моим «нелегальным» к тебе письмом.

Сидя в Московской Арбатской части, я, разумеется, первым делом стал измышлять способы, как дать знать тебе о своем аресте и задержать тебя за границей. Стал я убеждать городового снести на почту письмо, — не соглашается; обещаю за это свои золотые очки, — боится: «а может, вы, говорит, сыщик». Одновременно со мной тут же сидел главный московский сыщик, да и прежде бывали в этой части, как выражается смотритель, «гости» этого звания. Стал я уже с другим часовым разговор заводить; только подходит ко мне прежний и жалуется: получил от «матки» письмо, просит его домой приехать, а дома он 11 лет не бывал, матка стара стала, хотел бы ее повидать, да в далекую сторону ехать — денег не хватит. Я опять к нему со своими очками и стараюсь об'яснить ему, что мое «звание» такое же, как Майнова (политический, осужден в Москве и до суда содержавшийся в моей камере). Наконец, пришли мы к соглашению. Написал я тебе письмо, самое нежное, какое мог только ты ожидать от меня при подобных обстоятельствах. Передаю городовому с тем, что он, придя на смену на следующий день в 6 ч. вечера и передав

[1]) Так свидетельствует один писатель

мне расписку (письмо заказное), получит очки. Требовал было он их вперед, да я настоял на своем. Стало мне несколько спокойнее, жду расписки. Только часов в 12 дня является ко мне Скрундуков (моск. начальник секретного отд.), таинственно велит смотрителю выйти из камеры и остается со мной tête-à-tête: пожелал вступить со мной в беседу. (Я, говорит, вас узнаю: вы такой-то. Уверял, будто видел меня еще в Киевской тюрьме, он тоже из тамошнего жан[дармского] упр[авления]. Потом оказалось, что узнали меня в Питере бывшие киевские прокуроры, а не в Москве. Из'являл мне затем претензию, что я хотел подкупить его агента, схватившего меня: «Мои ребята — народ честный»; между тем как на мое предложение — получить 100 р. и отвязаться от меня — этот агент шептал мне: «вы видите, я не один»; тут я заметил и другого сидевшего у подворотни и разыгрывавшего роль дворника; сейчас же и он бросился на подмогу (об этом, впрочем, я Скрундукову не сообщал). В 1½ меня увезли на вокзал. Еду я в Питер и думаю: придет городовой на смену, найдет мою камеру порожней, узнает, что был у меня начальник секретного отд. и что затем повезли меня куда-то в карете, — наверное придет к убеждению, что его подозрения на счет моего «звания» были основательны, и сочтет за лучшее передать расписку по начальству, — тем более, что и очки при мне остались (так и случилось: в Питере это самое письмо мне пред'явили). Опять взяли меня тревоги. Вспомнил я историю с Романенко, который, как ты знаешь, написал в одесское жандармское упр. частное письмо с вопросом, может ли он безопасно возвратиться в Россию; ему ответили, что может, а между тем заранее дали приказ арестовать на границе. Зная такой пример, конечно, я не мог рассчитывать остановить тебя официальным путем.

После долгой паузы опять берусь за перо. Рисуешь ты мне картину теперешней внутренней политики в России и спрашиваешь, где же те благие начинания, о которых я писал тебе? Ты забываешь, что то было 4½ месяца тому назад, а с тех пор в правящих сферах произошла перемена, и не следил ты, видно, за газетами, хотя бы за «Моск[овскими] Вед[омостями]» незадолго до этой перемены. Вот и все, что могу я сказать в свое оправдание. В Швейцарии

все — значит народ или, по крайней мере, большинство его, во Франции партия — все; у нас, как везде, где общество принижено и запугано, первенствующее значение имеет личность. Il ne faut pas oublier cette maxime [не следует забывать этого правила].

Приятную для меня новость сообщаешь, что заграничная литература просыпается: надо полагать, что предпринятые стеснения внутренней прессы послужат к оживлению закордонной. И в добрый час! Сборник «На Р[одине]», хоть и «нетенденциозный», все же сослужил службу в качестве исторического материала. А какая-нибудь «Правда» [1]), — чем она может быть опасна для правительства? Что безграмотно ругается? Эка важность! Словно правительство к этому не привыкло. Пускай себе лает.

Да, спасибо, родные не забывают меня письмами. В сентябре прислал мне Миша из Варшавы сибирское письмо Олимпа, давнее, еще с октября прошлого года: описывает свое житье-бытье. Хорошо, что выслали ему 55 р. из моих денег, а то немало он там бедствовал (да и его сотоварищи — 8 чел.); просит, например, выслать хоть старые штаны... Рассказывает, между прочим, как живет якутский ссыльный, помещенный в какой-нибудь юрте под надзором ее хозяина-якута, который тут же держит обыкновенно и свой домашний скот; спят на навозе, так что, острит брат, какой-нибудь археолог, нашедши человеческий череп в куче навоза, долго будет ломать голову, как он туда попал. Сообщает, что получил письмо (!) от Тененики [2]) из Березова; по выписке из него видно, что дядьки [2]) сильно тоскуют по своем широком и дужем Днепре, а главное — есть им там почти нечего. «Люди мохнатые, и не узнаешь, чи то чоловік, чи то звірь, едят живую рыбу, аж нам тошнит; никакой зелени не растет в этом крае, картошка одна, да и той достать трудно...». О себе брат сообщает, что стихи писать перестал,

---

[1]) Это была провокаторская газета, выходившая в Женеве на средства «Добров. Охр.», о чем Стефанович не знал.

[2]) «Тененика» и «дядьки» — отправленные в Сибирь по Чигиринскому процессу крестьяне; Олимп — меньшой брат Я. Стефановича — также был туда сослан по этому делу. Миша — средний брат, также привлекался по Чигир. делу, был по суду оправдан, уволен из киев. унив.; допущен в варшавский.

так как убедился-де, что ему «великим поэтом не быть, а *просто* поэтом быть не стоит». Пребываю, говорит, больше «в состоянии положения», да на гитаре играю. В заключение желает Мише быть на праздниках дома и напиться «до положения риз» той наливки, которая, сожалеет он, должно быть как нарочно так удалась в его отсутствие. Передаю тебе все эти подробности, потому что они меня заинтересовали, ибо об Олимпе я не имею никакого понятия с тех пор, как когда-то драл его за чуб (ленив был, Майн-Ридом все зачитывался). Теперь он представляется мне не иначе, как с гитарой в руках перед бутылкой вишневки и с валяющейся у ног разорванной тетрадкой стихов. Других взрослых уже членов семьи тоже не знаю, не пишут (кроме Веры). Если Надежда приедет сюда, познакомлюсь, значит, еще с одним. Намерена посвятить себя педагогии, в Киеве поступила на педагогические курсы и тут тоже посещать будет. Вспомнил я другого педагога — Лилу Павл. с ее ребятишками. Вот свести бы с нею сестру, устраивали бы вместе Фребелевские сады. Передай, кстати, поклон ей от меня, если она в Швейцарии.

С Лизой рад видеться, если она будет в Питере и еще застанет меня здесь; но полагаю, что на это разрешение ей едва ли удастся получить. В таком случае пусть она повидается с сестрой. И зачем, собственно, думает она возвращаться в Россию, место какое-нибудь занять теперь очевидно трудно, — времена настают тяжелые, а болеть за границей не так больно.

Хочешь ты, чтоб я тебе описывал свои воспоминания? Охотно исполнил бы твое желание, если бы уверенность в продолжительности нашей переписки. Ведь весьма возможно, что на этом письме она и оборвется. Наконец, если б тебе пришла фантазия возобновить в памяти прошлое твоего друга, то за границей у меня довольно старых приятелей и попутчиков, с которыми приходилось нестись за течением тогдашних волн. Сам знаешь, поучительного в моей истории столько же, сколько и у многих сотен других. Частная жизнь, мой нрав и все такое прочее известно тебе, б[ыть] м[ожет], лучше, чем мне самому. Что осталось недосказанным со времени нашей разлуки, — не моя в том вина. Если больше не увидимся и не окажется возможным писать друг

другу, то не забывай, что никто не был мне так дорог, как ты, и ни к кому я так не был привязан. Остаюсь все тем же, каким в последнее время ты и другие меня знавали, разве с несколько большим уклоном в сторону свобод политических (тюремная реформа). А планы мои, намерения, надежды и т. д. ты знаешь еще из вольных моих писем. Если б каким чудом да вдруг очутился бы на свободе, прежде всего помчался бы к тебе в Швейцарию, которая часто казалась такой постылой, а теперь рисуется такой очаровательной. На каторге боюсь пуще всего грубого оскорбительного обращения: человеческим обращением, как тебе прекрасно известно, можно меня легко заставить даже, пожалуй, нужники чистить, — а зверским — довести до чорт знает какого раздражения. Буду стараться как-нибудь жить, в надежде еще увидеться с тобою. Мне главное знать, что ты жив и свободен. Будем через отца узнавать друг о друге. Помни это, дорогой мой. Отец должен будет, как и до сих пор, пересылать твои письма в департамент, а мне передавать лишь, как ты живешь; нельзя, конечно, ожидать, чтобы оттуда пересылали их мне на Кару. Желание увидеть Россию гони прочь; старайся создать нравственную удовлетворенность, принимая во внимание мое спокойствие за тебя. Я хочу, чтобы ты по возможности был счастлив, а счастье по-моему несовместимо с положением, лишающим человека возможности исправлять свои ошибки, к сознанию которых он пришел. Я рад, что ты серьезно берешься за неметчину, и советовал бы тебе проникнуть даже в немецкую философию. Умственный капитал не отчуждает, с ним нигде и никогда не будешь чувствовать себя лишним. Прощай же дорогой мой. Авось еще хоть один раз обменяемся письмами. Как бы я этого хотел! Будь здоров, обнимаю тебя горячо, в тайной надежде, что, быть может, не последний раз. От тебя во всяком случае еще жду получить письмо.

V

24-го ноября 1882 г.

Милый и дорогой мой Женя! Почти месяц, как я получил твое письмо и две книги. Все это время провел в ожидании обвин[ительного] акта. Помышлял уж о защитнике: взять ли

самому или начальству предоставить выбор? Так как акцессуар сей по форме отсутствовать не должен, то решил было сам назвать какую-нибудь фамилию. Но вот со вчерашнего дня пришлось отложить попечение. Следствие только что закончилось; обвин[ительный] акт получим уже в 1883 г., а процесс — в феврале. Таким образом до окончательного определения моей участи остается еще полгода. Книги и письма помогут сократить это время. Но на выполнение твоего плана насчет пополнения крепостной библиотеки нечего рассчитывать. Ты предполагаешь патриархальность нравов доброго старого времени, которой, увы! не существует и следа. Иное дело помощь родственнику, друга другу, а иное — всей массе заключенных. Мне, однако, ты можешь еще прислать несколько книг. Двумя полученными остаюсь не совсем доволен: это не более, как учебники (в роде, напр., Шульгина). Я имел в виду «Hist[oire] de Rome» пространную того же автора, а не abrégé; по означенной, впрочем, стоимости ее на обложке (150 fr.) я понял, что она недоступна твоему карману. Не думал также, чтобы география стоила так дорого: мне казалось — fr. 100, да и то на уступку надеялся через ходатайство автора [1]). Когда будешь покупать из посылаемого при этом списка (или по собственному усмотрению), то имей в виду, что я хотел бы немного, да обстоятельных. С приездом сестры постараюсь купить несколько русских (она ли добудет деньги, ты ли найдешь возможность прислать); составленную таким образом камерную библиотеку возьму с собой, если позволят; в противном случае останется в распоряжении [казенной].

О каком белье и фуфайке ты хлопочешь? Ничего своего носить нельзя. У меня вещей много, — все женевские, что ты мне покупал. Кроме того, «Исп. Ком.» пошил мне черную пару; ни разу не удалось надеть: я не был прикомандирован к парадным выходам, — это [было] по части L. [Тихомирова] и Блюнчли [Гер. Романенко], которому, впрочем, не совсем везло в этих ролях. Раз только М[арья] Н[иколаевна] тащила к какой-то важной барыне, да я заупрямился, — так и не пошел. — Жду сестры, чтобы все свое имущество передать в наследство братьям. Но она слишком медленно едет. Губер-

[1]) Э. Реклю.

натор давно имеет разрешение не чинить ей препятствий, а становой и исправник не пускают. А еще жалуются, что у нас слишком строгая централизация! В моей Дептовке и то, видишь, какая автономия. Свидания буду иметь раз в неделю, но отец пишет, что финансы его не позволяют отпустить сестру более, как на месяц. Постараюсь удержать ее все время, пока можно будет видеться, если сама она не заскучает: никаких знакомых у нее тут нет.

Миша писал, что мое имя часто встречается в печати. Это мне совсем неприятно. С какой стати и почему? Ты мне ни разу об этом не сообщал. Dulce est pro patria mori [приятно умирать за отечество], — сказал мудрец; но нисколько не dulce за то, что служил сюжетом для пополнения газетных строк. В «Рус[ском] Вест[нике]» — опять Миша же передает — помещена рецензия истории революц. движения на итальянском яз. «Степняка», где, между прочим, описывает и меня. Тоже не во-время: не успеет человек переступить порог тюрьмы, как о нем уже выражаются: «он отошел в область истории». Покорно благодарю за честь; но если б с нею не так спешили, то в этой «области», быть может, было бы не *так* тесно.

Я вижу, мой Женя, что ты, действительно, плохо следишь за газетами. Ты очень обстоятельно расписываешь достоинства Полякова, а забываешь сказать о волнениях в Казанском унив[ерситете]; подробно распространяешься о плане гадательной осуществимости и ни слова о готовящейся войне. Миша также только взбудоражил мое любопытство, сказав только, что ждут с весной, а с кем и из-за чего — не нашел настолько интересным, чтобы сообщить. Не с Австрией ли, или, быть может, с целой коалицией? Какого положения в этом случае ждут от Франции и Германии? — Война! Ведь это очень даже интересно, потому что исход ее может совсем преобразить наше отечество. Жаль, что так мало материала для моего воображения. Россия ли делает вызов, или Австрия хочет нас побить? Но если военное счастие окажется на стороне последней, еще вопрос, — выиграет ли она от этого. В позднейших войнах весьма часто пушечное поражение пробуждало страну и служило толчком к небывалому дотоле развитию ее внутренних сил. Побитые венгры в 48 г. приобрели автономию

и конституционные учреждения, а помогавшие их бить австр[ийские] славяне остались в дураках. Французы, разгромившие Севастополь, получили в вознаграждение новые стеснения и всякие прелести наполеоновщины; а русские — освобождение крестьян и лучший период своей литературы. Немцы взяли Эльзас и Лотарингию и потеряли добрую часть своей свободы; а пораженная Франция расцвела пышнее, чем когда-либо. Подобные шутки истории способны поставить в тупик самого искреннего патриота. Чего желать? Побить или самому быть побитым? — Война! Может, это одна газетная болтовня, а мне уж чудится грохот английских пушек в устьях Невы. Не метит ли Австрия на нашу Польшу, как Пруссия на Прибалтийский край? Я бы их даром отдал и еще б спасибо сказал. Без этих провинций упростилась бы задача нашего внутреннего устроения. Консерваторы лишились бы своего довода, имеющего с известной точки зрения некоторую основательность: необходимость status quo, по их мнению, обусловливается разноплеменностью империи, невозможностью примирить ее части в одном центральном представительстве; а федеративные попущения, хотя бы на манер Австрии, дадут, будто бы, им повод расползтись как можно дальше друг от друга. Если б хоть наша культура стояла выше польской или остзейской, могли бы, по крайней мере, рассчитывать со временем обрусить эти окраины, как немцы онемечили Силезию, а то ведь мы давим на них механически, — положение, из которого никаких положительных культурно-исторических результатов выйти не может. Наконец, поляки до сих пор хорошо помнят совет, данный им Руссо, и едва ли намерены его забыть: *если вы не в силах помешать России поглотить вас, по крайней мере постарайтесь, чтобы она никогда не смогла вас переварить.* Россия без этих провинций заставит чистосердечных консерваторов пораскинуть ленивым умом, а заслуженные станут еще громче вопить против Зем[ского] Соб[ора], потому что его требовали Нечаев и Желябов («Моск. Вед.»), указывать на пример франц[узских] генер[альных] штатов, будто бы вызвавших революцию и т. д. Они ведь охотно черпают примеры из Запада, когда нужно запугать кого следует, и лезут из кожи доказать несоответствие их для России, когда на них смиренно ссылаются либералы.

Война! Какой пестрый рой надежд и видов вьется около этого слова! Поставщики заранее смакуют поживу; офицерам снятся отличия; Эльпидину — «хорошая торговля» *Общ[им] Делом*; арестанты надеются на манифест; народ ждет земли; Драгоманов — читателей своим залежалым брошюрам; революционеры... Но я не знаю, на какие мысли наводит их перспектива войны? Быть может, совсем ни на какие. Заявляет ли о своем существовании «Исп. Ком.», выходит ли «Н. В.»? Вероятно, иностранные газеты дают об этом коекакие сведения. — Судя по твоему письму, в числе женевских интересов, Др[агоманов] попрежнему продолжает занимать видное место. Вполне понимаю твое негодование по поводу его инсинуации на загранич[ную] печать. А что касается до остальной части твоей выписки, то — почем знать? Может, он и имеет сведения из Питера. Прежние твои сообщения из «Воль[ного] Сл[ова]» показывают, что он может и не врать. Во всяком случае, впрочем, правды не может быть настолько, чтобы иметь право обобщать. В заметке о «бунтарях, разыгрывающих роль», сквозит слишком запоздалая отрыжка мелочной злости. Увы! Напрасно переяславская Сковорода мнит изобразить из себя русское сердце. Герцена перо вдохновлялось народным горем своей родины, а не контрами террасьерки и rue de Lausanne [1]) № 19. Добрая половина Др[агоманов]ской литературы вызвана на свет отношениями его к эмигрантам. Если бы кому взбрела охота проследить, когда они были приятельскими и когда стали враждебными, то по его описаниям очень легко было бы это сделать. Между тем как я не помню ни одной статьи Лаврова, на которой отразились бы некогда столь жаркие препирательства его компании с бакунинской или набатчиков.

Оч[ень] жалею, что ты охладеваешь к С[ергею]. Хотя я ничуть не разделяю его слабости к Д[рагомано]ву, но знаю, что у всякого есть своя загвоздка и свои интересы. Часто пленяешься некоторыми достоинствами человека и тогда перестаешь возмущаться его грубыми недостатками или даже совсем не замечаешь их. Наконец, он, как приятель Д[рагомано]ва, может глубже вникать или ближе знать побуждения того или другого его поведения, которое постороннему кажется не совсем благовидным. Передай все же-таки ему поклон мой.

[1]) «Террасьерка» — улица, на который был ресторан Madame Gressot, где собирались эмигранты, а на Rue de Lausanne — жил Драгоманов.

Летом ты писал мне, что француз[ские] социалисты начинают организовываться на немецкий манер. Я еще тогда сомнительно отнесся к этому, — и вот уже вторично оправдываешь мой скептицизм. Первый раз — известием о расколе в Сент-Этьене, второй — о Монсулемийской истории. Особенно не отрадна эта последняя. Не церковноборчество в ней возмутительно, ибо легко можно вообразить, до какой степени католическая bigoterie [ханжество], подуськиваемая разноцветными reverends pères [преподобные отцы], способна вывести из терпения лишением работы непочтительных к церкви. Неприятна эта террористическая оффенбаховщина, в которой французы находят вкус. Но еще более чудно, как наши соотечественники могут аплодировать этим менелайкам и калхасам, в особенности князь, не чуждый, кажется, знакомства с классическим бытом и его героями. Когда же, наконец, иностранцы убедятся, что русские не причем в этих фарсах?! Ведь по поводу смерти Гарфельда ясно поставлен вопрос [1]). Обязательно необходимо выбить это заблуждение из иностранных голов, о чем сподручнее всего позаботиться эмигрантам.

Молва об освобождении Чернышевского довольно правдоподобна, хотя я и не имел случая слышать ее подтверждения. Если правда, то он уж, вероятно, за границей: интересно, много ли от него осталось? Пожалуй, и писать разучился.

Как подвигается заграничная литература? Широк ли ее доступ в Россию?

29-го ноября

Дорогой мой брат! Уже было простился с тобою, а сегодня опять — здравствуй. Со вчерашнего дня пошел мне 30-й год. Только в тюрьме вспомнил день своего рождения; на воле всегда пропускал его незамеченным. Оглянулся на-

[1]) А Кроп[откин]ская агитация в Англии разве не велась в этом же смысле?

зад: о многом и многих пришлось пожалеть; а в итоге все-таки грешно было бы назвать мою судьбу несчастной, взяв во внимание время и обстоятельства. За одного тебя я у ней в неоплатном долгу. Что было неприятного в моей жизни — некого винить, кроме самого себя. Мне всегда предлагалось больше, чем я заслуживал как в личных, так и в других отношениях. За прошлое *судьбе* спасибо. Будет ли она так же снисходительна ко мне и впредь—покажет время. Здоровье мое хоть и плохо, но не настолько, чтобы приходить в отчаяние. Нужно мне только как можно дольше быть уверенным, что ты цел и невредим. На твою охоту сообразоваться с моим спокойствием надеюсь вполне, но, признаться тебе, не совсем полагаюсь на твое самолюбие, не как на специально твое, а вообще как на присущее всякому качество (да не введи его во искушение, господи!). Забыть — я не забуду, что «есть у меня брат-друг, который, куда бы его судьба ни забросила, всегда будет обо мне думать». Но я бы просил судьбу не забрасывать его далеко от Женевы. Еще прошу: не вздумай когда бы то ни было «почтить мою память» печатной биографией, что теперь, кажется, в моде и к чему я вообще отношусь вполне одобрительно, но желал бы для себя исключения. Не потому, чтобы я думал, что ты плохо ее напишешь и украсишь сентенциями в роде: «дурная работа,—говорил он,—только вредит делу, а потому мы не имеем права производить ее. Работайте хорошо или совсем не работайте». «Да, это была одна из тех личностей, погибель которой и т. д.». Обладай ты слогом самого Маколея, я все-таки остался бы при своем желании. Это не подвиг смирения или признание своего «ничтожества», ничуть, потому что даже биография Решетниковского Сысойки может быть интересной, если писать ее не с целью канонизации. Но в своем положении я неизбежно должен предполагать именно эти цели. А мне это ужасно не нравится.

Не подумай, что я невнимательно читаю твои письма, если не всегда отвечаю на все твои вопросы. Пеняй в таких случаях не на меня, а на мою неволю. Хотелось бы взглянуть, как ты живешь. Часто рисую картины твоей обстановки, но в них, наверное, уже много анахронизмов: полтора года скоро нашей разлуке. Сообщи, по крайней мере, произошла ли у тебя перемена к лучшему в материальном отношении.

Жалею и я, что нельзя тебе пристроиться к университету под собственными документами. Во всяком случае, не бросай его.

Твой ответ мне придет месяца через $1\frac{1}{2}$ после последнего твоего письма: вероятно, будешь иметь много нового рассказать мне. Питаю надежду, что еще успеем обменяться письмами раза два. Отцу передал твой адрес, но он, кажется, не писал тебе давно. Миша опять прислал письмо Олимпа: описывает свое путешествие в Сибирь, — обыкновенная история, хорошо известная по рассказам М[ишки], Д[ебог.]-М[окр.] и других. В сентябре 83 г. срок его ссылки, — ждет возвращения домой.

В моей жизни никаких перемен, — все то же.

Спасибо, Вера, за хлопоты о географии, которую жду получить со дня на день. Останусь доволен Евр[опейской] и Азиат[ской] Россией и Францией; последнюю не прочь бы поменять на Японию. Читая Kulturgeschichte, я заинтересовался этой страной, дерзко помышляющей сравниться с цивилизованной Европой. Но буду рад и тому, что удастся тебе добыть. Нет ли по-французски порядочного сочинения об аграрном движении в Ирландии?

Как здоровье Лизы? Думает ли она попрежнему возвращаться в Россию? Не советую. На всякий случай, если будет в Петербурге и познакомится с моей сестрой, я передам через сестру, можно ли рассчитывать на свидание или же нет. Будьте все здоровы. Ваш Д.

Как поживает Жорж, как гайдамачит М[ишка Дебогор.-Мокриевич]? Здравствует ли еще хозяин моей последней заграничной квартиры? Кланяюсь ему. Что Павел?

Тебе не нравится, что остается пустое место в письме. Я и сам этого не люблю. Но что делать? Плохо рассчитал время, — спешу отдать по начальству. Ты, может быть, уже не рассчитываешь получить от меня письмо? На этот раз я слишком долго не отвечал тебе. В другой раз поспешу с ответом. Пишу на Берн, не совсем доверяю Gressot; и разница в 7 часах. Целую тебя, дорогой.

Твой...

VI

18 декабря 1882 г.

Дорогой мой друг!

Маленькое твое письмецо мне передали в субботу (12-го). Того же дня получаю из дому, — тоже удивляются, почему не пишу, между тем сестра давно готова ехать и только мое молчание удерживало ее. Ты себе представить не можешь, какая досада взяла меня! Вот уж истинно божье наказание! Тебе я написал еще 29-го ноября по бернскому адресу; а домой также около этого числа с подробным об'яснением, как тут ориентироваться сестре. Но, очевидно, этого письма они не получили и в течение 1½ месяцев откладывали поездку в ожидании вестей от меня: «а то, быть может, умер», — говорит Миша. А я вовсе не думаю умирать и все ждал, ждал, не понимая, что бы значила такая медлительность? Теперь опять с тобою неудача: хотел было в субботу же ответить тебе, но рассчитал, что прежнее письмо может прийти к тебе 7, 8-го и успокоит твою тревогу, я же ожидал получить ответ 16, 17-го. Но вот сегодня 18-е, а письма нет. Начинаю уже раскаиваться, что не написал сейчас по получении твоего. Быть может, оно завалялось на почте, потому что оно послано, я знаю. Наведи справки в Берне. Ужасно жалею, что так случилось: даром беспокоишься, и меня мучает твое беспокойство.

Напрасно, друже, предположив, что наша переписка закрыта, ты не написал отцу. Впрочем, я не то хотел сказать, было бы «напрасно», если бы действительно наша переписка прекратилась. На будущее время знай: если уж нельзя будет писать тебе, я сообщу отцу, чтобы он поспешил известить тебя, *что* со мной. А это должно очень скоро случиться; суд в феврале. После суда едва-едва можно надеяться писать нам друг другу, а с весны наверное будет нельзя. Там уж прощай!

Тебе нечего бояться за мое здоровье, — я здоров. Что слаб стал, — это не важность. Иначе и быть не может: нет движения, мало воздуху. Насчет пищи у меня пока хорошо; нервы стали слишком чутки: сплю оч[ень] мало для тюрьмы. Малейший шум, шаги в коридоре — тотчас просыпаюсь, а прежде бывало часовой у самой постели вечно стучал своими каблуками, я спал. Мысль ли какая западет в голову, о тебе ли начну вспоминать, — так вся ночь и пробежит. Ты все мне советуешь крепиться, непременно даже следует, потому — что же мне больше делать? Я, ей богу, совершенно спокоен и *давно* примирился с тем, что есть и что будет. Если часом взгрустнется при воспоминании о былом, — от этого уж никуда не уйдешь: homo sum et nihil humanum mihi alienum [esse] puto [я человек, и ничто человеческое мне не чуждо]. Мне было бы хуже на твоем месте, — я счастлив, что так случилось, как случилось. Вдумайся хорошенько, тогда поверишь, что я говорю правду. А будущее... посмотрим, что оно скажет. «А чи пан, чи пропав, — двічі не вмірати». Во всяком случае, если даже и не увижу света, — ты будешь жить, ты должен жить... Но я, кажется, располагаю нагнать на тебя невеселое настроение. Это скверная слабость, но всякому, вероятно, прививается в моем положении. Мне это самому не нравится. Само собой понятно и без жалких слов чувствительно, что мы не увидимся больше (а, может, увидимся — шепчет кто-то в другое ухо).

Вот что, милый Женя: первые 2 книги получил и могу получить еще. При последнем письме я сделал список, каких мне хотелось; если ты его так-таки не получил, то пришли, какие сам уже приобрел. По получении от тебя письма, постараюсь тотчас ответить и возобновлю прежний список.

Сестер едет ко мне целых две: Надежда, собственно, на бестужевские курсы, а Вера для меня и о своем избавлении от полиц[ейского] надзора хлопотать хочет, «droit au travail» [права на труд] добивается.

Так как твой план о снабжении заключенных библиотекой наверное не выгорит, то ты пришли через отца немного денег: сестра купит мне кое-каких русских книг и лексиконы. Я их или с собой возьму, или в крепости останутся в дополнение к казенным. Кажется, я уже десять раз писал тебе об этом. Не сердись, голубчик: память стала плоха, — совсем тупею.

Сестры приедут сейчас после праздников, я их просил не терять святок ради меня, п[отому] что, Миша пишет, они хотят выехать немедленно после получения мое[го] письма, которое я послал 12-го.

Писал мне Олимп из Сибири; жалуется горько, что губернатор запретил ссыльным получать журналы. Это уж в настоящем смысле слова азиатская система наказания! Счастье его, что в сентябре — срок ссылки, если только не захотят ее продлить.

Я уже давно ничего не ведаю, что творится в человеческом мире. Правда ли, Миша сообщил, что война собирается быть? Ожидаю твоего письма, быть может, много нового расскажешь мне. Пиши обо всем, *что* у нас, *что* за границей.

С января, вероятно, выдадут обвинительный акт; следствие давно кончилось как-то совсем для меня незаметно, но заключения еще не читали, если только так полагается, — в Киеве, помнится, читали. Не знаю даже, как формулируют мои преступные деяния, хотя, конечно, нетрудно заранее угадывать, какие главные пункты обвинения. Остаюсь также в неведении, продолжают ли верить, что я был редактором «Н. В.» (существует ли она еще?). Я уверял, что не был, но других никаких доказательств не мог представить. Меня еще не успели приручить как следует, чтобы допустить на такой важный пост. В Питере я постоянно не в тон попадал, — не было хороших учителей, ибо даже сами здешние старики сбивались с панталыку. Думают: заграничное образование получил, — может и в самом деле по его будет умнее, и проштрафились. Зато и задали мне бучи из Москвы. Мне простили потому, дескать, новичок. Потом все время питерцы пеняли на меня, особенно один, по Одессе еще знакомый. Вы, говорит, нас соблазнили, с начальством поссорили. В Москве то же: и то не так, и это не так. Ну, а как же? — спрашиваю. Вы, говорят, сами отлично понимаете, только не хотите. Однажды я даже совсем рассердился, главным образом на Л.: не ожидал от него одной «тактики», как об'яснила М. Н. [1]). Стал я требовать, чтобы послали меня на Кавказ. Куда тебе! Не смей и думать, — *здесь* люди нужны. А ежели, я говорю, здесь люди нужны, зачем вы эту «тактику» употребляете и этим людей обескураживаете. Сошлите на Кавказ и баста. Ничего, перемололось как-то и помирились. Потом я, кажется, послушный стал. Впрочем, не знаю, пусть судят другие. Я это тебе рассказываю не как мои официальные данные против редакторства, а так, просто вспомнил историю. Мне не пришлось, друже, ввести тебя во все мелочи моих отношений к новым товарищам: все думал, что буду иметь возможность лично порассказать тебе о всякой всячине. Чувствую сам какую-то неловкость, что существует кусочек в моей жизни, оставшийся неизвестным тебе в подробностях.

[1]) Здесь Стеф. как раз упоминает о том случае, рассказанном мною в № 3-м, когда он прочел оставленное Тихомировым на столе письмо к Златопольскому, и что А. Корба самым беспардонным образом перепутала. *Л. Д.*

Пишу на этот раз и я не много, желая, во-первых, скорее послать и получить от тебя письмо, а во-вторых, чтобы с большей смелостью написать много в следующий раз. Хорош ли бернский адрес? Посылаю на Gressot, хоть и побаиваюсь, чтобы не залежалось там. Не забудь мне о себе написать, — так хочется знать, как живешь, какова твоя обстановка. За $1\frac{1}{2}$ года наверное произошло немало перемен. Как ты себя чувствуешь, здоровье как? Не имеешь ли вестей от Л[ьва] и других, — живы ли еще? Я и забыл поздравить тебя с Новым годом. Мои тебе пожелания ты знаешь, дорогой мой, заранее. Они те же, что я с первого моего тюремного письма выражал. Исполнятся они, буду и я спокоен. Обнимаю тебя, милый Женя мой, целую крепко и много. Буду жалеть, если ты встретил Новый год, не получив моего предыдущего письма. Кланяюсь всем и посылаю новогодний привет.

Книги присылай не все разом, но поскорее.

Будь здоров, дорогой брат. Твой...

VII

Петербург. 1883 г. [Январь]

«Grosse Simphatie» [немецких] соц.-демократов рус[ским] нигил[истам], выраженную устами Фольмара, оч[ень] приятно слышать. Положительно, эти немцы скорее доползут до соц[иальной] рев[олюции], чем мы добежим до конституции. Умная система — итти помаленьку половину пути, чтобы сохранить силы — в два-три прыжка довершить остальное. Мост

напоминает мне, знаешь, Ткачева. Он бьет в набат, между тем как его никто не хочет слушать; а когда действительно подымется тревога, он, наверное, станет приписывать ее действию своего трезвона. Не могу не порадоваться и тому, что Коста остался в парламенте, ибо чем бы он выделился от обыкновенных республиканцев, отказав королю в присяге, словно в этом главная суть тенденций его партии. Надеюсь, он похлопочет о законе, который дозволит Ане свободное проживание в Италии. Кропоткина поздравляю с новым повышением в чине популярности. Я не думаю, чтобы заключение было для него в тягость. Какое там заключение в Лионе? Кроме удовольствия быть торжественно оправданным или, в худшем случае, быть осужденным на два-три месяца всеобщего сочувствия и внимания — оно сразу даст ему положение во Франции, какого он не добился бы годовой агитацией. Правда, столь желанное единство франц[узских] соц[иалистических] партий едва ли много выиграет от этого. Воображаю, как торжествует... хочу сказать, как убивается Софья Григорьевна. Напомни ей в утешение, что два процесса сделали Наполеона III императором. Мне, признаться, с русской точки зрения, письмо Реклю не представляется таким великодушным. Разумеется, благородно, что и говорить, но я чувствую, что был бы также способен на такой подвиг. Постучался бы он в Петропавловку, если б его ami был там, а не в Лионе? Правду говорят, как встретишь новый год, так и продолжишь. Встретил я его плохо, а уж из твоего письма предвижу такое же продолжение. На Каре новые стеснения, и если я окажусь в числе отправляемых туда, значит попаду под суровый режим. Это, очевидно, следствие побега 8-ми несчастных, судьбы которых не пожелал бы я и недругу. Знавал я эту Кутитонскую в 75 г. или, вернее, видывал ее несколько раз. Дорого заплатила за свое сострадательное сердце. «Судьи читали в книге закона, но никто не взглянул в состояние духа обвиняемой». — Когда получу твой ответ, б[ыть] может, уже буду иметь в руках обвинительный акт. Действительно, процесс меня мало занимает. Приговор заранее предвижу (лет 20, думаю), а говорить ничего особенного не придется, ибо самое дело несложное. По Чигир[инскому] делу подтвердил прежние показания, даже не прочитав их; а принадлежность к «Н. В.» я сам признал еще при первом

допросе. Без этого «благородства» (или «*простоты*», как хочешь понимай) за мной бы собственно была одна лишь Чигиринщина, а то присоединение, да еще не единоличное, вменяется в особенную преступность. Речей произносить не стану: оправдываться мне не в чем, а все то, что мог бы сказать сенаторам в поучение, они сами прекрасно знают, и только нагнал бы на них зевоту, за каковое неудовольствие, пожалуй, еще набавят несколько лишних лет каторги. К тому же я и так разучился говорить, как умел. Я тебе не шутя говорю, слова даже многие позабывал. Голова скоро устает сосредоточиваться на одной мысли. Память плошает, думаю как-то нецельно, обрывками. Напрасно, Жорж, радуетесь: мне так же далеко до ученого, как вам до поэта. Сестру жду на-днях. Пошли, пожалуй, руб. 50, не более, но через отца. Так будет лучше. А то чего доброго получение ею от тебя денег может набросить на нее тень. Но больше не посылай, пока я не напишу (сам или через отца передам). Я хорошенько не добьюсь толку: в одном месте слыхал, что каторжники могут носить свое белье, в другом, что нет. Мне не белье важно, а фуфайки и что-нибудь теплое на ноги (от ревматизма).

Хранишь ли ты мои письма, друже? И все те, что я писал тебе с воли? Воображаю, как многие тогда завидовали тебе; им казалось, что ни письмо, то непременно что-нибудь преинтересное, между тем, как б[ольшая] часть из них состоит из нескольких строк. Кроме того материала, что переслан был за границу, намеревался я еще кое-что любопытное переслать, но М. Н. в особенности восстала против этого, — она почему-то воображала, что здесь бол[ее] безопасное хранилище для истории, чем за границей. Пренаивненькая барыня оказалась в иных случаях. Если ты затерял посланные мною 2 раскольницкие прокламации для курьеза, — оч[ень] жаль. Тоже историч[еский] материал в своем роде. Выканючил было я, наконец, донесения Клеточникова и отдал для переписки Булановой, но на этом занятии ее арестовали, а след[овательно] и рукопись (впрочем, она не была единственной). Что нового в загран[ичной] литературе? Чем заполняется «Воль[ное] Сл[ово]»? Отчего бы не написать обстоятельной истории русской закордонной литературы? Много ведь народу праздно болтается, а такой труд занял бы

не одного человека. Пока живы старые эмигранты, составление подобной книги облегчилось бы; при них больше гарантий избежать грубых ошибок и пробелов. Будь я свободен, об'явил бы премию за лучшее сочинение по этому предмету.

Книг я еще не получал, жду со дня на день.

Премного спасибо и тебе, Вера! Как идут твои литерат[урные] занятия? Жаль, что в списке не оказалось географии Евр[опейской] Рос[сии]. Но это, конечно, не важно. Нет ли чего хорошего по Ирландии? Как ты думаешь, могу ли я быть совершенно спокоен за моего Женьку?

Я не хочу прощаться с тобой, милый Женя, надеюсь еще хоть раз написать тебе. Я здоров вообще. Имею даже работу. О тебе думать стал чаще прежнего. С приближением рокового времени чувствую то же, что и при расставании с тобой в Лозанне. Придется реже узнавать друг о друге, больше томиться неизвестностью... Постарайся, друже, сделать так, чтобы тебе не было в тягость принимать во внимание мои заветные желания. Не откладывай ответа на это письмо. Перечитывай чаще все те, какие я писал тебе отсюда. Теперь будь здоров, спокоен и счастлив. Я много тебя целовал за эти дни. Целую еще и еще... Невыразимо любящий тебя твой Митя.

Лизе передай мои поклоны и поцелуи. Желаю ей непременно выздороветь и устроить свою судьбу наилучшим и наисчастливейшим образом. Сохраняю о ней самые хорошие воспоминания. Жоржу спасибо за Нибура. Мар[ии] Ап[олосовне] [Тургеневой] особенный поклон. Она всегда была ко мне внимательна. Что Иван? Все тем же бобылем? Павла и Надю целую и желаю выбиться, наконец, из нужды. Всем, одним словом, кланяюсь. Отчего ты утром пьешь чай, а не кофе (которого мне иногда так хочется)? Из письма этого ты видишь, как я рад твоим. Мне было весело писать тебя. Как здравствуют Александр и... [имя неразборчиво]. Переведена ли книжка Степняка на франц[узский] яз[ык]? Покопайся хорошенько в России, может окажется, что сообщить мне. Обнимаю тебя по-старому; Митя.

Я не привык, чтобы ты подписывался не тем именем, каким я тебя любил звать.

VIII

7-го февраля 83 г. С.-Петербург.

Я в таком восторге от твоего письма, что чувствую потребность в более сильных, в более выразительных эпитетах; они у меня на самом кончике языка, но не стану профанировать их казенной бумагой, тебе нетрудно самому отгадать их. Не помню, случалось ли прежде так затрудняться, с чего начать, как вот сейчас. Письмо твое произвело какую-то катавасию впечатлений; первые два дня чувствовалось даже утомление, что неизбежно в одиночном заключении после всякого сколько-нибудь выходящего из ряда впечатления. Хотя в настоящую минуту я нахожусь в *своем* нормальном состоянии, все-таки еще не успел ориентироваться в разнообразии сведений и выдвинутых этими сведениями ощущений [1]). Не удивляйся, поэтому, если буду беспорядочен в изложении своих мыслей. Прежде всего передо мной стоишь ты, как будто [многое] переживший, с тех пор как я тебя оставил, распустившийся, так сказать, всеми своими лепестками. В мыслях, в манере, в речи, во всем вижу здоровую, полную свежести, полную сил бодрость: ты недаром прожил эти $1^1/_2$ года за границей. Чрезвычайно доволен я, что монотонная твоя обстановка освежилась знакомством с обитателями другой планеты: они несомненно внесли некоторое разнообразие, несколько новый интерес в кружок людей, с которым сросся ты и к которому я продолжаю считать принадлежащим и себя. Я ведь не забыл, какое оживление вызывает в кругу эмигрантов приезд всякого человека из России: все интересуются им, ждут новостей, жаждут послушать домашнего производства теорий.

Месяца через $1^1/_2$ суд, а, следовательно, и конец нашей с тобою переписке... Но я боюсь впасть опять в неподходящий тон, а потому начну лучше рассуждать, напр., хоть

[1]) Такое сильное впечатление произвело на моего друга полученное им от меня письмо потому, что я, конечно, аллегорически, намеками сообщил в нем о приезде за границу «тетушки Сарры», т.-е. Ошаниной, «заики» (Тихомирова) и о начавшихся у нас с ними переговорах о слиянии и пр. (Подробно об этом см. «О сближении и разрыве», «Прол. Рев.» № 8, 1923 г.) *Л. Д.*

о Драгоманове. Нельзя отрицать всей жизненности значения за его политической пропагандой. Все у нас, за исключением разве одного только народа, все, в том числе даже «высшие сферы», сознают, какие чувствительные последствия создает задержка в разрешении вопроса более свободного политического существования. Да и народ, хоть и не понимает ни федерации, ни конституции по-европейски, все-таки не хуже нас с тобою чувствует всю тяжесть административного произвола. Возьми 15 миллионов раскольников,—от чего они терпели и до сих пор терпят? Я утверждаю, — от политических причин гораздо больше, чем от экономических... Даже известная часть консервативного лагеря ставит на очередь государственное представительство, — правда, не в смысле принудительной силы, а в смысле организации общественного мнения, как они выражаются (в роде как бы «Земская» дума?). В прошлое министерство мы, кажется, чуть-чуть не пришли к такой развязке. Но и эта весьма скромная (и в то же время очень ловкая) постановка дела заставила встать на дыбы клику «Моск. Вед.». Помнишь их громоносные и зловеще каркающие статьи? Нет, что ни говори, а Д[рагомано]в имеет за собой добрых 3/4 всея России. Я разумею, конечно, не его личность, а его политическую программу. Как ни далеко ему до Герцена (с чем он, вероятно, не согласен), — надо отдать честь его ловкости: как нельзя более во-время избрал он свою позицию. Все ждут, все надеются, все связывают желанные реформы с коронацией. Его позиция тем выгоднее, что при вынужденном общественном безмолвии, при жалком положении нашей прессы, чаяния выхода, несмотря на всю их напряженность, невольно носят неопределившуюся, часто смутную форму. А в настоящее время, когда вожжи печати затянуты сильнее, чем когда-нибудь, «Вольное Слово» [1]) приобретает значение учебника, одобренного министерством просвещения, между тем как все прочие из'яты из употребления. Что касается федерации, то, раз дело идет о России, я, грешный, тоже не понимаю иной для нее политической схемы. Надеюсь, что ты не лишишь меня за это своей дружбы. «Вольн. Слово» и сам Д[рагомано]в республику, разумеется, не считают злобою дня; это, я думаю, у него просто агитационный девиз, несомненно симпатичный некоторой части наших славянофилов. Да, конституционалисты уже начинают вытеснять нашего брата. Мы, социалисты, подобно своим предшественникам во Франции, усердно поработали в качестве ихнего авангарда, и этим, по-моему, нечего сокрушаться, иначе и быть не могло. Авангард, служа непосредственно чужому делу, в то же время закладывает фундамент и для будущей *собственной* обители. «Век тщедушный не вызрел для наших прекрасных идеалов; мы, граждане грядущих поколений» (Шиллер). Весь вопрос в том, чтобы заранее позаботиться о гражданстве, заручиться как можно большими правами на него. Вот тут-то «Нар. В.» и дала промах, и промах тем менее исправимый, чем упорнее она не захочет признать его. Вместо того, чтобы обеспечить за собой внимание общества (не будем требовательны, не будем говорить о народе) солидной постановкой литературного дела, вместо того, чтобы запастись этого рода оружием, которое при каких бы то ни было обстоятельствах не теряет своего значения (чего нельзя сказать о практических способах действий), «Н. В.» не только игнорировала, elle tenait tête à tout [она противилась всему], в чем ей чудилась передельщина или другое какое нарушение заповедей Исп. К-та. Весь гений ее в организации и на большее ее не хватит, если только она не поспешит снять с себя ветхого человека и не вольет в свои жилы крови из организмов другого вида. Ты сообщаешь, что старое разделение все еще существует. Вот опять, кому, как не литературе (конечно, не прокламационной) выяснить эти недоразумения или действительные несогласия, эту путаницу принципов с ближайшими практическими задачами, с формами организации и, вообще, путаницу во всем. Однако, я не могу относиться к народничеству скандачка: оно не с бухты-барахты взялось, а ведет, по-моему, начало с 40-х годов (партии: Белинского и Аксаковых). Оно строит свои положения вовсе не на зыбучих песках, — я говорю об интеллигентных его представителях. Если бы ты был более сведущ

[1]) Ежемесячный журнал, редактировавшийся Драг—ым сообща с некиим Мальчинским, в Женеве, будто бы как конституционный орган русских либеральных земцев, в действительности же оказавшийся предприятием черносотенцев, общ-ва «Священная Дружина». Этого, конечно, мой друг не знал и преувеличивал значение деятельности Драгоманова. *Л. Д.*

во всем, что входит в содержание русской жизни, то, не сделавшись, быть может, сам народником, наверно признал бы за ними право на существование. Я одного не понимаю, почему народничество противополагается марксизму? Будто его основное положение не такое, какое признано новейшей политической экономией? (у Киреевского и Достоевского, действительно, было другое). Мы ведь говорим о народничестве современном. Народничество состоит, как мне кажется, в приложении тех же марксистских начал к частному случаю, понимая под этим духовную и физическую физиономию данной страны, степень и особенности ее цивилизации, культуры и т. д. Марксист, как теоретик, а не член практически борющейся социал[истической] партии на Западе, не исключает народника, что, разумеется, в обратном случае, не всегда совпадает [1]).

Но довольно уже рассуждать. Прибавлю только пожелание не слишком забывать мудрое латинское изречение: duobus litigantibus tertius gaudet [2]).

Это изречение, впрочем, мне самому не бог весть как давно известно. Спасибо тебе, друже, у меня теперь довольно ясное представление, что делается во Франции, у вас, в Женевской русской республике, и у нас дома, в тесном смысле у *нас* и в широком. За исключением последнего (т. е. *России вообще*), ты все это так отчетливо, сжато и умно изобразил. Письмо твое написано свободно, с удовольствием, под хорошим настроением. Видно, тебе удалась которая-нибудь из твоих маленьких задач. Оно тем еще особенно дорого для меня, что ты, хоть и по рытвинам и чрез ухабы, все же вводишь меня немножко в свой внутренний и в свой внешний мир. Некоторые места, правда, могут понаваться и так и этак, но в этом есть свое удобство, смотря по настроению, буду видеть в них то, что мне в данную минуту хочется. Теперь я гораздо живее представляю себе всего тебя, твою жизнь, твои интересы, воображаю

---

[1]) Из всех этих рассуждений Стеф—ча ясно, насколько он был далек от марксизма, в чем его обвиняют А. Корба и Прибылев, утверждающие в своих на меня нападках, будто он в 81 г. уже в качестве марксиста «задался целью взорвать «Н. В.» изнутри». *Л. Д.*

[2]) Когда двое дерутся, третий радуется.

тебя таким, каким, на мое горе, мне не часто приходилось тебя видеть... И рад я, и жаль мне, что я не с тобою, Женя. Насчет зацепок, — охотно открещиваюсь от тех, что могли бы быть тебе в тягость. Но если бы это их свойство было устранено, я радовался бы знать, что они существуют. Величайшим моим желанием всегда будет одно: чтобы ты оставался жив и свободен. В пределах этого conditio sine qua non наши взгляды на счастье не могут расходиться. Не мещанское благополучие хотел я навязать тебе, — откуда бы у меня такие идеалы? — Я говорил о том счастьи, которое, отнюдь не уничтожая разумной и честной неудовлетворенности окружающим, вместе с тем привязывает к жизни, делает эту жизнь дорогой. Итак, ты отказываешь мне в зацепках; я, главным образом, ищу гарантий для conditio sine qua non, за остальное не опасаюсь, даже напротив, думаю, что для этого остального теперь более благоприятные обстоятельства, чем были прежде. А вот относительно sine qua non не перестану побаиваться. Надежда у меня на alte Liebe, которая, по уверению немцев, rastet nicht. Если время не оправдает этой пословицы, мне придется потерять уважение к одному из положительнейших народов в мире. Твое замечание о строгости моих характеристик — справедливо. Но если ты обратишься к своей памяти за справками касательно некоторых сторон характера твоего друга, то, полагаю, найдешь, что он не совсем лишен способности отдавать людям должное и, пожалуй, скорее грешит идеализацией, чем умалением их достоинств. Но при всем совершенстве, какое я усматриваю в человеке, мои глаза страдают пороком непременно подглядеть в нем смешные струйки, даже тогда, когда я люблю человека, даже тогда, когда этот человек — я сам. Если характеристики вышли односторонними, то... право не знаю, что сказать в оправдание — ну, потому что погода была дурная, или сам подбери об'яснение, раз не совсем твердо помнишь, где я. Насколько мне известно, я никогда «печально не глядел на наше поколенье», хотя и не отличался восторженностью Кати на этот счет [1]). И теперь продолжаю думать, что большинство из нас не более как светляки, которые потому только и светят,

---

[1]) Если забыть период хождения в народ [*Я. С.*].

что все вокруг окутано тьмою. «Взойдет солнце, рассеется мрак», и блестящие ночные видения окажутся простыми червячками. С удовольствием соглашусь с тобой, что такие люди, как Протяжный и Пава [1]), стоят выше большинства. Твои впечатления верны, хотя несколько преувеличены, что, естественно, об'ясняется разностью обстановок, при каких видишь ты их теперь, и видел я их в свое время. Меня чрезвычайно радует, что они, наконец, познакомились с тобой поближе. Я всегда желал, чтобы именно эти двое подышали свежим воздухом: Пава подтвердит тебе, как я постоянно гнал ее полечиться, посмотреть на иных людей, на цивилизованные края... Для них, с их способностями, заграничная жизнь, я уверен, окажется чрезвычайно благодетельной, и не только для них лично, — позволительно надеяться. Признаюсь и каюсь — завидую им, сильно завидую. Твой восторг, внушенный достоинствами Павы, я разделяю не вполне. Он, впрочем, дает мне пищу для приятного самолюбивого сознания, что я, б. м., теперь не был бы при тебе лишним. Я видел Паву в мастерской, а не на праздничной прогулке, дома, а не в гостях. Без сомнения, она большая умница и действительно, если хочешь, царица женщин своего типа. Выдержка, такт, сообразительность, инициативность (к сожалению, иногда излишне умеряется припадком лени) — все это в совершенстве. Но я заметил, что ее поклонники — как будто нарочно все подобраны под один сорт, а это свидетельствует, с одной стороны, об односторонности ее качеств, с другой, об узости критерия в уловлении человеков. Они оценивают личность по известным излюбленным чертам, а коль скоро таковых не оказывается, бракуют ее, как негодную. Конечно, в этом еще не органический порок. С ее талантами и при теперешней обстановке, умственный горизонт ее раздастся, критерий подвергнется необходимым исправлениям, а главное, восстановится ее здоровье, и тогда хотел бы я на нее посмотреть, очень хотел бы. Мы с ней частенько ссорились, но об этих ссорах я всегда буду жалеть; вообще же у нас были очень хорошие отношения, по крайней мере такое осталось у меня впечатление. Ты легко можешь его проверить. Я часто рассказывал ей о

[1]) Протяжный — Тихомиров. Пава — Ошанина. *Л. Д.*

тебе (ты, знаешь, — моя слабость), и она не раз говорила: «хотела бы я взглянуть на вашего Евгения». Я был бы благодарен и предоволен, если бы она рассказала тебе все, что касается моей личности. Она знает все мои плутни и повадки. Хотя она, помнится, сантиментов не долюбливает, я все-таки посылаю ей тысячи поцелуев.

Протяжный для своего ума не достаточно образован, но вообще его кругозор значительно шире, чем у Павы. Из-за границы он сумеет извлечь гораздо больше пользы, в этом помогут как его дарования, так и прочно установившееся, занимаемое им положение. Быть литератором и весьма недурным для эмигранта многое значит. Я думаю, Павел, при многочисленном своем семействе, не прочь бы променять свою ученость на обеспеченную материально позицию неученого Протяжного. У него, у Прот[яжного], есть также свои излюбленные коньки. Между прочим, помнишь, напр., его письма к С[ергею] и ко мне [1])? Он употребляет этот прием довольно часто. Я готов допустить, что иной, получив письма в таком genre'е, самодовольно потреплет себя по щеке и мысленно произнесет: «О! эта бестия, Протяжный, умная голова; как он прекрасно распознает людей», и постарается вылезть из кожи, чтобы оправдать высокое о себе мнение. Но я не такой сердцевед и не имею за собой столь продолжительного опыта, чтобы утверждать, насколько подобная ultra-манера может быть возводима в систему [2]). Нерешительность, которую ты в нем подметил, также не всегда настоящая. Он колеблется, взвешивает, перевешивает, а про себя уже решил—быть по сему, или не быть. Колебания в таком случае обозначают, что он не может быстро подыскивать аргументаций против твоего предложения. Часто бывало, он уже вот с тобой совсем согласен, а между тем в уме все ищет веского возражения. Тут-то Пава обыкновенно является к нему на выручку (она его превосходно знает, —

[1]) Вновь напоминаю, что Тихомиров после 1-го марта обратился к Кравчинскому и Стефановичу с приглашением вернуться в Россию для пополнения поредевшего «Исп. Ком.», при чем неимоверно льстил им. *Л. Д.*

[2]) Мне случайно стал известен случай такого послания к человеку, которого сам автор ставил чрезвычайно невысоко и даже подозревал в крайней неблагонадежности [*Я. С.*].

не сомневайся). Он, как будто склоненный силой непредвиденного им довода, склоняется на ее (т.-е. на свою) сторону. Но увы, аргументы оказываются не из непобедимых, и балансировка продолжается. Так тянется иногда несколько часов. Наконец, изобретательность Павы истощается и переходит в элементарное упорство, — верный признак, что твое поражение решено. Тогда он начинает зевать и устраняется от решения вопроса, сознаваясь, что определенного мнения не имеет. Это значит, складывай свои манатки и оставь всякую надежду, а если ты упорен, выжидай более благоприятных обстоятельств. Все эти сценки встают предо мной точно вчерашние. Я их вспоминаю с удовольствием и рассказал одну из них, так как ты любишь, чтобы я описывал тебе разные «эпизоды». Я очень уважаю Протяж[ного], но первое время мне с ним было тяжеловато. Он чересчур ревнив к своему авторитету и с неизвестным человеком держит себя настороже. Потом он скоро, кажется, убедился, что с моей стороны опасности угрожать никакой не может. Теперь тебе нетрудно заглянуть и в тот уголок моей жизни, который оставался для тебя неизвестным (впрочем, остается еще один — тюремный). Разговорятся же они, наконец. Насколько они окажутся хорошими проводниками по темному для тебя местечку, будет зависеть от того, насколько просторное пространство занимаю я в твоей памяти. Удивительно, что шпионобоязнь не оставляет Протяж[ного] и за границей: и тут ему не было оснований тревожиться особенно (словно им могли так уж интересоваться, таких *преступников*, как он, не оберешься), а там ему бы пора излечиться от своей болезненной осторожности, тем более, что она и к цели-то нисколько не ведет.

Отрадная новость — ослабление чрезмерных карийских строгостей. Я иногда стараюсь стать на чисто начальственную точку зрения и никак не могу в толк взять, на основании каких соображений, сделав людей абсолютно безвредными, необходимо подвергать их при этом душевным и физическим мучениям? Припоминается мне приказ имп[ератора] Павла против духоборцев, не признававших земных властей: «всех скованными употреблять в наитягчайшие работы, дабы сии духоборцы, отвергающие высшую власть на земле, пределом божиим постановленную, восчувствовали через сие, как следует, то, что суть на земли власти...». Но этот способ наглядного обучения навряд ли продолжает считаться рациональным и поныне, и я все-таки в недоумении. Напр., безмолвное одиночное заключение, еще об'яснимое в период следственного производства, чем может мотивироваться после суда? Только разве причинами, имевшими основание для какого-нибудь блаженной памяти герцога Моденского или другого крошечного государства, но не для первостепенной державы с 80 милл. населения. А между тем у общества нельзя отнять способности сострадать, сожалеть о горькой участи политич[еских] арестованных. Не думаю, чтобы было выгодно давать пищу такому чувству. На таких ведь чувствах основывается значительная доля силы революционных элементов. Право, у нас в верхушечных слоях очень плохо знают натуру рус[ского] человека. Мне кажется, нет нации, которую так легко ублажить простой гуманностью, как русская. Просмотри историю раскола и увидишь, что я не фразу говорю.

О суде до сих пор ничего нового нет: ожидаю обвин[ительного] акта в конце настоящего или в начале следующего месяца. Мне не пред'являли специального обвинения в редакторстве, вероятно, оно входит в общее обвинение в принадлежности к «Н. В.». Да этакие пустяки не интересуют Добржинского [1]). То когда дело было в руках Желиховского, они на это почему-то напирали. Суд не возбуждает никакого особенного интереса. Во-первых, большинство подсудимых мне незнакомо (да и остальные оч[ень] мало); во-вторых, из новых дел всего одно́ (динам[итная] мастерская); прочие все более или менее известны по прежним процессам. О подсудимых ты наверное больше слыхал, чем я. Вот посмотри, скольких человек я не знаю: 1. Лейтенант Буцевич (слышал, что умный и «так хорошо говорит»), 2. Калюжный, 3. Смирницкая (сама об'явила свою принадлежность, иначе едва ли попала бы в процесс), 4. Клименко (кажется, единственный по делу Стрельн[икова]), 5. Прибылевы муж и жена (хозяева динамитной, как я уже писал тебе), 6. Юшкова (дочь протоиерея, их кухарка), 7. Борейша (пожелал проникнуть

[1]) Тот самый тов[арищ] прок[урора], в которого влюбился покойный Гольденберг. Эту историю ты знаешь. Очень талантливый следователь.

в священный Алексеевский равелин — и вероятно проникнет). 8. Ивановская (невзирая на карточку, упорно настаивает, что она — не она), 9. Лисовская (по банков[скому] подкопу; попала, бедная, с вокзала прямо в засаду. Даже следователи удивляются, почему ее не известили, ибо квартира давно уже была накрыта). 10. Я (не приняло ли меня сербское правительство за соотечественника Стефановича, когда доставляло касающиеся меня документы, взятые им у Присецкого? Иначе, чем об'яснить такую услужливость по отношению к иноземцу?). 11. Забыл кто, никак я не ожидал такого маленького состава. Из числа до 200 арестованных за период московского погрома привлечены к суду 17 человек. Все старания Ольги [Любатович] попасть в процесс вместе с Николаем [Морозовым] не удались. В одиночном заключении она очень томилась и тосковала. Рассказывали в жан[дармском] уп[равлении], что она задумала голодать, лишь бы позволили заниматься шитьем. На третий день министр Игнатьев разрешил-таки дать ей иголку. За Романенко, правда, никаких преступлений, — все же по прежним временам не тем бы кончилось. В ссылке, б[ыть] м[ожет], еще доживет до амнистии; больной он и, кажется, совсем расстроен; воображает, напр., что его нарочно послали в квартиру Ольги, зная уже, что Ольга арестована. — Ты спрашиваешь, что я намерен сказать по поводу Чигир[инского] дела? Я еще об этом не думал, но, если окажется нужным и буду иметь охоту, скажу то, что и было: администрация предприняла систематическое присвоение крестьянских земель. Крестьяне стали искать защиты, начиная от губернатора до царя. Такая непокорность начальству подвергла их истязаниям и опустошению экзекуционных войск. Но эти меры не убедили крестьян в исторической миссии чиновников «собирать земли». Крестьяне продолжали выказывать пассивное сопротивление и только желали знать, по какому-такому закону и пр. Но на все получали один ответ: розги и указания на статью «sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas». Эта внутренняя политика происходила отчасти у меня на глазах. Я не родился английским лордом и не научен понимать государственное право в округлении дач и капиталов, хотя бы и российскими способами, каковы: сеченье до смерти, загон

крестьян в воду, разгромление солдатами жалкого их имущества и пр. При этом природа не лишила меня человеческих чувств и наделила меня несколько иными представлениями о справедливости, не совпадающими с представлениями о том же предмете администрации. У меня явилось желание помочь чигиринцам как-нибудь выбраться из беды. Все так называемые дозволенные средства были ими испробованы и в результате: вместо покровительственного внимания кого следует — одно усугубление неистовства местных норманнов. Оставался путь недозволенный — революц[ионный]. Но почему избрана та, а не другая его форма, потому что не я был волен в ее выборе, а политические суеверия народа, его темнота. Почему же было не направить усилия на то, чтобы рассеять эту темноту и т. д.? Не время было этим заниматься: люди были совершенно разорены и умирали с голоду не в гиперболическом, а в настоящем значении этого слова. Вот и все. Больше нечего говорить.

С сестрами виделся уже 4 раза. Напуганы ужасно: меньшая отказывается ходить ко мне одна: боится жандармов. Поэтому они бывают у меня не врозь, а вместе. Оч[ень] мало успели нарассказать, но из того, что успели, я диву даюсь, как далеко шагнул мой родной уезд по пути политического развития. Ложный донос или угроза «подвести под шибеницу» пускается в ход с размашистостью рус[ской] натуры: с целью наживы, чтобы насолить врагу соседу, предупредить гражданский иск, подставить ножку начальствующей духовной особе и т. д. Панки, кулаки и даже преподобное духовенство, все практикуют этот политический прием. Такие прекурьезные образчики доносов, такое оригинальное применение принципов добровольной охраны, что современному нравописателю нехватило бы юмора самого Гоголя. Даже становой и исправник подчас находят нужным сдерживать политич[еские] страсти вверенных им обывателей. Но навеселе сознаются, что донос наинадежнейшее средство поддерживать обществен[ное] спокойствие и порядок, а порождаемое им взаимное недоверие и всеобщая боязнь друг друга, конечно, воспитывают христианские добродетели, как-то: уступчивость, кротость, смирение и малоглаголание. Исправник опасается, что, не дай бог, конституция, полицейскому и судебному ведомству не будет ни минуты

покоя, пот[ому] что, по его мнению, прежде всего подымется страшное столпотворение расчетов между терпевшими и выигрывавшими от доносов. Моя семья, сравнительно с тем, какою я ее знал, превратилась в руину. Прежнее довольство сменилось бедностью, мирное веселье — горем и плачем. Отец, будучи 18 лет благочинным, конечно, успел нажить немало врагов в подчиненной ему среде. Еще я помню, как употреблялись всякие махинации, чтобы столкнуть его с этого места. Но как только духовенство уразумело настоящую силу полит[ического] доноса, тотчас же противная отцу партия добилась своей цели, и тот же архиерей, который до сих пор держался за отца обеими руками, теперь сменил его (с выражением, впрочем, сожаления). Такая же участь постигла и его помощника, которого архиерей, ссылая в угоду светской власти, в бесплодный уезд губернии, обещал вознаградить за несправедливость, с наступлением лучших времен. (И действительно, *теперь*, дал ему богатое село.) Потом опять с сестрами история: пошли они в гости к знакомому учителю город[ского] училища, остановившемуся в Дептовке на постоялом дворе за опозданием на поезд. После этого, казалось бы ничем не знаменательного случая, через некотор[ое] время, вдруг, обыск: сестер обвиняют в том, будто бы они были на заезжем дворе на свидании со *мной!* Разумеется, нетрудно было убедиться, что всему городу известный учитель и я — не одно и то же. Но донос своего-таки добился: Веру лишили учительского места и водворили в деревне считать кур, а Марию уволили из 6-го класса гимназии. (Только педагогический совет отвоевал ее, как первую ученицу,—ходатайствовал у попечителя.) С того времени старшая состоит под надзором. Замечательно, что при этом исправник убежден в полной ее благонамеренности и говорит, что «ежели бы от него зависело, то выдал бы ей золотой аттестат». А когда его просят выдать простое свидетельство о поведении, он открещивается, хнычет, что у него жена, дети, а вон, в Петербурге, всю полицию под суд отдают и пр. Все это было бы комично, если бы не было так грустно. Хозяйство расстроилось, отец хоть и не стар (52 г.), но вынесенные им пертурбации совершенно подкосили здоровье. Вера прежде получала 600 р. жалованья и помогала семье, теперь сама сидит на шее отца. Брат Миша, вполне

благонамеренный (даже уж слишком, судя по рассказам сестер), прикреплен к Варшаве, где и жизнь дорога и уроков ему найти нельзя, а из дому не могут высылать сколько нужно на прожитье. Но довольно о семейных невзгодах.

Книги все получил. Альбомами оч[ень] доволен. Часто любуюсь видами Кларана и Женевы: и приятно и больно глядеть на них. Лавров справедливо удивляется моей глупости. Да на всех тогда какое-то отупение напало (утешаю себя), знали, что полиция давно проверяет паспорта, а оставались торчать в Москве! Ты все продолжаешь верить, что мы не на веки расстались, и надеешься, что время нашего свидания, б[ыть] м[ожет], не так далеко, как мы думаем. Признаться тебе, когда читаю такие места твоих писем, и сам как будто заражаюсь твоей верой. Вот и отец «ожидает чуда с высоты престола», а сестры не сомневаются, что в мае должна быть амнистия, и, как ты думаешь, на каком основании? «Потому, что все в уезде говорят, что с коронацией будет об'явлена конституция и амнистия» (!!!). На мои советы не поддаваться этим иллюзиям, они ссылаются на такие авторитеты, как предводитель дворянства, мировой судья и благочинный. Действительно, чего же больше? Очевидно, однако, как даже в нашем уезде все напряженно ждут более мирных и более справедливых условий существования. Недаром нигилист притих: он не хочет служить «предлогом», буде этим готовится горькое разочарование. Что до меня, то преобладающее мое настроение крайне скептическое, по крайней мере, относительно близкого будущего. Вот и продолжающиеся аресты едва ли говорят в пользу «чуда». На-днях я подслушал разговор городового с извозчиком.

Гор.: Извозчик, а извозчик, с которой машины привез?

Извоз.: С московской.

Гор.: Что-то больно часто стали оттелева таскать.

Извоз. (флегматично): там, должно быть, на их урожай.

Перечитал я это письмо и вижу, вышло оно большое, а мало интересное. Но что меня досадует, так это то, что оно совсем не дает понятия о том удовлетворении, какое получил я от твоего: и сотой доли не высказал, что хотел бы сказать, а многое не так, как хочется. Последние дни ты ни на минуту не выходишь у меня из головы. Вчера сестра передает, что отец спрашивает ее в письме, не сошел ли

я еще с ума. Слава богу, — нет, и ни за что не желаю себе такого конца. Он обещал *непременно* писать тебе и передавать мне содержание или копии твоих писем. Получил я от него крест-медальон на память с его седыми волосами. Не пришлешь ради контраста с ними локон своих? За тебя я спокоен; правда, не без того, чтобы не находили минуты (вернее бы сказать — часы) тревог и тоскливой безнадежности быть когда-нибудь с тобой. Я хочу, чтобы ты помнил мое conditio sine qua non. Во всем прочем «буду брать действительность, как она есть». Думаю и я, что не последний раз пишу тебе. Постарайся напоследок дать моему воображению побольше материала о себе. Оставайся здоров и весел, дорогой мой. Протяжному не простится ни в той ни в будущей жизни, если он не воспользуется заграничным пребыванием и не напишет своих воспоминаний. То же и Паве. Беда только, что она ни за что не откажется от «деловой» точки зрения настоящего, даже, если бы составляла записки с условием распечатать их через 100 лет. Спроси их, не слыхали ли они, как поживают «братья». Сестры тебе кланяются. В семье смотрят на тебя, как на родного. Разумеется, это наша дружба родила такое отношение. Пишу на имя Gressot: ты говорил, что этим путем скорее получишь, значит и я скорее буду иметь ответ. Поклонись за меня всем. Сообщай о Франции. Шлю свое соболезнование m-me Кропоткиной. Приговор и меня огорчил. Что говорят и чего ждут на Западе от коронации? Целую еще и еще своего хранителя.

IX

1883 г. 8-го марта. С.-Прг.

Мой дорогой и милый брат.

В прошлую пятницу я получил, наконец, обвинительный акт. Председатель особого присутствия спросил при этом, кого я избираю защитником. — Я ответил: «право, не знаю, — мне все равно». — «Но вы должны избрать, или же я сам вам назначу». — «Могу назвать какое-нибудь имя, — ну, Спасовича, Утина»... (Эти две фамилии подвернулись мне на язык, потому что на-днях были у меня книги «В[естника] Ев[ропы]»,

в которых пришлось читать статьи этих адвокатов). — «Назвать не значит выбрать, — замечает мне председатель. — Вам нужно переговорить, узнать, согласен ли тот или другой взять вашу защиту». — При чем он об'явил мне недельный срок, по истечении которого суд назначит защитн[ика] от себя. Воротившись к себе, я сначала было решил предоставить эту заботу суду, но, прочитав обв[инительный] акт, раздумал. Но на ком остановиться? Ни Спас[овича], ни Утина и, вообще, никого из адвокатов я не знаю. Начинаю гадать: беру книгу «В[естника] Ев[ропы]» и решаю, на чьей статье книга раскроется, к тому первому и поручу сестре сходить. Раскрываю — Утин. Вот сестра и пошла вчера к нему, а не согласится, спросит Спасовича, а тогда уж пусть сам председатель выбирает. Обв[инительный] акт написан очень кратко и официально сухо. Увидав подпись под ним Желиховского, я сначала ожидал найти, на основании обв[инительного] акта по Большому процессу, много прокурорской поэзии, пикантных эпизодов вроде описания «драки на вилках Фишера с Каблицем», отношения полов и т. д. Но ничего такого, — все чинно и благопристойно. Первые 4 стр. заняты Чигир[инским] делом, затем — 2) покушения: Александровское, 19-го ноября, каменно-мостовское, 3) покушение на кражу Кишинев[ского] банка (впервые узнал, что там хозяином был наш Михайло с Татьяной) [Лебедевой], 4) «Злодеяние 1-го марта», 5) «Преступ[ная] деятельность сообщества после 1-го марта»: а) сближение террорист[ического] сообщества с деятелями народнич[еской] фракции. Здесь после первых четырех страниц опять я начинаю фигурировать. «Нар[одная] Воля», ослабленная многочисленн[ыми] арестами, — говорит акт, — принялась за органи[з]ационную] работу с целью пополнить свои ряды, в результате чего было вступление выдающихся деятелей народнич[еской] фракции в состав террор[истического] общества и образование «Кр[асного] Креста Н. В.». Затем рассказывается, что «Стефанович в последнее время пришел к убеждению, что существование народнич[еского] направления на почве практической деятельности стоит в зависимости от соглашения с организацией терр[ористического] общества, и вошел в его состав. Желая склонить к тому же и других своих сочленов, он с этой целью прибыл из Москвы в Петербург,

где виделся с Булановым и другими своими прежними единомышленниками, назвать которых не пожелал. Старания Стеф. остались не безуспешны: большинство Петербург[ских] чернопередельцев из'явили согласие примкнуть к партии «Н. В.», а примеру их последовали и народники, проживавшие в других городах. Вследствие сего, в течение зимы 81—82 г. личный состав террор[истического] сообщества продолжал пополняться вступающими в него чернопередельцами». Все это, будто бы (п[отому] ч[то] не совсем «*все*»), «подтверждается как содержанием отобранных у Стеф[ановича] писем (2-х последних твоих), так и доказанными его посещениями квартиры Буланова». «Осуществившееся так[им] обр[азом] слияние значит[ельного] числа народников с террористами усилило, без сомнения, последних, но, тем не менее, прилив еще неиспытанных членов не мог заменить потерю закаленных в борьбе; вследствие чего образовано б[ыло] общ[ество] «Кр[асного] Кр[еста]», которое могло бы служить орудием для освобождения наиболее полезных членов из ссылки и заключения». — Затем рассказывается устав «Кр. Кр.», взятый у Талалова. В подтверждение существования «К[расн.] К[реста]» ссылаются на твое письмо ко мне. «Я[ков] Стеф[анович] об'яснил, что, не принадлежа к организации «К[расн.] К[реста]», он вполне сочувствовал целям ее, а потому и принял участие в устройстве ее заграничного отдела». Из показаний Маковой [1]) удостоверяется, а) что организатором «Кр. Кр.» в России был Богданович; б) убийство Стрельникова: замешан один Клименко; в) динамитная мастерская, к которой имеют прямое или косвенное отношение 8 чел[овек] с Грачевским во главе; хотя, напр., Христина Гринберг и Буцевич только знакомы с устроителями. Впрочем, последний признал принадлежность к «Н. В.», так как считает себя обязанным в качестве рус[ского] офицера защищать интересы России и ее представителя императора до тех пор, пока эти интересы солидарны между собой, но раз они оказываются несовместимыми, то он, Буцевич, признает своим долгом стать на сторону народа; г) вспомогательная деятельность Калюжного и Смирницкой, содержателей паспортн[ого] бюро. Они отказываются от показаний, так что перечисляются только

[1]) Урож. Рещикова, ставшая провокаторшей. *Л. Д.*

найденные у них вещи, из коих многое, впрочем, Смирницкая порвала и пожгла, пока не выломали дверей. В конце, д) даются сведения о личностях обвиняемых, очень краткие: родился там-то, воспитывался там-то, замешан в таких-то делах. Больше всего доставили материала для обв[инительного] акта Меркулов и Борейша, выразившие раскаяние в своих заблуждениях. Обо мне рассказывается довольно обстоятельно, как я после 19-го ноября, вместе с Дейчем, уехал за границу, где, оставаясь верным тенденциям Ч[ерного] Пер[едела], поддерживал сношения со своими единомышленниками, которым оказал услугу напечатанием 2-х №№ Ч[ерного] П[ередела]; как, вернувшись в Россию, содействовал слиянию «Черного Пер.» с «Н. В.» «Кроме того Стеф[анович] посвятил свою деятельность изданию за границей журналов революцион[ного] содержания и вступил по этому вопросу в переписку с эмигрантами Лавровым, Плехановым и Дейчем. За означенное дело Стеф., по его словам, взялся с тем большей охотой, что так наз. серьезная револ[юционная] литература в последние годы была совершенно заброшена. По условию между обеими сторонами (эмигрантами и «Н. В.») издания не должны были носить партийного характера, что и давало возможность привлечь к этому делу таких известных эмигрантов, как Плеханов, Лавров, Засулич и другие, не разделяющих программы «Н. В.» По поводу моего якобы редакторства сказано лишь, что на доставленных полицией №№ «Н. В.» под припиской, которую я признал своею, значится «редактор» и «редакция»: «По словам Стеф., он подписался так единственно для того, чтобы требование, изложенное в приписках, представлялось более авторитетным». Затем перечисляются отобранные у меня бумаги; из писем только твои: последнее — о литератур[ных] предприятиях и маленькое, выражавшее тревогу, почему я не пишу. «От раз'яснения как зашифрованных мест (разобранных, как я слыхал) в письмах, так и вообще их содержания Стеф. уклонился и показал, что они, хотя и обращены к нему, но имеют и коллективное значение (там ты постоянно употреблял «вы», «ваши» и т. п.). — 449 печат[ных] воззваний «Христиан. Братства» и 314 — «Послания» того же «братства», в коих изложена самая организация сообщества, при чем задачею его ставится борьба с существующим прави-

тельств[ом], а конечною целью — ниспровержение этого порядка. «Но об этом сообществе дело еще не возбуждено, пот[ому] что, кроме Тверской истории [1]), ничего о нем не слышно. Я же, если бы и желал, никаких сведений о нем дать не был бы в состоянии; бумаги их были взяты у меня запечатанными, так [как] их просили меня свезти на несколько дней на хранение в одно место. Сколько мне известно, «Христ. Братство» не имеет никакого отношения к «Н. В.», и если его прокламации напечатаны в ее типографии (что почему-то выставлено в конце обложек), то это не более как услуга со стороны «Н. В.», которая этим, разумеется, хотела извлечь из самостоятельного общества свою пользу; но едва ли удалось, по крайней мере в мое время. Потом приводятся показания Гольденберга, что ты и я, «зная о готовившемся покушении 19-го ноября, возбуждали среди своих единомышленников вопрос о распространении в народе манифеста, призывающего крестьян отправлять своих ходоков к госуд[арю] им[ператору] с заявлениями о своих нуждах». На что Стеф. показал, что ему, как не состоявшему в организации «Н. В.» в 79 г., не могло быть известно о готовившемся посягательстве на цареубийство, но что, находясь в России и зная, что «Исп. Ком.» поставил своею целью совершение цареубийства, он, Стеф., в интересах Черноперед. партии, действительно возбуждал вопрос о манифесте, упоминаемом Гольд[енбергом]». — Вот тебе, друже, все, что до меня касается. Тебе, разумеется, интересно знать, как изображена в обв. акте моя преступность. О Чигир[инском] деле вначале сказано: «волнения 1877 г. не заходили далее единичных случаев сопротивления при люстрационных работах и разного рода ходатайств со стороны крестьян». Эта собственно фраза и навела меня на мысль выбрать самому защитника. В ней совершенное извращение истины, происшедшее, вероятно, не умышленно, вследствие незнания составителями обв. акта настоящего характера Чигирин. волнений до 77 г.; с другой стороны, этой фразой несправедливо оттеняется как бы моя деятельность. Поэтому я хотел бы добыть документы (по делу Чигиринцев,

[1]) То-есть ареста двух нелегальных рабочих, распространявших эти воззвания, но затем скрывшихся. *Л. Д.*

судившихся в [Киев. суд.] палате в 77 г.), за что, полагаю, с бо́льшей готовностью возьмется избранный защитник, чем назначенный. Хороши «единичные случаи», когда прибегали к экзекуции в 7 волостях и к полугодовому постою войск! Затем, думаю, не столько в видах ослабления своей преступности (ибо по закону наказуемость остается та же), сколько в интересах исторической истины заявить, что моя инициатива не была так велика, как я счел нужным изобразить в 77 г. при следствии, что крестьянскому элементу принадлежит вся идея дела, а мне лишь пособничество в ее выполнении. (Прядко [Хома, агитатор] с его «Царскими бумагами».) — Начнется суд недели через две. В день получения обв[инительного] акта, только что успел я его прочесть, как приносят твое письмо и подарки. Это было как нельзя более кстати. Еще доро́гой, когда меня везли обратно, я думал, «если бы пришло на этих днях письмо от Жени, я бы еще смог ему ответить, вероятно, в последний раз». Ты как раз угадал мои мысли. Нахлынувшие, было, разные соображения по поводу суда совсем отошли в сторону. Твои воспоминания унесли меня далеко назад и по времени и по месту. Как хорошо ты сделал, друже, что в этом, б[ыть] мож[ет], последнем письме много мне о себе рассказываешь. Я и сам легко представлял себе твое состояние и в Москве, первое время ареста, особенно этим тревожился. Да и потом, когда почему-нибудь, бывало, долго не приходит к тебе мое письмо, я испытывал такое же беспокойство, как если б то было со мною. Все-таки ты доставил мне большое, хоть и грустное, удовольствие рассказом из твоих воспоминаний. Знал я также, что, оставляя тебя за границей, не причиняю тебе этим ничего приятного, но никогда, разумеется, не пожалел, что поступил таким обр[азом], и до конца жизни буду благословлять тот день, когда отправил первое тюремное письмо. Жаль только, что впечатление, вынесенное мною из предыдущего твоего письма, не досталось на долю последнего: с таким впечатлением легче расставаться. А то вижу, что ты не так бодро и хорошо себя чувствуешь, как мне казалось. Не радуюсь я твоей изолированности от людей. Вот за 1½ года ты всего два раза выезжал из Женевы (в Париж и Цюрих). Я бы хотел, чтобы ты чаще разнообразил свою жизнь, обновлял

впечатления, больше видел людей, приобретал новые знакомства, приятельства... Такого друга, каким был я тебе, правда, едва ли найдешь, да и не нужно... А если нужно, то хоть и не таких, — все же друзей, *ты* всегда можешь найти: стоит только тебе вести более общительную, не такую изолированную жизнь. Утешаю себя мыслью, что ты не чувствуешь потребности собственно в друзьях, так как не можешь пожаловаться, чтобы их у тебя не было. — Хочешь ты, чтобы я рассказал свое состояние за период заключения по возможности хронологически. Чувствую, что не удастся мне это сделать. При мысли, что, весьма вероятно, пишу тебе в последний раз, и грусть находит, и тоска какая-то, и все такое нехорошее. Многое хотел бы сказать тебе, а между тем желанное не выливается на бумагу; досадно даже становится. Торопливость какая-то напала, точно завтра с миром прощаться. А тут еще часовой шагает по коридору, — так это раздражает. — Это у меня постоянная история. Иному говорю: «ты должен стоять у дверей, а не шататься по коридору». Послушается и стоит смирно; другой не обращает внимания, — изволь, — требуй офицера!.. Нервы стали поганые; а вообще здоровье мое довольно сносно. Ты совершенно напрасно предполагаешь противное. Напротив, катар гораздо меньше стал беспокоить, чем было раньше. Только вот слабость во всем организме, — больше ничего. Устаю очень скоро, — не более часу могу писать без перерыва; тоже и ходить по камере, — ноги ослабли совсем; знаешь, напр., как я большею частью читаю? Разом несколько книг, перебегаю от одной к другой, потому что одна и та же утомляет скоро. Но это все пустяки: ослабеть не значит быть больным. Вот месяца через три станут отправлять в Сибирь, — за дорогу оправлюсь; а на Каре, ты писал, теперь не так уже теснят, следовательно, можно думать, что и совсем [силы] восстановятся.

9-го марта [1883 г.]

Вчера были у меня сестры: оказалось, что [они] были несколько раз у Утина и у Спасовича и не заставали их дома. Нужно тебе знать, что сестры ужасно близко принимают к сердцу вопрос о защитнике. Как провинциалкам,

им кажется, что адвокат такая сила, что от него зависит чуть ли не оправдание подсудимого. Зная, что срок выбора оканчивается в четверг, они забили тревогу, — побежали к одному родственнику (служит в Сенате) за советом, как быть, к кому обратиться? Главное достоинство в адвокате они видят в красноречии, поэтому их расспросы сводились преимущественно к одному: «какой самый красноречивый адвокат?». Получив указание на Александрова и еще каких-то, в том числе Кедрина, они застают этого последнего и с ним покончивают дело. Кедрин расспросил, в чем меня обвиняют (я им подробно накануне рассказал об этом), и согласился. Сегодня я написал в суд, кого избираю своим защитником. Отдал я сестрам часть вещей своих, из коих некоторую мелочь просил переслать тебе на память. Одежду не решаюсь пока передать, — не знаю еще, не позволят ли с собой кое-что взять, вроде одеяла, подушки, белья. — Я очень рад приезду сестер, — с ними восстанавливаю семейные связи; они немало развлекали меня своими рассказами о пережитом семьей за 10-летний период, купили мне некоторые книги, купят еще, когда узнаю категорически, что смогу их с собой взять. Но сведений, выходящих за пределы Дептовки, много—уезда, я от них почти никаких не получал. Не умеют они читать газет, об иностранных делах ничего не понимают; сколько я ни заставлял внимательно прочитывать газеты, всегда один ответ: ничего нет; а когда поручил, наконец, рассказывать содержание статей, — все равно интересны они или нет, то им это было хуже гимназич[еских] уроков. Раз только, помню, из иностранной политики передали мне, что Греви играл на биллиарде с Гладстоном. То же и о внутренней — «ничего нет», — обыкновенный ответ. Конечно, в сущности, оно так и есть, так же, как верно и то, что читай я сам газеты, находил бы в них больше содержания, чем в состоянии извлекать его из них сестры. Показывал я им твои подарки: рисунок из волос и снимки видов Швейцарии. Где-то я читал, что одиночное заключение возвращает людей к детскому состоянию. Мне кажется, что это правда. Когда я увидал твои подарки (Гейне, волосы, рисунок), то, право, пришел в какой-то совсем ребячий восторг: возрадовался так, как будто тебя самого увидал. Ужасно странно было осязать твои волосы... очень

я доволен твоим локоном. Я боюсь только, что, если и дозволят здесь все это взять с собой, не отнимут ли у меня этих вещиц там, на Каре, местные власти. — Книги, что ты присылал, все переданы, кроме брошюры о Кибальчиче [1]) и Вериной итальянской. Прочел я пока из них всего трех авторов (Stern'a, Zeler'a и Duruy). В последнее время приносили «Вест. Евр.» за прежние годы. Но еще впереди, боже ты мой, сколько времени, — не хватило бы настоящей библиотеки его заполнить. Если осудят на 20 лет, то это, говорят, сведется лет на 7 — на 8 л. заключения. Я думаю, что можно будет получать книги от родных прямо туда. Ты об этом позаботься. Ни на какие амнистии не рассчитываю: мало ли чего говорят европейские журналы, мало ли чего ожидает наше общество, да не таковское [слово стерто, — как будто — веяние] в верхушечных слоях. Впрочем, что-нибудь для формы сделают по случаю коронации: напр., освобождение некоторых административно-ссыльных. Едва ли без ничего обойдется такое торжество, как коронация, с которой всякий русский привык связывать «манифест», т.-е. амнистию, вообще всякие облегчения. Это было бы чересчур уж не национально. Однажды, генер. Федоров задает мне вопрос, как я думаю: что могло бы ослабить острый характер движения? Я, разумеется, ничего нового не мог ответить: обострение, говорю, вызвано единственно репрессивной системой внутренней политики; отсюда ясно, где средства искоренения крамолы. — «Что же бы вы, напр., сделали?» — «Начал бы с того, что примирил умы широкой амнистией». — Желиховский, бывший при этом, в ужасе замахал руками и возопил: «Это всех вас повыпускать, так вы бог знает что натворите!». В восклицании Желиховского прекрасно высказалась господствующая у нас болезнь — крамолобоязнь. Кому, как не ему, не знать, что движение с 77 г. шло crescendo, по мере усугубления репрессивных мероприятий, да что об этом бобы разводить — «и погромче нас были витии, да не сделали пользы пером». Вспомни канун освобождения крестьян: тогда тоже свирепствовала болезнь новой пугачевщины. Чтобы провести реформу, царю надо было

[1]) Это — напечатанные в Женеве в изд. Загр. Кр. Кр. мои воспоминания о последнем. *Л. Д.*

призвать к делу трех человек, почти безызвестных, не состоявших в правящей среде и не зараженных господствовавшей болезнью... Потом опять как-то мне говорят, — вот польских террористов (63 г.) как ни ублажали, а они все не унимались. Действительно, поляков (до 63 г.) ублажали; но там совсем террор имел другое происхождение. Террористам во что бы то ни стало нужно было задержать реформы, поссорить белых с правительством и довести дело до революции. У нас совсем наоборот. За неимением других путей, террористы думают добиться реформ, а не устранить их, надеются понудить этим правительство к более сносному отношению к партии. Достаточно сравнить побуждения всех террористических фактов в Польше и в России. Из-за чего выстрел в Трепова, убийство Мезенцева, Кропоткина [1]), Стрельникова? Замечательно, что в большинстве этих убийств причиной являлось жестокое обращение с заключенными. Уж чего, кажется, легче ослабить действие этой причины, между тем из твоего письма видно, что одесские порядки вынуждают арестованных к голодовке; раньше такие же порядки вызывают покушение Кутитонской, убийство тюремного надзирателя Легким... Нет, уж, должно быть, русским предопределено свыше опередить по части революционных заговоров классические в этом отношении народности.

Мне до такой степени не хочется верить, что пишу тебе в последний раз, что я совсем не настроен на прощальный лад. Вчера чувствовалось как-то рельефнее, что я расстаюсь с тобой, сегодня же никак не могу проникнуться этим сознанием. Я не верю в возможность близкой встречи с тобою, но и не считаю ее абсолютно немыслимой; положение вещей такое, что всегда можно ожидать перемен в правительственной политике, тем более на первых порах молодого царствования, когда та или другая система не приобрела еще прочности рутины. Но никакого поворота в благоприятном для страны смысле к маю месяцу я не приурочиваю: были бы какие-нибудь признаки, а то если и есть они, то совсем не говорящие в пользу подобного поворота. Не на *май* я надеюсь, а думаю, вообще, что в пределах последнего десяти-

[1]) Харьковского губернатора. *Л. Д.*

летия так или иначе выберемся на новую дорогу. Поэтому вопрос для меня сводится на здоровье, или иначе — на условия каторжной жизни. Если узнаешь, что я на Каре, будь спокоен: совместность с другими, движение, вести от тебя через посредство отца, книги, — как-нибудь протянешь несколько лет. А там, может, и свидимся... Не обойдешься без надежды, никак не обойдешься. Надежда оставляет только мрачную апатию, но раз это состояние становится преобладающим, тогда уже нельзя считать человека живым; живет один механизм, а собственно человек отыде в вечность. — Как бы долго ни пришлось быть отчужденным от мира, тебя я не забуду, — совсем для меня это немыслимо и по натуре и по обстановке. А тревожиться буду, без этого тоже невозможно. Я не раз высказывал свои желания насчет тебя: прошу и даже требую, чтобы ты их принимал во внимание; некоторого насилия над собой я в праве от тебя требовать, а коли эти желания окажутся в прямом противоречии с твоим счастьем (мы уже уговорились, как его понимать), ну, тогда уж мои права кончаются. Я боюсь только, чтобы ты, друже, под влиянием суб'ективного состояния не ошибся в таком моменте. Пример для меня — твое настроение после известия о моем аресте. Поэтому, прошу тебя не решать самому того или другого шага, а непременно поделиться своим настроением, своими намерениями с наиболее близкими тебе людьми. Горе мое (да и твое, Женя), что эти близкие люди страдают дурной манерой — считать *всякое* нравственное насилие безнравственным. С такой крайне нехорошей, прямо не социальной чертой, они, обыкновенно, не желают сдерживать человека, быть может, поступающего известным образом лишь под действием временного настроения [1]). «В таком состоянии ничего другого не остается». Право, это не только не по-дружески, а даже бесчеловечно (они, бедные, в своей мании воображают, что совсем «напротив того»). Я признаю, что известное насилие между близкими людьми обязательно, оно узаконено самой природою близких отношений, а вовсе не каким-нибудь кодексом. Ты, вероятно, заметишь, что от этого правила в своей жизни я не слишком-то страдал. Положим,

[1]) В этом отношении мой друг очень ошибался: Кравчинский, как видно из его ко мне письма, Плеханов и др., наоборот, старались отклонить мое намерение вернуться в Россию. *Л. Д.*

так, но только не от нежелания ему следовать; я не могу себе представить *важного* обстоятельства, в котором я не поступил бы по твоему требованию. Если в действительности не было подобного примера (насколько помню), то единственно потому, что ты или не находил случая, или не хотел применить на деле свое право. Скорее, думаю, первое, чем последнее. Говорят, слово, исходящее от заключенного имеет бо́льший вес и значение, чем его, б[ыть] м[ожет], умные речи на воле. Если так, то будет кстати прочесть эти строки, напр., Вере. Вот что, дорогой. Ты писал, что отложил для меня некую сумму денег: 100 руб. давно получены и пошли частью на поездку сестры, на житье, нет, впрочем, на житье, кажется, ничего почти не пошло, — она такая упрямая, что я отчаялся упросить ее не стеснять себя: а вот Олимпу послано 10 руб. и выписан туда (в Тюкалинск) «Вестн. Европы», затем на лексиконы и др. книги (Некрасов, В. В. и др.); раз узнаю, что не возбраняется брать с собой, сколько пожелаю, то сестра купит еще. Но, наверное, придется отправлять на свой счет. Поэтому ты пришли через отца 100 руб., вероятно, можно будет в дороге иметь при себе на пищу и пр. Потом есть у меня долг рублей в 60—70 (на материнский памятник), поручаю тебе уплатить его, не определяя срока, — когда будут или по частям. Если нам не суждено больше увидеться — всего надо ждать — и тебе посчастливится свободно вернуться в Россию, ты непременно побывай в Дептовке и вообще располагайся там, как у себя дома, в качестве старшего брата. — Сегодня получил от Олимпа письмо и карточку. Здоровенный бородатый парень, выглядит старее меня и вдруг отпаливает мне такую фразу: «ты пишешь, что прежде чем взяться за перо нужно поработать, многое перечитать, но литература моя такого рода, что особенной научной подготовки не требует (гимназисту 5-го класса!). Для беллетристики, в данном случае, касающейся по крайней мере только лично меня, достаточно моих жизненных опытов и наблюдений». Невольно припоминаются стишки Шиллера: «Только лишь старость юна, юность же, ах, как стара». Или вот сестра Мария, — ученица 8-го класса гимназии, у нее, впрочем, желания несколько другого рода: ни за что не хочет ограничиться гимназич[еским] образованием и в народн[ые] учительницы

поступать не намерена. Непременно — или на медицинские, или на бестужевск. курсы. «Может быть, — пишет, — с моей стороны слишком эгоистично так много заботиться о своей личности, но что же мне делать, когда эта головная пустота мне слишком тяжела». Или опять самая меньшая Люба, 9 лет, ни слова по-русски говорить не умеет, но отец жалуется, что уже либеральничает, читает Гоголя и критикует его таким образом: «Дурный сей Гоголь, усе описуе таких, що ничего не роблять, тильки идять». Вообще в нашей семье женская половина обнаруживает больше склонностей и способностей к науке, чем мужская. Мы, братья, больше насчет искусств: Миша по части танцев, Олимп — поэзии, Павло — музыки, я... но ты лучше знаешь мои наклонности.

10-го марта

Все эти дни мои мысли сосредоточивались на тебе, мой милый Женя. О суде как-то не думается, да и нечего думать. Ты, мне кажется, сможешь еще ответить мне; твое письмо застанет меня уже осужденным, но, надеюсь, что его передадут, все-таки. Я же, если окажется возможным, постараюсь хоть раз еще написать, быть может, эта возможность найдется между приговором и конфирмацией, но очень мало надежды. Хотел бы я переслать тебе карточку свою последнюю, так как после суда снимают обыкновенно, увидел бы, насколько я изменился, — но тоже едва ли позволят. Примирись, Женек, заранее, что больше от меня писем получать не придется, чтобы тебе не тревожиться напрасно долгим ожиданием. Если прямо тебе нельзя будет написать (в чем я *почти* не сомневаюсь), то напишу отцу и скажу ему, чтобы известил тебя обо мне. А ты не стесняйся писать отцу — ему от этого неприятностей никаких не было, да и с какой стати. Что сказать тебе на прощанье. Прочти еще раз тюремные письма, в них выражены все мои важнейшие желания на твой счет. Прощай же, дорогой мой Женек, а может быть, до свидания, только не скорого. Передо мной твоя карточка, целую ее так, как всегда я тебя целовал. Помни, милый братик, что мне от тебя нужно: твоя свобода, здоровье и, по возможности, полная жизнь. Поцелуй за меня крепко Веру, у меня

есть от нее подарки—книги, Лизу поцелуй—нехай живет. Спасибо вам за все доброе, а дурного от вас ничего не было; с моей же стороны, если и было что, то в таком положении, в каком я нахожусь, дурное наверно уже изгладилось из вашей памяти. Всем близким товарищам шлю прощальный поцелуй. Одного уже, быть может, не достает. Ты сообщаешь, что Александр умирает. Так умирать, и только что достигши всего желанного... нет, уж гораздо лучше в тюрьме. Если он умер, передай предназначавшийся ему поцелуй его жене. — Я в этом письме не развожу никаких политических рассуждений и не отвечаю на твои замечания по поводу федерализма и прочего. Настроение не такое, к тому же в письме о подобных вещах трудно избежать неясности, отчего мы иногда друг друга как будто не понимаем. Вот хоть бы насчет светляков. Прибегая к этому сравнению, я не думал ни о славе, ни о стыде (последнее, конечно, было бы несправедливо). Все это, впрочем, пустяки; у нас ли с тобой могут быть существенные, даже теоретические, разногласия? Книги уже едва ли придется получить от тебя. Если уже достал те, что поименованы в последнем списке, то, пожалуй, вышли: пока здесь буду, можно надеяться, что их передадут. Жорж обижается, что экономии не требую? Нет, я требовал, но их вычеркнули. Там в последнем списке было что-то, помнится, и о легком чтении. Ты даже не можешь представить себе, чем были для меня твои письма. А чем ты был для меня в жизни, ты сам очень хорошо знаешь. Будь здоров, гони грусть, старайся развлекаться. Мне гораздо веселее и спокойнее, когда воображаю тебя веселым, бодрым, общительным с людьми.

Если при письме окажется листочек с наименованием книг, значит их можно прислать, и я их получу. Целую тебя, твой...

Л. ДЕЙЧ

ПИСЬМО К И. Н. ПРИСЕЦКОМУ

Отдел Революции Киевского Центрального Исторического Архива прислал мне при записке от 19/I 1925 г. копию отправленного мною из Швейцарии в Белград Ив. Ник. Присецкому письма, которое отобрано было при обыске у какого-то студента и хранилось в Киев. губерн. жанд. управлении с 1883 года. За эту присылку приношу мою искреннюю благодарность тов. Зав. Отд. Революции. Это письмо мое в некоторых отношениях очень характерно; к тому же, оно может служить наглядным опровержением клеветы, взведенной Тютчевым и другими, утверждавшими, будто бы Стефанович и я задались целью «взорвать «Нар. Волю» изнутри»: лица, преследующие такую цель, не пишут аналогичного тому от Стефановича ко мне письма, из которого я ниже привожу большую выдержку в своем — к Присецкому. Затем считаю нелишним сообщить здесь кое-что о последнем.

Ив. Ник. Присецкий, единственный сын очень богатого помещика Полтавской губ., по окончании военно-инженерного училища в Петербурге, в конце 70-х годов, примкнул к революционному движению, в котором уже принимали участие его сестры — Софья, вышедшая замуж за д-ра Богомольца и затем осужденная, по южно-русск. раб. союзу, на каторгу, и Мария, по тому же делу отправленная в Сибирь на житье. Прис—ий особенно активного участия не принимал: в течение некоторого времени он только присматривался, знакомился по литературе и из непосредственных разговоров с задачами, которые преследовали те или другие партии, фракции и группы. С этой же целью, если не ошибаюсь, в конце 1881 года, он легально, с заграничным паспортом, приехал в Швейцарию, где мы с ним и познакомились.

Он производил очень благоприятное впечатление — серьезного, вдумчивого, искреннего и довольно начитанного молодого человека, готового целиком, с головой уйти в революцию, раз только уверовал бы в ее возможность, но последнего-то, т.-е. глубокой веры, у него не было: его,

повидимому, грыз червь сомнения, — «скепсиса», как говорили в старину.

Менее всего верил он в возможность, даже в более или менее отдаленном будущем, осуществить социализм, о котором, несмотря на изучение его за границей по первоисточникам, он имел очень смутное представление. В действительности его симпатии были на стороне конституционных вожделений, что он и изложил в своей, обратившей на себя внимание, статье в женевском либеральном органе «Вольное Слово», редактировавшемся проф. Драгомановым, но издававшемся, как впоследствии обнаружилось, черносотенным об-вом «Добровольная Охрана». В этой статье Присецкий предлагал сложить на время социалистическое знамя, на что в том же органе возразил ему П. Б. Аксельрод.

Неудивительно, поэтому, что Присецкий до некоторой степени сочувствовал народовольцам, тогда прогремевшим на весь свет благодаря, наконец, удавшемуся убийству царя. Этим, понятно, об'ясняется его готовность поддерживать их материально, хотя не особенно щедро, так как не меньшую симпатию он, как украинец, питал к Драгоманову. Подобно Дебогорию-Мокриевичу [1] и другим украинцам, Присецкий также поддался влиянию тогдашнего редактора «Вольного Слова», почему по возвращении в Россию, он вместе с Вл. Малеванным стремился создать смешанную группу, которая должна была явиться соединением народовольчества с украинофильством. Но, вследствие принятых киевскими жандармами мер, эта эклектическая группа просуществовала самое короткое время, не успев, насколько помню, ничем себя проявить: арестованные Присецкий и Малеванный пошли административно, в одной со мной партии, в Восточную Сибирь. Проведя с ними перед отправкой в Московской Центральной Перес. Тюрьме всю зиму, а затем много месяцев в пути, я получил полную возможность довольно близко узнать обоих, в особенности — Присецкого. Должен сказать, что обнаруженными им чертами мелочного самолюбия, эгоизма и барства он произвел неблагоприятное впечатление.

О дальнейшей его судьбе знаю из вторых рук. Вернувшись на родину по окончании ссылки и вскоре затем став обладателем обширного, доставшегося ему по наследству, имения, он зажил на широкую ногу, считался либералом, был, кажется, в добрососедских отношениях с Вл. Гал. Короленко и попал в депутаты первой государственной думы от кадетов. Умер Присецкий, помнится, в начале войны.

Л. Д.

---

[1]) См. ниже мою заметку по поводу его писем к В. И. Засулич.

[Февр. 1882 г.]

Дорогой товарищ! Вы, я уверен, вполне вошли в мое положение, вполне поэтому извиняете меня, почему я до сих пор не отвечал подробно на ваше письмо: тяжелая потеря моего единственного друга (Стефановича) меня совсем расстроила, лишила желания вдаваться в частные просьбы, сосредоточиваться на них; я теперь еще далеко не пришел в себя, не свыкся с мыслью об этой ужасной для меня потере. Но чувствую, что нужно вам отвечать подробно, да и сам хочу это сделать поскорей, так как вопросы, которые вы задаете в предпоследнем письме (от 11-го февраля), должны вас сильно занимать, и вы, б. м., на них строите свои соображения, планы. Поэтому, отчасти, да, откровенно говоря, еще и потому, что мне не хотелось бы прерывать с вами переписки, я берусь за перо с тем, чтобы написать вам подробно, хотя вы и сами, конечно, себе представляете, что от меня требует теперь больших усилий такое письмо.

Вы спрашиваете: «как велики силы Исп. Ком. количественно и качественно, и можно ли рассчитывать не на словах, но на деле на какое-нибудь серьезное дело?». Вы заранее, конечно, знаете, что я могу вам ответить на эти вопросы лишь на основании писем брата [1]) ко мне, что я и сделаю ниже, не руководствуясь вовсе тем, как вы пишете, «насколько, конечно, это возможно, не погрешив против высших политических соображений»! Нет, я не буду руководствоваться этими соображениями, а приведу вам слово в слово то из его писем, что может послужить ответом на ваши вопросы.

«Из стариков осталось человек около 10, а то все молодой люд. Талантов между ними нет, но организационная выработка есть, что много значит. В каждом мельчайшем деле это качество необходимо. Литературных сил также мало. Из присоединившихся передельцев лишь два годных к этому делу. Народ все хороший, ценный, и все такое, и я со всеми хорош»...

«Другой, новой организации никакие силы теперь в России создать не могут. Поэтому я мирюсь с существующими недостатками старых, уже окрепших основ, лишь бы организация, ее теперешняя крепость и единство не были нарушены, что было бы очень вредно для революционного движения в России... Деньги кое-какие есть, но это кое-что, хотя само по себе и значительно, пустяки, сравнительно с потребностями. Ход дел нельзя назвать удовлетворительным, потому что при той широте задач и при том количестве их даже теперь, удовлетворительность положения может быть достигнута лишь при крупной сумме в нашей кассе. Если взять наличный контингент, не принимая в расчет нового притока сил, то и тогда с крупными деньгами положительно можно сделать поворот в истории нашего отечества. Отсюда получится вывод, мало научный, но несомненно верный: человек, предоставляющий партии каких-нибудь триста — четыреста тысяч, являстя фактически вершителем судьбы целого государства. Поэтому меня подчас берет злость на очень денежных радикалов здесь, которые могут, но не хотят отдать все свои деньги партии, и я их за это иногда ненавижу более, чем само правительство».... [1])

«Со всех сторон обращаются к Исп. Комит. с предложениями, просьбами дать указания, с требованиями помочь в том или другом деле. Сила партии не в ее количестве и не в личном ее составе, а в том выгодном положении, которое сделала она себе и дало ей общее положение дел в России. При глупости русского правительства, индиферентизме других слоев и (возбужденном) состоянии массы, партия может действительно сделать поворот в русской общественной жизни, будь только очень крупные деньги». — Таким образом, как видите, Иван Николаевич, я не руководствовался «высшими политическими соображениями», а откровенно поделился с вами теми сведениями, которые сообщил мне Дмитро, конечно, в переписке со мной также не руководствующийся этими соображениями...

---

[1]) Так в письмах мы все называли Стефановича.

[1]) Этими точками я обозначил приведенную им фамилию нашего общего знакомого, далеко не располагавшего огромными средствами, а всего лишь несколькими десятками тысяч, из которых все же понемногу жертвовал. Сберегаемые про черные дни и на старость деньги его находились в банке; после Октябрьского переворота он их лишился.

Л. Д.

Теперь перейду к другому обстоятельству, а именно к вашему сообщению относительно ваших семейных дел. Вы сообщаете, что в данное время не можете потребовать от отца, чтоб он выделил вас, без риска не получить своей части вследствие доносов родичей. Я вполне понимаю это положение и, как ни нахожу его печальным, не советую вам приступать к этому, не придумав какого-нибудь фортеля, как бы правительство не конфисковало вашего состояния или не наложило на него опеки. Не думаю, чтоб ваше намерение с'ездить домой осенью было хорошей гарантией против родичей и конфискации. Так, вы вероятно уже знаете, что на состояние родных Большой Лизы [1]) наложили опеку, и теперь отец ее получает месячное... То же могут сделать и с вашим состоянием, и вместо революции оно достанется врагам ее. Подумайте, товарищ, серьезно на этот счет. Не допустите, чтобы лишили наше общее дело тех средств, на которые мы все уже в праве рассчитывать. Потерю для революции средств Б. Лизы мы исключительно приписываем глупости и пошлости возлюбленного ее. За это одно мы в праве их обоих ненавидеть, не простить им никогда этой потери, раз мы действительно любим дело и серьезно ему преданы. Насколько я вас знаю, вы не сделаете оплошности по отношению к своим средствам. Но семейные обстоятельства ваши и теперешние приемы правительства требуют не одного только неделания глупостей, а еще заставляют напрячь все мозги, чтобы как-нибудь обойти все препятствия, извернуться из них. Я не знаю всех ваших условий, но a priori не думаю, чтобы нельзя было чего-нибудь придумать, чтобы освобождение ваших средств от участи Лизиных было труднее, чем, например, изобретение способа взорвать Алек[сандра] II после неудавшихся попыток. Невозможного, конечно, тут нет ничего: нужно лишь напрячь все мысли на этот пункт, употребить все усилия, и я уверен, что вы это сделаете, вы должны это сделать! — Относительно вашего предположения, что вы можете без риска получать время от времени небольшими суммами, я скажу, что сомневаюсь в этом, т.-е. думаю, что после еще двух получек в 500 и 1000 рублей вашего отца могут обязать подпиской не высылать вам более. Обсудите, чтобы из-за маленьких лепт вы не потеряли крупного куша...

[1]) Елизавета Петровна Дурново, дочь очень богатого московского помещика, ярая народница, эмигрировала за границу, где сошлась с чернопередельцем Яковом Ефроном, вместе получили право при Александре III вернуться в Россию; там они совершенно отстранились от всякой революционной деятельности. (Подробнее будет о ней сообщено в № 5 нашего сборника.) *Л. Д.*

Хотя Дмитро взят, но нас, товарищей его, пока не забывают; конечно, я не буду уже иметь тех подробных и частых известий, какие от него получал. Пока они извещают только, что «попался он совсем случайно, где он, неизвестно, смерти, кажется, ему не будет». Вере ее начальство по Красн. Кресту пишет, что «Исаева, наверно, пытали, не давали ни есть ни спать». Что «речи подсудимых и защитников произвели ужасно сильное впечатление». И что «они будут напечатаны в «Нар. Воле». — Да, вы просите меня выслать вам из России документ и на рубль 20 к. серебр. монеты. Первое я всегда могу сделать, и теперь, раз вам действительно понадобится, а серебра 1 р. 20 коп. можно, думаю, и здесь будет достать. Но, зачем они вам, если позволите спросить?

Ну, кажется, на все ваши вопросы ответил. — Очень буду рад, если вы меня скоро известите, что придумали способ, как спасти свои средства от погибели. К тому времени я, вероятно, смогу и буду иметь о чем еще писать вам.

Будьте здоровы и всякого успеха вам желаю.

Теперь некоторое время пробуду в Кларане, а потому, если очень спешное письмо, то пишите на адрес Жоржа (Maison P. V. Cochar Clarens). Но можете и на мой писать и Вере, и др.

Кланяюсь вам. Крепко жму руку. [Евгений.]

В. К. ДЕБОГОРИЙ-МОКРИЕВИЧ

ПИСЬМА К В. И. ЗАСУЛИЧ

Владимир Карпович Дебогорий-Мокриевич, один из наиболее выдающихся русских бакунистов-бунтарей 70-х годов, осужденный на долголетнюю каторгу в 1878 г. за участие в вооруженном сопротивлении и удачно бежавший с дороги путем «сменки» с уголовным арестантом [1], — эмигрировал в конце лета 1881 г. в Швейцарию, где мы после нескольких лет разлуки вновь встретились. В середине 70-х годов В. И. Засулич, Стефанович и я состояли, вместе с Дебогорием Мокриевичем, членами Киевского бунтарского кружка, задумавшего вызвать вооруженное восстание среди крестьян Чигиринского уезда путем распространения подложных царских манифестов, предлагавших крестьянам отобрать всю землю у всех не лично ее обрабатывающих в общинное пользование. Дебогорию-Мокриевичу, главным образом, принадлежал общий план этой затеи, — детали же его развил на практике Стефанович [2]). Тогда, в середине 70-х годов, Д.-М. являлся самым ярым, доводившим все до крайности, бакунистом. Он, например, не только отрицал, как и все другие бакунисты, «дипломы» «аттестаты», но еще доказывал, что «настоящий бунтарь», чтобы стать ближе к народу, должен постараться забыть даже грамоту. Не было того утопического взгляда, того отчаянного плана «вызвать бунт», которого не разделял бы «Мишка», как все южане его называли [3]).

Из нас, киевских бунтарей, Влад. Карпович был самым пожилым, — лет 30, наиболее опытным, лично знавшим Бакунина, с которым он был на «ты», что нами очень высоко ценилось; крупного оригинального ума человек, превосходный спорщик, умевший, при крайне ограниченных знаниях, — он отрицал полезность чтения, — разбить неизмеримо более его начитанного человека.

---

[1]) См. его интересные «Воспоминания».

[2]) Подробно об этом см. у меня в «За полвека».

[3]) См. о нем выше: «Из Карийских тетрадей».

Четыре — пять лет протекло со времени нашей последней встречи с ним, летом 1877 г. в Киеве до его приезда в эмиграцию после побега из Сибири. За эти немногие годы очень много перемен произошло как в нашем революционном движении, так и в нас самих. Многое также за это время пришлось пережить и перевидать Деб.-Мокриевичу, но в основном он остался все тем же «запорожским ватажком», каким был во время сборов в конце 70-х годов вызвать на Украине гайдаматчину.

Но в знаменательный год его приезда за границу произошло, как известно, крупное политическое событие, потрясшее весь мир и заставившее многих подвергнуть пересмотру все свои общественно-политические взгляды, стремления, симпатии. Дебогорий-Мокриевич не составил исключения; наоборот, на него убийство царя произвело чрезвычайно сильное впечатление, потому что оно случилось во время его долгих странствований, после побега из Сибири, по многим городам. Останавливаясь по пути в разных местах, он, по присущей ему огромной наблюдательности, успел многое узнать, услышать и заметить, что дало ему громадный материал для всевозможных выводов, заключений, нередко курьезных, но всегда почти оригинальных. В общем последние были отрицательного свойства: цареубийство не подняло, не увеличило ни оппозиционных, ни тем более — революционных стремлений передовой части русского общества. Низшие же, трудящиеся массы в этом факте, — как мы народники-чернопередельцы и предсказывали, — увидели подтверждение слуха, что доброго царя-освободителя давно собирались убить помещики в отместку за уничтожение крепостного права.

Настроение Дебогория-Мокриевича, поэтому, в первое время по приезде в Швейцарию, было далеко не оптимистическим по отношению дальнейших судеб России [1]), но, повторяю, он попрежнему оставался народником-бакунистом.

У нас, членов «Черного Передела», тогда только начались переговоры с Исп. Комит. «Нар. Воли» о сближении, для чего, — вскоре после приезда Дебогория-Мокриевича, — Стефанович вернулся в Россию. К этому намерению наш старый приятель-бунтарь отнесся не вполне одобрительно, но и не резко отрицательно: он признавал, что революционное народничество в то время не имело почвы, вместе с тем, и террор ни к чему доброму, кроме истребления всех лучших сил революционного движения, также не привел. Он был, как говорится, на распутьи, ни в тех, ни в сех, но, независимо от политики, Мокриевич являлся очень симпатичным, интересным, оригинальным человеком, который решительно

---

[1]) См. об этом в его «Воспоминаниях».

на всех, в особенности же на молодежь, производил прямо обаятельное впечатление.

Спустя короткое время, осенью, приехал из Парижа Г. В. Плеханов и в тот же вечер впервые встретил на квартире В. И. Засулич Дебогория-Мокриевича, о котором, конечно, уже давно имел представление по рассказам общих знакомых.

Как я уже сообщил выше, у меня тотчас же завязался очень горячий спор с Г. В., напавшим на наше стремление соединиться с «Народной Волей», о чем он тогда же написал Лаврову: «настроение моих женевских товарищей не особенно радует меня: оно может быть формулировано словами — «соединимся во что бы то ни стало, хотя и поторгуемся сколько возможно» [1]).

Дебогорий-Мокриевич в этом споре целиком держал сторону Г. В. Вообще они друг другу чрезвычайно понравились, хотя по мировоззрениям являлись антиподами.

До этого — 2-го своего приезда за границу, — он уже раньше, в самом начале 70-х годов был в Швейцарии, когда, как мы шутили, получил благословение Бакунина, — Дебогорий-Мокриевич лишь одним ухом слыхал о Марксе и его учении. Теперь же, очутившись в нашей тесной группе, ему впервые представилась возможность, без особенного труда, так сказать на-лету, хватать те или иные положения, фразы и термины, что, при изумительной его способности пользоваться всем услышанным, давало ему богатую пищу для рассуждений, споров и писем, в чем читатель убедится из помещаемых здесь.

Эти два его письма [2]) представляют большой интерес не только в смысле характеристики самого автора, его взглядов, оригинального склада ума и развития, но также чрезвычайно живо рисуют ту отдаленную эпоху и отношение раскинутых в разных концах Европы русских эмигрантов к незадолго перед тем возникшей группе «Освобождение Труда»: в этом смысле письма эти являются чрезвычайно ценными и историческими документами.

Чтобы уже не возвращаться к этому очень крупному и оригинальному человеку, сообщу здесь в нескольких словах о дальнейшей его судьбе.

***

Пожив некоторое время в Швейцарии, Д.-М. переехал в Париж, где он сблизился с Лавровым и с другими видными эмигрантами. Когда, после вступления Стефановича в «Народную Волю», мы, «женевские товарищи», не особенно «радовавшие» Г. В., также стали, по мере сил, помогать из-за границы этой террористической партии, то постарались привлечь к общей работе и этого старого бунтаря: вместе с П. Лавровым, Л. Бухом, Луцким, Битмитом, д-ром Росселем и др., Дебогорий-Мокриевич составил парижскую группу, во многом содействовавшую как распространению среди тамошних русских эмигрантов и местного населения благоприятного отношения к «Нар. Воле», так и увеличению путем сборов средств в пользу наших заключенных и ссыльных. Он также принимал участие в знаменитых переговорах «Придворных сфер» с «Испол. Комит. «Народной Воли» [1]).

[1]) См. выше «Из Карийских тетрадей» и брошюру «Г. В. Плеханов», стр. 88.

[2]) Остальных его писем, к сожалению, не оказалось в архиве Веры Ивановны.

Но года полтора спустя после приезда за границу, разуверившись окончательно в возможности дождаться каких-либо свобод от преемника убитого царя, к тому же вынужденный необходимостью иметь заработок для существования, Дебогорий-Мокриевич, вместе с несколькими другими из вышеперечисленных членов парижской группы, содействовавших нам, отправился в Восточную Румелию, где в то время был большой спрос на русских культурных работников — врачей, учителей, юристов и пр. Дебогорий-Мокриевич, никогда раньше не имевший ни малейшего отношения к какому-либо строительству, — если, конечно, не считать «испанских замков», — к немалому нашему изумлению, по приезде в Пазарджик, занял должность «городского архитектора»!

Нетрудно себе представить, сколько ввиду этого острот отпускал Г. В. по адресу старого бунтаря, «запорожского ватажка»!

Замечательно то, что архитектурные «дарования» Дебогория-Мокриевича, очевидно, вполне пришлись по вкусу «муниципалитету» Пазарджика, так как его строительством «отцы» этого города были очень довольны и, повидимому, продолжают быть по настоящее время.

Одновременно у нашего бунтаря открылся еще другой, не ведомый раньше талант: он оказался недурным писателем-беллетристом, — его рассказ, помещенный в «Вестн. Нар. В.», очень всем понравился.

Рядом с этими двумя новыми качествами у Дебогория-Мокриевича обнаружился и третий, сближавший его с Цинцинатом: в свободные часы он занимался на своем огороде и в саду, которые он завел возле выстроенного им для себя самого дома. Словом, Д.-М. оказался человеком на все руки.

Все же вскоре жизнь в глухой провинции на Балканах осточертела этому неугомонному «бродяге», и он вновь очу-

[1]) См. «Из Карийских тетрадей», Сборник II.

тился в Швейцарии, где, в качестве украинца, проникся симпатией к проф. Драгоманову, страстному проповеднику необходимости посвятить себя защите интересов Украины. Затем он совсем сошелся с этим выдающимся земляком, и, заодно с ним, а также с Бурцевым, стал издавать недолговечные органы, в которых проповедывался временный отказ от социализма впредь до завоевания политических свобод.

При этом умеренном либерализме бывший бакунист, крайний бунтарь, отчаянный ватажок остался вплоть до Февральской революции, когда он также вернулся на давно оставленную им родину, и мы с ним, после 35 лет, вновь встретились: он причислял себя к кадетам.

После Октябрьского переворота, Дебогорий-Мокриевич с большим трудом добрался до Киева, откуда я получил от него всего одну открытку, в которой он упомянул об отчаянном положении, постигшем Украину, где сменилось много правительств. Теперь он вновь в Болгарии. Ему около 80-ти лет, но он бодр попрежнему.

Л. Д.

I.

24 февраля (8 марта) 1885 года

[Восточная Румелия]

Я уж и забыл, дорогая Вера, когда писал к вам, — так это давно было! Поводом к этому молчанию было то, что чаще всего и бывает причиною, это — необычайно однообразная, скучная жизнь. Все мое время проходит — то в отправлении служебных обязанностей, то в шатаниях с ружьем по болотам и озеркам окрестным, то, наконец, в чтении (и даже собственном бумагомарании), но ни в каком случае только *не в участии* в окружающей меня жизни, до того эта последняя — жалка, ничтожна и точно без будущности. Часто я ломал себе голову — желая об'яснить окружающие меня явления, — как вдруг — в последние дни — получил прекрасную брошюру Жоржа «Наши разногласия»; называю ее *прекрасной*, потому что, правду сказать, очень давно уже не читал с таким увлечением ничего, с каким читал ее. Я ее прочел два раза. И знаете ли, что собственно меня поразило? Это — необычайная *стройность* (если можно так выразиться) *мировоззрения*. Надо знать вам, что в последнее время я пишу о нашем царизме (для себя пока, а

не для печати); сделаю вам маленькую выписку из моего — как вероятно, Жорж назвал бы — самобытного философствования (все равно не знаю, чем наполнить письмо свое, а эта выписка, быть может, покажет вам, *что* меня волнует и в *чем* у меня «разногласия»). Вот она:

«Меня не удовлетворяет *исключительно-экономическая* точка зрения. Говорят, наукою доказано, что политические и социальные идеалы народа являются *лишь* как результат экономического положения того же народа. Глядя на наш царизм с этой точки зрения, — пришлось бы, что называется, махнуть рукою; не угодно ли ждать, пока не разлетится патриархально-земледельческий быт, да пока не разовьется— капитализм!—Наука гласит: *Буржуазное производство* (капитализм) есть необходимое следствие обмена, — и так это, как по ниточке, выведет вам (наука-то), что оставьте де только один *обмен* — и что наверное разовьется капитализм. А между тем взгляните для примера хоть на Грецию. В Византийской империи был и *обмен* и кое-какое *производство*. Англы и Саксы в то время ходили еще с «парламентерским флагом» (у маленьких жиденят, когда они бегают по сметнику — такие флаги сзади болтаются), и у германцев были флаги, — когда в Византии была уже целая своя цивилизация. В результате — что же? Англы и Саксы превратились в Англичан, — Маркс чуть не главным образом на их жизни обосновал свою теорию, — а Византия, как была при обмене, так и осталась — и ничего из этого *обмена* не развилось. Добро бы сказали, нация вымирает, — так нет же! Вон остяки вымирают; достаточно посмотреть на них, чтобы это заметить: дряхлое, маленькое тело громко свидетельствует об этом. А греки — молодцы на подбор! Посмотрите-ка, какие типы работают по пристаням Черного моря. Тут бы, кажись, процветать экономике: здоровое тело требует пищи много, а пищи этой подчас им крепко недостает; страшная бедность господствует среди них. И разделился народ (греки) на два лагеря: с одной стороны — ничтожное меньшинство—богачи, с другой,—совсем голый народ. Если в Зап. Евр. рабочий называется *пролетарием*, так я не знаю, как и назвать этих?! Совсем-таки никакой собственности у них нет: ни рубахи, ни штанов, — так голые, как родились на свет, и ходят по берегам Босфора и Дарда-

нелл, — благо солнышко греет, и без рубахи тепло. А попробуйте организовать этих голышей. Единственное, что можно сделать — это устроить шайку разбойников из них! — С другой стороны, богачи ведут себя тоже как-то странно, *не по науке*. В Зап. Европе — богач почему-то находит нужным все увеличивать, да увеличивать свой капитал, — и вот ухищряется и придумывает на все лады всевозможные фабрики, всякие производства, собирает, да собирает вокруг себя рабочих, организует их. А тут — разбогатеет — да и закопает в землю деньги, чтобы не украл их кто-нибудь; а, если уж очень жадный и хочет прироста, то дает деньги на проценты (греческие ростовщики всему свету известны). Что же это такое? Что мешает дальнейшему логическому (как говорит наука) развитию жизни? Дурная организация государства? Но ведь по науке — сначала экономический факт, а потом уже социально-политические идеалы, а, следовательно, и государство! Нет, мне кажется, тут что-то не то! Почитаем историю, как это оно там вышло. — И вот, — страсти господни — чего только там не начитываешь! Узнаешь из истории, что жизнь греческая когда-то неслась с гигантскою быстротою по пути прогресса. Развилась до необычайных размеров. Родила целый ряд гениев, на которых и теперь Европа разиня рот смотрит; а потом, хлоп! и остановилась! — Чем это об'яснить? Какая такая причина — смерти греков? Наука говорит, что всему основанье — экономика; почему же эта экономика не вывезла греков? — Раньше — везла на всех парусах, — а потом и перестала. — Почему это у греков *не вытекло из обмена ни черта?* — Что-то — не то, думалось мне. Желая дать какое-нибудь об'яснение явлениям жизни (вернее смерти) в странах, подобных Греции, приходится по необходимости допускать, что и на самую пресловутую экономику нечто влияет. Что есть в жизни людской *что-то* еще кроме экономики, с отсутствием которого и экономика не может развиваться. *Умерло это что-то и умерла вся жизнь*. Итак, раз есть *что-то* (если не вполне независимое от экономики, то во всяком случае во взаимодействии полном), отсутствие которого причиняет смерть стране, то логично заключить можно и обратно: присутствие этого *чего-то* обусловливает развитие прогресса. Вот почему многие, в том числе и я, не могут

целиком строить своих мировоззрений на марксовском положении, *что экономический фактор предшествует социально-политическим идеалам народа*, ибо это *что-то* ничем иным и быть не может, как все теми же *народными идеалами*, и что чему предшествует, — не знаю. — Возвращаюсь к истории. Читаю прошлую жизнь Византии и вижу такое страшное нравственное падение, перед которым решительно бледнеют отдельные эпизоды безобразий западно-европейских народов. Ряд измен, обманов, предательств — на всяком шагу, *грек* торгует своей родной страной, как старою тряпкою; а что касается до *идеалов*, то их совсем нет (интересно, — *какому экономическому факт[ор]у соответствует отсутствие идеалов социально-политических?* Как решает этот вопрос наука?). Результатом этого нравственного падения, этого полного обнищания народного духа (что называется «гения народного»), — результатом исчезновения общественности и присутствия одного только узкого эгоизма, — этим-то и обусловливается смерть греков».

Но довольно! Из этой небольшой выписки вы можете уже заключить, что я *идеалист* (как назвал бы меня Маркс), а Жорж к этому, вероятно, прибавил еще и эпитет «самобытный». Да, не удовлетворяет меня одна экономическая точка зрения! — Вы понимаете, что, усомнившись в одном научном положении (доказанном, как говорят, безапелляционно), я пошел по наклонной плоскости, — стал не соглашаться и во многом. Ну, да Жорж это и сам дальше поймет, как вышло у меня. — Но еще несколько слов о брошюре [1]). Бьет она мастерски тихомировскую статью [2]), и я был совершенно неправ, когда писал вам, что «об общину разобьются доводы Жоржа, как о гранитную скалу». Вопрос выходит еще спорный — и чья правда будет — посмотрим. От брошюры Жоржа я ожидаю только *пользы*, а потому мне даже несколько совестно за мое прежнее отношение к спору вашей группы с народовольцами. (Вы, конечно, помните, что я писал не раз вам? Мне чудилось *самолюбие* там, где я вижу теперь серьезное принципиальное разногласие.) Еще

[1]) То-есть о книге «Наши разногласия». *Л. Д.*

[2]) «Чего нам ждать от революции», в «Вестн. Нар. Воли» № 2. *Л. Д.*

одно место в брошюре мне очень не понравилось: к чему это отождествление бакунистских взглядов с ткачевскими? Что между ними общего? С точки зрения социал-демократов обе программы не социалистичны, а мелко-буржуазны; но, в таком случае, почему программу «Земского Союза» не подвести к той же категории? Бакунизм прямо враждебен «захватническим планам», с этой точки зрения он скорее даже подойдет к «Земск. Союзу» (как к федералистам), чем к Ткачеву и «Нар. Воле». Признаюсь, это отождествление со стороны Жоржа припоминает мне то же *самобытничанье*, против которого он сам борется (разделил мир на неверных и правоверных и свалил в кучу одну). Но довольно об этом.

Имеете ли вы сведения о Евгении [1])? О Стефановиче не знаете ли чего? У меня с Россией — кроме матери — ни с кем нет сношений. Представьте, — мою мать до сих пор не оставили в покое! За ней постоянно следят, — думают все, что я к ней являюсь для свиданий. Даже рыскают шпионы по усадьбе и окрестным лесам (знают, канальи, что я леса предпочитаю конспиративным квартирам; до чего, бестии, — тонкие!). Я вам остался еще должен 150 фр., — вы их получите в скором времени, — быть может, вам их передаст Стойманова. Вы спросите у нее — имеет ли она теперь возможность? Если нет, то я вам вышлю их. Только по какому адресу удобнее? Сообщите. Мой адрес тот же: Pazardjik. Pierre Kabloukoff. Знаете ли, в последнее время я уже чуть было не бросил Румелию? Совсем стал собираться к вам в Швейцарию, да обстоятельства несколько изменились, и я решил остаться еще на год (максимум). Застану ли я вас через год в Женеве? Кланяюсь всем.

Владимир.

II

6/18 мая 1885 года

Дорогая Вера, получил я ваше письмо давненько-таки, но не отвечал потому, что хотелось дождаться брошюр, высланных вами; хотелось заодно уж прочесть брошюры и сообщить вам о моих впечатлениях. Брошюры получились; я прочел пока одну (Аксельрода). — Ну что же вам сказать? Из моего последнего письма вы уже знаете мой взгляд на литературную деятельность вашей группы: от этой деятельности я ожидаю только пользы. «Народная Воля» видимо не пользуется сильным влиянием на Руси. Оно и понятно: «Народная Воля» была сильна *своими делами*, теперь же их нет; а теории ее всегда были довольно слабы. Словом, теперь время весьма подходящее для всяких теорий и программ. Вам, конечно, небезызвестно и то обстоятельство, что я далеко не сторонник ни народовольческих, ни социал-демократических теорий. Об этом не стану толковать, а выскажусь лучше по поводу ваших изданий с другой точки зрения, именно с литературной. Я думаю — для вас небезынтересно будет услышать с этой стороны мое мнение. О хороших сторонах — говорить не стоит, — всегда полезнее знать дурную сторону, так как — «век живи, век учись» — пословица довольно мудрая; быть может, группа ваша обратит внимание на мои замечания и примет меры. Итак, к делу.

Меня неприятно поразил тон брошюры «Наши разногласия»: слишком много *самомнения* замечается у автора, чуть не *все кругом дураки*, кроме Маркса и Энгельса да их последователей, немецких соц.-демократов! Это даст повод упрекнуть автора в «самобытничестве», — в том смысле «самобытничестве», в котором он (весьма метко) упрекает многих россиян. Самобытничество, между прочим, отличается той особенной чертой, о которой можно выразиться «*прет* — что называется — *и головой и брюхом*». Вот это-то «прет брюхом» и блестит частенько-таки на страницах «Наших разногласий». Об'яснюсь. На читателя производит впечатление какой-то страшной узости — это исключительное возвеличение немецких социал-демократов. Выходит уж слишком резко — до того резко, что не мешало бы хоть немножко маскировать свое увлечение. Согласитесь, что это одна из черт самобытничества?! «Все были дураки, и я сам был дурак, но как прочел Маркса — так и раскрылись глаза». Представьте же теперь, что усмотрят те глаза, которые назад тому 10 лет не были дураками, — читали Маркса и понимали прекрасно? А ведь таких, поверьте, есть немало в России. Ведь они просто посмеются над «пылкими последователями»! Замеча-

[1]) Напомню, что я находился тогда на каторге. *Л. Д.*

тельно, что и в брошюре Аксельрода (не замечается самомнения) видится тоже какое-то детско-восторженное отношение. К чему это, при всяком упоминании имени Маркса и других, эпитеты «гениальный», «великий учитель» и т. п. Кому же не известно, что Маркс великий учитель? А рабочим русским разве так важно знать имена эти? Лучше было бы «о прибыли» несколько обстоятельнее изложить (кстати — это место очень запутанное, и рабочие едва ли поймут; а это чуть ли не главное место), — чем тратить место и время на излишние восторги. Ведь не детей же желает привлечь в свои ряды ваша группа?! А на серьезных, умных людей эта сторона страшно отталкивающе будет действовать. Говорю это вам вполне искренно и желая успеха вашему делу, как желаю такового всякому хорошему (прогрессивному) делу. Но довольно, — я и так много резкого высказал, а мне не хотелось бы, что бы вы считали меня своим недоброжелателем. Этого, впрочем, вы не станете думать, так как, вероятно, сами сознаете, что мои замечания справедливы и вовсе не вызваны недобрым чувством. Итак, как видите, — находя весьма полезными ваши брошюры, — я в то же время не одобряю их с литературной точки зрения. По-моему было бы очень и очень полезно обратить внимание с этой стороны.

Что же вам еще сказать?

Моя жизнь течет попрежнему. Я остался пока на службе. Думаю к весне будущего года непременно выехать отсюда: надоело мне здесь жить! К тому же мне хотелось бы коечто написать: хочу окончить свои воспоминания. Вероятно, в одном из следующих №№ «Вестника Нар. Воли» вы будете читать мой рассказ о 1873 и 1874 годах. Затем — останется мне изобразить время от 1875 до 1876 года, — и этим закончу свои воспоминания. Я начал некоторые работы для легальной печати, но не могу их окончить за недостатком необходимых книг (здесь достать негде). Приехавши в Швейцарию, думаю заняться этим. Авось удастся и заработать что-нибудь.

Кланяйтесь Жоржу и Аксельроду от меня.

Жму вашу руку.

Владимир.

Н. ЧАЙКОВСКИЙ

ПИСЬМА К В. И. ЗАСУЛИЧ

У современных читателей об авторе этого письма совсем не то представление, какое о нем было 35 — 40 лет тому назад, когда, в качестве старого эмигранта, он являлся одним из самых уважаемых участников революционного движения начала 70-х годов. С его именем, как известно, связано название наиболее крупной организации — «чайковцев», о которой все решительно современники ее отзывались в самых лестных выражениях и из которой вышли такие выдающиеся революционеры, как Желябов, Софья Перовская, П. Кропоткин, Кравчинский, Клеменц и др. Правда, Н. В. Чайковский вскоре после возникновения этой организации, увлекшись проповедью Маликова — «богочеловечества», отправился вместе со многими прозелитами последнего в Сев.-Амер. Соед. Штаты для основания там соответственных этому учению коммун, но этого его оставления России, насколько помню, никто не ставил ему в вину: все лишь очень сожалели, что такой способный, деловитый и искренний работник увлекся химерическим планом.

Когда я впервые в 1880 году встретил Николая Васильевича в Париже, куда он незадолго перед тем вернулся из Америки после того, как планы их, «богочеловеков», создать там на удивление всему свету образцовые коммуны потерпели полное поражение, Чайковский произвел на меня очень симпатичное впечатление, — идеально-чистого, глубоко преданного страждущим массам человека, многое уже вынесшего, испытавшего и несколько, поэтому, надломленного нуждой и лишениями, но все же готового по мере сил содействовать происходившему в России движению.

Он не сидел сложа руки и в Западной Европе. Убедившись, что в Париже ему с семьей трудно устроиться, Чайковский переселился в 1881 г. в Лондон, где стал энергично содействовать распространению среди англичан правильного представления о России и о ее царском правительстве. С этой же целью Чайковский охотно взял на себя представительство в Англии, когда в 1881 году «Исп. Ком. Нар. Воли», по инициативе Стефановича, основал при содей-

ствии В. И. Засулич «Заграничное Отдел. Красн. Креста Нар. Воли». Исполняя эту функцию, Н. В. Чайковский много сделал в Англии путем лекций, печати и личных бесед для ознакомления иностранцев с жестоким русским режимом, с одной стороны, и с геройской борьбой кучки беззаветно преданных народным интересам русских террористов — с другой. К этому периоду относится настоящее письмо.

Л. Д.

14 февраля 1883 г.
Лондон

Дорогая Вера Ивановна!

Не отвечал так долго на ваше последнее письмо единственно за недостатком времени. Книжки получил, но даже и прочитать еще не успел. Хлопочу все о петиции здешних ученых за Петра [1]). Дела идут на лад и Гри [?].., кажется, готов принять ее хорошо, только все это тихо движется и приходится с утра до поздней ночи рыскать, как собака.

Накопилось много разных мелочей для вас:

1. Здешние немцы собрали довольно много книжек для наших заключенных. Что с ними делать? Сделано это было не по моей инициативе, а окольным путем из Парижа одним человеком, который приезжал сюда, терся между немцами, побудил их на это дело, а затем уехал, оставив их без всяких указаний. Теперь они обращаются с вопросом ко мне, куда девать книги? Судя по вашему последнему письму об этом, они для той цели, то-есть для крепости — не годятся; быть может, для другого чего, но тогда придется делать расходы на перевозку.

2. Что за левая газета «Свобода»? По программе — настоящая либеральная, не...... снимательница, желающая всем угодить, а в сущности дела — благоблудствовать языком о прекраснодушии. Пусть бы была честным либеральным органом, но зачем заезжать?

3. У меня было собрано с продажи книжек Красн. Кр. около 100 франков, но я их теперь издержал на хлопоты, раз'езды и печатные расходы по петиции Петра. Надеюсь,

[1]) П. Кропоткин был в это время арестован во Франции. *Л. Д.*

вы не будете протестовать против этого, особенно ввиду того увеличения нашего влияния и связей здесь, которые мы приобретаем, благодаря всей этой хлопотне, среди самых разнообразных людей.

4. Прилагаемую записку передайте, пожалуйста, С[ергее]ю, о местопребывании которого не имею понятия (????).

5. Известия Дм[итрия] [1]) о переменах на Каре были несомненно достоверны, прямо из письма с Кары.

Ваш Николай (Чайковский).

Значит вашей газеты не будет?

---

[1]) Дм. Алекс. Клеменц — тогда находился в Минусинске, в качестве административно-ссыльного. *Л. Д.*

В. ЗАСУЛИЧ

ПИСЬМА К Л. ДЕЙЧУ

В предисловии к моим письмам к В. И. Засулич из тюрьмы и Сибири я, между прочим, сообщил, что «письма моих друзей ко мне за весь период разлуки с ними я сам уничтожил, сжегши их накануне своего побега из Благовещенска»[1]). Оказывается, что это заявление не вполне верно, так как часть писем В. И. Засулич ко мне в вольную команду на Каре и в места моего поселения в Сибири сохранилась в подлинниках или в сделанных мною точных копиях у Я. В. Стефановича, которому я их тогда посылал, а теперь, благодаря любезности брата и сестры этого моего друга, я получил их от последних в мое распоряжение.

Излишне, полагаю, говорить, до чего обрадовала меня эта совершенно неожиданная и очень ценная находка, так как письма эти содержат много чрезвычайно интересных сведений. В конце этих писем я счел уместным привести также находившиеся в архиве Стефановича и недавно присланные мне три письма ко мне П. Б. Аксельрода от того же периода, так как они могут служить дополнением к сообщениям В. И. Засулич.

I [подлинник]

Mornex. [Нач. 1890 г.]

Дорогой брат, после карты, где ты просишь прислать 30—40 руб. для Якова (они тогда же посланы, 39 р.), от тебя не приходило карт, а этому уже много больше месяца. Но, может быть, Павел получал да забыл переслать? Пиши впредь на Beldinsky, Mornex. Hautel Savoie. France. Лучше так: пиши по очереди то Павлу, то сюда. А то я не знаю, долго ли здесь останусь, а из другого государства письма неаккуратно пересылаются. Я, знаешь ли, только

[1]) См. Сборник II, стр. 228.

теперь, после нового 1890 г., получила из России от брата [1]) поздравление с наступившим 1889 годом. Вот как шляются иной раз письма! Он очень жалуется в этом письме на бессодержательность моих писем. Это все жалуются и воображают, что у меня должна быть масса тем, а откуда они у меня будут? Вот сам посуди, я опишу тебе мое житье.

Живу я среди деревни. Не там, где жил Василий Игнатьевич [2]), а гораздо ближе к концу Малого Салева. В деревне — ни одного русского. Нет ни одного и французского знакомого. У меня маленькая комната, точь-в-точь в том же роде, какие я обыкновенно занимала и в Женеве. Железная печка, большой беспорядок и все проч., как всегда. Встаю поздно, часов в 10, а то и в 11. Поспешно варю кофе, очень крепкий, по возможности со сливками, выпиваю и бросаюсь писать, отрываясь время от времени (при каком-нибудь затруднении), чтобы сделать папироску и пройтись с ней по комнате. Так часов до 4, до 5. Тогда или иду по близости за провизией или, если осталось от вчерашней, жарю бифштекс, с'едаю и ложусь на час поваляться с книгой. Это, если не до крайности увлечена писаньем, а то — так продолжаю писать. Не то, чтобы уж сплошь писать, а обдумывать, передумывать, переправлять, переписывать. Чай стоит на печке и время от времени прихлебывается. Часов в 9 опять кофе и работа часов до 2. Тогда ложусь с книгой. Если надо прочесть ту или другую книгу, тогда так же спешно и не отрываясь читаю, и коли читаю, то в те дни уж не пишу.

В этом и только в этом отношении я очень переменилась. Прежде, как и всякий порядочный русский интеллигент, я, как ты знаешь, могла великолепно бездельничать без конца, валять какую-нибудь книгу, читая по нескольку страниц в день, лентяйничать над бумагой, взявшись читать или переводить. Теперь этого и следа не осталось, то-есть вялость нападает на меня каждый раз после того, как я почему-нибудь выбьюсь из своего напряженного состояния, но эта

[1]) Т.-е. от меня же: этим В. И. в своем официальном письме давала мне понять, что получила мое *конспиративное* письмо, отправленное с «оказией», — из вольной команды с уходившим на поселение товарищем. *Л. Д.*

[2]) Василием Игнатьевичем назывался Л. Тихомиров; до своего переезда в Париж, летом 1883 г., он жил в Морнэ, вблизи Женевы. *Л. Д.*

леность так мучительна для меня, я тогда так страшно тоскую, что все силы употребляю как можно скорее вогнать себя опять в прилежание, при котором я уже ни о чем, решительно ни о чем не думаю, кроме книги, которую читаю, или статьи, которую пишу.

По целым месяцам я не говорю (разве шопотом сама с собой) ни слова, кроме как в лавочке: «дайте фунт того-то» и «bon soir, madame». Впрочем, один посетитель бывает у меня ежедневно и с ним всегда приходится сказать слова два: это большой косматый коричневый пес, по имени Тюрк. Он отлично знает, когда я приношу мяса (встречает и обнюхивает корзинку), и упорно является потом каждые полчаса и подает лапу, пока не дашь ему кусочек.

В Женеве я бываю раз в месяц, а то и реже. Бываю больше, если нужно. Там меня привлекает Жорж, — его я всегда рада видеть, с ним всегда есть о чем говорить (о тех же статьях и книгах), он всегда, окажется, выдумал что-нибудь новое, выяснил себе какой-нибудь вопрос. Но, во-первых, говорить обыкновенно мешают и его отчаянно балованные дети и гости, а главное, за это удовольствие приходится, возвратившись домой, расплачиваться несколькими днями тоски, трудности работать, такого состояния, при котором жизнь решительно невыносима. А, раз втянулась в работу, я ничуть не тоскую, мне ничего не хочется, никого и ничего не нужно.

В Кларане последние месяцы (с мая до октября) я тоже жила без Жоржа, там ко мне заходили гости, и эти гости всегда были мне в тягость, — я только и ждала, как бы они поскорее ушли. Даже с Лизой прежде могла по часам болтать и с удовольствием, а теперь уже давно решительно не нахожу, о чем говорить, да и все тут, хоть зарежь меня.

Я знаю, что это все не хорошо, дурно так всех чуждаться, что такая жизнь и ненормальна, и превратит меня в какую-то ведьму одичалую. Но, право же, я могу жить только или так или никак.

Общество Павла [1]) и то мне надоедает. Он гостил в Кларане, и я рада была, когда уехал, а он очень добр со мною,

[1]) П. Б. Аксельрод.

но скучно мне и с ним. У Жоржа вот уж больше года, как болезнь не возвращалась, — не было лихорадки (по крайней мере сильной, заметной), но последние месяцы он живет дома и страшно утомляется, так что с каждым разом, как прихожу, нахожу его очень похудевшим и побледневшим против прошлого раза.

Ну вот мое житье: никого не видаю, газет не читаю (выписывать дорого, а доставать негде), о себе не думаю, не «психичничаю» [1]). Какие же у меня темы? О книгах, о статьях? Да много ли о них в письме напишешь? К тому же я печатаю, что напишу, хоть и не все, конечно. А что напечатано, надеюсь, что ты прочтешь когда-нибудь. У тебя в сто раз больше тем было бы, если бы мог писать. Ты живешь на людях и о них мне все очень интересно, а я в (добровольном) одиночном заключении. Но я постараюсь писать больше. Крепко целую тебя, твоя сестра Саша.

II [Копия]

1893 год

Скоро поеду в Цюрих. С одной стороны, там предстоит много приятного, — там будет в авг[усте] международн[ый] конгр[есс]. Увижу многих выдающихся геноссов, увижу Аню. Свидание с нею три года тому назад доставило мне немало удовольствия: она ведь самая старая моя знакомая, единствен[ный] человек в Евр[опе], с которым я на «ты»; с ней я могу быть и откровеннее, чем со всеми другими. Но, с другой стороны, там предстоит масса тяжелого. Решительная, вероятно окончательная встреча с теми нашими любезными родственниками, о столкновении с которыми я уже упоминала. Ах, как это скверно действует! Чего не могли сделать с нами никакие противники (теперь у нас их почти совсем нет), то сделали эти: сломили нашу энергию, упрямство. Теперь противно, не хочется работать попрежнему. Свои гораздо противнее чужих. Жорж найдет себе больше чем по силам дела в немецкой литературе. Он весь теперь поглощен ею. Ряд статей, которые он теперь пишет, — [о] «Гольбах[е], Гельвеции и Марксе», — переход от материа-

[1]) Это означало: не копается в себе.

лизма XVIII [в.] к современному научному, — мне кажется, должен произвести эпоху в теории исторического материализма. Нельзя не признать, что ведь он (истор. материал.) очень «куцый»: «открытие Америки, путь вокруг Африки» и пр., — это давно оскомину набило. А дальше развивать некому. Кроме старика Фридриха [т.-е. Энгельса], Каутский, да и обчелся (я непременно пришлю тебе эти статьи, как выйдут). Павел тоже найдет себе дело, — отчасти в литературе, отчасти в кефире и семье (ему уж пора скоро дочку замуж выдавать), ну, а я?.. А сделали мы все же больше, чем ожидали: левое гегелианство [т.-е. марксизм] — господствующее направление, а того, что было прежде (не в теории, а на практике), видно, по ходу истории России не полагается.

III [Копия]

Цюрих (конец 1893 года)

Прошлое письмо я писала больная и совсем не в духе и мало рассказывала о Цюрихе (о празднестве там) [1]). А видела я там массу интересного народа. Начать хоть с Фридриха Карловича [Энгельса]. Он был у нас, т.-е. у Павла, раза три. Совсем простой, ласковый такой старик. Уж на что я трусиха на незнакомых людей, а и то с ним сразу освоилась. Впрочем, особенно интересных разговоров с ним не было: о том, как поступали голландцы (на конгрессе), как ведут себя французы, — а ведут они себя глупее глупого, — и т. п. текущие темы. Эти две делегации были систематическими противницами немцев, все остальные — друзьями. Французы были страшно глупы, но не по одной природной глупости, а еще и потому, что в то время там были выборы, и все наши, вообще все путные люди, были заняты ими, а наехало человек 40 самого бездельного народа. Они, даже не слушая, не поняв, в чем дело, как потом сами признавались в частных разговорах, заглушали слова оратора криками: Vive la France, la Commune и даже l'anarchie, если только знали, что оратор в дружбе с немцами. Итальянцы, наоборот, вызывали удивление своей сдержанностью, тактом,

[1]) Под «празднеством там» В. И., конечно, подразумевала происшедший в 1893 г. в Цюрихе интернациональный конгресс.

единогласием и разумностью своих вотов. Все спрашивали себя, что с ними такое сделалось, так как вообще никогда они такими качествами не отличались. Только я с первого же дня знала, что своим примерным поведением они исключительно обязаны нашей Ане. По целым вечерам она их экзаменовала и муштровала, и я не раз присутствовала при этих муштровках. По манере говорить и обращаться с людьми она осталась прежней, но как поразительно переменилась в остальном, не только за тот десяток лет, что ты не видал ее, но даже за 3 года, прошедшие с тех пор, как она гостила здесь у меня. Тогда она была худая, кости да кожа, постаревшая, и всегда, чуть зайдет подходящий для этого разговор, готова была заплакать. Я тогда не могла решить, чего ей нехватает: любимый муж, обожаемая дочка, материально более чем обеспечена, живет в своей любимой Италии, которая ей гораздо милее забытой России. Кажется, она и сама тогда определенно не знала, чего ей нехватает. Должно быть нехватало широкой общественной деятельности. Теперь дела у ней по горло: редактор журнала, кроме того член всяких комитетов и обществ, все дни и часы у нее нарасхват. Ей хотелось побыть со мною, с русскими, и ни на 1 час раньше открытия с'езда она не могла приехать, и совсем не пришлось за неделю (ее пребывания) поболтать без ее хвоста в 25 итальянцев; и после закрытия заседаний она ни на 1 час не могла остаться: уже в 10 местах ее ждали. Зато, вместо прежней скелетообразной Ани с ввалившимися щеками, является здоровенная женщина с двойным от толщины подбородком. Еще при тебе она была под подозрением чахотки, то же было и 3 года тому назад, а теперь в последний день она была избрана (итальянцами — нации ежедневно чередовались) председателем собрания человек в 700 и, несмотря на порядочно шумное заседание, вела его совершенно прилично. Когда говорила, слышно было по всему залу. Хандры, конечно, и след простыл. Совсем молодец стала. И не одна Италия обязана своим хорошим поведением русскому. Ту же, и даже гораздо большую роль, как Аня в Италии, играет в Румынии Кац [Доброджану]. Дмитро его знает, кажется. Очень милый человек. Из той же Румынии, но не на с'езд — он с рабочими ничего общего не имеет — приезжал тоже Ралли [Арборе].

Вот странное-то производит он впечатление среди этих архисовременных людей?! Точно он с того света или из-под земли выкопан. Взгляды он сохранил точь-в-точь те, с какими уехал. Павел пускался с ним спорить. Он и аргументы в спорах приводит как раз те, что были во всеобщем употреблении в те допотопные времена. Почти все эти 15 лет он состоит редактором либерального и при этом официального журнала, либерализм которого заключается в защите интересов крупных капиталистов, в руках которых власть, от землевладельцев, находящихся в оппозиции. Но над этой своей 15-летней деятельностью он насмехается, — ни разу не написал он в своей газете ни одной искренней строчки. Странная и жалкая карьера.

На обратном пути из Цюриха я видела в Божи Лизу. Она, наконец, выздоровела, и, к крайнему моему удивлению, я ее нашла сильно поздоровевшей и потолстевшей. Слухи все ходили, что она больна. Ей теперь и самой не верится, что она здорова. Живет она у знакомой тебе Александровой, которая вышла замуж за очень ревнивого человека [1]), купившего дом в Божи, завела огород, скот, хозяйство. Теперь она овдовела и продолжает вести хозяйство, в чем ей помогает Лиза, а та ее за это содержит, так как Лиза получает очень мало из дома.

Крепко целую тебя. Твоя сестра.

IV [копия]

[Морнэ, апрель 1895 года]

Мне, кажется, нельзя будет здесь остаться, а куда попаду, еще не знаю. Кажется, что некуда попасть, кроме Англии. Проклятые ученики разных географов [2]) такие штуки вытворяют, что скоро нигде на свете жить нельзя

[1]) Это был ткачовец Лакиеро; после его смерти вдова его, получившая в наследство некоторое имущество, вновь вышла замуж за небезызвестного эсера Ег. Ег. Лазарева; она же примкнула к эсдекам. *Л. Д.*

[2]) «Учениками разных географов», т.-е. Э. Реклю и П. Кропоткина, В. И. называла анархистов, которые в то время своими нелепыми покушениями вызвали в Западной Европе преследования против марксистов, в особенности против В. Засулич и Г. Плеханова, которым французское правительство запретило жить в Морнэ.

будет. И ведь герои при этом. Как обезьяна — совсем бы человек, только смысла ей недостает. Так и они: совсем герои, только без смысла. Впрочем, не только без смысла, а в противность всякому смыслу: приносят огромную пользу тем, кому желают вредить (впрочем, и действуют-то они в большинстве случаев при помощи и по подстрекательству агентов тех, кому желают вредить), и страшный вред тому, чему не должны бы желать вредить — движению. Это его худшие враги. Чуть что случится в Париже, местные власти бросаются на иностранцев, а так как во всей верхней Савойе, кроме нас с Жоржем, никого нет, то на нас. Такие мне пришлось сцены пережить, каких и в России никогда не случалось. У нас делают, что прикажут, но от себя не прибавляют ни грубости, ни ненавистничества, а здесь именно это от себя. Ты это и сам испытал во Фрейбурге. Затруднительное предвижу я положение в Лондоне, если придется туда попасть. Я очень люблю Сергея и, вместе, очень дорожу хорошими отношениями с такими хорошими немцами, как Энгельс и его друзья, а между тем компания Сергея в ссоре с немцами [1]). Вначале С[ергей] был с ними, в особенности с Элеонорой Маркс-Эвелинг (она премилая баба, — я с ней в Цюрихе познакомилась, — совсем простая, умная, деловая), в огромной дружбе. Их (т.-е. Сергея и его К-о) предприятием Энгельс очень увлекался и даже нас туда тащить старался: он думал, что они приобретут большое влияние на общественное мнение. Но понемногу выяснилось, что никакого влияния они не имеют и иметь не будут, что все застыло на нескольких десятках сантиментальных старушек, нескольких тоже десятках попов и 2—3 заблудших «эксцентричных» членов палаты. Эта почтенная, но

[1]) Сергей — Кравчинский-Степняк тогда жил в Лондоне. Его «компанию» составляли старые друзья его: Н. Чайковский, Ф. Волховский, Е. Лазарев, Л. Гольденберг, образовавшие группу, известную под названием «Фонд Вольной Русской Прессы». Группа эта преследовала чисто конституционные, либеральные цели и с ненавистью относилась к марксистам. Степняк в этом отношении являлся исключением. «Фондисты», главным образом, при содействии очень популярного, как писателя, Степняка, основали в Англии среди туземцев «Общ-во друзей русской свободы» («Free Russian Society»), стремившееся всячески содействовать борцам за свободу в России. Кое-что это либеральное общество и сделало.

не имеющая значения компания дает деньги на очень вялую и составленную по английским же газетам газетку. Компания эта желает нам всего того, что [уже] есть в Англии, но для нее очень *шокинг* желать чего-нибудь, чего там нет. А между тем и среди англичан есть очень много народа, желающего многого того, чего там нет [1]), и именно с этим народом в дружбе Энгельс, Элеонора и др. А наши [2]) подлаживаются к своим английским попам и до такой степени, что, когда раз на их собрание пришел и хотел заговорить, выразить сочувствие один очень видный английский рабочий, желающий лицнего, попы и старушки лишили его слова, не зная, что он скажет, — просто за его известные взгляды, — а наши промолчали. Компания Сергея говорит, что их с немцами поссорил Мендельсон [3]). Я об этом спросила Элеонору. Она отвечала: «как он мог бы нас поссорить, когда мы с Сергеем были во 100 раз ближе, чем с Менд[ельсон.]; но с тех пор, как он, Сергей, сжился с благочестивыми и умеренными англичанами, мне нельзя бывать у него, так как он боится англичан. Если меня заставал у него кто-нибудь из его англичан, он так конфузился, так терялся, что бывало слишком обидно и за себя и за него как представителя русских».

Если бы меня поставили в необходимость выбрать между теми и другими, я выбрала бы немцев. Ради пустейшей газетки не стоит и просто унизительно ставить себя в такое фальшивое положение, в какое поставили себя Сергей и К-о.

У Жоржа умерла третья маленькая дочка (4 л.); он очень тоскует по ней и с тех пор все хворает.

Л. Д.

V [копия]

[Лондон, лето 1895 года]

Дорогой брат, давно что-то от тебя нет писем. Я продолжаю поживать в Лондоне, все на той же квартире. Очень мало кого видаю, да теперь же и все на даче. Я, бедная,

[1]) Конечно, она имела в виду английских марксистов, социал-демократов.

[2]) Под «нашими» В. И. разумела «фондистов».

[3]) Мендельсон Станислав, один из основателей социал. движения в Польше, — о нем см. мою брош. «Наша эмиграция».

не попала на дачу, не по безденежью, а надули меня: я все ждала, что Жорж с Павлом приедут по обещанию на Гернэй, — Жорж купать своих детей, а Павел сам купаться. Но теперь оказалось, что они не приедут. А все знакомые тем временем раз'ехались. Просила я кое-кого письменно найти мне комнату в деревне, да это не помогает. Тебя, пожалуй, удивляет мое огорчение, что сижу в Лондоне: тебе было бы, вероятно, приятно хоть бы и летом попасть в большой город, но, должно быть, не надолго. Вообрази, в жару, в духоту, десятки верст вокруг сплошные улицы с черными беспрерывными каменными домами, и небо видно только сквозь дым. А вспоминается, что везде на белом свете зелень, трава, деревья. Только музей и скрашивает. Душно в нем страшно, но я по уши втянулась в книги. Выучилась просиживать несколько часов, не вставая с места и не тоскуя по папироске, чего первое время совсем не могла: не выдерживала дольше двух часов под-ряд.

Фридрих Карлович [Энгельс], бедный, очень болен: какой-то нарыв на шее затяжной не проходит и почти не дает ему спать второй месяц, что страшно его истощает. Едва ли выживет. Очень жаль его: он не только Фр[идрих] Карл[ович], но и очень хороший человек. Едва ли кто заменит его и приобретет когда-нибудь то общее доверие, каким он пользуется и так разумно всегда употребляет. В нем удивило меня еще то, что в 75 лет в его уме не замечается ничего окаменевшего (мне это особенно кидалось в глаза по сравнению с русскими полу-стариками; в Швейцарии-то я, кроме своих, только с молодежью встречалась). Обо всяком явлении он судит на основании его самого, так сказать, а не по запомненной еще в молодости мерке, а это, право, редко бывает.

Англичане в розницу — соседи, лавочники и т. п. — мне очень нравятся, симпатичнее швейцарцев и французов. Но по газетам, по рассказам, всматриваясь в Англию en grand, можно бы в отчаяние притти, если бы забыть о других странах и помнить только ее. Почему? Об этом целую статью пришлось бы написать, а потому... потом, да я пока и сама еще не вполне разобралась. Целую...

VI [копия]

[Лондон, зима 1895—1896 года]

Уравновеситься по примеру Сергея мне никак невозможно: у него равновесками служат, кроме Фанички 3 собаки, ангорская очень балованная кошка, большая квартира (т.-е. целый маленький домик), и *все это надо* поддерживать в чисто английском стиле, чтобы было совсем «honorable», для приема почтенных англичан. Со всем этим, конечно, забот полон рот,—надо массу зарабатывать, и делает он это со вкусом: чувствуется, что думает он так век свековать. Вот это и есть его уравновешенность. Цельных, последовательных взглядов у него никогда не было, нет и теперь. Рядом с «Драгоманьядой» он может сказать, что надо опять приняться за старую специфическую практику павинцев [1]), от чего, по мне, боже упаси. Но все это для него так себе, и интерес жизни сотредоточен на текущих, наваленных им на себя комильфотных заботах (у моряка [Серебрякова] вместо собак трое детей и очень мало заработка, а все же он менее поглощен личными делами, чем Сергей. Его старое павинство [народовольчество] занимает большой кусок в его жизни, и, вообще, в нем более сохранилось старых хороших черт). Я вовсе не отношусь к нему [Сергею] неодобрительно: он милый, честный человек, но не о чем нам говорить, нет общих интересов. Я хоть и даю себе слово ежедневно мести свою комнатку, но даже и этого не исполняю: утром проспишь и спешишь в музей, а, вернувшись, кажется, зачем ее вечером мести, пусть остается до завтра. Но, если бы я даже начала это делать каждый день аккуратно, этим все же не увлечешься и не уравновесишься.

Третий том «Капитала» я прочла [2]). «Противоречие» разрешается именно так, как и казалось всем, кто об этом думал или писал: продукты тех отраслей промышленности,

[1]) «Павинцами» мы называли народовольцев: под их системою В. И. подразумевала террор: «Драгоманьядой» Вера Ивановна называла воззрения М. Драгоманова, шедшие в разрез с народовольческими. Кравчинский, однако, ухитрялся признавать правильными одновременно те и другие.

[2]) Тогда он только что появился по-немецки, и я его еще не видел.

где преобладает переменный капитал, продаются ниже, а где постоянный — выше своей стоимости. Таким образом «прибавочная стоимость» делится между капиталистами сообразно не с количеством занятых ими рабочих рук, а [с] величиною вложенных в предприятия капиталов; в среднем же товары продаются по стоимости; поэтому прибыль, по мере роста капитала в стране, уменьшается относительно.

Настоящими «оппортунистами» в рабочем мире являются англичане: ни на какие принципы они внимания не обращают, а гоняются только за материальными выгодами. Немцы по сю пору ровнехонько ничего материального не получили, если не считать десятков тысяч лет отсиживания на всю компанию. А все-таки никто не усомнится, что они представляют собой бесконечно бо́льшую силу в жизни своей страны, чем англичане в своей. Политика Фольмара [1]) была бы началом постепенного стаскивания немцев на уровень англичан.

Лично я Струве не встречала, но слыхала о нем: он хороший парень, хотя в книге, как выразился в письме один его приятель, «пересобачил, шельма, об'ективизм». Теперь вышла в Питере другая книга, Бельтова, которая дает настоящий тон, и сам Струве с ней, кажется, согласен.

VII [копия]

(Лондон, весна 1896 г.)

Событий-то собственно и у нас немного за эти 10 лет. Но сама я, как припомню себя тогдашнею [т.-е. когда мы с нею виделись в последний раз в марте 1884 г. *Л. Д.*]— совсем другая стала. Мне-то кажется — умнее, но в то же время, судя об'ективно, я знаю, что это один оптический обман: ни в чем мой ум не проявляется, никому его кроме меня самой не заметно. Я просто состарилась, а всякому старику суб'ективно представляется, что он поумнел и стал лучше. Страсти, желанья, мечты и страхи — все пропало, ничего нету, и все это кажется глупым. В 1874 г. интеллигенция наша, конечно, была лучше, и ей самой жилось полнее,

[1]) Известный соц.-дем., депутат рейхстага, начавший тогда сильно тянуть вправо.

чем теперешней. Теперешний, хотя бы и 20-летний юноша сравнительно тоже как будто состарился, меньше у него склонности к иллюзиям, не скажу, что он умнее, но больше знает, больше, пожалуй, учится, но такого «праздника жизни», как у того поколения, у современной [молодежи] нету. Это я, впрочем, не про здешних говорю, а про россиян, которые на время приезжают, там живут и действуют. Те умные, почти все, кого случалось видеть, те и много и толково знают. Здесь же учатся почти исключительно из мужчин одни евреи. У них уровень развития ужасно низок, хотя, по большей части, и очень способные люди, но они совсем не знакомы с русской — да и ни с какой (другой) литературой. Что выучили в гимназии, это и есть. Такой часто очень быстро усвоит по нескольким книжкам целое миросозерцание, но это выходит так узко, так прямолинейно и... очень с ними скучно, хотя они говорят обыкновенно несомненные истины. — Михайловский с В. В. последнее время заняты исключительно искоренением лево-гегелианства. Ты, вероятно, читаешь «Р[усское] Б[огатство]» (к сожалению, мы его не получаем). Ты издали, боюсь, пожалуй поверишь их печатным клеветам о насаждении капитализма и стремлении обезземелить крестьян. Может, и я бы усомнилась, не зная: всякие у россиян возможны глупости! Но тех людей, с которыми они сперва словесно две зимы сражались, а теперь против них пишут, я лично знаю и знаю, что это умные и честные люди, посвящающие все свои помыслы и силы совершенно противоположному. Прекрасный аргумент о насаждении капитализма еще Тигрич выдумал [1]); он потом пояснял, что просто хотел «довести до абсурда» мнение противников. А теперь литературные наши вожди взяли у него этот аргумент на прокат. В. В. против «лево-гегельянцев» [2]) выпустил «Наши направления». А Михай[лов-ск]ий статью за статьей валяет против них. Оба слезно жалуются, что это направление страшно распространяется. Про В. В. жаловались, что он и в спорах на собраниях беспрерывно только на том и выезжает, что приписывает противнику мнения, каких тот и не высказывал и не имеет.

[1]) Тигричем, известно, мы называли Льва Тихомирова.

[2]) «Лево-гегельянцами» называли марксистов, соц.-дем.

С переводом Мих[айловско]го на европейские языки случилась такая оказия: отправил он с этой целью в Берлин одного юношу, очень способного, хорошо знающего языки и находившегося под его личным влиянием. Тот раньше ничего нашего лево-гегелианского не читал, хотя и слыхал, но под влиянием учителя на веру относился враждебно. Но вот в Берлине он прочел эти издания, познакомился с немцами и через 3 месяца явился к нам нашим горячим, воинственным сторонником и ярым противником Михайл[овско]го, что и изложил ему в письме. Так по нашей невольной вине и лишилась Европа его «вкладов», а он «европейской известности». Но можно надеяться, что только на время: не всякий же, кого он пошлет, будет, не успевши устроить дела, приходить к убеждению, что Мих-ий пишет «ерунду», как решил наш новый приятель.

Статьи Жоржа оказались для «Neue Zeit» слишком велики и серьезны, почему теперь печатаются отдельной книгой Дицом (в Штутгарте). Витольда Викентьевна [1]) прислала мне летом твое большое письмо к Лилке (воспоминания о Марусе). Оно очень было мне интересно. Она прибавила к нему извинительную записку, что не прислала его раньше, — думала, мол, быть в Швейцарии, да отложила. Я ответила на ее записку письмом, в котором просила рассказать мне хоть письменно о ваших краях, и спросила, не везет ли она мне альбома, которого я не получила? Она на это письмо мне не ответила: думаю, что это происходит от того, ч[то], вероятно, попала она в компанию, которая сумела вооружить ее против нас [2]). Одну книгу Лориа я кое-как прочла по-итальянски: по-моему, это злющая, хотя и неумышленная, карикатура на марксизм [3]). «Экономическое» в истории сведено некоторым образом к такой наивной

[1]) Жена Ф. Рехневского, сперва добровольно последовавшая за ним на каторгу, затем, спустя несколько лет, отправившаяся за границу для изучения медицины. Я снабдил ее письмом к В. И.

[2]) Это предположение В. И. мне кажется неверным: Витольда Викентьевна была чрезвычайно беспристрастным человеком, к тому же в очень хороших со мною, вполне дружеских отношениях: по всей вероятности вышло какое-нибудь мне неизвестное недоразумение.

[3]) По поводу этой книги была рецензия Гольцева в «Русской Мысли», за что последняя получила предостережение.

простоте: коли у меня в кармане рубль, так и силы на руб[ль], а — 5 коп., так — на 5 коп. Аня о нем приблизительно такого же мнения. Но, кажется, для французского перевода, который ты просишь выслать, он свою теорию немножко причесал и придал ей несколько более приличный вид. У Ани она есть. Я ее письмом просила прислать ее тебе, а также и ее карточку, — может, на этот раз исполнит. — Господа компаньоны [анархисты] и меня возмущают до чертиков: на суде в Барселоне (история в театре) оказалось, что главным деятелем и инициатором был агент-подстрекатель, — он это сам заявил. Ему не поверили, тогда он сослался на свое начальство, и то должно было признать верность его показания. Он же при этом был приятелем Равашоля [1]). У французских анархистов при обыске нашли массу писем, где говорится о посылке им денег духовенством и буржуазией. Массу денег передала им также известная герцогиня д'Узэц, поддерживавшая и Буланже. Находили у них и множество отрезок от мандатов на получение значительных сумм. Вот на какие деньги ведут они свои пакости! Это все официально было констатировано, но буржуазная пресса замолчала. Говорила лишь рабочая пресса; их же представители сделали запрос в парламенте, почему ничего не предпринимается против этих казначеев-убийц? Рассмотрение запроса отложено на месяц: это все равно, что совсем его не принять. Да еще бы! Это у министерства теперь лучший способ борьбы с рабочими. Но какой позор!

VIII [копия]

(Лондон. лето 1896 г.)

Сейчас, как видишь по штемпелю [на нем «Eastbourn»], я не в Лондоне. Здесь я уж 2 недели. Перед этим в Лондоне было чрезвычайно многолюдно [2]), для меня т.-е., а то в нем и всегда больше 5 милл. жителей, но я-то очень мало кого видала. Я с большим нетерпением этого ждала, но вероятно предыдущее отшельничество и усиленная, хотя и не особенно результатная работа сделали то, что у меня

[1]) Прославившийся анархист.

[2]) В. И. намекает на бывший в Лондоне Интернациональный Конгресс.

явилось сильное нервное расстройство, которого я не замечала, пока находилась в привычной обстановке, а тут сразу сказалось бессонницей, чрезвычайным волнением, насилу сдерживаемым желанием плакать без всякого удобного повода, так как удобных-то нету. Наоборот, скорее масса общих поводов в восторг приходить. Может быть, удастся устроить, чтобы тебе посылать книги, о которых ты жалуешься, что поздно узнаешь о выходе [1]). Мне кажется, однако, что тебе в ложном свете представляется положение этих книг, — их вышло всего три; оно [положение] более шатко, чем ты думаешь. Писать большой «вклад», как ты предлагаешь, именно теперь для Ж[оржа] не время, было — в 80-х годах, да и то не написал, хотя для его здоровья было бы, конечно, лучше, не спеша работать, — он очень надорвался.

Постараюсь не сидеть так подолгу здесь одной: вредно это и для ума, не только для нервов. А я то думала, что совсем привыкла! Не пишется теперь о смерти Тамары [2]). В другой раз постараюсь. Ученой я не стала. В. В. притворяется негодующим на раскрытие псевдонима: он был раскрыт [3]). Пропажа наших писем, думаю, вовсе не случайность.

IX [копия]

[Цюрих. Лето 1897 г.]

Давно я тебе не писала и знаю, что это дурно с моей стороны, что при однообразии твоей жизни тебе хоть какую-нибудь болтовню получить приятнее, чем никакой. Знаю я все это и иной раз (когда не спится — особенно, — в другое-то время некогда по большей части себя мучить) грызу себя за это и все же откладываю письмо. Что я не пишу, из этого не следует, что мне не интересно, как ты живешь: всякие мелкие житейские подробности — все интересно, у меня ведь их нет. Живем мы, вероятно, как раз противоположным образом: я совсем не живу, а только грызу перья,

[1]) Это касается высылки начавших легально появляться в России сочинений марксистов — Плеханова, Ленина и др.

[2]) «Тамарой» мы называли Сергея Кравчинского.

[3]) Как известно, Плеханов (Волгин) в печати назвал «В. В.» — Воронцовым.

читаю, думаю о перьях. Сплю не иначе, как под хлоралом, встаю усталая, пью кофе и бросаюсь к книге или перу. День промелькнет как-то мучительно и до чертиков быстро, и опять то же — уж пора принять хлорал. Знакомых видаю только тогда, когда почему-нибудь нельзя не видеть. Живу как во сне. Это — нелепая [жизнь] по малой результатности, но не могу иначе, спешка, вечное возбуждение усилиями работать мешает мне гораздо вернее писать тебе, чем то, что изложено выше: нечего писать именно потому, что так живу, иначе нашла бы. А ты не плати мне молчанием. Коли захочется писать, пиши.

X [копия]

[Цюрих. Осень 1897 г.]

Главная причина, что не писала тебе так давно, в том, что об интересном, об общем писать нечего, что оно стало вдруг такое громадное из крошечных забот крошечной семейки — всемирно-исторической силой и, следовательно, совсем, совсем другое, чем было когда-то. Писать коротко не знаешь, что сказать, что ты поймешь; подробно — не пишется. О себе тоже нечего сказать. Вожусь очень усердно с бумагой и перьями, а толку выходит очень мало из моего воженья, но продолжаю возиться во что бы то ни стало. Мне в этом отношении не везет на разные лады. На-днях я слышала, что Катя [1]) получила разрешение вернуться в Рос[сию] и даже прожить несколько месяцев в Петербурге. Бодрая, говорят, такая, как ни в чем не бывало. Этак можно надеяться, что и Дмитро там скоро окажется. А ты?.. Вне Кары, в других местах, думаю, не так глухо. Много щепок туда от обильных порубок залетает [2]). А они обильнее, чем были когда бы то ни было, ну и лесу бесконечно больше. — Слышала я тоже, будто Маша [3])

[1]) Екатерина Брешковская. *Л. Д.*

[2]) В. И. имела в виду попадавших в разные места Восточной Сибири, но не в Забайкалье, административно высылавшихся социал-демократов.

[3]) Марья Алекс. Коленкина, большой друг В. И. Засулич, и поныне здравствует в Иркутске.

умерла, но говорил мне это брат величайшего лгуна, он каким-то недостоверным голосом говорил. Не знаешь ли ты о ней?..

XI [подлинник]

[Конец 1897 г.]

Дорогой брат!

Не стану и извиняться за редкость своих писем. Пущай! Вот ведь что значит писать о себе из такой дали и по времени и по пространству. Тебе всего хуже показалась в письме моем фраза «живу как во сне». А я, хоть и не помню, в каком контексте она помещена, но наверно не в виде жалобы на это именно. Жить как во сне самое для меня приятное положение. Это значит не вспоминать о себе, да и ни о ком другом, а думать о каких-нибудь теориях (или, скромнее говоря, фантазировать о полутеориях); делаешь очень мало, но дни летят как на почтовых. Ненавижу, когда будят меня, хотя бы будили и такие вещи, за которые лет 15, даже 10, тому назад я бы охотно хваталась. Достались белке орехи, когда она уже без зубов. Впрочем и орехи-то азбучные, узкий катехизис [1])... Знаю, что надо, и все же мучительно лень, скучно... Были орехи и интересные, но для них надо пожить как во сне [2]).

А вот удивительно: статья «К характеристике эконом[ического] романт[изма]» кажется мне из самых бесталанных статей (не говорю о беллетристике — ее всю хоть выбрось, да и корреспонденции попадаются не особенные). А кажется, именно в июньской книжке есть критич[еская] статья автора, про которого ты прежде кричал, кажется, по поводу «буржуазной среды» [3]), что талантлив мол. Вот, что значит пристрастие!

[1]) Под катехизисом В. Ив. вероятно имела в виду редактирование популярной литературы, издававшейся тогда Союзом Рус. Соц.-Дем.

[2]) Здесь она говорит о своих легальных статьях, помещавшихся в выходившем тогда в Петербурге марксистском журнале «Новое Слово».

[3]) То-есть: «Революционеров из буржуазной среды» — эту статью В. Ив-ны, появившуюся в заграничном журнале «Соц.-Дем.», я похвалил; вот она и намекала, что я прозевал ее же критическую статью в июньской книжке «Нового Слова». *Л. Д.*

Карточку твою трудно и узнать. Франтоватый такой и совсем другой, и мою бы наверно не узнал, если бы сняла.

Насчет «всемирной историчности» [1]), это, конечно, что понять под этим, размеры под это слово можно разные подложить. Но если бы вот сию минуту она совершенно исчезла со свету, как интеллигентная сила, она все-таки уж оставила бы после себя огромный неистребимый след, который не может не отразиться на всей дальнейшей истории, конечно, непосредственно лишь одного только государства, но через его участие во всемирной истории также и везде. А уж там-то скоро она не исчезнет и в своей интеллигентной форме, хотя... Как я понимаю кур, огорчающихся, смотря с берега на бедных утят, особенно, которых знают. Много у них утят, но утиный век такой короткий стал. Прежде в среднем утке считалось 2 года жизни, а часто и гораздо дольше, а теперь месяца 3 — 4 интенсивнейшего плавания, много полгода, и утка уже варится или жарится [2]). А какие чудные бывают! Не потому они так мало живут, что глупее прежних, нет — это потому, что плавать-то им приходится в море, волны бедных птиц захлестывают. Племянник [3]) давно не пишет. Он, говорят, отчаянный противник утиной породы. Крепко тебя целую.

Саша.

XII [подлинник]

(Писано, повидимому, из Цюриха, 1/13 марта 1899 г.)

Дорогой брат, я не ответила на твое последнее письмо и т[ак] долго не писала отчасти оттого именно, что хотела отвечать на это письмо, где ты еще приводишь отрывок из письма Дмитра. Потому что хотела хорошенько ответить, я отложила до тех пор, пока кончатся очень тяжелые, неприятные заботы, истории, бывшие очень крутыми в начале лета, кончились они (и кончились очень печально; в чем

[1]) Речь шла о том, можно ли считать, что тогдашнее положение марксизма в России имеет и «всемирно-историческое значение», — я по этому поводу высказал в предшествовавшем письме сомнение. *Л. Д.*

[2]) Здесь В. И. имела в виду быстрое прекращение активной деятельности вследствие арестов.

[3]) Племянник — Виктор Петрович Успенский — народник.

они были, долго рассказывать, но такого рода, что со временем и до вас дойдут слухи) в ноябре [1]). Но тогда я очень хандрила, злилась вообще, а главное на себя, критиковала свое поведение (слишком миролюбивое), хворала и проч., а последнее время несколько раз принималась разыскивать то письмо, чтобы перечитать, да так и не нашла. Это, разумеется, не оправдание в долгом молчании, а просто повествование.

Дмитро ошибся, как и ты, принявши мое описание хорошего (лучшего из возможных для меня) житья за изображение очень худого, но он прав, конечно, об'ясняя мое житье (на мой вкус хорошее по сравнению с такими временами, когда не удается жить исключительно умственной жизнью), очень ненормальное, конечно, житье, одиночеством. Но мне кажется, что он не прав, когда говорит, что одиночество тяжело лишь при особом складе характера, как у нас с ним. Иная, мол, на ее месте, при «мировом деле» нашла бы тысячи интересов, а она мучается. Да — интересы-то у меня есть, и я отдаюсь им очень усердно, — с удовольствием к чисто умственным, как в Лондоне, — с отвращением — к таким практическим, какие вышли на деле здесь за последние $1\frac{1}{2}$ года, но я всегда отдаю им все помыслы, — одиночество — вещь, раз навсегда данная, я о ней не думаю (разве, когда не достану хлорала и мучает бессонница), но я убеждена, что ни для кого никакие мировые интересы не могу заменить ближе тебя. Интересы и близкие люди удовлетворяют двум различным потребностям и так же мало могут à la longue заменять друг друга, как еда заменять сон, свет — теплоту или наоборот. Разумеется, когда нет ни того, ни другого, так еще хуже. Мне всегда, как memento mori вспоминаются Полляк [2]) и Анка [3]) (она тоже потом все к чужим семьям пристраивалась и очень страдала, — не знаю, писала ли я тебе, ч[то] она умерла — одна), — такой беды со мной никогда не случится. Но я не могу припомнить ни одного

[1]) Здесь В. Ив. имела в виду происшедший разрыв с Соц.-Дем. Союзом. *Л. Д.*

[2]) Теофилия Полляк — друг Розалии Марковны Плехановой (см. № 2 Сборн.).

[3]) Анна Михайловна Эпштейн — жена Клеменца, друг С. Кравчинского; умерла в Вене в 1895 г. в одиночестве.

одинокого человека, который не был бы печальным. Дм[итро] упоминает Катю [Брешковскую]. Я не знаю ее, так что близких людей, т.-е. таких, у которых не было бы никого не могу хорошенько представить себе ее психологию. Она, кажется, принимается обращаться как с близкими людьми с очень мало знакомыми и может быть создает себе иллюзии. А кстати. Я ведь и раньше знала ее только по рассказам, и теперь опять слышала про нее рассказ людей, видевших ее в прошлом году. Судя по рассказам, она мало изменилась, только всех знакомых вместо того, чтобы звать «сыновьями», зовет «внучатами». Она в Пит[ере] познакомилась с несколькими нашими приятелями и причисляла себя по названию к ним [1]). Но мне кажется, что с этим названием она не связывает определенного понятия, а употребляет его как синоним «хороший человек». Она, напр., говорила им, что вот, Дм[итро] — с[оциал]-д[емократ], а ты — не очень, не совсем. Ну, какой же это могло иметь смысл, кроме того, что Дм[итро] лучше, что она его считает более сохранившим черты хорошего человека в нашем особом смысле [2])? Ведь не взгляды же она имела тут в виду? Я встретила недавно одного паренька (хороший паренек), видевшего недавно Дм[итра], и этот паренек говорил, ч[то] Дм[итро] оставил в нем впечатление человека, сохранившего живые общественные интересы, не опустившегося подобно большинству тамошних стариков. Поклонись от меня крепко Дмитру, когда будешь писать, а насчет «говоренья и неделанья [3]) он (или его собеседник) ошибается: никогда столько не делали. Крепко обнимаю, твоя сестра Саша.

[1]) Этими «приятелями» были П. Струве, Туган-Барановский и другие тогда «легальные марксисты». Они-то затем передали В. Ив. о своих беседах с Брешковской. «По названию» — Засулич имела в виду «марксистов», к числу которых Брешковская себя тогда причисляла по недоразумению, не разобравшись, вскоре по возвращении из Сибири в Евр. Россию, в которой не была около 15 лет.

[2]) Следует заметить, что лично я с Брешковской ни в Евр. России ни в Сибири не встречался; следовательно, если она составила себе то или иное обо мне мнение, то не по непосредственным впечатлениям. *Л. Д.*

[3]) В одном из своих писем Стефанович, с чьих-то слов, заметил что эмигранты много говорят и мало делают или что-то в этом роде, о чем я сообщил Вере Ивановне. *Л. Д.*

XIII [подлинник]

[Из Швейцарии], 16(4) мая 1899 г.

Дорогой брат, на этот раз у меня почему-то явилась охота сейчас же ответить на твое письмо: может быть потому, что я теперь представляю тебя тоже одиноким [1]). Мне рассуждение твое о семейном и деловом типе ровно ничего не говорит. Такая уж большая потребность заниматься не своими делами на свете не так уж очень сильна; у нас она интенсивно чувствуется (в 80-х годах, впрочем, было заглохла) по особым историческим обстоятельствам. Потребность же не быть одному, быть для кого-нибудь из первого ряда людей (т.-е., чтобы у кого-нибудь не было людей ближе, дороже тебя) есть у всех. Удовлетворять ее может и не семья, а товарищество между несемейными людьми (в полках, в монастырях и проч., и проч.). Но чем ближе к старости (если не в монастыре), тем меньше возможности товарищества, меньше шансов их иметь. Несемейный почти наверное останется одиноким, и привыкнуть к этому так же нельзя, как к голоду, пока не умерло то, что душой называется. У ровесников семьи, у молодежи все семьи промеж себя. Они в тебе товарища не увидят. В этом, если хочешь, суть печальной истории, про которую я писала, что дойдет до тебя. Так что практического-то отношения к «мировому делу» у меня теперь нет никакого [2]). Само-то по себе это лишь облегчение моей судьбы. Практическая возня мне всегда была противна (я сюда отношу и такую литературу, где по существу ни единой новой мысли не полагается — «учебники», напр.), и, если иной раз на минутку (т.-е. на несколько месяцев) увлекалась ею, так только, если мне казалось, что, если я не вылезу изо всех сил, так все пропало. Теперь этого нет и не будет. Чувства неодиночества,

[1]) Вера Ивановна из моего письма узнала о смерти Марии Александровны Ананьиной, умершей 25 янв. (6 февр.) 1899 г. в Акатуе.

[2]) Известно, что после происшедшего в Соц.-Дем. Союзе раскола В. Ив. и ее товарищи — Плеханов, Аксельрод и др., отказались от участия в литературных изданиях этого Союза, на что она и намекала здесь, об'ясняя расхождение стариков «членов группы «Освоб. Труда», с молодыми отчасти разными возрастами тех и других.

товарищества, она мне теперь не давала, а только мешала уйти в единственно сносное для меня существование «как во сне», в котором вижу книги. Пошлю тебе книгу, которую я видела во сне [1]) в Лондоне. Но больно было и еще есть, просто как окончательное констатирование, что товарищей больше не будет [2]). И в существовании «как во сне» я все еще не могу уйти, хотя видаю, и то изредка, одного Павла [3]). Он, мне кажется, мало изменился, меньше всех нас. Мы с ним всячески друг друга уважаем, доверяем и проч., но мы лично абсолютно друг другу ненужны. Я его и всегда, как и теперь, только головой хвалила, но не чувством: тебе он был симпатичнее. Говорить мы с ним можем лишь о фактах (и то [друг] друга часто раздражаем), но у нас никогда не бывает таких мыслей, которые показались бы друг другу интересными. Это потому, что он лучше меня. Он по характеру учитель. У него бывают только полезные мысли, а мне они скучны, я ими могу заниматься лишь «по долгу службы».

Жорж много пишет, — все больше полемизирует. Материальные дела Павла хороши (вполне обеспеченных от кефира франков 500—600 в месяц). У Жоржа обеспеченного-то нету, но все-таки по временам большой заработок. Дети у обоих взрослые, уже «молодежь», а не дети. Павловы — геноссы [4]), но получившие взгляды по наследству, не думающие о них, вполне к ним равнодушные. Жоржевы—не геноссы, — просто барышни. Павловы говорят, хотя и не чисто, по-русски, Жоржевы совсем не говорят. Все пятеро не глупые и не очень умные [5]).

Я рада, что Дмитро интересуется моими письмами, и что ты их ему посылаешь. Насчет «говоренья и неделанья»

---

[1]) «Как во сне» — этим выражением В. Ив. определяла свою работу над литературными произведениями, а под «видела во сне» имеет в виду написанную ею незадолго перед тем в Лондоне монографию о Руссо.

[2]) Вера Ивановна в данном случае впадала в чрезмерный пессимизм под влиянием разрыва с членами Союза и сопровождавших его тяжелых сцен, дрязг, ссор; но вскоре затем она и др. нашли товарищей в лице приехавших за границу «искровцев», — Ленина, Надежды Константиновны, Мартова, Потресова.

[3]) П. Б. Аксельрод. *Л. Д.*

[4]) Т.-е. социалисты, члены партии.

[5]) Эта характеристика, едва ли вполне верная и в конце 90-х годов впоследствии оказалась еще более неверной.

вовсе не юнец мне говорил, а ты прислал выписку из письма Дмитра, в которой говорилось, что он так слышал про них [1]) от кого-то и думает, что это верно, что они «больше говорят, чем делают». Юнцу же, наоборот, он сказал, что тот хорошо сделает, если с ними сойдется. В момент, когда юнец с ним виделся, он был в переходном состоянии и говорил ему о своих колебаниях. Он присутствовал при свидании Дмит[ра] с одним старым знакомым дидом-хохлом [чигиринцем]: тот вновь попал в ваши страны, кажется, за избиение штундистов [2]).

Посылаю тебе книгу некоего Карелина. Этот же Карелин писал когда-то биографию Вольтера для Павленковской серии биографий и еще там разные вещи «о буржуазной среде», напр., которые ты хвалил. Пошли и Дмитру на прочтение. Кланяюсь Дмитру, крепко целую; твоя сестра Саша.

Витя давно бросил мне писать, а она и не писала. Витя бросил, кажется, потому, что он, по слухам, ярый народник (но хороший человек) и огорчен новыми течениями.

XIV [подлинник]

(Сентябрь 1899 г.)

Дорогой брат, слух до тебя дошел о моих «материальных бедствиях» самый противоположный истине. Уж одна «отставка» [3]) моего материального-то положения не могла не изменить к лучшему, предоставив мне свободу думать о чем угодно вместо исследования всяких плутней, на чем, конечно, не заработаешь. Дело в том, что ты ошибаешься, предполагая, что видишь причину в печатных источниках. Те-то, наоборот, почти все, кого я знаю (человек 5) милые люди [4]), и «стриговавшийся» [5]) нравится мне даже. Ересей, правда, почти у всех немало, да без этого и быть не могло.

---

[1]) Т.-е. про членов группы «Освоб. Труда». *Л. Д.*

[2]) Этот чигиринец, фамилия которого Чепурный, вторично пошел в Сибирь за то, что, став штундистом, он внутри этой секты основал свою, новую.

[3]) «Отставка», т.-е. уход ее из редакции «Работника».

[4]) Легальные марксисты.

[5]) «Стриговавшийся» — это П. Струве, — выражение, употребленное по отношению П. Струве Н. К. Михайловским в его рецензии по поводу книги Струве «К вопросу об экономическом положении».

Ведь каноническая-то историческая теория [1]) вся на 5 страницах уместится — это едва намеченная схема. Трудно ожидать, что раз головы начали над ней думать, они выдумают как раз одно и то же, хотя это и было бы полезно. Ты скажешь, — а в Германии было же... Да ведь там теорией-то совсем не занимались. Теперь теория в первый раз попала в среду интеллигенции. Их ереси могут бесить и бесят Жоржа, но не меня. Но ведь через них можно иметь лишь такое же соприкосновение с «мировой жизнью», какое они сами имеют, а ведь они же не практики [2]).

Расстались мы со здешними. Главный контингент [их] «патриоты Минско-Виленского отечества». То, что говорил тебе о России (насчет сотен лет) Читинский патриот, они все поют, и на этом основании все и вся стремятся эксплоатировать в пользу собственного отечества. Это именно Минск[о]-Вил[енские]. У южных этого патриотизма нет, но практичнее, загребистее и плутоватее патриоты, и верх за ними. Замешаны были и ереси, но, в сущности, «патриотам» до идей-то дела мало, а лишь до практики. Выдвинули они их против нас и, отделавшись, сейчас же бросили, и теперь — само правоверие. Но дела в их отечестве идут действительно хорошо [3]).

Изо всего этого следует, что денег-то мне теперь меньше чем когда-либо нужно. Ты видишь подтверждение слухов в том, что я не писала в последнем письме о своих денежных делах. А разве я раньше когда-нибудь о них писала? Не помню, но, вероятно, что не писала. Что же о них писать?

---

[1]) Вера Ивановна имела в виду известное предисловие К. Маркса к его «Критике политической экономии», где изложена эта теория.

[2]) Повидимому, здесь она намекала на возникшее среди так называемых «легальных марксистов» критическое или оппортунистическое течение, возглавляемое Бердяевым, Струве, Туган-Барановским.

[3]) Так, очевидно, В. И. характеризовала тогдашних бундистов, а может быть, вообще молодых марксистов, входивших в Союз Соц.-Дем., потому что под «Читинским патриотом» она, очевидно, подразумевала д-ра Ляховского, с которым я познакомился в Чите, куда он попал в админ. порядке: он-то мне говорил, что революция в России будет через сотню лет; между тем он принадлежал к Петерб. Союзу Борьбы, за что и был арестован. Впоследствии Ляховский совершенно отошел от движения и эмигрировал в Нью-Йорк, где также стоит в стороне, но имеет большой материальный успех. *Л. Д.*

Я теперь, как и в Лондоне, опять получила право заниматься какими угодно, а не непременно «полезными» мыслями. А ты так и не узнал одну из бесполезностей, какие мне снились в Лондоне? [1]).

Вот еще бесполезная книжка, которую так хвалит «Монумент самому себе» в майской книжке «Начала». Первая рецензия. Бедное «Начало». Может быть тебя книжка Карелина и заинтересует, ну, почему бы я стала после этого бедствовать?

И я, разумеется, ценю в Павле его «учительские» наклонности. Но ценю отвлеченно, в качестве гражданки (теперь-то, положим, никто у него не учится). Но ведь я-то не ученица. А скучать, я никогда не скучаю. Тоскую иногда, но остро, взволнованно — это не скука.

На вопрос Женьки [2]) я решительно не знаю, что ответить. Жизнь на родине ключом кипит. Сравнительно, по крайней мере, с последними десятилетиями. Но я совсем не знаю условий практической жизни, ничего не могла бы указать. Знаю условия теоретической жизни, но в нем, по-моему, нет задатков писателя, — в 10 раз меньше, чем в Дмитре. Тот-то мог бы писать.

Знаю одно условие: помнишь, как определяли среднюю жизнь в наше время? Теперь она раза в четыре короче. Вместо двух одна половинка, а затем от 3 до 5 лет не жизни. Зоологическая причина та, что животные совсем не линяют, не меняют шерсти [3]).

---

[1]) То-есть, что я не угадал, что под псевдонимом «Карелина» вышла ее книжка о Ж. Ж. Руссо, расхваленная в рецензии журнала «Начало».

[2]) Дело в том, что решив бежать из Сибири за границу, я сообщил об этом Вере Ивановне, спросив ее, найду ли я себе там соответствующее занятие, так как, будучи давно совершенно отрезан от действительного положения нашего революционного движения, опасался, не попаду ли я из огня да в полымя. Ее ответом на это было настоящее письмо, в котором, ради конспирации, она говорит обо мне (о «Женьке») в третьем лице. Как явствует из следующего ее письма, она неверно поняла меня и своим ответом сильно испортила мое настроение, в результате чего задержался несколько мой побег.

[3]) В 70-х и 80-х годах период деятельности и жизни революционера на воле мы определяли в два года, следовательно, судя по словам В. И., в 90-х годах он равнялся только шести месяцам, что она об'ясняла непереходом на «нелегальное» положение: «не линяют, не меняют шерсти». *Л. Д.*

XV [подлинник]

1900 год

Дорогой брат, мне очень досадно, что по чистейшему недоразумению я огорчила Евгения Васильевича [1]): мы подразумевали разные страны и разные вещи. Ты писал, что он «желал бы окунуться в жизнь». Ну, а у меня мысль о Швейцарии связана с мыслью о полном отсутствии жизни, а понятие о жизни с совсем иной страной, о которой я и думала, что ты спрашиваешь. Я и отвечала, что там мне подробно известны лишь условия литературного дела и прибавила (некстати, что и ввело тебя в заблуждение), что к этому-то делу у Евгения нет способностей, прибавила зря, — я уверена была, что об этой деятельности он не думает, а ты понял это как заявление, что «он ни на что не способен».

Про все остальное я просто писала, что не знаю тамошних условий. Теперь я вижу, что Евгений думал о Европе.

Я и о Европе скажу только: не знаю. Я не могу «окунаться» здесь в «практическую жизнь», но ведь мы с Евгением разные люди и прожили 15 лет на разных половинах земного шара. Возможно, что именно там, где я не могу, он может. Да даже и писательство... С одной стороны я ведь судила о его неспособности по тем опытам, которые видела. В иных условиях жизни способность могла зародиться, а затем есть обширные области литературы, где писательской жилки вовсе и не нужно, нужно лишь уменье излагать, а это у него есть. Здесь даже существует литература, для которой наличность того, что я считаю качествами хорошего писателя, прямо не нужно, пожалуй даже помеха (это покажется тебе парадоксом, но, право же, верно).

Я беру назад (хотя и не помню, в чем именно он состоял) и свой отзыв о Минско-Виленских патриотах. Я не думаю, чтобы сюда перебирались лишь худшие (эмиграция оттуда огромная, а из других мест ее совсем нет), но дело в том, что, являясь с враждебными намерениями (они с ними приезжали), они невольно выказывали нам лишь худшие свои стороны. Кроме того, хотя и ты уже не раз сердился на меня

[1]) Т.-е. меня. *Л. Д.*

за стремление быть справедливой к врагам (к Драг[оманову], напр.), хотя и потом я именно этим часто грешила и из-за этого не гожусь для борьбы, тем не менее и я не чужда общечеловеческого свойства не чувствовать к своим врагам симпатии. Для людей же, находящихся с ними в иных отношениях, они, может быть, и симпатичны, а друг для друга даже наверное, я высказала к ним свое суб'ективное отношение, высказала тебе. Мне жаль, что его читал человек, для которого это суб'ективное отношение не может иметь значения. Публично я своих чувств к ним никогда не выражала и выражать не стану. Я писала тебе и никому другому.

Именно про эту не возбудившую в тебе «телячьего восторга» вещь я и говорила, что ею всего больше занималась в Лондоне, с нею года 2 тянулись разные приключения. И другие маленькие вещи того времени ты видал, только не заметил. Здесь и некогда было первые $1\frac{1}{2}$ года, затем нравственные условия стали такие тяжелые, что хотя и время нашлось, но вернуться к прежнему настроению «сновидений» я пока не могу. Желаю всего хорошего в новом месте.

Твоя Саша.

Попробую написать одному знакомому в Нью-Иорк, не знает ли кого в С.-Франциско [1]).

---

[1]) Это письмо мною получено было уже в Благовещенске, и, насколько могу припомнить, оно являлось последним мною полученным от В. И. Адрес в С.-Франциско я просил на тот случай, — если мне удастся бежать, я намеревался проехать через Сев. Америку. *Л. Д.*

П. АКСЕЛЬРОД

ПИСЬМА К Л. Г. ДЕЙЧУ

I [копия]

(Цюрих, 9-го января 1896 г.)

Совестно как-то плакаться о себе 2 недели после того, как смерть неожиданно похитила у нас Сергея [Кравчинского]. Это возмутительно со стороны судьбы: в цвете лет, полный сил и здоровья, приобревши славу и симпатии в разных кругах английского общества, он погибает от простой неосторожности, попадая под поезд желез. дор., который *моментально* убил его! Бедная Фанни [жена Кравчинского. *Л. Д.*] совсем не знает, что с собой делать от отчаяния. Марфа [1]) мне пишет, что опасается оставлять ее одну, так как до похорон она еще крепилась, а с тех пор все толкует о смерти. Так-то, дорогой, окончился для нас старый год и начался новый! Что же и как мне писать тебе под таким впечатлением о себе? Я начинаю думать, что мне суждено еще долго тянуть канитель, быть может до 70 лет [2]). Только что получил письмо от Марфы, в котором опять речь идет о Сергее и особенно об издании на русском языке его английского романа. Ссылаюсь на письмо Марфы в оправдание того, что не продолжаю о себе. Прошу только, не воображай себе меня хилым, еле ноги волочащим. Наоборот. Но довольно о себе. А повидимому, Сергей сохранил больше симпатий к нам, чем к своим деловым коллегам. Не имеешь ли ты сведений о Дмитрии, старом друге Сергея? Адреса Дмитро [3]) ты мне не сообщаешь и об его житье ничего не пишешь.

---

[1]) В. И. Засулич.

[2]) П. Б. Аксельрод не угадал, так как ему теперь уже 75 лет.

[3]) Дмитрий — это Д. А. Клеменц, а Дмитро — Я. В. Стефанович.

Не могу собраться с мыслями, чтобы написать тебе об Энгельсе. Конечно, если судить по количеству и толщине томов, написанных им, то любой многословный профессор за пояс заткнет его. Но европейцы известных кругов судят по *качеству*, да по мировому влиянию его в последние 12 лет. Говорю «кругов», а не одних только увриеров. За исключением полной ненависти статьи полуюнкерского журнала «Preussische Jahrbücher», все органы противников с одинаковым почтением отзывались о нем после его смерти, как о замечательном мыслителе, деятеле и человеке. Для генерального штаба геноссов [1]), начиная с Испании и Италии и кончая Англией, Германией и Австрией, а также Соединенными Штатами Америки, он является духовным центром, отцом и советником. В ожидании твоего ответа, крепко обнимаю тебя и шлю братский привет.

II [подлинник]

Цюрих. 13/7. 1900

Мой дорогой брат!

Получил я сегодня письмо твое, повидимому — для Дмитра, но по ошибке вложенное тобою в конверт, на котором написан мой адрес. По всей вероятности, оно предназначалось для письма к сестре. Как бы то ни было, не желая дать остыть импульсу, полученному от твоего письма, берусь за перо, чтобы побеседовать с тобою. Не знаю, обмолвилась ли когда-нибудь сестра насчет моих разговоров с нею о тебе и Дмитре. Боюсь, что ты меня давно проклял, об'яснив мое долгое молчание изменою нашим прежним отношениям, индифферентизмом к тебе. К сожалению, вполне оправдаться перед тобою я мог бы лишь в личной беседе с тобою, если бы судьба доставила мне это счастье. А пока мне приходится апеллировать только к твоему великодушию и доверию моему слову, как слову порядочного человека: как ни велика моя вина перед тобою, дорогой брат и друг, во всяком случае источником ее было не равнодушие к тебе, не ослабление интереса и привязанности. Кстати, одно боль-

---

[1]) «Геноссами» мы называли товарищей, марксистов, членов соц.-дем. партий всех стран, входивших в Интернационал.

шое послание мое к тебе, по случайному стечению обстоятельств, вернулось ко мне обратно, чуть не несколько месяцев после того, как оно отправлено было для передачи оказии. А затем приступить к письму после значительного перерыва — это уже целое дело. Вот почему я предлагаю тебе вступить в регулярную переписку, при которой нечего смущаться и стесняться недостатком материала и бедностью содержания, обусловливаемого иногда не только внешними обстоятельствами, но и внутренними, — настроением, напр., и т. д.

С чего, однако, теперь начать? Беда, когда долго не пишешь, образуется embarras des richesses, из которого не знаешь, что выбрать. Я выбираю на этот раз тему личного характера. Сестра мне прочла твое прошлое письмо, в котором ты полемизируешь с нею по поводу ее ответа на проект, точнее мечты, твоего друга, о которых ты ей писал. Я тогда же решил писать тебе, чтобы рассеять твое недоразумение или, точнее, раз'яснить недоразумение сестры, ложно понявшей твои соображения. К сожалению, я своего доброго намерения не выполнил сейчас, а затем, по обыкновению, подвернулась всякая всячина, и доброе намерение улетучилось. Сестра, к сожалению, не прочитала мне того письма твоего, которое она так ложно истолковала, благодаря своей нервности и страстности. Я был вне себя, а она, как виновница, была тем более огорчена тем, что так своеобразно поняла тебя. Она вообразила, что твой друг собирается взять на себя роль литературного корифея и вступить в состязание с разными литерат[урными] генералами — à la Михайловский. И как искренний человек, она не считала для себя возможным умолчать о своем мнении. Но могу тебя уверить, что мы высоко ценим его выдающиеся способности как практика (не в узком, мелком смысле, а в широком), как человека, обладающего большой инициативой и организаторским талантом. На днях еще я и Ж[орж], у которого я гостил дней 8, говорили о нем, о его заслугах при основании нашей фирмы, о тех незаменимых заслугах, которые он, и только он один мог бы нам теперь еще оказать. Говорю я все это не затем только, чтобы загладить впечатление письма сестры. Многого не случилось бы, и наше положение было бы, без сомнения, гораздо лучше при твоем друге, чем то, в котором мы очутились, благодаря недостатку тех специальных дарований, которыми он обладает. Но довольно жалеть и мечтать.

Получил я несколько лет тому назад книгу Дмитра. Обрадовала она меня чертовски во всех отношениях, и, конечно, хотел написать ему по сему случаю. Но адреса своего он мне не прислал, а потому я, на авось, послал короткое письмецо на адрес [не проставлен. *Л. Д.*].

Разумеется, писал в соответствующем тоне, но все же питал слабую надежду, что письмо дойдет, и он мне пришлет адрес. Повидимому, он не получил моего письма. Не забудь прислать мне его адрес, а ему ты перешли мой сердечный привет. Теперь, брат, когда нашего поколения так мало осталось и многие связи порвались, старые приобретают особую цену.

Увриерское дело на родине подвигается, несомненно, вперед, но оно не вышло еще из средневековой стадии, и тут-то особенно сказывается недостаток людей, традиции, преемственности. Мы переживаем теперь mutatis mutandis, эпоху, по хаотичности напоминающую 60-е годы в Германии. Отчасти этому содействует то, что и на Западе происходит какое-то брожение классов. Но обо всем этом в другой раз, когда получу от тебя ответ.

Надя [1]) шлет тебе приветов, поцелуев целую дюжину. Дети мои, хотя и не знают тебя лично, но относятся, однако, к тебе, как к родному дяде.

Обнимаю крепко тебя и Дмитра.

Твой верный брат Павел.

Сестра не здесь. Если хочешь, чтобы я читал ее письма и твои к ней, то так и напиши в заголовке: «Можешь читать».

III [подлинник]

11/IV 1900.

Дорогой брат!

Твое письмо я получил как раз в период разгара разных передряг и неприятностей, сделавших необходимой мою поездку к Ж[оржу], которому пришлось подводить времен-

[1]) Жена П. Б. Аксельрода.

ный итог неприятной возне с разными суб'ектами далеко не похвального свойства [1]). Теперь после недельного отсутствия, принимаюсь за перо, чтобы ответить тебе, хотя нездоровится мне и чувствую себя прескверно. Поэтому, не взыщи, будь снисходителен к моему письму, если оно окажется немного или много бестолковым.

Прежде всего большое, сердечное тебе спасибо за твою веру в прочность моих чувств к тебе. Я неоднократно высказывал сестре, что твое христианское снисхождение к моей непростительной неаккуратности, по части переписки с тобою, меня в особенности привязывает к тебе. Я, впрочем, сомневаюсь, чтобы она когда-нибудь обмолвилась в своих письмах к тебе на этот счет [2]).

Сестра здорова — относительно, конечно, — по крайней мере, если судить по известиям от нее, полученным недели 2—3 тому назад. В силу особых обстоятельств, живет она, если можно так выразиться, инкогнито и изолированно [3]). 100 р. от Дмитра получил для нее и, конечно, доставлю ей (т.-е. не я лично). Относительно знакомых в С.-Франциско могу сказать только, что не имею, а постараюсь узнать через моих приятелей, живущих сравнительно по соседству с той местностью. Но ответ едва ли раньше, чем через 5—6 недель, получу. Если бы, однако, наш земляк [4]) очутился бы там, он бы без особого труда мог через местную увриерскую редакцию [5]) разузнать, кто и где из знакомых там имеется, который способен был бы писать корреспонденции в твою газету. «Амурский Край» [6]) я получил за несколько дней до твоего письма и, хотя не с уверенностью, все же указал Наде, какие статьи по всей вероятности принадлежат Ж[еньке]. Мне и статьи и все издание понравились. Но я должен тебе правду сказать, что в подобных обстоятельствах я чересчур поддаюсь чувствам сентиментальным и

[1]) П. Б. Аксельрод здесь имел в виду раздоры в Союзе соц.-дем. и подготовку Плехановым брошюры по этому поводу — «Vademecum».

[2]) Она мне, действительно, не упоминала об этом.

[3]) В это время В. Ив. находилась в Стокгольме на обратном пути из Петербурга.

[4]) Т.-е. я сам, так как мне писали обо мне в третьем лице.

[5]) Он имел в виду рабочую социалистическую газету.

[6]) Эту газету я редактировал в Благовещенске перед моим оттуда побегом. *Л. Д.*

потому лишаюсь способности с чисто литературной стороны трезво на дело смотреть. Я оцениваю литературное явление сквозь призму посторонних ему an und für sich соображений. При всем том, я именно в данном случае думаю, что не увлекаюсь и не преувеличиваю — и именно потому, что не абстрагирую ни на минуту от той среды, для которой орган предназначен, и от тех задач, которые ему приходится преследовать. Я надеюсь в скором времени обстоятельнее побеседовать с тобою и иметь возможность послать тебе подарок. В виду этой надежды и скверного состояния тела и души в настоящую минуту, ограничиваюсь на этот раз предыдущими строками. Я и Надя со всеми моими домочадцами крепко обнимаем тебя и Якова.

Твой Павел.

Х. РАКОВСКИЙ

ПИСЬМО К В. И. ЗАСУЛИЧ

Берлин, 17-го марта 1894 г.

Дорогая Вера Ивановна!

Давно хотел вам писать, да нечего было. Только несколько дней тому назад получил от моего киевского товарища письмо. Он оригиналов (воззваний, про которые я вам уже писал) не мог достать, ни передать мне содержание их: первое воззвание было к рабочим и ремесленникам, второе к крестьянам — оба они *напечатаны*, третье воззвание к студентам, *цинкографированное*. О содержании первых двух воззваний я привожу вам текстуально письмо моего товарища: «в них описывалось плохое положение крестьян, рабочих и ремесленников как в экономическом, так и в политическом отношении. Там говорилось, что все реформы, сделанные правительством *будто бы* для улучшения положения крестьян и рабочих, не более не менее как уступки, сделанные другому классу — классу капиталистов, под покровительством которых (реформ) (этот) класс больше эксплоатирует и грабит низшие классы».

О третьем воззвании к студентам вот что пишет товарищ: «Третье воззвание обращалось к студентам. В нем высказывалось глубочайшее сожаление об (испорченности) их характера, их идеалов и их стремлений; что они пошли совсем по другой дороге (т.-е. сравнивая их с прошлым поколением); что у них нет ни капли самостоятельности, что сделались лакеями полиции; что вместо того, чтобы думать как помочь своим страждущим братьям, валяющимся в грязи и невежестве, и которые во всех отношениях отстали далеко от европейских рабочих, вместо того, чтобы помочь всему этому, они заботятся только [о том], как

лучше одеваться, как более приятно провести время — одним словом, они вдались в разврат и т. д., и т. д. В конце манифест приглашает студентов бросить этот образ жизни, изменить свое направление и чтобы они стали изучать *коренные* причины народных бедствий и должны подумать о поднятии и пробуждении этого несчастного народа, так как интеллигенция есть единственная сила, которая может подготовить пролетариат к борьбе, показав ему путь спасения, и только когда студенчество сделает все это — тогда оно будет достойно своего призвания».

По этим трем воззваниям можно судить, что в России (в данном случае в Киеве) есть люди, которые очень верно смотрят на дело, ушедшие далеко вперед от террористов, видящие спасение России в пробуждении сознания рабочего народа. Что же касается до последней фразы в их воззвании — «о призвании студенчества» — по-моему и это можно допустить даже такому человеку, который мало может верить в революционный инстинкт студентов, которым au besoin de cause [1]) и это может сказать.

Кроме того, товарищ пишет мне, что «книги» читаются с большим успехом. Я хотел бы писать Петрову, что бы в переплете какой-нибудь анатомии прислал IV № Соц.-Демократа, но думал (решил) ждать брошюру Жоржа против Михайловского и Consorts. Впрочем, через месяца три или четыре наш товарищ поедет в Болгарию и на обратном пути он сможет запастись хорошим запасом брошюр и различных революционных соц.-дем. изданий.

Почти две недели как я не бывал у Либкнехта и до меня дошел посторонним путем слух, что Жоржа высылают окончательно из Франции. Мне это передал один русский, которому Либ[кнехт] сказал. И что Жорж хочет в Америку поехать. Не знаю, не то же ли самое и с вами? Мне будет очень жалко, что перед вашим далеким от'ездом не увидимся. Я приеду в Женеву только в конце июля.

Особенного чего-нибудь в здешней жизни нет. Завтра будет, как обыкновенно здесь бывает, 8 собраний в различных частях города по случаю 18-го марта, и я иду вместе с немецкими студ[ентами] соц[иалистами] (они здесь теперь органи-

---

[1]) В случае надобности.

зованы в тайные кружки — так как публично боятся выступать) положить венок на кладбище революционеров — Friedrichsheim.

Самый сердечный поклон Георгию Валентиновичу и Розалии Марковне.

Жму крепко вашу руку.

Ваш Р.

Если у Георгия Валентиновича есть свободное время, я попросил бы его сделать к сочинению Энгельса «Дюринг etc» об'яснительные примечания. Пусть он их сделает к немецкому оригиналу, и когда перевод будет готов, мы их прибавим к переводу.

В. И. ЗАСУЛИЧ

ПИСЬМА К Г. В. ПЛЕХАНОВУ

(90-е годы)

Необходимо предварительно сказать несколько слов по поводу помещаемой нами здесь части писем В. И. к Г. В. Вместе со многими другими рукописями и документами они хранились в находящемся теперь в Париже архиве Г. В. Плеханова, откуда и были мною извлечены летом 1922 года. Письма эти относятся, главным образом, к середине и концу 90-х годов, когда В. И., изгнанная французским правительством из Савойской деревушки Морнэ, переехала в Лондон (в 1894 году), а затем, в начале 1897 г., оттуда переехала в Цюрих. Но, несомненно, что она переписывалась с Г. В. также и в 80-х годах, когда временами уезжала сперва из Женевы, затем из Морнэ в другие города: на это, между прочим, указывают помещенные нами в № 3 нашего сборника письма к ней Г. В., ответов на которые не оказались в его архиве, где также не нашлись и его письма в ответ на здесь помещаемые, равно как нет там и писем многих других ее корреспондентов, в том числе — моих, Стефановича, Анны Кулешовой (Турати) и других друзей, приятелей, знакомых. Несомненно также, что В. И. не уничтожила никаких ни рукописей, ни документов, тем более получаемых писем. Ясно, что огромный ее (а также и мой, оставшийся у нее после моего ареста во Фрейбурге) архив попал в чьи-то руки после ее от'езда в конце 90-х годов в Петербург. В чьи именно, — могу лишь строить догадки. Оставляя в стороне лойяльность, этичность поведения этих таинственных укрывателей чужих, очень ценных, материалов, замечу, что поневоле приходится пока печатать нижеприводимые письма, хотя мы и сознаем чрезвычайное затруднение читателя ориентироваться, понять в них многое, не имея ни предшествовавших им ее писем, ни ответных Г. В. и других лиц.

Отчасти по этой причине, но также в виду отсутствия на преобладающем большинстве из этих писем дат, нам пришлось затратить неимоверно много времени, — в сложности, вероятно, не меньше нескольких месяцев, — чтобы

расположить их сколько-нибудь последовательно, при чем мы заранее уверены, что едва ли нам это удалось, — все это, повторяю, благодаря таинственному укрывателю архива В. И. и моего.

Нужно ли говорить о том, что, несмотря на все эти из'яны, помещаемые здесь письма Засулич к Плеханову представляют огромный интерес как своим содержанием, так и своеобразным языком и только В-е И-не присущей манерой писать.

В заключение еще раз обращаюсь ко всем тем, к которым еще не дошли мои прежние просьбы, возвратить сохранившиеся у них письма В. И., а также Г. В. и мои. *Л. Д.*

P. S. Настоящая рукопись давно уже была мною сдана в печать, когда я получил от Роз. Марк. Плехановой из Берлина сообщение, что ей передана из архива П. Б. Аксельрода часть хранившихся у него моих и Я. В. Стефановича писем из Сибири к В. И. Засулич. Возможно, что со временем найдутся и другие оставшиеся у В. И. письма. *Л. Д.*

1

Цюрих, 22/VIII 1891 г. (откр.)

Дорогой Жорж, посылаем 50 франков: они в Германии собраны вообще на литературу. Посланы на адрес Лифшица. Хорошо, кабы можно поскорее отпечатать ваши воспоминания [1]), чтобы брошюра для рабочих была готова. Если ее к 1-му мая послать в Америку, наверняка много и быстро распродалось бы. Да и в других местах.

Здесь не получено еще ни одного экземпляра нашего доклада, и здешняя публика этим очень огорчается. В Берне еще при мне был 1 экземпляр, но я его там и оставила. Кричевскому я (Павел молчал) так ответила, что, по-моему, целый лист ответа на такую глупость много и, вообще, пока трудно решить окончательно о печатании этого ответа. Каков-то у них будет номер газеты да и выйдет ли?.. Словом, уклонилась. Ладно сделала? Успокойте мою душу — напишите или попросите кого написать, посланы ли в Берн по 100 экземпляров трех книжек нашего журнала [2])? Боюсь, будет поздно! Я переселяюсь завтра к Грейлиху [3]), одна.

[1]) Имелся в виду — «Русский рабочий в револ. движен.». *Л. Д.*
[2]) «Социал-Демократа».
[3]) Лидер швейцарской соц.-дем. партии.

Пока отчаянно кашляю и не сплю от этого по ночам, да и не мудрено — скоро неделя с утра до ночи на людях. Что это у вас рука болит, говорит Крич[евский]? Ревматизм?

Ваша Вера.

2

[Цюрих. Летом 1893 г.]

Дорогой Жорж, меня страшно мучают и мои вины и бездействие здесь. Я, действительно, дурно сделала, пропустивши мимо ушей о письме к председателю и поклонившись Левиной. В последнем виноват весь мой характер, недопускающий никаких грубостей spontanément [внезапно]. Я могу их делать, только заранее надумавши, что такую-то грубость надо сделать, а об Левиной раньше не подумала. В этом я виновата, но не думайте, бога ради, что я теперь к этой истории отношусь, как к мирной. Тогда, по-моему, не было оскорбления, а теперь оно есть, и я чувствую его всей душой. Меня мучает теперь такое опасение. Лев[ины] могут не заявить суду о моем письме, а вы тоже не вызовете меня в качестве свидетельницы, — решите устранить меня за мои вины. А я непременно хочу быть на суде: я уверена, что буду более действительной обвинительницей, чем вы сами. Это уж я надумала и буду. Не опасайтесь моего, по-вашему, «изменнического», характера. Нельзя ли, раз Лифшиц меня обвинять не будет, мне явиться обвинительницей, обиженной стороной? Это удобнее, чем свидетельницей. Я каждую минуту порываюсь в Женеву. Строю планы, а потом остаюсь. Я боюсь, что вы так злы на меня, что будете недовольны моим приездом, об'яснения будут затруднены, выйдет одно взаимное терзанье.

Меня мучает, что я слишком мало выступала в этом деле. Простите меня, Жорж, и помогите выступить хоть на суде или еще, как придумаете [1]).

Ваша Вера.

[1]) Содержание этого письма относится к третейскому суду, на который вызвала Р. М. Плеханова некую Лифшиц за клевету: подробно она об этом сообщила в примечаниях к переписке Плеханова с Аксельродом. *Л. Д.*

3

Рейньер [вблизи Морнэ], 22 марта 1894 г.

Дорогой Жорж, хозяйка по своему безграмотству просит меня предупредить вас, что на будущей неделе неукоснительно сделает на вас нашествие. Думаю, на этот раз будет упряма и проживет у вас хоть до мая, пока не достанете. Меня она тоже ежедневно спрашивает, не получила ли я денег. Я ей сказала, что жду, так как сестра действительно писала мне, что постарается прислать хоть рублей 20.

Павел уж недели 2 тому назад писал мне, что «на днях» пришлет (я его об этом просила) мне «Русское Богатство», где статья Михайловского.

Боюсь, что для экономии он послал книгу на Женеву и она валяется у вас. Если это так, то, ради всего святого, черкните мне только одно слово: «да». Я за ней тогда нарочно приду.

Ваша Вера.

Как у вас с отсрочками? [1]).

4

Пятница вечером. [Лондон, в 1894 г.]

Милый Жорж, я набросилась, наконец, на музей: вот 3 дня, как сижу там с 10 ч. утра до 6 ч. вечера. И домой среди дня не бегаю, а там пью кофе с чем-нибудь. Устаю отчаянно, но на душе как-то лучше. В музее веду себя в роде вас: столько натаскиваю книг, что относить их приходится в 2 раза, поддерживая бородой. Если будет продолжаться моя музейная горячка, курить совсем отвыкну, потому что, не куривши целый день, я и дома еще часа 2 не могу курить: голова кружится, пока не отдохну и не наемся. Музеем только и можно увлекаться, когда читаешь для определенного писанья. Тут точно сразу 20-ю глазами читаешь сравнительно с обыкновенным чтением, при котором никак нельзя совсем забыть, что хочется курить, есть, поваляться, что колет боль.

---

[1]) В. И. имела в виду временное разрешение Г. В-чу со стороны правительства оставаться в Швейцарии. *Л. Д.*

Пойду в воскресенье к Энгельсу, если только за день отсутствия музейной горячки не развезет меня, как по вечерам. Вот и теперь, мне даже писать вам лень, хотя, вообще, это занятие самое приятное. Сегодня читала Oeuvres de Max. Rob. [1]). Недаром его Л[уи] Бл[ан] любит, — умы у них родственные, хотя не характеры, конечно, и оба, ударяясь в красноречие, обезьянят манеру Руссо.

А с устными спорами, я думаю, вам придется проститься. Если загоняете, как вы надеетесь, Мих[айловского], никто с вами спорить не станет, — будут бояться. Сам, мол, медведь не устоял — уж где же мне! Или разве уж совсем глупенький ребенок выскочит. А что же Жук [2])? Вы как-то писали, что его хотите подкараулить?

Да, знаете ли вы, что Лиза Лурье [3]) уж давным-давно вышла замуж за француза (которому я послала вашу ру-

---

[1]) Робеспьера. *Л. Д.*

[2]) Ник. Ив. Жуковский. *Л. Д.*

[3]) Лиза Лурье появилась в Женеве в конце 80-х годов и сразу заняла выдающееся место среди студенток местного университета. Она также приобрела симпатию эмигрантской среды. Молодая, стройная, с красивым немножко цыганского типа лицом, она очаровывала окружающих. С симпатичными, простыми манерами она соединяла ум, веселый характер и остроумие.

Социалисткой Лиза сделалась еще в России, где она принадлежала к киевским революционным кружкам. Образ ее мыслей носил вначале слегка анархический характер, но очень скоро под влиянием группы «Освобождение Труда», в особенности Веры Засулич, она сделалась социал-демократкой. Ее влияние на русское студенчество в Женеве было большое и благотворное. Она устраивала социал-демократические кружки, собирала средства, пописывала статьи для социалистической газеты.

В 1893 году Лиза уехала в Париж, чтобы закончить там свое образование по общественным наукам. Там она также завела широкие связи в социалистической среде, русской и французской. В последней, неизбалованной в то время выдающимися идейными женщинами, она приобрела особое влияние.

В начале 90-х годов она вышла замуж за француза, студента-юриста Sarraute, который из ярого католика обратился в социалиста, в значительной степени под влиянием своей чародейки-жены.

Лиза Лурье была одной из редких русских женщин-революционерок, которая продолжала до самой смерти живо заниматься русским революционным делом, несмотря на то, что целиком погрузилась в социалистические интересы своего нового отечества. Она умерла во цвете лет от легочного туберкулеза в 1910 году. *Р. П.*

копись анархистов)? Бедный Сел. уж б[ыл] в отставке, когда здесь был! Кабы я знала, б[ыла] бы с ним любезнее от жалости. Русских уж скоро месяц, как никого, кроме Берви [Флеровского], в музее не видала и даже начала забывать, что они есть на свете. Вы как-то советовали Кита [1]) не забрасывать на том основании, что он животное честное и хорошее. Я совершенно согласна, что честное и хорошее, но о чем с ним говорить? Гинзбург [2]) сам молчит, но по крайности знаешь, что по его соц.-дем. званию он должен интересоваться всем соц.-демократическим, ну и трещишь сообразно с этим. А Сергей? Не придумаешь ему темы; ехать же такую даль, чтобы помолчать, как-то обидно. А мне вот сейчас только пришло в голову, что, должно быть, бросилась я в музей под бессознательным впечатлением вашего последнего письма. Хоть вы меня и не «в то место» похвалили, а все-таки подействовало ободрительно.

5

Вторник

Милый Жорж, получила ваше письмо от воскресенья. Мое это письмо не пойдет, должно быть, ни нынче ни завтра, так как почта вместе со всем прочим заперта, вероятно и из ящиков не вынимают. Но часа через $1\frac{1}{2}$ я должна отправляться к Фр. Кар., и у меня — отчасти от этого, должно быть, а отчасти от высказанного вашим письмом раскаяния, что я все еще пока думаю не о Руссо — не читается стоящая на очереди 23 глава 5-го Abschnitt'а [отдела] «Капитала»: «Zins und Unternehmergewinn» [Цена и предпринимательский доход].

«Кот» [3]) несомненно простейший кот. Мне даже кажется теперь, что вы воображали его менее простым, чем он есть.

А знаете, я вам готова головой поручиться, как будто бы это своим умом подслушала, что Н. — он [Н. Даниельсон], которому старик [Энгельс] давно посылал корректуры, рассказывал их содержание Кривенке. Оттуда он и взял свою фразу о падении прибыли вместе с уменьшением доли рабочего. Оттого-то я и думала, что Кот представляется вам менее простым (ангорским, что ли?), чем он есть, что вы на Кривенку напрасно за это кричали. По «Капиталу» так оно и есть. Уровень (Rate) прибыли падает одновременно с увеличением степени эксплоатации рабочей силы, с ростом Rate Mehrw[erth] [уровень прибавочн. стоим.]. Не будет никакой нелепости представить себе уменьшение — не то что уровня, а даже массы прибыли—при продолжающемся росте Rate Mehrw[erth]. Я со страхом стараюсь сообразить, не могли ли вы в посланной уж статье где-нибудь лягнуть за это Кривен. так, что я не заметила? Слава богу, кажется, не могли, а при мне не касались этого. Вы скажете, что это маловерие и что вы отлично бы вывернулись. Может, и вывернулись бы (сведя вопрос с меновых на потребит. стоимости — разве, да и с большим грехом пополам), а все ж Кривенко и Н. — он были бы в восторге. Успокойте вы меня насчет этого.

Написан этот том местами очень беспорядочно с повторениями, с длиннейшими, ничего не прибавляющими об'яснениями того, что сразу ясно. Иную главу положительно нельзя читать «так-таки уж без всякой мины». Но в общем Кот со своей простотой принимает по мере чтения громадные размеры (с музейного кота M-me Войнич) и возбуждает у меня в голове массу беспокойства. Если бы вы были тут, вышел бы на меня огромный крик. А кабы еще и Павел, не жить бы мне на свете. Я, например, готова уверять, что Англия сама по себе идет ничуть не к социализму... «Ну, да уж пусть»... В Капитале-то этого не сказано, это я соображаю, прибавив к «Капиталу» еще и то, что психология английского пролетариата уже успела приноровиться к капитализму... Это вам и Ф. Кар. говорит. И полнейший неуспех здесь социал. пропаганды говорит. В сущности, все это надо бы мне выкинуть из головы, чтобы приниматься за Руссо, да уж втянулась в «Капитал», не могу не кончить. Хотелось бы мне с Ф. Карл. поговорить, да не смею ему даже и сознаться, что читаю «Капитал». Так мне и кажется, что он удивится и начнет мне что-нибудь об'яснять, как малому ребенку, и я сконфужусь и замолчу. В первое воскресенье

[1]) Одна из кличек Сергея (Кравчинского). *Л. Д.*
[2]) Бор. Абрам., он же Кольцов. *Л. Д.*
[3]) Так В. И. называла III т. «Капитала».

после вашего от'езда я у него не была — бок очень болел, а третьего дня была. Был чрезвычайно любезен, но «Капитала» не подарил. Снесла я ему армянский журнал. «C'est ce que je ne lirai pas! Oh non! Merci»... [Этого я не буду читать! О, нет, мерси!..]. А потом прибавил, что армяне это не более, как «matière à atrocity» «материал для жестокости» в пользу России. Ну не злая ли тварь? Он думает, что закон против с.-дем. в Германии не пройдет. Что юнкера, забравшие Вил[ьгельма] в лапы, хотят не закона этого, а столкновения с парламентом, мечтают, быть может, управлять без парламента, который не исполняет их таможенных требований. Ну, иду к Ф[ридриху] Кар[ловичу].

Среда

Обед у Ф[рид.] К[арл.] был парадный. Индейка ростом с 2-годовалого ребенка. На всяком приборе букеты и билетики, кому прибор. Посылаю мой билетик, показывающий старание старика писать по-русски. Гостей, кроме тех, что и вы встречали у него, были всего только Моттелеры. Скука мне была весьма основательная. Приглашена опять на такую скуку под новый год. Обещала быть, но уж не знаю — не заболеть ли? В действительности-то у меня нездоровье какое-то бывает после беготни, вот сегодня, а то ничего, здорова.

Селитренного [1]) уже нет. Уехал официально в Манчестер. При таких хороших условиях, что я должна была сказать, что отлично делает, что едет. Ему, впрочем, по пути придется еще подождать осуществления условий. Адрес у меня есть. Крыстя [2]) в Нанси, а где Рябова [3])?

«Предисловие» я уже послала Павлу с тем, что если реферат в пользу ссыльных дают путные люди, пусть отдает, а нет — пусть бросит.

Притворяйтесь вы с интеллигенцией, будто грустны, хандрите. Самый лучший способ гонять ее без обиды.

Крепко жму руку.

Ваша Вера.

---

[1]) Эмигрант, близко стоявший к группе «Осв. Тр.».
[2]) Раковский.
[3]) Его невеста.

6

(Лондон. 31-го декабря 1894 г.)

Милейший Георгий Валентинович, — это в самом деле хорошее учреждение — писать в субботу, если когда без обману: встаешь в понедельник и уже знаешь, что внизу лежит письмо. Опять пишу вам пред уходом к Фрид[риху] Карл[овичу] [1]) встречать новый год. Положим, там, вероятно, будет шампанское, но тем не менее меня просто страх берет перед путешествием: погода (все хвалят), но, по-моему, просто ужасная. Очень ясно, ни тени тумана, но мороз, скользко и страшный ветер. Уж пора бы итти, а я принялась писать, именно чтобы выиграть время. Я ведь и не говорила, чтобы Кот был плох. И, напр., последняя глава, [которую] я сейчас читала, — об Arbeitsrente [рабочей ренте], — мне очень понравилась своей историчностью: из нее выходит, что когда (en grand в истории) средства производства принадлежат производителю, то для получения с него прибавочной стоимости он, производитель, сам более или менее кому-нибудь да принадлежит (не свободен), — то государству (на Востоке и у нас), то феодалам. Нет, Кот-то недурен, но Фр[идрих] Карл[ович], из излишнего почтения, все же выпустил его в публику неумытым и непричесанным...

7.

1895 год, 1 января

Поздравляю с новым годом! Проснулась я нынче совершенно несчастной: вчера от Фрид. Карл. всей компанией 2 часа [пришлось] бежать пешком: конки уже не ходили. А ветер при морозе был такой, как в Женеве в самую страшную бизу. Сегодня у меня с ½ дюжины болезней: зубы болят, голова и полепины, вдобавок кашель бередит и голову и спину. Ну, зато теперь праздники прошли, и можно будет недели 2 ровнехонько никуда не показываться. Вчера немцы все старались острить и рассказывать страшные

---

[1]) Так мы величали Энгельса.

анекдоты. В особенности старался немец, который сидел недалеко от вас на социалистическом обеде — что-то вроде Шоу называется он. Я и понимала их, и переводили-то мне, а все-таки никак не могла схватить, чем они смешны. Должно быть, как и еврейские, они смешны только на родном языке. Пришла я поздно и подле Ф[рид.] Кар[лов.] места б[ыли] заняты, т[ак] что я села далеко. Со своей обычной любезностью он сейчас, как от'ели, приволок стул и сел подле меня. Я решила заговорить о Коте и для подготовки завела разговор о безнадежности и никуда негодности здешнего социализма. Он принялся renchérir [усиливать, увеличивать] эту же тему: здесь и всеобщее избирательное право не будет иметь никакого значения, — рабочие им не воспользуются; для самостоятельного участия в выборах надо тратить деньги или труд, как в Германии, а английский рабочий пальцем не пошевелит и копейки не даст, раз не рассчитывает получить от этого прямой денежной выгоды. Счастье Германии, что политическая буржуазная революция в ней так запоздала, что досталась на долю уже проснувшемуся рабочему классу. Это не дает немецк[ому] рабочему классу уйти в чисто ремесленную борьбу, как английский, поддерживает в нем общественно-политич[еские] интересы. То же счастье предстоит и России: по нашим словам, в ней рабочий класс читает, просыпается, следовательно, примет сознательное участие в политич[еском] освобождении. Это как раз подвело меня к тому, что мне хочется ему изложить. Ну, мол, а без нас с Германией? Не подсказывают ли его же собственные, Энгельсовы, примечания и добавления, что анархия в производстве уменьшается, — кризисов-то с 1867 года нету и на прежний фасон больше не будет? — Schwindel был результатом незнания капиталистами того всемирного рынка, на который они производили. Теперь телеграфы, быстрота сообщений и проч. сделали то, что рынок они знают и уж не фантазируют, что сколько ни производи, где-то кто-то купит. Маркс говорит, что, сосредоточившись в руках очень крупных капиталистов, производство должно задремать (einschlummern), перестать гоняться за Extraprofit'[ом], а следовательно, перестать усиливать производительность труда, «уширять» производство и проч. Вот это самое и делают (и делают сознательно) картели. Сосредоточивши целую отрасль

производства в своих руках, поделивши между собою рынок, картель не имеет никаких резонов впасть в Schwindel и очень мало резона усиливать производительность труда. Конечно, картели только облегчают планомерную организацию производства захватившим власть пролетариатом, да у английского-то пролетариата нет никакой психологической возможности такого захвата и организации, и английская жизнь an und für sich [сама по себе] вовсе не идет к развитию этой психологической возможности. Но это я вам излагаю, а ему-то только что собралась с духом начать, как б[ыло] заявлено, что всего 5 мин. остается до нового года и надо готовить стаканы. Так я и не созналась в чтении Кота. — Шампанского... не б[ыло], а какая-то кислятина. Сегодня утром я получила Money Order [1]) на 39 шилл. и опять в сомнении, от кого? Положим, Павлу даже и не суметь так послать, но от вас это слишком много, — ведь «на комод» вы еще не могли получить (ой, как голова болит, пока писала о Коте, было забыла о ней). А вы не думайте, что меня эти мысли огорчают. Ни на волос, — я «саморазлагающегося» капитализма никогда не любила, а эти мысли увеличивают для меня значение идеологии. — Напишите, вы ли послали, а то я в сомнении—не осмеливаюсь итти получать: на ордере говорится не давать — кто не скажет имени. А вчера Элеонора спросила ваш адрес, чтобы послать вам 15 шилл., которые, она думает, получатся на этой неделе, так как начато печатание в «Викли Таймс» ваших анархистов. — Я ей сказала, что вы их мне предназначили; она, конечно, ничего против этого не имеет. Таким образом я становлюсь ужасно богата. Могу вам вернуть часть, а коли не надо, так куплю себе даже стеганое пуховое одеяло, а то стало по ночам страшно холодно, и я натаскиваю на себя все платья, не исключая парадного. — Непременно пришлите «Неделю». Злиться на противников для человека очень полезно. Верну вам ее в целости вместе с Котом, на котором не найдете ни одного портрета моего пальца, — я как только замечаю такой палец, сейчас его вылизываю.

Ваша Вера.

---

[1]) Почтовое извещение о деньгах.

Гермафродит [?] мне Струве не оставлял, я и не знала, что он у него. Он поступил на службу к торговцу мехами. Они их закупают на месте производства. Но это большой секрет [1]).

8.

Лондон, 1895 год

А какая лиса! Она даже Гегеля не читала и воображает, что не придут собаки и не вытащут ее за морду! А славная книга [повидимому, Бельтова], — мне в первый раз случается прочесть книгу этого происхождения, как читателю, а то я всегда заранее знала, что в ней будет. Я днем вчера не позволила себе читать ее и зачиталась ночью — всю прочла и сегодня готова злиться на автора за ее занимательность, т[ак] как совсем почти не спала, вдобавок, она и теперь вертится в голове и мешает работать. Если бы вы меня оставили в покое с другими работами, я скоро кончила бы Руссо, но, если не кончивши, я должна буду написать статью, — не знаю.

К какому сроку нужна эта статья? Напишите непременно, я до тех пор не начну, не брошу Руссо. Я мечтаю, нельзя ли его сперва кончить, а потом ту написать.

Напишите мне адрес Водена [2]) *непременно*.

Ах, кабы вы могли понять, какая мне грозит беда! Ф. уже за что-то злится на Назарбеков [3]), и я боюсь, что она предложит мне поселиться вместе. Ведь это значит взять на себя все заботы о ней, все помыслы на ней сосредоточить. Бросить все работы, — это две вещи не соединимые, — иначе буду только злиться (как во время Шмул[евича]) и портить обе. Месяц у нее я могла думать только о ней, но именно потому, что месяц... Я не люблю ее достаточно, чтобы сосредоточить на ней весь смысл своей жизни и долго все равно не выдержу. Я должна отказать. Но хватит ли у меня на это злого мужества? Она недавно одна у меня была и говорила, что не хочет жить у Н[азарбеков]: «у них, мол,

[1]) Эта приписка, очевидно, имеет иносказательный смысл. *Л. Д.*

[2]) См. о нем в № 2 нашего сборника.

[3]) Супруги, армянские социал-демократы.

столько интересов». Надеется, кажется, что у меня их нету. Я стараюсь не вспоминать об этом, а все-таки лезет в голову. Как мне быть?

Ваша Вера.

150 фр. из Берна я не получала. Но денег у меня немного есть. Во время пребывания у Ф. сестры прислали 50 р. И через англ[ичан] из Питера — 30 шилл. Коли не визжу, значит есть. Кабы очень плохо пришлось, завизжала бы вам или Павлу.

9

Лондон, 1895 г

Дорогой Жорж, деньги получила, как увидела я в вашей карте, что вы их отправили «Надежде», я, было, думала, что не от этого ли и [от] Гуковск[ого] деньги не получаются? Меня Элеонора своим умом в музее записала Верой Бель, — я нашла, что так и лучше. Паспорт ведь все равно в Монетье [1]) остался. Я и у хозяек и на почте везде стала расписываться V. (В.). Но нет, выдали без разговору.

Была третьего дня у Энгельса, — ничего интересного. О книге Бельтова не говорил, — верно еще не прочел; говорил только, что вы ему прислали «письмо к царю», должно быть, то, с которым «Фонд» все носится.

Пишу в музее в ожидании книг. Погода стала сравнительно теплейшая, но именно теперь почему-то свирепствует инфлуэнца. Из знакомых (Мендельсоны, Моттелеры) побаливают с неделю да и выздоравливают, а лондонцы-англичане, по газетам, мрут, должно быть, из unemployed (безработных).

Книги пришли. Письма от вас утром не было.

Ваша Вера.

10

Лондон, 1895 г

Милый Жорж, болезнь у меня продолжается, но ведь это обыкновенная болезнь, которая каждую зиму разок-другой непременно бывает и без мушки или с мушкой все

[1]) Деревушка над Морнэ, где одно время жила Вера Ивановна.

равно проходит. На этот раз их, положим, соединилось несколько сразу. Кроме кашля с лихорадкой, еще ревматизм и невралгия (½ носа). Благодаря Элеонориным морфийным лепешкам, по ночам я все-таки кое-как, хоть и немного, да сплю, но зато главный кашель перебрался на утро, и в музей ходить решительно нет возможности, а чтобы кончать Руссо, мне необходимо натаскать всяких свидетельств о том, как именно перевирали его разные его «ученики», сообразно со своим временем, направлением (у него были с самыми разнообразными направлениями) и положением.

Фрейбергеру [1]) вы написали, конечно, совершенно напрасно, но я надеюсь, что он и не придет. А если не придет, то мне от вашего письма будет одна польза — можно будет приличным образом еще одно (в последнее — вчера — не была) воскресенье не быть у Энгельса.

Элеонора мне еще раз дала 15 шилл., всего два раза. С них мне, конечно, бы не прожить: 15 шилл. нехватает при всем старании даже на неделю (с квартирой), а она дает через 2! Но у меня тянулись — и теперь еще потягиваются — деньги, присланные из Цюриха.

У Мендельсонов [2]), действительно, к сожалению, всего веселее: разговор там всегда о чем-нибудь интересном, не хозяйственном, по-французски. И еще у меня нет ощущения, чтобы они занесли меня в категорию «Mann» или «Frau der That [«человек или женщина дела»] — категорию в высшей степени «многоуважаемую и почтенную», но которой от самого бога полагается быть лишь слегка умнее пробки. А немцев я в этом сильно подозреваю. Русских давно не видала. Наслать вам их... Н., напр., на меня не удастся, — будут себе говорить, зачем не живет ближе, тогда бы ходили. К..., конечно, животное честное, но бы-

---

[1]) Д-р Фрейбергер — д-р, лечивший В. И. по рекомендации Энгельса.

Л. Д.

[2]) Известный польский социалист, женился на не менее знаменитой Марии Яблоновской и стал присяжным поверенным в Лондоне, отличался большим скептическим умом; в 80-х годах был выдающимся пионером социалист. движения в Польше; впоследствии разочаровался, стал «критиком» Маркса и в этом отношении имел большое влияние на оппортунизм Э. Бернштейна. Умер в Варшаве еврейским националистом.

Л. Д.

вать там и холодно и zwecklos [бесполезно], скучно. Они-то сами все M-me der That, — какая-то ursprunglich Stumpfheit des Gemüths [1]). Кроме этого, я совсем уже почти здорова. Так что пока одно мне с ним горе. — Ходила в музей и прочла, что Луи Блан говорит о Руссо: вот противная дрянь! Он перед ним на коленях, считает учителем и родоначальником своего социализма и при этом тщательно вычищает его от всех решительно мыслей, оставляя при самой малости sentiment.

Послала вчера рукопись заказной. Деньги Гуков[ского] продолжают не приходить. Элеонорка ужасно пристает (карты пишет для этого) написать в ихней «Clairon» для 1 мая 3 mots. Мне бы ей просто хотелось сказать: «отвяжись, постылая!» Но знаю, что нельзя и, чтобы отговориться, надо длинно разговаривать, так что выгоднее написать.

Ваша Вера.

11

Четверг ночью. 1895 год

Ловка статья Мих[айловского] в том смысле, что, сумев с видом большой основательности доказать целых 3 «недобросовестности», как он говорит, Бельтова, он мог с полным приличием умолчать о наиболее едкой у Бельтова стреле в него («фиглярство» по поводу Жуковск[ого]).

А что у Н. — она делает «аналогию вместо денег»?

Фрейбергер вторично не был, конечно, как и следовало ожидать. Только вы его, пожалуйста, не трогайте. Ну, какая ему может быть надобность, чтобы я была здорова? Я здесь теперь в первый раз живо поняла, до какой степени человек (солидный, деловой и добычливый, каковы здесь все и немцы, и русские, кроме глупенькой, полуграмотной и полуголодной девочки Абрамовой) человеку волк, только не в смысле «бестии», кусающей врагов — для волка это идеализм. Да и лекарства Фрейб[ергера] мне ничуть не помогают. До какого места я себя вылечила хлоралом,

---

[1]) «Дама дела», — «первоначально тупость чувства», — повидимому, ссылка на какие-то известные Плеханову обстоятельства или лиц.

Л. Д.

так и остается. Кашель остается сухим и болезненным, хотя и не такой частый, как до хлорала, и слабость большая, а главное я и часу не могу, даже после кофею, интенсивно думать и писать, — сейчас туман в голове и спать захочется, а только лег[ла], уж расхотелось, начинает мучить мысль, что можешь и могла бы кончить статью, а она ни с места. Книги, кроме «Богатства», не приходят. Деньги тоже, и с ними, наверно, вышла ошибка. Но деньги у меня еще есть. Да к тому же в Сити лежат 30 м., за которыми не иду по болезни. Нет, уж где мне сделаться хорошей «Блонда-бестией»! Хотя я, право, желала бы. Война идет настоящая! А что делать со статьей Элеоноры, когда она ее представит? Какие дурацкие последние страницы их «письма» в «Богатстве» о литературе! Плохо даже для «одностороннего фельетона». Пишите бедному зверю, хотя он по беззубию и не годится в «бестии». Так мне тоскливо...

Ваша Вера.

12

Лондон, 5/IV 1895 г

Спасибо, милый Жорж, за «Русское Богатство». Слава богу, никакого зла не приносят моей статье Мих[айловский] с Кудриным.

А где писал Туган-Барановский? Нет у вас его? Можно ли о нем выразиться без почтения? Или сказать: мы, мол, не читали?

Упомянуть-то мне хочется только по поводу трагического положения Т[уган]-Б[арановского] на месте Смита и оба вышли из Волукамска [?]

Кабы вы знали, как я спешу и стараюсь. Но дни как-то ужасно коротки, хотя сплю самую мелочь.

Беда тоже, что и не оглянешься, как уж опять не то есть хочется, не то голова кружится. Элеоноре написала самое настоятельное воззвание о статье для майского №. Я и сама это письмами не считаю. Напишу настоящее письмо, когда эту статью кончу, кажется, очень скоро. Чтобы скорее и чтобы не так я мучилась, попросите Розалию Марковну прислать хлоральные порошки. Не дают тут в аптеках и нет знакомого доктора. А по рецепту женевскому также, пожалуй, не дадут.

[Письмецо к Роз. Марковне.]

Дорогая Розалия Марковна, если бы вы могли мне прислать хлорала (порошки), величайшее вы бы мне сделали благодеяние. У меня был, а теперь нету. Меня и Жорж очень спешит и сама я не умею писать, иначе, как скоро с большим азартом, а из-за этого азарта почти не сплю. Не могу засыпать. Если прерывать это время от времени сном при помощи хлорала, то силы не теряются, а иначе ужасно слабеешь. Ради бога, пришлите и побольше, если только возможно. Очень буду вам благодарна.

Ваша Вера.

13

(Лондон, 1895 г.)

Милый Жорж, вы наверное думаете, что я, наконец, приобрела хороший насморк и поэтому запоздала с ответом. Но насморка у меня [нет], и погода стоит хоть и туманная, но теплая, а болезнь моя совсем другая и заключается в одной моей злости. Вот уже 2-ю неделю, как у меня живет Шмулевич. Он добрый человек, знаю, что предан и Павлу и соц.-дем., но я решительно ничего дома делать не могу при нем — так, подлая тварь [1]), избаловалась, — и это меня приводит в раздраженное состояние. Но знаю, что было бы подлейшее свинство отравлять ему существование (денег у него немного, и он ждет здесь дарового билета в Америку) — я все силы души трачу на старания быть любезной, беспрестанно его угощаю, значит, стряпаю и выливаю злобу на скребенье кастрюль. Но последние дни дозволила-таки себе уходить на целый день в музей, настряпавши ему на сутки. А то я последний месяц дома наслаждалась вдохновением и ходила в музей лишь изредка, когда что понадобится, а теперь без большой надобности изучаю «Антропологию» (т.-е. философию истории) Канта. Довольно любопытно: он массу заимствовал у Руссо, но тот говорит с бешенством, этот — с приятностью, — самым сладким голосом.

Но на себя, как я посмотрю, так что за злющая тварь! Целый год не видала никакого товарища, — надо бы радоваться, и Павел, верно, думал, что буду в восторге, а я

[1]) Эти «нежные» эпитеты В. И. отпускает на свой счет.

бешусь! Правда, что он, Шмулевич, абсолютно поглощен своей «лошадью» (от'ездом в Америку) и о чужих не слушает, а я рада бы отдать ему все деньги, а сочувствие, — где я возьму? И симпатии-то нету — хоть ты что хошь, — одно бешенство в душе. Подписываюсь: «Злая скотина».

Фанни уезжает на днях в Вену, где Эпштейн [1]) (Анка) умирает от рака. Пожалуйста, никого ко мне не напускайте.

Это на ваши вопросы, которые есть. Рикардо стоит всего 4 м.

14

[Лондон, 1895 г.]

Милый Жорж, пишется вам на энгельсовском письме в доказательство, что я к нему хожу — иначе он бы не опасался, что приду, когда он так bouleversé [2]). Должна признаться, однако, что письму я обрадовалась. Теперь могу притаиться, пока мне напишет приглашение. А к ближайшему воскресенью пригласить, надеюсь, забудет.

Меньше я стала вам писать потому, что у меня совесть не чиста насчет работы. Теперь-то я пишу с азартом, но слишком поздно нашел азарт, — слишком много остается делать. Я не думаю притворяться, что мне времени жалко, — мало ли я его зря трачу, хотя бы на грызню ногтей? А просто нет у меня этакой Freiheit des Gemüths [свободы духа], чтобы с чистой совестью болтать. Нахожусь в состоянии, когда похожа на собаку: глаза взволнованы, и молчит.

Очень рада, что вырезки еще не опоздали. Боялась я, что останутся народники за это невысеченными. В этаких делах их голос имеет значение. Нарушить «право собственности», «святость договоров» (выкупные сделки были договорами) даже и наше правительство может приличным образом лишь под видом «народного блага». Голос *оппозиционной* печати, специалистки по любви к народу, в данном и только в подобных случаях, для него важнее голоса реакционной печати. — Волховский ничего мне не говорил о вашем сотрудничестве в «Листке». Я его давно не видала, и мы с ним и Чайковским друг друга почти явно не любим. Готовы говорить мне (и я им) шпильки. Вас они считают лучше меня, добрее. Сергей тоже ничего не говорил, хотя его я недавно видала. Бедная Паша [1])! Надеюсь вы-то ей не прибавляли конфузу?

Ваша Вера.

Нет ли у вас хоть Кареева о франц[узских] крестьянах? В музее нету, и я не знаю, в какое посмотреть об них сочинение. А непременно мне нужно! Всего больше мне нужно знать, насколько они еще были крепостными накануне революции. У Тэна — о беспорядках, голоде, но не об их положении. А мне надо, — у меня около этого очень уж хорошо одна вещь придумана. Кабы я теперь дала себе волю, то написала бы листа 3 о «вещи» и прочем. Но я беру себя за ухо и отвожу от письма.

А вы-то пишите! Ведь у вас совесть чище горного хрусталя.

Если у вас попадаются необычайные марки (немецк., австр., румынские), вкладывайте их в письма: их моя хозяйка обожает, а полезно же ее подкупать, — она довольно милая.

А хоть письмо ваше было без марки, но 5 пенсов с меня не взяли, — даром почему-то получила.

---

[1]) Анна Михайловна Эпштейн, старая «чайковка», жена Д. Клеменца, друг Сергея и Фанни Марк. Степняк, врач, умерла в Вене осенью 1895 г.

[2]) Энгельс в своей записке к В. Ив. говорит, что они в воскресенье будут без прислуги и потому не смогут принимать своих друзей.

Л. Д.

[1]) Паша Шарапова вышла впоследствии замуж за известного толстовца Бирюкова, защищала на большом собрании женевской эмиграции и женевского студенчества философские взгляды Толстого и его положение о «непротивлении злу». На референтку посыпались по окончании чтения возражения, вопросы, принимавшие по временам очень ехидный характер. Паша Шарапова очень сконфузилась, растерялась и не закончила защиты своих взглядов. Это было в разгар увлечения толстовским учением русской молодежи и общества. Женевская политическая эмиграция вся почти без исключения относилась отрицательно к этому увлечению, как мешающему ходу революционного движения. Плеханов был среди оппонентов, но, насколько мне помнится, он был очень мягок в своей критике, щадя сконфузившуюся референтку.

Р. П.

15

Лондон, 1895 г

Милый Жорж, принимаюсь отвечать на оба ваши письма. Мне не кажется, чтобы отсутствие известий означало крушение Леты [?] при переезде Рубикона. Ведь корреспондентам утонуть по этому случаю не было никакого резона, и они могли бы одинаково известить о хорошем и дурном исходе. Просто затянулось дело, хотя, конечно, это не очень-то хороший признак. Присылайте поскорее счеты. А вы не ответили, правду ли мне говорил Лазарев, что вышло Soz[iales] aus Russland и дали ли вы экземпляр Энг[ельсу], если правда? К счету, что вы у них [у фондовцев] взяли книгами, прибавьте тоже, что у кого-ниб[удь] из них (кроме Сергея, конечно) брали взаймы, если брали. Они тоже считают: «и деньгами брал». — «Board of Trade» — если только есть за целый год в продаже — вы непременно получите. Только об Olyett Элеонора не слыхивала, а написано Eyre and Spottis wood'у. — 15 шилл. она мне дала. За перевод она получает отдельно, кажется, тоже по 15. У Энгельса в воскресенье была. Ничего замечательного он не говорил. Неделю тому назад во вторник была у Мендельсонов. Я могла бы к ним повадиться, — у них интересно, совсем не скучно, в противоположность Бернштейнам, у которых скука смертная. «Мари» [1]) отлично умеет занимать, заботиться о том, чтобы ни один гость не сидел сычом. У них англичане были, знаменитый Гайдман, — его для меня заставляли говорить по-французски. Он очень умный на вид и очень живой, скоро так и горячо говорит — не по-англичански; хоть, может быть, и скотина, какою его считают все наши немцы. Но... но... из предусмотрительности, едва ли следует туда очень-то повадиваться. Когда англичане ушли, мне предложили посидеть еще, а потом меня проводят, а так как было уже за полночь, и если читать английские газеты, то в неделю 2—3 убийства на улице или хоть покушения (на нашем Россель-сквере недавно было) непременно ночью встретишь, то я этому предложению

[1]) Жена Мендельсона.

обрадовалась. Мендельсон был под хмельком и принялся разглагольствовать против немцев социал-демократов в таком жанре, как при немцах я не слыхивала. «Верил, мол, и я когда-то их брошюркам, — все это фразы». Ересей, конечно, может наговорить самый отличный человек, но у него чувствуешь как-то, что это не просто разговоры, а собирается он собаку вешать и поэтому уверяет, что она бешеная. Я, конечно, спорила, и жена его старалась смягчить смысл его речей, слегка принимала мою сторону.

Страсть писать и думать главное о «Капитале» у меня, слава богу, понемногу проходит. Когда мне показалось, что вы не слушаете, я удовлетворила свою страсть к разговору о «Капитале», изложивши по пунктам все свои выводы Павлу в самой страшной форме. Сегодня получила ответ. Он не хочет окончательно пугаться и приводит несколько доказательств шествия капитализма к социализму и помимо социалистического сознания рабочих (каковое шествие я отрицаю). Я его, положим, сейчас опровергну, но уж охоты особенно писать об этом у меня больше нету, слава тебе господи. Мне кажется, что «абсолютная» рента (отличная от диференциальной) Маркса очень похожа на Родберт[уса], вытекает ее возможность, как и у того, из преобладания в земледелии переменного капитала над постоянным. Но я не так отчетливо помню Родбертуса, особенно плохо помню...

[Нет продолжения. *Л. Д.*]

16

[Апрель 1895 г., из Лондона]

Дорогой Жорж! Я письменно попросила Элеонору об article для майского №. Ведь к ним часа $1^1/_2$ езды, и никто у них без специального приглашения не бывает. Меня, слава богу, еще ни разу не приглашали, значит не придумали как приспособить к драке с Кир-Гарди, Гайдманом, Бельфор-Баксом и проч. Это теперь их единственное занятие и в музее никогда не бывают.

Не предложить ли что-нибудь написать Назар-Беку? Это мне потому пришло в голову, что привык он писать свою

газету, значит, коротенькие статьи, находится в поднятом настроении (они ведь находятся в тесных сношениях с Малой Азией). Все это идет для таких статей.

Руссо пишу, надеюсь скоро кончить, если ничто не оторвет.

Тема для статьи в 2 листа (а то и в один) мелькнула вот какая: пред получением вашего письма я читала «Кудрина». Теперь только достала. Статья действительно самая ловкая и[з] всех против Бельтова. Там о суб'ективном методе. Так как зарождение этого метода не по рассуждениям о суб'ективности, а по существу ясно и очевидно в XVIII веке, то у меня о нем накопилось мыслей, которые не знаю по каким примечаниям рассовать в Руссо. Читая Кудрина, я ему в голове пропасть навозражала: «совсем, мол, голубчик, не в этом дело...». Читая ваше предложение написать листа 2, мне и пришло в голову об этом написать. Но потом я рассудила, что вы, вероятно, ему уже давно где-нибудь ответили; затем тоже уж об нем, о суб'ективном, довольно говорено? Затем мне для этого нужно бы «Наши Направления» (для иллюстрации; по суб'ективному—интеллигентному, просветительному тож — мышлению мысли делятся на полезные и вредные, а он говорит, мы вредные, ибо без слез констатируем, что есть капитализм, а надо со слезами), а их нет в музее. Словом, коли вам эта моя тема не очень улыбается, то я с величайшим удовольствием буду вместо этого кончать Руссо. Я опять в него очень влезла, а прерву, опять затянется бог знает насколько, прервавши, мне потом месяц нужно, чтобы rentrer dans cet ordre d'idées — [чтобы вновь войти в круг этих идей].

Ваша Вера.

17

Дорогой Жорж, понедельник, а письма нету! Это вы на меня за письмо об Энгельсе рассердились? Верно, что очень глупо об этом пищать. Я и тогда же чувствовала. Разорвала одно письмо, смотрю — другое опять такое же! Ну, думаю, чорт со мной. Не сердитесь — это, должно быть, от бессонницы. А мне приходится перебираться: хозяину дом понадобился, — выселяет всех жильцов. Он же мне дал адрес квартиры почти рядом, за церковью. Совсем как моя и на 1 ш[иллинг] дешевле. Адрес мой теперь тот же Regent-square № 46.

Не кончу я, очевидно, Руссо к сборнику, — мне это очень грустно, и стараюсь я изо всех сил, но их и так самая мелочь, а еще переборка!

Пишите, ваша Вера.

Прилагаю для передачи Павлу письмо Банкира [?]. Я хотела его тогда же послать, да как-то забыла.

18

(Лондон, 1895 г.)

Дорогой Жорж, конечно, не пишу вам потому, что пишу статью. Но что вы со мной сделали: [не] *постараться* надо прислать книгу, а *прислать во что бы то ни стало*. Сами подумайте: разговариваю я с Михайл[овским], (нельзя его б[ыло] обойти) и Кудриным. Статья уж около половины (начерно), и вдруг я узнаю, что они чего-то там интересного наговорили. Что я теперь буду делать, пока получу книжку? Какая тоска!

Решительно ничего не помню о пожертвовании Мих. [?]. Со времени воцарения Глико [1]), я не имела отношения к сборам и ничего не записывала, по крайней мере, систематически. А как жаль, что не напечатали тогда мою статью! Мне понадобилась цитата из нее, и я ее невзначай перечитала совсем как посторонний читатель и неожиданно для себя нашла, что она *очень хороша*, неизмеримо лучше всего, что я прежде писала, кроме 2—3 страниц начала, которые плохи. Теперь-то устарели цифры, цитаты.

Во что бы то ни стало книжку «Р[усского] Б[огатства]»! Ради всего святого, украдьте, купите!

Я еще раз напишу Элеоноре. Я ее, кроме того, видела, и она обещала его книгу.

Я говорила Элеоноре, что надо спешить.

Прилагаю циркуляр будущего конгресса.

[1]) Глико — политический эмигрант, личный друг семьи Плехановых; заведывал типографией гр. «Осв. Тр.».

19

(Лондон, 1895 г.)

Милый Жорж, отправила утром письмо, а вечером получила ваше и книжку «Русс. Богат.». Я очень рада, что на расстоянии вы намерены на меня не сердиться, что бы я ни наболтала. А то ведь тут такая коллизия. Мне кажется, у людей вообще (и уж, несомненно, у меня в частности) есть потребность кому-нибудь писать, иметь возможность болтать все, что угодно, с уверенностью, что настолько тебя знают, настолько близки с тобой, что обругать, конечно, могут, но всерьез рассердиться, переменить отношение не могут, что бы ты там ни наговорил. Это и есть, мне кажется, одна из существенных черт дружбы. Но, с одной стороны, я знаю, что взятый «an und für sich» [сам по себе] вы меньше кого бы то ни было на свете пригодны для выслушивания чужих глупостей, а с другой, — во всей Европе, по меньшей мере, — у меня нет никого, хоть бы наполовину настолько близкого, как вы, а в Азию письма идут два месяца, их жандармы читают [1]), при таких условиях потерялась бы нить болтовни, привычка свободного разговора. Отсюда и выходило, что глупость-то я написала, а затем мысленно читаю ее вашими глазами и вижу вас злым. Понятно, как я рада, что, по меньшей мере, до теплого времени (когда у меня не будет резонов заболевать), мне не надо будет, отправив вам письмо, читать его потом вашими глазами.

А ведь предсказывала же я, что Михайл[овский] может с видимым правом массу напищать о «героях и толпе», так как употребляет слово «герой» в другом смысле. Статья не сильна, но не без ловкости написана. Очень уж слабы, конечно, жалобы на «резкость». Это после его-то громов против того «мы», к которому, он же сам говорит, причисляет себя Бельтов!

20

23/VII 1895 г

Дорогой Жорж, это письмо оттуда же, откуда и все те, содержание которых я вам передавала. Только на другой

[1]) Очевидно В. И. имела здесь в виду переписку со мною и со Стефановичем. *Л. Д.*

адрес, «Эдя» [1]) мне его передал. Должно быть, Женичка плохо поправляется, что не пишет, и вам теперь, бедному, не до болтовни.

Ваша Вера.

Прислал еще ордер на 1 фунт 19 пенсов, теперь уже на имя Nanine (Нанин), должно быть Гук[овский]. Еще не ходила получать.

Приехал Селит[ренный], не доехавший до места, куда ехал.

[К этому письму была приложена следующая немецкая записка].

Sehr geehrter Herr!

Es fängt mich an zu beunruhigen Ihr völliges Schweigen; sind Sie auch gesund? Haben Sie meine beide Briefe erhalten? Schreiben Sie wie es Ihnen persönlich geht. Meine Briefadresse bleibt dieselbe. Mit Spannung erwarte ich Ihre Antwort. Hochachtungsvoll, ganz der Ihre A. v. Sch.

[Очень уважаемый г-н! Меня беспокоит ваше молчание: здоровы ли вы? Получили ли оба мои письма? Напишите, как вы лично поживаете. Адрес для писем мне все тот же. С нетерпением жду вашего ответа. С глубоким уважением. Весь к вашим услугам.]

21

(Из Лондона, 1895 г.)

Милый Жорж, как хорошо вы писали в субботу про то, что напишете в воскресенье, — даже точно обозначали, в каком часу в воскр. открыта почта. Теперь я боюсь, что вас опять схватила инфлуэнца — тем более, что вы тотчас же после нее (и даже не после, так как она только «кажется, проходит») изволили бегать по Ландольтам [2]). Утешает меня несколько лишь такое предположение: вы находите, что

[1]) Эдуард Бернштейн. *Л. Д.*

[2]) Ландольт — ресторан, расположенный вблизи квартиры Г. В., куда он в течение многих лет любил заходить, обыкновенно около полуночи, после продолжительных занятий, чтобы за кружкой пива и газетой отдохнуть или побеседовать с кем-нибудь из русских и иностранных знакомых. *Л. Д.*

надо с письмом послать счеты, но по многолетней особенности своей не решаетесь перебрать систематически вещи (вынимая их из шкапа) в том шкапу, где лежат счеты (вы отсюда даже видели, как они лежат), как я вас многократно учила и даже теоретически доказывала согласно марксизму и диалектическому способу мышления. Вместо этого вы — отсюда вижу — лишь по временам запускаете в шкаг. руку и все там переворачиваете и перемешиваете. Если мое предположение, что в этом заключается причина неписанья, верно, то вы уже более никогда не напишете, так как счетов никогда не найдете. Я в прошлый раз так спешно писала, что не выразила своего удовольствия по поводу книги Бельтова, а между тем я была ей ужасно рада, так как в душе начала уже ее хоронить. Она мне даже мешает, так как я нет-нет да и принимаюсь в ней рыться, искать разных милых мест, чтобы посмотреть, целы ли они и «каковы в печати», — почти все целы, хотя примечания о Кривенке мне жалко. Не соблаговолите ли вы выписать через своих козлят [?] вышедшую книгу Максима Ковалевского «Происхождение современной демократии», издание К. Т. Солдатенкова? Она, кажется, ужасно интересная. О ней в газете большая рецензия. А еще соблаговолите выслать наше издание перевода «Фейербаха» Энгельса.

Низко кланяюсь и поручаю себя вашему благоволению.

Вера.

22

(Лондон, 1895 г.)

Как видите, милый Жоржинька, я и не думала быть зла и тоже все старалась заслужить. А вот теперь так действительно зла, хотя и не лично. Старому семидесятнику одичать до такой степени! Точно Петр Лаврович!.. Забыть простое правило вычитания! А ведь только лень подумать, лень оторваться от льна-горнозаводства [1]) и проч. И забыли вы как Селитренного прозвали! Перечитали бы вы мое письмо. Конечно, теперь вы и без этого должны понять. Уж ка-

[1]) В. Ив. имеет, вероятно, в виду, что Г. В. в то время усиленно занимался изучением хозяйственного, экономич. быта России, подготовляя книгу против В. В. (Воронцова).

жется ясно! Но я уж теперь такого стала скверного мнения о ваших умственных способностях (кроме писательской области), что допускаю — опять не поймете, хотя с'ездовой «жид» [?], и тот бы понял. С. Кривенко бы понял, уверяю вас! Где я возьму переплетов [1])? Неделю надо употребить на справки, а, может, на свете такого нет переплетчика, и тащенья занятых людей к переплетчику, когда подходящий найдется. Вы спрашиваете, вместо какого каталога вышел новый? Не сказано, — просто: «вместо старого новый». Я бы решила, что вместо обоих старых один новый. Ваше последнее письмо, обнаружившее вашу глупость, получено в субботу, но поздно (10 час., а утром получено очень милое письмо), чтобы ехать к Энг[ельсу]. А завтра при Менд[ельсонах и] всяких дамочках и проч., едва ли удобно говорить. Так что я завтра вечером брошу ему письмецо: спрошу, когда к нему притти, прибавлю, что мне к спеху. Вам письмо сейчас сброшу, а когда пойдет, не знаю.

Ни письма Войнича [2]) (я писала, что письмо от 10 сент. 1892 года), ни письма Павлика с заказом в моих «вещах» быть не может, я это передала Глико, еще в первый раз как на меня напали жандармы. Но еще (во 100 раз) важнее этого письма никогда у меня и не бывавшие списки книг, отправленных Войничу после 1892 года. Они всегда были у Глико [3]). Их физиономии я не знаю. Глико говорил, уезжая, что передал их Розалии Марковне. Если Глико нет в Женеве или есть, да вы не можете попросить его самого раз'искать эти записки в оставленных им бумагах, то уж лучше бросьте, — все равно не найдете, не отличите их среди бумаг. А я Решшианцам [4]) так и скажу, — счеты, мол, потеряны, считайте, значит, как хотите. Павел пишет, что никогда

[1]) Очевидно, Г. В. предлагал Вер. Ив. переслать ему какое-нибудь конспират. письмо, заделанное в переплете.

[2]) Войнич — администратор Фонда Вольн. Русск. Прессы. *Л. Д.*

[3]) Раковский, отправлявший массу книг летом 1893 года (когда Войнич был в Швец.), сказал мне, что сам их все переписал и отдал список Глико. Но тот мог, конечно, снять копию своей рукой. *В. З.*

[4]) В. Ив. произвела эту кличку от «Free Russ.», так наз. Русско-Англ. Общество, созданное, главным образом, Степняком в Англии из лиц, сочувствовавших и готовых помочь освобождению России. *Л. Д.*

не получал брошюры Дикштейна, но слышал от Глико, что было сколько-то получено в Женеве. Но сколько? Хоть бы это узнать, а то еще мы им окажемся должны. Одной стороной (деловой) души я на вас зла, но другою — наоборот. Утреннее письмо милое, — хотя и обнаруживает неспособность найти счеты.

Салахонушку [?] спишу вам. Я начала ходить в музей. Но, ох! как это утомительно и холодно!

23

Лондон, 1895 г

Милый Жорж, сажусь отвечать в то же мгновение, как получила ваше письмо, не из одного послушания, а еще и потому, что не буду в состоянии продолжать работы, пока не отвечу, — буду думать об ответе. Какое свинство, что я после вашего от'езда читала «Капитал» вместо работы, а потом заболела. Кабы не это, кабы я так все время работала, как последние недели, — я бы кончила. Отчего вы тогда не перегрызли мне горло? Хотя «Капитал» дал мне очень капитальную мысль и для Руссо. Работа идет у меня теперь отлично, — часа 3—4 в музее, а остальное время пишу с азартом и наслаждением. Но я боюсь до смерти назначить скорый срок, — ведь Руссо не такая работа, чтобы нужно непременно как ни сказать, хоть вкратце, да сказать. Не понимали его 150 лет, так отлично можно и еще 200 не понимать. Все дело, значит, в том, как вести разговор: вкратце — боюсь, не будет интересно. Вот я попробую рассказать вам план. Не знаю только, до какой степени вы «начитались Руссо» и, следовательно, будет ли вам видно, что̀ я могу сказать. Заглавие в таком роде: «Судьба идей Руссо» или: «Идеи Руссо и их судьба». — Вначале вкратце резкими противопоставлениями (страшный пессимист, а обожали оптимисты и пр.) показано, что судьба очень странная. Затем говорю, что, судя по встречающимся в нашей литературе отзывам, знают у нас не настоящего Руссо, а отделанного по своим надобностям последователями Луи Блана. Затем изложение идей Руссо. Вот это одно и сделано уже у меня. Изложение в перемежку с моими замечаниями. Главное, показываю, в чем ход развития, что̀ у Руссо грешит против новых

исслед[ований]. В действительности оно шло больше в его духе и вкусе, чем он думал. Да и то еще надо переписывать. Но только это одно ни на что не нужно. Дальше план. Показываю, что французские его последователи действительно его не понимали (и Эмиля и Con[trat] Social, так как, по совершенно верному замечанию самого Руссо, нельзя понимать без Речи о нер[авенстве], — в ней суть идей, а там лишь их приложение). Далее показывается, почему они должны были, с одной стороны, зажимать уши от его идей (из самосохранения, как деятелей), с другой — обожать и цитировать его вырванные из связи фразы. Он в высшей степени бесстрашно об'ективен, не отступает перед тем, что ему кажется верным, как бы это ни было безнадежно, а в другом смысле, в высшей степени суб'ективен (всей душой сочувствует побитому Изяславу и проклинает Ярослава). Последователям Руссо нужна была его последняя сторона. И они, и Кант (с друг[ими] немцами), и реакционеры в один голос говорят, что он парадоксален, но для последователей парадоксальны его идеи, а верны, хороши выражения чувств, — Кант и французские реакционеры более или менее согласны с его идеями (упрощая и извращая [их] слегка), а парадоксально для них его отношение чувств к цивилизации. Показать, что это происходит от разницы в положении реакц[ионеров(?)], с одной стороны, и рев[олюционеров],—от разницы в моменте развития Франц[ии] и Герм[ании] — с другой. Далее. Доказываю, что Руссо не парадоксален, что с его точки зрения (верной, несмотря на то что многого не знал, что узнано потом и с оговорками и ограничениями, конечно) в половине XVIII века, зная всего лучше Францию, он должен был видеть впереди для цивилизованных стран рост деспотизма, судьбу императорского Рима. Вот тут интересное для меня место, но не сумею изложить в 2-х словах. Вся тяжесть цивилизации лежала тогда на крепостных крестьян[ах] (владельцах орудий труда). Снять с них эту честь мог лишь капитализм, и он же сделал ненужным личную несвободу производителя и потому возможным сравнительно законные и свободные современные государства (эту идею мне Маркс в III томе подал). Этого оборота дел Руссо не мог предвидеть. Вот для этого места мне необходим Мак[сим] Ков[алевский] о Франц. рев.,—«Рус.

Вед.» говорили, что из него видно, будто крестьяне не были крепостными. Мне не верится. Разные сверхштатные гадости крепостного права были уничтожены, но землевладение не было свободно, и налоги насильственны были. А вы забыли попросить прислать его книгу? И раз уж вы все равно выписали Кантовскую «Антроп[ологию»] все-таки прислали бы?

Заключение: современная Европа с точки зрения Руссо. Выйдет, что и с нее видна возможность соврем. социализма. Непочтительности к Марксу тут не будет, — Руссо с другой стороны подходит, которую Маркс не трогал (способы удовлетворения потребности создают те или другие нравы, и нравственность различна у различных слоев, с ними и она изменяется, известный общественный строй непосредственно зависит от нравст[венности] и лишь посредственно — от производства).

Как всегда, когда я пишу с увлечением, мне и теперь [кажется], что это все очень интересно, а, если обрезать, только часть этого изложить, потеряет всякий интерес. Я и то уж великую массу вещей обкарнала, которые сюда же просились. Мне это очень больно (пропадает уверенность, что будет напечатано), да и совестно, что не успела, но все-таки пусть лучше меня не ждут. Выкинуть можно разве что Канта, но это малость самая, а интересно.

Теперь суббота вечером. Сейчас брошу письмо, но не знаю, пойдет ли? Кажется, до 12 еще пойдет, а теперь 10½.

Поблагодарите Розалию Марковну за хлопоты с посылкой денег. Еще не пришли, — пожалуй, опять введет их в соблазн новое (двойное) имя.

Я теперь слишком в азарте, чтобы обратить свои мысли на кровать. Да долго ли будет ее купить? Как напишет, что едет, и куплю. Вас и комната ждет, которую я не пачкаю и не трогаю.

А Павел не верит, ч[то] я сама про Крив[енко] выдумала. Верно, мол, сплетни слыхала, а потом узнала, что ложны [1]). Точь-в-точь, как не верил, что вы спрятали [?] 50 фр.

[1]) Вера Ивановна 1 апреля, чтобы обмануть своих швейцарских друзей, написала им какой-то вздор (теперь уже не помню его в подробностях) про Кривенко, будто бы распространявшего слух, что члены группы «Осв. Тр.» решили пооткрывать трактиры и кабаки в деревнях для наиболее быстрой пролетаризации крестьян. Г. В. и Пав. Бор. поверили этой мистификации. *Л. Д.*

24

Лондон [1895 г.]

Милый Жорж, очень я рада, что Женичка [дочь Г. В.] поправляется. Кричите на меня страшным голосом, буду стараться, а там, что бог даст. В первый раз в жизни я боюсь заболеть, а инфлуэнца чуть не у всех, отчасти, чтобы не прерывать своего старания, а также и из убеждения, что наверное никто не зайдет, как бы ни заболеть, так как Абрамов [?] на практике, а у самого доброго из стариков Серебрячка у самого маленькая инфлуэнца. Я у него была недавно, и мы по душе говорили комплименты — он вам, а я ему, насчет сохранения старого радикального духа. Ему тоже (он сам об этом заговорил) очень противен оппортунизм фондовцев. Из Азии получила вчера большое письмо. Там всякие новости: Дмитро (Стефанович) еще летом отправился по поручению начальства на экспедицию «для открытия кратчайшего пути от Якутска к Охотскому морю». Он уже имеет право раз'езжать по Восточной Сибири, а по манифесту может и еще какие получит. На Каре результаты манифеста еще не известны, но ждут со дня на день. Женька женился на Ананьиной, тоже каторжной политической. Мойша [1]) в Женькином письме заводит со мной большой спор. Я написала, что здесь народ «поумнел». Он, как Женька пишет, «с пеной у рта» доказывает, что всем следует поумнеть, и очень недоволен немцами, которые напали на Фольмара, высказавшего поумнение. Он и в теории стоимости вдруг усомнился. «Как, — спрашивает, — определите вы, сколько труда пошло на главный продукт, сколько на побочный (солома, деревянные опилки и пр.), которые тоже имеют стоимость?».

Ну, из этого вопроса не видно, чтобы он поумнел, а видно только, что забыл теорию стоимости, хотя мне помнится, что Женька как-то упоминал, что «Капитал» у них в библиотеке есть.

Деньги и на «Nanine» получила.

Ваша Вера.

[1]) Псевдоним. Арона Зунделевича. *Л. Д.*

25

[Лондон, 1895 г.]

Милый Жорж, письмо ваше какое-то смирное и производит на меня такое впечатление, будто вы больны. Не знаю хорошенько, почему, — может быть по воспоминанию, что вам случалось быть этаким смирным во время болезни, или и вправду нездоровы?

Получила, наконец, письмо от Женьки, на адрес Павла. Два его письма, посланные на мой адрес, оказывается, пропали. Но он предполагает, что переврал адрес, так как потерял его и писал на память. А то и с деньгами Шмуля вышло что-то подозрительное. Я от главной почты письмо получила. Сюда на главную почту деньги дошли, а перехвачен кем-то Money Order. Теперь производится следствие. Но ведь, чтобы получить по ордеру, надо было знать имя и фамилию отправителя. А это мог именно разве что шпион сообразить, подслушавши наши с Шмулем разговоры.

Бельтов производит на Каре страшный фурор. Все его ужасно ругают, только Зунделевич кричит всем, что она книга Epochenmachendes. Женька пишет, что свое мнение высказал в двух пропавших письмах и в этом не повторяет. Там ждут с нетерпением ответа Бельтова рецензентам. Женька подошел под амнистию и последний год ему сбавлен, так что должен бы уехать на поселение, но он хлопочет, чтобы ему остаться на Каре в качестве мужа Ананьиной, которой остается еще 9 лет быть в «вольной команде». Ей, как и Мойше, вечная каторга помилована в 20-лётнюю, и он надеется, что хлопоты увенчаются успехом, а то его еще летом должны бы отправить, а оставили пока.

Какая это статья «Кудрина» в «Р. Б.»? Не Тарасова ли? Женька пишет, что она как будто Кривенки, взявшего от конфузу псевдоним. Глупая она!

А я, скотина, ведь так и не ответила на письмо Селитренного! Ведь он просит такого ответа: «я к вам отношусь очень хорошо, пожалуйста, ходите». А я отношусь к нему как к слюнявейшему из трусов, каких когда-либо встречала, но этого ему писать не хочу и очень не хочу, чтобы он ходил. Когда очень редко видаешь людей, ведь каждый в отдельности производит неизмеримо бо́льшее впечатление. Как

тут быть? Жду, когда будут деньги (Павел пишет, что пришлет 50 р., если те затянутся), и тогда пошлю ему очень добрым голосом («вы, мол, мне тоже помогали», подразумевая тальму, которую не ношу никогда за то, что она Селитренного), но умолчу об «отношении» и визитах.

А ваше понятие об идеальной «нравственности», смахивает на кантовское (у меня-то никакого нету). По его — «законы должны вытекать из общей воли», но не следует государю справляться с эмпирической волей населения, которое руководствуется стремлением к Glückseligkeit [благополучию], тоже эмпирическому, а должен он справляться с волею, какая *должна бы быть* (dürfte) у населения, если бы оно руководствовалось абсолютным Rechtsprincip [правовым принципом]. Но как ярко видна бессознательная «хитрость разума» интеллигента в приводимом им примере. Налогами какими угодно правительство может облагать, как бы подданным ни было бы от этого sauer [кисло], — тут Rechtsprincip не нарушается, а только Glückseligkeit, а свободу печати оно должно дать, это imprescriptible Recht [неот'емлемое право].

Насчет «хитрости» — это уж к вашему уму не относится. Но нет ничего в мире хитрее (плутоваты и бессознательно и сознательно) ума, стоящего на точке зрения «интеллигенции», как чего-то самостоятельно нужного, важного или благодетельного. И наша интеллигенция — плут страшный.

Вы не прочли кажется статью Южакова в № 8 «Р. Б.»? Она дурацкая. Но, плут, все химии и проч. естест[венные] науки притащил за волосы, чтобы показать ужасную важность критической мысли в противность «экономическому».

Будьте здоровы. Пишите.

Вера.

Ваших английских анархистов [1]) получила, наконец, хорошенькие.

А Эвелинги [2]) дом купили в Лондоне, но далеко, с час езды от моих центральных мест.

Не знаете ли, т.-е. наверное знаете, откуда взял Мих[айловский] взгляд Энг[ельса] на Руссо, который излагается у

[1]) То-есть появившуюся в переводе Элеоноры Маркс на английском языке книгу Г. В. об «Анархизме и Социализме».

[2]) Д-р Эвелинг, зять Маркса, был мот и развратник, доведший Элеонору до самоубийства.

вас в цитате, кончающейся тем, что после равенст[ва] деспотизма опять растет неравенство и приводит к равенству «Общ[ественного] Дог[овора]». Откуда он взял эту бессмыслицу? Из «Дюрингс Умвельцунг»? У меня нет ни одной брошюры Энг[ельса]. Неужели Энг[ельс] т[ак] говорит, а не Мих[айловский] наврал?

26

[Лондон в конце 1895 г.]

Милый Жоржик!

Тотчас по водворении в своей комнате я вам написала, но письмо, должно быть, не застало вас в Женеве, так как, судя по вашему, вы его еще не получили. Что же мне написать о себе? Сижу дома, втягиваю себя в работу. Азарта набрала уже довольно много, но сил не очень. Я была простужена все это время. На [похоронах] [1]) прозябла, да потом еще спать с непривычки пришлось в нетопленной комнате с Фанни. Она одна боялась, а в топленной не могла спать. Урна тоже у нас в спальне была все время. Теперь у себя топлю во все лопатки и отогреваюсь. Тема для статьи листа в два у меня очень шевелится в голове и даже мешает кончать Руссо. Но боюсь назвать... Пока помолчим.

Фанничка должно быть уже послала рукопись и деньги на бумагу. Как я вам, кажется, уже писала, англичане собирают деньги в память Степняка для Фанни, а она думает употребить их на издание. Но, кажется, немного они соберут, да и Фанни не хочет теперь никаких денег, потому что надеется умереть, но я думаю, что она не умрет и останется без всяких средств. Поэтому какие деньги для романа понадутся: брать все-таки следует. Но, конечно, обидно навязывать рефераты о Сергее, и вы хорошо сделали, что не читали. Получили ли «Листок» [2]) с моими примечаниями? Не знаю, куда адресовать письмо, чтобы скорее до вас дошло, и как-то, поэтому, не очень пишется. А вы, милый Жоржик, пишите, я уже давным-давно об вас соскучилась, но не хочу об этом и думать. Ваша Вера.

[1]) Степняка [Кравчинского]. *Л. Д.*

[2]) Редактированный Степняком «Листок Вольн. Русск. Прессы».

ПЕРЕПИСКА В. И. ЛЕНИНА И Г. В. ПЛЕХАНОВА [1])

22/III—99 г.

I

Дорогой Георгий Валентинович!

Получил ваше письмо и спешу уведомить вас, что я уезжаю из Берлина [2]) 31-го утром, следовательно 20—30 вы должны прислать свою рукопись, если хотите, чтобы она пошла теперь же. Затем я полмесяца буду находиться в путешествии, после которого мой адрес на poste restante в Париже. Но лучше я вам немедленно по водворении напишу точный адрес.

Первая книга журнала совсем было была представлена к уничтожению и вышла, потеряв одну статью. Предзнаменования в высшей степени благоприятные.

[1]) Вследствие состоявшегося между «Ком. по увек. памяти Г. В. Плеханова» и «Институтом В. И. Ленина» соглашения, каждое из этих учреждений опубликовывает в издаваемых ими сборниках настоящую переписку с тем, чтобы она вышла по возможности одновременно. Все эти письма воспроизведены нами по полученным из «Института В. И. Ленина» копиям, почему за встречающиеся в них пропуски, неточности и пр. мы не берем на себя ответственности. *Ред.*

[2]) Прочитав это, я был в полном недоумении, каким образом В. И. очутился в марте 1899 года в Берлине? Бывший у меня в это время т. Шаповалов, к которому я обратился за раз'яснением, сказал, что, находясь в ссылке (Минусинске), В. И., ради конспирации, в письмах, отправляемых за границу членам группы «Осв. Тр.» и пересылаемых им предварительно в Евр. Рос., выставлял «Берлин». Это правдоподобно. Сообщение об от'езде «31 утром» означало время выезда из Минусинска. Адрес на Париж — тоже для отвода глаз. *Л. Д.*

— Простите, спешу.

О Бернштейне могу сказать, что, конечно, его «теория» слабее слабого, и если бы речь шла о ней, то от Б[ернштейна] не осталось бы и следа. Но он представляет собой выразителя очень сильного течения в партии и в этом смысле его социальное значение значительно превышает его индивидуальные, интеллектуальные силы.

Есть стороны, в которых он выражает потребности времени и касается, действительно, слабых или наболевших мест. Впрочем, должен оговориться, что я книги его еще не прочел.

Итак, постарайтесь прислать рукопись до 30-го. Привет вашей жене.

Ваш Н. Л.

P. S. Дать немцам адрес и вообще вести дело через них я не считаю удобным, п[отому] ч[то] они с страшной нерявшливостью (до известной степени понятной) относятся к русским делам. Я подумаю, и, может быть мне удастся дать вам адрес и на время моих раз'ездов. Но было бы самое лучшее, если бы вы прислали все до от'езда.

II

[Мюнхен] 7/VII—01.

Дорогой Г[еоргий] В[алентинович]! Как-то идет ваша работа? Я все не мог собраться написать вам по поводу конца статьи Ортодокса, т.-е. присланного потом добавления ю статье Бердяева в № 6 М[ира] Б[ожьего], наша Struvefreundliche Partei [1]) *отвергла* этот конец большинством $2^3/_4$ голосов против $1^1/_4$ (это Алексей [2]) «разделился» на $^3/_4$ и $^1/_4$) — я остался в меньшинстве со своими «за». Не понравилось им и примечание насчет романтич[еской] любви и общий характер добавления. А по-моему, оно коротко, резко, ясно и дельно обрезало сего г-на, особенно заключ[ительные] стихи хороши!

[1]) «Дружественная к Струве партия», т.-е. А. Потресов, В. Засулич и отчасти Мартов.

[2]) Также псевд. Мартова.

Из России нам опять пишут, что собирается с'езд Рос[сийской] С[оциал]-Д[емократической] Р[абочей] П[артии]; в одном городе даже приглашение получено. Крайне важно поспешить с программой. Напишите, пожалуйста, думаете ли взяться и можете ли вы взяться за эту работу? Кроме вас и П[авла] Б[орисовича], ведь, некому: тут требуется громадная обдуманность формулировки, а при здешней, напр[имер], сутолоке сосредоточиться и подумать хорошенько совсем невозможно. Те старые проекты пр[ограм]мы и статьи (т.-е. 1 пр[оект] и 1 статья), которые вам возил Алексей — и к[ото]рые он совсем напрасно взял назад, — вряд ли много принесут пользы. Как вы думаете? Если же они нужны вам, то мы немедленно вышлем.

Шаховского и Теролкова выписал. Почему это понадобились они вам, — для пр[ограм]мы? Разве думаете на основании их составлять требования в пользу сельско-хоз[яйственных] рабочих? А как вы относитесь к требованиям в пользу крестьянства? Признаете ли вообще возможность таких требований в русской с[оциал]-д[емократической] пр[ограм]ме или нет?

Корректура вашей статьи еще не приходила. В № 2 «Зари» пишут: Старовер [1]) — о Рус[ском] Бог[атстве], В[ера] И[вановна] о Бердяеве, я написал о записке Витте и разругал предисловие [2]) (думаю прислать вам для того, чтобы посоветоваться, но не знаю, хватит ли времени). [У?] Алексея имеется реферат — «Задачи социал[истической] инт[еллиген]ции». — Вы ведь его видели, как нашли? Я еще напишу против Чернова. А рецензию на сборник «На славном посту» [3]) вы дадите?

Для Искры (№ 6 набирается и выйдет в июле, № 7 должен — в августе) ждем от вас статьи по поводу письма рабочего и о «Возрожд[ении] революционизма в России».

Parvus все стоит за свою «организацию»!!

Был здесь Каутский проездом. Едет отдыхать и писать сейчас ничего не обещает.

[1]) Псевд. А. Н. Потресова.

[2]) Как известно, предисл. написал П. Струве.

[3]) Сборник статей разных народнических авторов, посвященный Н. Михайловскому.

Невзоров [1]) прислал в Искру «гнусную» (Отзыв В[еры] И[вановны] и Путмана [2])) статью против статьи «С чего начать?» — славословие комитетам, защита (уклончивая) Р[абочего] Дела и т. п. Возвратим автору (копию снимем и, если хотите, пришлем вам).

Да, относительно проекта федерации или слияния с «Союзом» — надеюсь, вы видели наш контр-проект? Если нет, попросите Кольцова [3]) достать у Двинской. Вряд ли что выйдет из всего этого.

Жму крепко руку ваш

Да, насчет денег от бельгийцев на наше движение. По-моему, дать треть Р[абочему] Делу: не стоит из-[за] 50—100 франков давать повод хотя бы и к одним разговорам.

III

[Мюнхен] 18/IX—01.

Дорогой Г[еоргий] В[алентинович]!

Сделал сейчас вставки, просимые вами, к вашей статье против Бернштейна, а также разделил ее на главы. Боюсь очень, что деление это сделал неудачно (а равно, что неудачно вставил примечание о Каутском). Но исправить это вам легко будет *в корректуре:*

Обращаю также ваше внимание на мою вставку на стр. 77 рукописи (оборот) и на вычеркнутом (на стр. 78) месте. Может быть, надо сгладить все это в общем?

Ваша статья против Бернштейна теперь уже набирается. Корректуру пришлем вам вместе с рукописью, чтобы вы могли видеть, какие я сделал вставки.

Прилагаю письмо для Рачинского.

От вас что-то давно не было известий. Здоровы ли вы? Думаете ли навестить П[авла] Б[орисови]ча и когда?

Я сижу довольно усердно за своей «аграрной» статьей, которая разрастается ужасно.

Жму крепко руку ваш *Петров.*

---

[1]) Псевд. Нахамкеса-Стеклова.

[2]) Путман — псевд. А. Н. Потресова.

[3]) Псевд. Б. А. Гинзбурга — стар. соц.-дем.

IV

[Мюнхен] 1/XI—01.

Дорогой Г[еоргий] В[алентинович]! Получили вашу кор-р[екту]ру в Искру — в *самый* последний момент поспела. Десятый номер выйдет через неделю.

Бонч-Бруевич прислал нам через Дитца письмо, где говорит, что *передал вам* статью «Жертвы русского царизма» и что вы де сказали, что нам переслали ее.

Что за история? Я решительно не помню *ничего.*

Алексей *слышал* что-то об этом *год тому назад,* но не получали, дескать, мы ее.

Ответьте, пожалуйста, *поскорее,* в чем дело. *Надо бы вернуть статью немедленно,* о чем Бонч-Бруевич очень просит.

Ваш *Ленин.*

P. S. Ждем рецензии.

V

[Мюнхен] 2/XI—1901 г.

Дорогой Г[еоргий] В[алентинович]! Получили ваше письмо. Статья ваша пойдет, как мы предполагали, в № 10 Искры.

Девятый выйдет на днях: запоздали вследствие распухания до 8 страниц.

Получили ли №№ 1 и 3 N[eue] Z[eit] (по использовании, пожалуйста, *верните* их)? Я послал их вам, ибо там есть статьи Энгельса и Каутского о программе, к[ото]рые могли бы, может быть, вам [вчера] пригодиться. Когда рассчитываете покончить с программой?

О рецензии на собрание сочинений Маркса вы ничего не пишете. Мы понимаем так, что вы все же пришлете ее — она безусловно необходима для № 2—3 Зари. 4-го XI выйдет том IV: письма Лассаля к Марксу, но об нем уже не стоит писать рецензии, ч[то]бы не задерживать выхода.

Я кончаю вн[утреннее] об[озрение]. Алексей написал о Любеке. Рецензий есть: ваша о Франке, три Алексеевы ваша о Собр[ании] сочинений Маркса | м[ожет] б[ыть] Ве-

л[ики] Дм[итриевны] [В. И. Засулич] о «Свободе». Этого довольно.

Also [Итак] № 2—3 Зари готов и дело только за печатанием, к[ото]рое к половине ноября могло бы кончиться.

Жму крепко руку ваш *Лен[ин]*.

P. S. Насчет программы спрашиваю так усердно, ибо надо знать, будет ли, тотчас же по выходе № 2—3 Зари, материал для № 4, чтобы дать наборщикам. Ко мне Dietz пристает об этом.

Если еще не выслали статью Рязанова, — вышлите *немедленно*, а то он с'ест совсем Алексея. Рязанов (и Parvus вместе с ним и за него) разобиделся смертельно за отложение статьи и хочет, кажется, отстраниться. «Не умеете вы быть редакторами!» говорил нам Parvus.

Каково?

VI

[Мюнхен] 20/XII—01.

Дорогой Г[еоргий] В[алентинович]! Забыл попросить вас о следующем: пожалуйста, разыщите у себя посланное вам женой *письмо по поводу статьи [ag] «Рабочая партия и крестьянство»* (три или четыре листка почтовой бумаги, убористо исписанных, без заглавия и подписи).

Вы не подали своего голоса насчет печатания его в Заре. Я вам напоминаю, чтобы вы не забыли о нем и *непременно до от'езда* послали его нам (или взяли с собой).

Напишите, пожалуйста, когда решите окончательно о времени вашего выезда и предполагаемого (врем.) приезда к нам.

Берг [1]), говорят, имел успех в Париже. А союзники в России ни черта не добились! Нам надо теперь и именно теперь раздавить их!

Я пишу против них брошюру [2]), и чем дальше, тем больше злюсь. Пухнет только моя брошюра — беда!

Ваш *Фрей*.

[1]) Псевд. Мартова; он ездил сперва в Швейцарию, оттуда в Париж с рефератом против рабочедельцев, от имени которых в то же самое время и в тех же городах выступал А. Мартынов с рефератом же против искровцев. *Л. Д.*

[2]) То была брошюра «Что делать?». *Л. Д.*

VII

12/VII—02.

«Заря» что-то все мерзнет. Диц смеется: не судьба ей выйти.

Дорогой Г. В.!

Получил вашу статью. Большое спасибо за переделку. Отправил ее сейчас в Лондон. Что касается до статьи Берга, то В[ера] И[вановна] думает, что она вполне может пойти рядом, но, по-моему, лучше бы ее отложить. Но спросим Берга.

Пишите мне на Лондон, ибо я не уверен, долго ли пробуду здесь. Впрочем, неделю-то minimum пробуду, и на случай, что вы напишете в это время, — вот адрес: M-me Leguen (pour M. Olinoff) Loguiny (par Ploubazlonee) Côtes du Nord France [1]). Почему расстроилась ваша поездка в Брюссель? Разве конференции не будет? Я надеюсь, во всяком случае, увидаться в Лондоне. Мне, кажется, очень неудачным план Л[ьва] Гр[игорьевича Дейча] заменить это свидание поездкой моей и Берга в Швейцарию на 10—12 дней (sic!) и повидать там нескольких россиян [2]). Ну что можно толкового сделать в 10—12 дней? Ведь с россиянами надо непременно основательно и поодиночке познакомиться, да и своих бесед у нас много. А надолго в Швейцарию невозможно (дела бросать). Наконец, россиянам необходимо изучить всю

[1]) В. И. отправился, если не ошибаюсь, с матерью отдохнуть на северный берег Франции. *Л. Д.*

[2]) Я, действительно, находил более целесообразным, удобным и экономным, чтобы вместо поездки в Лондон Плеханова с несколькими прибывшими из России в Швейцарию искровцами, вследствие крайне неблагоприятных во многих отношениях условий жизни в Лондоне, — Ленин с Мартовым отправились в Швейцарию, где они, как мне казалось, заодно могли бы прочитать в нескольких городах рефераты, что ввиду происходившей тогда борьбы с рабочедельцами и эсерами имело для успеха нашего направления большое значение. Кончилось это мое с В. И. разногласие компромиссом: Г. В. и часть прибывших из России приехали в Лондон, а затем Ленин отправился по швейцарским университетским городам с рефератом, при чем он имел большой успех.

Л. Д.

(или часть) нашей переписки с Россией (если эти россияне искряки), а это возможно только в Лондоне. Без этого изучения переписки свидание будет бесцельным и почти [слово не разобрано в доставленной нам Институтом Ленина копии. *Л. Д.*] Я очень стою по всем этим причинам за свидание в Лондоне.

Жму крепко руку. Ваш

С «союзниками», по-моему, нечего теперь об'единяться: они держат себя нахально и «изобидели» жестоко Борга в Париже. Может быть, он вам перешлет мое письмо, где я подробно мотивирую необходимость и большой осторожности с ними. В России наши дела идут теперь сильно на под'ем, а «союзники» грозятся самостоятельность проявлять. Избави господи...

VIII

[Женева. Лето 1902.]

Дорогой В. И., прежде всего два слова об affaire Frey [1]). ***Я беру назад свои предложения о поправках***, словом, делайте там, как знаете. Но надо торопиться с выпуском «*Зари*».

Посылаю вам свои рецензии и возвращаю статью о выборах во Франции. Кто это писал? написано (т.-е. *продумано*) хорошо, а язык какой-то суконный. Хотелось бы знать кто автор? [2]). Я безусловно за напечатание статьи. Я сделал в ней кое-какие поправки. Если это кого-нибудь обидит, беру их назад.

Возвращаю также статью о технических задачах. Я не успел ее прочитать. Но тут ересей быть не может; в [т.-е. суждении о статье] этом можно положиться на вас и на ис-

[1]) «L'affaire Frey» [дело Фрея — псевд. Вл. Ил.] — так, не помню кто, окрестил происшедшее между Г. В. и Вл. Ил. разногласие по пов. проекта программы партии, а также написанной Вл. Ил. статьи, с которой Г. В. был несогласен и предлагал подвергнуть ее вотуму членов организации Загр. Лиги и российских искровцев. После длившегося несколько недель крайне тяжелого состояния из-за этих разногласий, Г. В., ввиду моих и Веры Ивановны настояний, взял назад свое обидное для Вл. Ил. предложение, о чем он здесь его и извещает. *Л. Д.*

[2]) Кажется, покойный Лейтайзен. *Л. Д.*

кринцев. Я воздерживаюсь от голоса. Сейчас получил статью Дейтшера о бельгийских событиях. Я перешлю ее вам, как только прочитаю.

Я еду в Цюрих и Берн на несколько дней, скажем, на неделю. Если что спешное, то *до воскресенья* посылайте на адрес *Павла*, а *после воскресенья* на адрес Л. И. Аксельрод — [следует адрес].

Тут приехал (только что пришел и помешал мне дочитать статью о технических задачах) человек из Питера. Навез массу бумаг, которые я прилагаю частью в этом письме, а частью в пакете с моими манускриптами. Этот человек требует немедленного ответа, чтобы опять ехать в Питер. Требуйте у ваших друзей немедленного ответа. Адресуйте его docteur R. Bograde *(заказным)*. Это все-таки лучший адрес. Роза передаст ответ человеку: он будет к ней ходить в ожидании его. Человека этого я и Гинзбург знаем, он говорит: редакция теперь в *Брюсселе?* Я отвечаю — да. Сказать ли ему правду? Напишите.

IX

[Лозанна. Лето 1902.]

Дорогой В. И.! Вчера я вам написал о невозможности для меня приехать в Лондон раньше начала сентября.

Теперь из Лозанны, я хочу прибавить несколько слов насчет того, что вы только что прочитали.

С'езд был бы чрезвычайно полезен, а между тем он может состояться *только* в Швейцарии: в Лондон *) совершенно *невозможно* ехать всем тем, которым следовало бы быть на с'езде. В Лондон могут поехать *только немногие*. Вы писали, В. И., что не все сразу приедут сюда. Оказывается, что их можно вызвать именно всех сразу. Соображение об архиве устраняется тем, что ведь нужную часть архива вы можете захватить сюда с собою.

Теперь у нас в кассе мало денег, но и это препятствие может быть обойдено так или иначе. Факт тот, что всей этой публике дороже ехать в Лондон, чем вам *из* Лондона.

*) Слово не разобрано в Институте. *Л. Д.*

Итак, решайте. Еще одно слово: я писал вам о своем личном деле, к[ото]рое может заставить меня уехать из Женевы. Я постараюсь устроить так, чтобы это дело не помешало мне явиться на с'езд, но чтобы я *мог* устроить так, мне нужно поскорее знать ваше решение. Пишите же.

Крепко жму руку. Ваш *Г. П.*

X

19 VII—02.

Дорогой Г. В. Получил ваше письмо и спешу ответить. Итак, брошюру [1]) вы пишете. Это меня очень радует. В фельетоне «Искры» очень хорошо бы поместить некоторые главы брошюры и в том числе названную вами. Буду ждать ее *на той неделе:* иначе не попадет в № 30-й. Желательно, чтобы попало, чтобы нападать на с.-р. без остановки.

А Тарасову [2]) разве не будете отвечать (оттиск из № 3)? Пожалуйста, не бросайте своего намерения. Ему обязательно дать хороший урок.

Черкните пару слов, пишите, что и когда думаете кончить: чтобы мне знать состав номера.

Нужна ли поездка в Брюссель, я судить не могу, ибо не знаю, что будет на конференции. Деньги теперь есть (Америка прислала 5.000 франков), — значит, если нужно, ехать, мож[но] заменить вас Гинсбургом, по-моему, можно лишь в виде исключения. На один раз, но никоим образом не постоянно, ибо весьма возможно, что понадобятся решительные шаги и там.

Если решите ехать, пишите или телеграфируйте о деньгах.

Левенсон грозит уйти, ибо Лалайянца [3]) назначили в заведующие типографией, а он с ним в ссоре. Я написал Лалайянцу с просьбой «уладить» это. Помогите и вы успокоить

[1]) Вследствие возрождения эсерами, — после убийства Балмашовым мин. Сипягина, — террора, Г. В. собирался написать специальную брошюру, но ограничился статьями в «Искре». *Л. Д.*

[2]) Псевдоним Н. С. Русанова, бывш. чернопередельца, затем — марксиста, потом (в эмиграции) об'явившего себя «старым (?) народовольцем». *Л. Д.*

[3]) Искровец, жил в Женеве.

Левенсона и внушить Лалайянцу «осторожность» в обращении с Левенсоном.

Посылаю в набор (Лалайянцу) начало перевода Каутского и популярную брошюру о солдатской жизни: просмотрите ее хоть в корректуре.

В Питере наших рабочих побрали, наших интеллигентов тоже. Вот экономисты и взбунтовали часть рабочих. [не разобранное слово в Институте] радость Надеждина [1]). А надо пробрать его за демагогию, прохвоста!

Лепешинский в крепости, переведен туда «до пожелания допроса». Грозят ему судебной палатой (случалось, каторгой). Взяли у него письмо об Организационном Комитете [2]).

В Берне теперь Ставский — рабочий оратор Ростова. Л. И. [3]) завязала с ним отношения. Он искряк. Надо бы его привлечь поближе. Томичи переиздали наш проект-программу с предисловием-дифирамбом Искре-Заре и всей ее работе. Скоро получим новые вести о шагах Организационного Комитета.

Жму руку ваш.

Транспорт швах, совсем швах. Просто, беда!..

XI

Jenève le 20 Juillet 1902.
[Женева, 20 июля 1902 г.]

Дорогой Ю[лий] О[сипович] [4]).

Насчет «*Зари*» я держусь того мнения, что ее надо выпускать *как можно скорее*. Всякие добавления к тому материалу, который уже доставлен Дицу, я рассматриваю теперь, как *несвоевременные:* лучше отнести их к следующей книжке. Статейка Дейтшера — довольно жалкая вещь. Но я советую напечатать ее *рядом со статьей* Розы Люксембург

[1]) Псевдоним полу-марксиста, полу-эсера Зелинского, имевшего одно время некоторый успех среди малоразбиравшихся читателей в его многочисленных, хлестких писаниях, а также и в публичных его выступлениях в университетских городах Швейцарии. *Л. Д.*

[2]) По инициативе Вл. Ил. создан был ОК для созыва II с'езда. *Л. Д.*

[3]) Любовь Исааковна Аксельрод — Ортодокс.

[4]) Мартов, Цедербаум.

и с примечанием от редакции, в том смысле, что вот, мол, мы печатаем эти две статьи, в которых хорошо [1]) обнаруживается различие двух направлений в социал-демократии: «критического» и «ортодоксального», — *мы за ортодоксию*, да и читатель, надеемся, (согласен) разделяет наш взгляд. Дейтшер хорош тем, что он *отпугивает от бернштейниады*. Но во второй раз мы, разумеется, уже не будем просить его писать для нас.

Насчет Кричевского, Иванчина и комп. я думаю, что, конечно, не дурно положить конец их *«ахизме»*[?], но надо и то сказать, что мы своей полемикой совсем компрометировали их в глазах молодежи, и соединение с ними будет теперь непонятно ей. Предупредить недоумение могло бы открытое раскаяние их в своих *«заблуждениях»*, но согласятся ли они публично раскаяться? То, что вы сообщаете о парижских разговорах Иванчина и Кричевского свидетельствует об их полной *нераскаянности*. А при *нераскаянности* никакое соединение невозможно. Впрочем, вам это дело виднее, и я был бы чрезвычайно благодарен вам, если бы вы подробнее написали мне о ваших парижских впечатлениях, сюда относящихся.

Простите, что я не сразу ответил: я был в горах и только теперь прочел ваше письмо. Ваш *Г. П.*

XII

[Лондон] 28/VII—02.

Дорогой Г. В.!

Посылаю вам мк. 100 на дорогу. Очень рад был узнать, что вы собираетесь сюда на 2—3 месяца, а не на простую побывку: вероятно, будут приезжие из России за это время.

Письмо ваше ко мне уехало во Францию [2]), откуда я быстро выехал, так что оно со мной разошлось, и я все еще не видал его.

Жму руку и до скорого свидания.

[1]) Неразборчиво зачеркнутое. Резакова [Научная сотрудница Инст. В. И. Ленина].

[2]) Летом В. И. уехал на время из Лондона на Север Франции, чтобы отдохнуть после пережитых неприятностей и огорчений, вызванных разногласиями с Г. В. *Л. Д.*

XIII

Женева, 1-го августа 1902.

Дорогой В. И.!

Пишу вам по пунктам, ибо времени у меня мало, а материалу много.

I. Вы, вероятно, получили мою карту, где я торопил вас ответом насчет моего приезда в Лондон. Но на другой же день по отсылке этой карты, я увидел, что мои личные дела не позволят мне выехать отсюда раньше начала сентября. Это препятствие явилось неожиданным образом, но устранить его я не могу. Как быть? Деньги я получил и храню их. Может быть, вы хотите, чтобы я пока вернул их вам, а в начале сентября вы их опять вышлете? Напишите об этом сейчас же.

II. У вас в 22 № *«Искры»* находится (на последней странице) известие из С.-Галлена о том, что тамошний рабочий союз выразил свою симпатию русскому движению и что сделать это предложил наш соотечественник *Персиц*. Жаль, что вы не прислали мне корректуры этого №, как посылали прежде: я сообщил бы вам, что этот Персиц — *агент Зубатова*. Он теперь здесь в Женеве, и мы ведем о нем следствие. Для следующего № я пришлю вам *заметку о нем*, из которой вы увидите, что я говорю не без основания. А теперь пока необходимо, чтобы администрация нашей Лиги написала всем нашим (которых может ввести в заблуждение появление имени Персица в *«Искре»*), чтобы они не имели с этим господином *никакого дела*. Это необходимо сделать *как можно скорее*.

III. Читали ли вы ответ (Réponse) социалистов-революционеров *«Искре»?* [1]). Тот самый, который они присылали для напечатания в *«Искре»*. Теперь он вышел отдельным листком по-французски. Необходимо ответить, кто это сде-

[1]) Дело состояло в том, что после суда над Балмашовым, убившим весной 1902 г. мин. вн. д. Сипягина, с-р-ы в «Рев. Росс.» об'явили, что сделал он это, как член «боевой группы». Тогда в «Искре» было указано на то, что на суде Балмашов об этом не упомянул, хотя и мог бы, и что на мертвого можно все взвалить. Эсеры обиделись, и пошла долго длившаяся полемика как в печати, так и на открытых собраниях. *Л. Д.*

ласт? И где? В ответе необходимо будет оттенить, что Балмашов на (процессе он) суде ни единым словом не упоминает ни о какой «боевой группе» и ни о какой «партии». Его заявление насчет его готовности умереть за народ надо сопоставить с аналогичным заявлением убийцы Коцебу — Карла Занда [1]). Можно бы сделать фельетон в «*Искре*». Но как быть с французским ответом на этот ответ? Подождать, пока появится ответ в «*Искре*»? Я не прочь бы написать ответ, но вряд ли смогу скоро сделать это: мне, вероятно, придется некоторое время отлучиться из Женевы по личному делу. Во всяком случае я очень просил бы прислать мне корректуру ответа.

Прошу вас, дорогой В. И., ответьте мне поскорее, ибо, как я сказал, мне, пожалуй, придется уехать из Женевы этак дней через восемь. Крепко жму руку

ваш *Г. Пл.*

P. S. Сюда приехал из Сибири некто Вейншток [2]). Знает ли его Дейч?

XIV

Женева, 20 ноября 1902.

Для Ленина.

Дорогой В. И.!

Так как вы на сегодня остаетесь еще в Цюрихе [3]), то я предпочел переслать письмо Надеждина *вам*, чтобы вы, прочитав мое мнение и потолковав с Аксельродом, переслали в Лондон свой окончательный приговор по этому поводу.

Письмо Надеждина написано нахально и глупо. Оно показывает, что он почувствовал себя очень нехорошо после моего фельетона. Выругать его, печатая у нас его письмо,

---

[1]) Молодой немецкий студент, убивший реакционного писателя, заподозренного в шпионстве. *Л. Д.*

[2]) Бывш. вольноопределяющийся, осужденный в 1892 г. военн. судом на каторгу, которую отбывал в Акатуе. В эмиграции примкнул к анархистам. На собраниях русских марксистов устраивал скандалы. *Л. Д.*

[3]) Я уже упомянул, что Ленин ездил зимой по швейц. колониям.

нам нет никакого расчета. Пусть он начинает полемику с нами в «*Свободе*». Я берусь ответить ему и без грубостей, на которые он мог бы жаловаться, разделать его под орех. Хорошо попался он со Штаммлером. Я ему этого не спущу.

Найдите мне тему для «*Искры*». О чигиринском деле я напишу на-днях, но это будет маленькая заметочка. Не написать ли фельетон о статье Тарасова? (Из 3-й книжки В[естн.] [русской] Революции?). Если находите, что стоит, *напишите немедленно*.

У нас с Черновым баталии еще не было.

Я забыл попросить вас *напечатать* в «*Искре*», что мне передано было в Льеже на собрании 10 фр., из них часть истрачена в дороге, а остальные я присоединю к местным суммам.

Отметить получку надо так: «от *петербуржца*» в Л[ьеже] Плеханову.

Крепко жму руку, ваш *Г. П.*

XV

[Лондон] 14/XII—02.

Дорогой Г. В.! Давно что-то не было от вас вестей, а дел и вопросов накопилось порядочно.

Прежде всего, насчет статей для И[скры] у нас для № 30 (№ 29 завтра выходит или послезавтра) есть статья Юлия «Осенние итоги». Еще статья была бы *необходима*. Как вы на этот счет? Напишите, пожалуйста, пишете ли что-н[и]-б[у]д[ь] и когда думаете выслать, — тоже и фельетон: очень бы хорошо в № 30 фельетон против Шараповской «странички», который вы предлагали. Буду ждать ответа.

Далее насчет брошюры против с.-р. Л. Гр. говорил мне и писал вам, что лучше бы вам за нее взяться, ибо вы могли бы кроме критики «догматической» дать и *историческую параллель* с 70-ми годами. Я совершенно согласен с Л. Гр. [1]), что такая параллель очень и очень важна;

---

[1]) Осенью 1902 г. в «Рев. Росс.», издававшейся эсерами, появилась статья, в которой, между прочим, дано было неправильное освещение «Чигирин. заговора», затеянного, как известно, Стефановичем вместе со мною и Бохановским. Я в «Искре» вкратце указал на эти неправильности. В «Рев. Росс.» появилось возражение, еще более извращавшее

мне же, конечно, о ней нечего и думать. Да и вообще я бы очень рад был, если бы вы взялись за эту брошюру. У меня к ней и душа не очень лежит, и притом еще теперь, помимо текущих делишек, предстоит работа по подготовке к лекциям в Париже (меня хотят, как сообщает Юлий, вызвать туда для 3—4 лекций по аграрному вопросу). Итак, все и вся за то, чтобы вам досталась брошюра, — а нужна она против с.-р. непременно, их обязательно надо обстоятельно и со всех сторон разобрать по косточкам. Вредят они нам и делу страшно. Пишите как решаете.

Ответ Л. Гр. «Рев. России» пошел в № 29: вы его, значит, получите в конце недели — да и в корр[екту]ре уже видали.

Сегодня узнал, что вы будете в Брюсселе на междун[ародной] конференции (вероятно в конце декабря или начале января) и читаете там реферат. Надеюсь, вы непременно и к нам заглянете? Тут уже рукой подать и стоить будет во время праздников совсем дешево. А здесь, во-первых, был бы очень и очень нужен ваш реферат, ибо тут много *рабочих*, зараженных анархизмом (я убедился в этом, читая здесь свой реферат о с.-р., неинтересный для здешней публики). На них вы бы наверное повлияли. А затем, и это главное, у нас накопились важные темы для беседы, особенно по русским делам: там образовался-таки давно подготовлявшийся «Организационный Комитет», который может сыграть *громадную* роль. И было бы в высшей степени важно, чтобы мы сообща ответили ему на *целый ряд* вопросов, с к[о]т[о]рыми он *уже обратился к нам* (вопросы относятся к мерам об'единения партии, к порядку дня, Tagesordnung, на общем с'езде, к тому, какие *от нас* будут рефераты и т. д. — сугубо важные вообще вопросы, а теперь имеющие особое значение). Напишите, пожалуйста, когда, именно, будет конференция в Брюсселе, сколько дней продлится и можете ли вы сюда заехать? Затем, может быть, не неуместно будет вам уже на этой конференции воспользоваться так или иначе фактом образования Орг. Ком. Пи-

нашу затею. Тогда я поместил в «Искре» значительных размеров статью под заглавием «Возражение или отступление». Одновременно я просил Г. В. также высказаться, что он и сделал в «И.» же. *Л. Д.*

шите скорее, и мы запросим Россию: может быть, успелось бы даже оттуда какое-либо заявление или письмо к вам, если бы в том была нужда.

Видаете ли жизненцев? Как идет «сближение» с ними и каковы шансы. А как р[абоче]-деленцы? Хорошо бы, знаете, по-моему, чтобы они участвовали в в[а]шем «марксистском кружке» [1]) и чтобы с ними начать (неформально) сближаться. По нынешнему времени не расчет с ними ссориться, да и не за что: заменив «Р[абочее] Дело» «Красным Знаменем», они, в сущности, наш план распределения «литературных функций» приняли, а в мартыновской брошюре «Рабочая револ.» ничего *вредного* (кроме *глупого* «ясновидца») нет.

Жму крепко руку вашу

А в болгарине [2]) я виноват. Каюсь. Не писал, ибо не было поручений, и не догадывался, что вы тревожитесь.

XVI

[Зима 1902—03.]

Дорогие друзья!

Мне опять сделалось на время хуже; поэтому я не мог выслать письма о чигиринском деле. Теперь мне опять лучше. Завтра [ил] или послезавтра я пришлю письмо. Если нельзя ждать, напишите, что не печатаете его по неимению места. Теперь пока пересылаю:

1) рукопись для Искры;

2) адреса для сношений с Иркутском, откуда получено 50 рублей *(я их завтра — высылаю)*. Просят редактировать, как указано в прилагаемой бумажке.

Получено известие об аресте 1) *Лепешинского* и 2) Ивана Ивановича. Через неделю я должен доставить лицу, передавшему мне деньги от иркутян, адрес для сношений комитета с нами. Пришлите мне немедленно такой адрес, —

[1]) Зимой 1902—03 г., по инициативе Г. В., в Женеве возник такой кружок, в который входили соц.-дем. всех направлений для бесед, дебатов; посещения заседаний Г. В. привлекали молодежь.

[2]) Г. В. написал в одном из предшествовавших писем, что с уезжавшим из Женевы болгарином можно кое-что переслать. *Л. Д.*

по возможности немецкий. Не забудьте сделать это, а то будет неловко.

Наконец, вот что. Я взял у Михаила Николаевича Лемана 1 фунт для своих личных расходов, будучи в Лондоне. Деньги эти я ему *завтра же высылаю*. Но, может, он теперь же нуждается в деньгах. Поэтому выдайте ему авансом этот фунт. Через несколько дней получите деньги, высланные мною для него.

Крепко жму руку. Ваш *Г. Пл.*

XVII

[Женева] 27 XII—1902.

Дорогой Вл. Ил.!

Ваше письмо я только-что получил и спешу ответить. «*Жизнь*» прекратила свое существование. Последний № выйдет с заявлением об этом прекращении. Мотивировано будет это прекращение тем, что и так, мол, литературы достаточно и лишний орган только вредит об'единению партии. Это решено. Требовать от Бонча какого-нибудь специального заявления, *поэтому*, уже несвоевременно. Он нам будет очень полезен. Мы теперь ведем переговоры с его друзьями-латышами о транспорте. Бонч очень деятельный человек; жена его прекрасная переводчица и знает много языков. Не приняв их, мы сделали бы непоправимую ошибку.

Лев Григ. пишет, что «*Искра*» ни в ком не нуждается. А транспорт? А деньги? Очень он уже оптимистичен [1]).

Завтра или,— *крайний срок* — послезавтра высылаю свой фельетон: *Пролетариат и крестьянство*. — *Небольшая историческая справка*. Надеюсь, будете довольны. Очень обяжете, если подождете моего фельетона. Крепко жму руку.

Привет всем друзьям.

P. S. 7-го января я читаю здесь реферат. Не будет ли у вас чего нового для продажи? Каких-нибудь бюллетеней,

---

[1]) Я лично ничего не имел против принятия в Загранич. Лигу Р. С.-Д. В. Бонча-Бруевича и Величкиной, но другие члены этой организации были решительно против приема этих лиц ввиду их недавней приверженности к толстовцам, а затем к «Жизни», пользовавшейся среди нас незавидной репутацией. *Л. Д.*

отдельных оттисков и т. д. Кстати. О статье (Тарасова?) «Эволюция и проч.» я тоже напишу, но пока надо покончить со «*Справкой*».

Ваш *Г. П.*

XVIII

28/I—03.

Дорогой Г. В.!

Посылаю вам заявление О[рганиз.] К[омит.] (пошло в № 32) и статью Пера [1]) для № 32: пожалуйста, верните обе вещи поскорее: заявление ОК надо непременно сохранить (как очень верный документ), а о статье Пера надо порешить ввиду обилия статей против с.-р. Ростовцы пишут протесты. — Это раз. Перо — № 2. А[лек.] Н[икол.] [2]) написал уже, вероятно, (писал, что кончает) о с.-р. Это три. Передовая ваша «Мнимые друзья пролетариата» — четыре. Надо обсудить, чтобы не вышло des Guten zu viel [слишком много хорошего].

Обсудить это всего лучше вам, потому что у вас и ростовцы близко и А. Н., с которым вы можете поговорить. По-моему, передовую, (громовую) вам следует написать во всяком случае, и именно вам, ибо вы спорили публично о сем и видели ростовских товарищей. Затем протест ростовцев тоже поместить в № 33, но возможно короче и sachlicher [более по существу]. Статью Пера (она небольшая), по-моему, тоже поместить, ибо это ответ дельный на вздорную выходку. А статья А. Н., вероятно, может быть, отложена, ибо это не ответ и не по вопросу дня, а «вобче» умеренные отцы и с.-р. дети.

Обдумайте это все и отвечайте поскорее, как решили. Статья о Некрасове пойдет в № 33. Армянский «Пролетариат» (с надписью Росс. СДРП) получил я здесь уже несколько дней и одну статью: (заметку о нем) постараюсь поместить в № 33. Присланная заметка нуждается в поправлении, а для этого нужен текст.

Посылаю вам и «Пролетариат». Пожалуйста, попросите Лалайянца или другого кого перевести целиком отсюда

---

[1]) Псевд. Л. Троцкого.

[2]) Потресов.

всё о национализме и федерализме и прислать мне поскорее. Надо бы заметку о них поместить непременно.

А насчет Бонча-то? «Поживились» мы одною их четой, — немного. Ликвидатор (см. № 6 «Жизнь») г. Куклин [1]). Познакомьтесь с ним через Бонча. Нельзя ли что уцепить? Ведь вы его кажется и раньше знали? Нельзя ли хоть для русского с'езда? для О[рган.] К[омит.] (за границей есть один член ОК [2]), можно бы даже и его направить к Куклину, буде надобно)? Ведь не с'ест же Куклин типографию? Надо прямо с него контрибуцию в 10.000 за то, что мы «Жизнь» не ругали (не напрасно я защищал ее легкомыслие) или за то, чтобы не ругали...

Ваш [Ленин]

П. С. Видели брошюру Рудина («с.-р., к крестьянскому вопросу»). Нахальнейшие прохвосты. У меня за Рудина [3]) и за № 15 о социализации отчаянно руки чешутся. Напишите мне, пожалуйста, пишете ли вы брошюру и каких размеров, когда думаете кончить? Не следовало бы заполнять «Искры» ими; куда бы лучше брошюру с разбором всех сторон, теперь транспорта идут: мы бы их убили деловым и принципиальным разбором по существу. Стоит ли мне писать и против Рудина? Как вы думаете? У меня мелькнула мысль: написать статью против

---

[1]) В. И. имел здесь в виду следующее. Выходивший за границей журнал «Жизнь» под ред. Поссе при материальной поддержке богатого купца Куклина прекратил в то время свое существование. В. Бонч-Бруевич, состоявший в числе сотрудников, а также бывший, кажется, администратором этого журнала, выразил Георгию Валентиновичу желание вступить вместе с женой, Величкиной, в члены Загр. Лиги Рус. Соц.-Дем. Некоторые искровцы высказались против приема этой четы ввиду того, что незадолго перед тем «Бончи» были сперва толстовцами, затем жизненцами, а потому сомневались в их марксизме. Но Г. В. сильно стоял за их прием, рассчитывая, что через Бонч-Бруевича удастся привлечь Куклина и получить от него средства, имевшуюся у «Жизни» типографию, очень хорошую библиотеку и налаженный транспорт. «Бончей» приняли, но обо всех этих посулах ничего не было слышно. Этим и об'ясняется фраза В. И., что «поживились одной их четой». *Л. Д.*

[2]) Тогда на время приехал в Париж Красиков, член ОК.

[3]) Псевдоним одного из эсеров писателей, Чернова.

Рудина и издать особо «статьи против с.-р.» вместе с Рево-л[юционным] авантюр[измом] [1]).

Как вы об этом думаете?

XIX

[Начало 1903 г.]

Memento Seligmani. [Помни о Зелигмане.] [2]).

Дорогой Вл. Ил.!

Начну с конца. Я только сейчас получил ваше письмо и посылку и, прочитав статью Пера, немедленно вам отвечаю.

Говоря по правде, перо «Пера» мне пока не так чтобы уже очень нравилось. Оно хочет быть очень колким, но большой колкости не выходит: больше шуму, чем сути. А некоторые выражения прямо неудачны; они могли бы подать повод к насмешкам. Я кое-что поправил; если найдете, что это неуместно, у вас есть возможность восстановить текст.

А [я?] тоже думаю, что со статьей А[лек.] Н[икол.] можно подождать: она не касается неотложного вопроса. Заметьте, что я ее не читал и что А. Н. еще не здесь; я его не видел уже целую вечность. Насчет вашего ответа Рудину я того мнения, что вы сделали бы чрезвычайно хорошо, если бы *немедленно* же ответили ему брошюрой. В той же брошюре надо было бы, конечно, и «социализации» коснуться. И чем скорее вы это сделаете, тем будет лучше. Их сбивчивые рассуждения об аграрном вопросе влияют на публику, и [пропущено Ин-том. *Л. Д.*] нам необходимо отвечать им, как можно больше говоря об аграрном вопросе. А мне вы нисколько не помешаете. Если бы нам и пришлось коснуться одного и того же предмета, то что же за беда? Тем лучше. А брошюру я пишу. Теперь сижу за главой: «Пролетариат и крестьянство», часть которой думаю поместить в виде фельетона в «*Искре*». (Я думаю назвать брошюру: «Наши разногласия». Часть вторая). Потом пойдет вторая часть:

---

[1]) Так была озаглавлена статья Мартова против эсеров в «Искре». *Л. Д.*

[2]) Напоминание о книге Зелигмана.

первая глава: Крестьянство и социал-демократия в России; *вторая глава:* Терроризм. *Третья глава:* Идеологи мелкой буржуазии в русском революц. движении. *Четвертая глава:* Заключение [1]).

Посылаю вам заметку об армянском *Bruderorgan'e* [братском органе]. Но тут есть заковыка. Автор этой заметки очевидно — *Тушинский перелет* — тот самый человек, к[ото]рый был послан из Цюриха на эмигрантский с'езд в качестве представителя группы «Искры», ругал оную «Искру» при всем честном собрании басурманской разной бранью. И вообще часто говорит изменные речи. За таковые речи был исключен, — если не ошибаюсь, — или собирались его исключить из бернской местной группы. Еще недавно чинил смуту на собрании против росто по поводу ростовских событий, говорил против нашей резолюции и даже выругал Л. И. Аксельрод. Как видите, его dossier [дело] не очень хорошо. Печатать ли его заметку? Мне кажется, что это рискованно [2]). Если и вы найдете, что это так, то напишите, что вам неудобно печатать ее; это избавит меня от об'яснения.

А вы напрасно думаете, что мы получили одних «Бончей». К ним еще приехал ездивший в Россию очень серьезный малый, он занимался перевозкой. Он будет наш. Его притянут Бончи. От него я жду много пользы. Да и Бончи очень пригодятся. Насчет Куклина Бонч должен был написать вам, чтобы вы под'ехали к сему купчику через посредство Организационного Комитета. Иначе ничего не поделаешь. Если один из членов этого комитета здесь, то надо действовать, не теряя ни минуты. Если Бонч еще не писал вам, то я его потороплю, а вы пока потормошите сказанного члена. Я сейчас пойду к Бончу. Надо действовать. Жму руку. Поклон всем.

Ваш *Г. П. Memento Seligmani.*

P. S. *Я разорвал уже заклеенный конверт, чтобы сказать вам, что статью Игра вы мне прислали как-будто без конца — она обрывается на 8-й странице.*

1) Г. В. Плеханов такой брошюры не написал.

2) NB. Он уверяет, что брошюра о Тифлисском движении, изданная нами, принадлежит ему.

Я здесь поищу человека, который написал бы нам заметку о пролетариате.

А как же быть с *Зарей*? Неужели ей суждено погаснуть?!

XX

[Лондон] 5/II—03.

Дорогой Г. В.!

Получил статью и письмо ваше. В какой № попадет статья еще не знаю. Напишу на-днях, — да это зависит и от вашего ответа насчет статьи о Некр[асо]ве.

Чтобы ускорить ответ союзу, я сделал так. Мы с В[ерой] И[вановной] и Л[ьвом] Гр[игорьевичем] приняли здесь проект ответа и послали Юлию (там важно обсудить его и с П. Анд.[?]). Юлий должен немедленно переслать вам этот ответ вместе с моим письмом.

Если вы одобряете ответ, то передайте его Ольхину [1]) (и условьтесь с ним, чтобы он вел сношения либо через вас, либо дайте адрес Рихтера (лучше бы через вас).

Если не согласны с ответом, то немедленно поставьте на голоса точно формулированные поправки (или новый текст), а Ольхину скажите, что дело немного затянулось вследствие вотирования и «разноместной» коллегии.

Очень рад, что вы пишете передовую о «мнимых др. пролетариата» и в предисловии к Туну разделываете Тарасова (стр. из ист. соц. мысли).

Конечно, в предисловии к Туну это всего уместнее. Провал австр[ийского] пути у Искры — вздор. До сих пор все идет там отлично тремя путями. Дементьев работает чудесно, а пишет аккуратно, (хорошо бы было если бы вы вызвали и А. Н. для подачи им голоса о письме союзу, о всей тактике ОК и о выборе от нас члена в загранич. отд. ОК).

Жму крепко руку ваш

П. С. Итак, передовую жду на-днях.

П. П. С. Напишите, до чего вы договорились с Ольхиным? Намечали ли что-либо об'единительное

1) Псевдоним члена Союза рус. соц.-дем. Лохова, который после II с'езда совершенно отстранился от революционной деятельности. *Л. Д.*

и что именно? Говорили ли о борьбе, свободе, Красном Знамени?

«Заря» что-то все мерзнет, Дитц смеется: не судьба ей выйти.

XXI

[Женева.] Понедельник, 9 февраля [1903 г.]

Дорогой Вл. Ил.! Только сейчас получил вашу статью о заявлении бундистов и, прочитав ее, спешу вернуть ее вам. Вы правы. Оставить без ответа заявление Бунда и комментарии к нему невозможно. В общем я думаю, что ваша статья бьет их на голову. Но мне кажется, что надо *смягчить* кое-какие выражения. Теперь мы воюем с соц.-рев.; с ними позволительна и даже полезна *резкая* полемика. Но надо, чтобы публика видела разницу между нашей полемикой с с.-р. и полемикой с соц.-демократами, хотя бы и бундистского толка. Я *вписал между строками* желательные мне смягчения. Покажите их В[ере] И[вановне] и Л[ьву] Гр[игорьев.] Мне кажется, что их следовало бы принять. Поверьте, что теперь нам лучше всего подходит тон не то чтобы мягкий, но во всяком случае не раздраженный.

О Некрасове я писал В[ере] Ивановне, что вполне согласен напечатать его *брошюрой* и сделать кое-какие дополнения. (Получили ли вы мое письмо для нее?) Только я предпочитаю напечатать брошюру не у Дитца, а здесь, в Женеве. *Теперь есть возможность сделать это.* Поэтому пришлите рукопись сюда поскорее. Завтра высылаю вам передовую en question [о которой идет речь.] Она вышла несколько в другом тоне, но надеюсь, что вы будете довольны ею. Спасибо за Зелигмана: довольно-таки слабая книжка. Но надо написать о ней рецензию. Для «*Зари» необходимо составить* материал. Посылаю вам рукопись члена Донского комитета. Будьте добры, напишите, как думаете поступать с нею. Кстати. Я послал вам рукопись о рабочем движении на Юге. Ответьте, что вы о ней думаете.

Ваш *Г. П.*

Передовая уже готова. Я хочу только перечитать ее. Высылаю завтра. Не удивляйтесь, что в ней я упоминаю

о Бурцеве: он соединился с соц.-революционерами. И об этом соединении они скоро об'явят. Потому полезно поднести им камуфлет.

Ваш *Г. П.*

Спросите В[еру] Ивановну, отчего она мне не отвечает. Я начинаю *подозревать, что вы не получили моего письма для нее, т.-е. для В[еры] И[вановны.]* Напишите, пожалуйста.

Получил от Ю[лия] О[сиповича] ваш проект ответа «Союзу». Согласен, безусловно, и тотчас передал . . . ? [1]).

XXII

[Лондон.] 2/III—03.

Я предлагаю всем членам редакции кооптировать «Перо» на всех равных правах в члены редакции. (Думаю, что для кооптации нужно не большинство, а *единогласное* решение.)

Нам *очень нужен* седьмой член и для удобства голосования (6 — четное число) и для пополнения сил.

«Перо» пишет уже не один месяц в каждом номере. Вообще работает для Искры самым энергичным образом, читает рефераты (пользуясь при этом громадным успехом).

По отделу статей и заметок на злобу дня он нам будет не только весьма полезен, но прямо необходим.

Человек, несомненно, с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать немало.

Нам надо привлекать молодые силы: это поощрит их и заставит смотреть на себя, как на профессион[альных] литераторов. А что у нас в таковых недостаток, — это ясно (стоит вспомнить): 1) трудность найти редакторов перевода; 2) недостаток внутреннеобозревательных статей и 3) недостаток популярной литературы. В области популярной литературы «Перо» хочет именно себя попробовать.

Возможные доводы против: 1) молодость; 2) близкий (м[ожет] б[ыть]) от'езд в Россию; 3) перо (без кавычек)

[1]) Слово не разобрано. [Прим. науч. сотр. «Инст. Лен.» Резаковой.]

со следами фельетонного стиля, с чрезмерной вычурностью и т. д.

Ad. 1) «Перо» предлагается не на самостоятельный пост, а в коллегию. В ней он и станет опытным. «Чутье» человека партии, человека фракции, у него, несомненно, есть, а знания и опыт дело наживное. Что он занимается и работает, это также несомненно. Кооптирование необходимо, чтобы его окончательно привязать и поощрить.

Ad. 2) Если «Перо» войдет в курс всех работ, то, м[ожет] б[ыть], он уедет не скоро. Если уедет, то и тогда организационная связь с коллегией, подчинение ей — не минус, а громадный плюс.

Ad. 3) Недостаток стиля дефект неважный. Выровняется. Сейчас он принимает «поправки» молча (и не очень-то охотно). В коллегии будут споры, голосования, и «указания» примут более оформленный и настоятельный вид.

Итак, я предлагаю:

1) вотировать всем шести членам редакции по вопросу о *полной* кооптации «Пера»,

2) приступить затем, если он будет принят, к окончательному оформлению внутриредакционных отношений и голосований, к выработке точного устава. *Это надо и нам*, и для с'езда важно.

P. S. *Откладывать* кооптацию я считаю *крайне неудобным* и неловким, ибо для меня выяснилась наличность уже изрядного недовольства «Пера» (конечно, не высказываемого прямо) на то, что он все на воздухе, что его все еще третируют (ему кажется), как «вьюношу». Если мы не примем «Пера» тотчас, и он уедет, скажем, через месяц в Россию, то *я убежден*, что он поймет это как наше *прямое нежелание* принять его в редакцию. Мы можем «упустить», и это было бы весьма скверно.

XXIII

[Лондон.] 15/III—03.

Дорогой Г[еоргий] В[алентинович]! Получил ваше письмо. Мартовские Иды пишите, это отлично. *Предельный* срок — 25/III—03 здесь должна быть статья. *Ждем непременно*.

Маслова мне пришлют на-днях из Парижа (я поторопил), и я вам его *тотчас* вышлю. Там есть интересные данные о вреде общины, — к[ото]рые я цитировал в Париже [1]).

Давида я уже выписал и теперь читаю. Ужасно водянисто, бедно и пошло. Постараюсь поскорее кончить, чтобы вам послать. Видели статьи Каутского об этом «новопрудонисте»?

Я засел теперь за популярную брошюру для крестьян о нашей аграрной программе [2]). Мне очень хочется раз'яснить нашу идею о классовой борьбе в деревне на *конкретных* данных о четырех слоях деревенского населения (помещики, крестьянская буржуазия, среднее крестьянство и полупролетарии вместе с пролетариями). Что вы думаете о таком плане?

Из Парижа я вывез убеждение, что только такой брошюрой можно рассеять недоумения насчет отрезков etc.

О манифесте 26-го февр[аля] написал статью, которая пойдет еще в № 34. Я настаивал, безусловно, чтобы она шла передовой ввиду *громадной* важности м[ани]феста. Но, кажется, В[ера] И[вановна] *колеблется* (!) и решает с Ю[лием] О[сиповичем] обратно: сначала о Марксе [3]).

По-моему, это даже дико.

Жму крепко руку ваш *Ленин*.

XXIV

[Женева.] 2 апреля 1903.

Дорогой Вл. Ил.!

Пишу вам по делу, имеющему огромную практическую важность. Сюда приехал из Петербурга рабочий, член комитета и распоряд[ительной] комиссии. Матрена [4]) из Берлина дала ему письмо ко мне, и в этом письме рекомендует его как одного из самых влиятельных и надежных в Петерб[урге] людей. Но у этого человека вышли раздоры

---

[1]) Зимой 1902—03 г. В. И. ездил в Париж, ввиду полученного им приглашения от руководителей Высш. русс. школы (или Своб. русс. унив.) прочитать несколько лекций об аграрном вопросе. Он имел большой успех. *Л. Д.*

[2]) То была брошюра «К деревенской бедноте». *Л. Д.*

[3]) Вопрос шел о статье по поводу 20-летия его смерти.

[4]) Псевдоним — Петра Гермогеновича Смидовича. *Л. Д.*

с распор[ядительной] комиссией. На его стороне большинство комитета. *Раздор* повел к *расколу*, и теперь — новая пожива демагогам.

Приехавший сюда рабочий отчаянный искровец и, по-видимому, вполне правоверный человек. Но в организационном отношении он разошелся с большинством распор[ядительной] комиссии. Теперь он явился за границу не то жаловаться, не то просить посредничества для примирения. Я во всех петербургских делах решительно ничего не понимаю, да и не взял бы на себя высказываться в деле, требующем участия всех нас. Мы с Литвиновым [1]) решили отправить его к вам, конечно, это — расход: своих денег у него на поездку нет. Но петербургские дела настолько важны, что бог с ними и с деньгами. Итак, он будет у вас. Что вы *можете* сказать ему, для меня очень *неясно*. Чтобы принять какое-нибудь решение, необходимо было бы выслушать и другую сторону, но другой стороны здесь нет. А в то же время нельзя и так отпустить этого рабочего: это значило бы деморализовать его и его сторонников. Они перешли бы, пожалуй, к *«союзу р[усских] с[оциал]-д[емократов]»* или к Надеждину. Получается задача вполне достойная мудрости Эдипа. Я уверен, что вы и будете таким Эдипом. Но все-таки хочу от себя написать вам два слова. Теперь отовсюду несутся жалобы на излишний централизм, заводимый нашими сторонниками в России, излишество вредно во всем, — вредно оно и в централизации. Но хуже всего то, что разлад, вызываемый этим излишеством, принимает *вид разлада между рабочими и интеллигенцией*. Многим кажется, что Искра хочет, чтобы рабочие безусловно слушались интеллигенцию. Это и неверный и опасный для нас взгляд. Его надо разрушить. А для этого надо умерять излишнее централистическое рвение наших сторонников. A propos: в здешнем марксистском кружке послезавтра один екатеринославский рабочий читает реферат *об антагонизме между рабочими и интеллигенцией*. Он тоже искровец и жалуется на излишний централизм, к[ото]рый и он понимает как *подчинение* рабочих интеллигенции.

[1]) Бежал из киевской тюрьмы.

В частности, петербургский раскол надо, по-моему, уладить в смысле примирения сторон *даже в том случае, если бы жалобщик оказался неправым*. Дело не в отвлеченной правоте, а в том, чтобы удержать за нами в Петербурге то, что можно удержать. Ради этой цели можно и должно поступиться даже и правотою, которая, — в своей *отвлеченности*, — не может иметь большой цены для практического деятеля.

Литвинов думает, что следовало бы кому-нибудь поехать в Питер. Я тоже думаю, что это было бы полезно. Напишите мне, пожалуйста, на чем вы покончите с этим рабочим.

Что же вы не возвращаете мне письма малоросса [слово пропущено Инс-том. *Л. Д.*] (УРП). Ведь в этом письме [нет] адрес этого суб'екта, а не имея адреса, я не могу *ответить ему*, между тем как ответить *необходимо как можно скорее*. Читаю Маслова. В его книге есть интересные данные. Но, боже! как он слаб в теории! Сейчас у меня сидит рабочий en question [о котором идет речь.] Он говорит, что их несогласно-мыслящие собираются отлучить от церкви и от комитета («печатно»). А он хочет отлучить *их* и тоже *печатно*. Я умоляю его этого не делать. Он напишет своим. А вы напишите его несогласно-мыслящим, чтобы *и они* не печатали. Будет с нас этих скандалов. Ведь это зарез!

Сколько могу понять своего собеседника, он и его единомышленники требуют, чтобы распорядительная комиссия, выбранная из среды комитета, подчинялась контролю комитета. Это мне кажется справедливым требованием. Нечто подобное было предложено и принято в Екатеринославе. В Петербургском комитете всего 12—14 человек. Это неслишком много. *Суживать центр невыгодно*. Для нас стать на сторону распоряд[ительной] комиссии значит остаться в СПБ[урге] *без рабочих*.

Оказывается, что они в СПБ[урге] выпустили [какой-то] протест против *орг[анизационного] комитета*. Это из рук вон.

Два часа битых толкую с рабочим и, кроме хаоса, ничего не вижу.

Ваш *Г. П.*

XXV

[Лондон.] 10/IV—03.

Дорогой Г. В.!

Я опять прихворнул эти дни и потому не ответил вам. О Бреш[ковской] статейка [1]) получена, но опоздала к этому №. Пойдет в следующем.

О круг[овой] поруке пишите (СПБ. Вед[омости] я поручил послать вам). Хорошо бы к следующему № иметь об этом статью. Приезжий уехал. Не знаю уж, удастся ли уладить дело. Во всяком случае, добился от него согласия на посредничество ОК.

Жму крепко руку. Ваш

P. S. Вы ничего не пишете о моей брошюре [2]). Пожалуйста, сдайте ее скорее в набор: очень важно, чтобы не было задержки. Потом ведь можно в корректуре дать, если кто интересуется, но не в рукописи.

XXVI

[Женева.] Воскресенье. [Осень, 1903 г.]

Подательница о содержании письма ничего не знает.

Дорогой Вл. Ил.!

Я много думал нынче ночью о кавказских делах и решил, что следовало бы отсюда послать человека, который и представлял бы ЦК. Курц [3]) говорил, что в таком случае этому человеку нужно было бы заехать в Киев для свидания с Клэром [4]). Это, конечно, можно устроить, если найдется человек, годный для такой миссии. Весь вопрос в том, найдется ли такой человек? Курц вчера сказал, что нужен человек

---

[1]) Эта статейка Г. В. и явилась в виде заключения моего спора с эсерами по поводу Чигиринской затеи. *Л. Д.*

[2]) В. И. имел здесь в виду свою брош. «К деревенской бедноте».

[3]) Фр. Вальч. Ленгник — тогда член ЦК, вызванный за границу Лениным и Плехановым для улажения возникшего конфликта между меньшевиками и большевиками летом 1903 г., после II с'езда партии.

[4]) Г. М. Кржижановский.

с паспортом. Ввиду этого я опять напоминаю о Свободине [1]). Он может поехать когда угодно; он человек легальный и верный. Что вы думаете обо всем этом? Поговорите с Курцом и напишите мне. Боюсь я, что Кавказ уйдет от нас. Надо действовать, а до Киева доехать недорого, денег на посылку найдем. Повторяю, Свободин верный, *вполне свой* человек. Жаль, что вчера неудобно было говорить обо всем этом.

Жму руку. Ваш *Г. Пл.*

P. S. Простите, что посылаю вам такие каракули [письмо.] Перо ужасное.

XXVII

6/XI—03.

Многоуважаемый Георгий Валентинович!

Я долго думал над вчерашним вашим заявлением о том, что вы себе оставляете «полную свободу действий», если я не соглашусь посоветовать Конягину [2]) выйти из Совета партии. Я никак не могу согласиться на это. Я не считаю также возможным оставаться дольше в неофициальном положении фактического редактора, несмотря на свою отставку, раз вы говорите, что полная свобода действий понимается вами так, что не исключает и передачи вами редакции мартовцам. Я вынужден поэтому передать вам все официальные сношения редакции ЦО [3]) и все материалы, каковые и посылаю вам особым пакетом. Если потребуются раз'яснения какого-либо рода насчет материалов, то я, конечно, охотно дам их. Некоторые материалы отданы сотрудникам (Лебедеву, Шварцу, Руберсу [?]) [4]), которым надо будет сказать о вручении всего вам.

---

[1]) Кажется, это псевдоним т. Федорченко.

[2]) Псевдон. тов. Гальперина, одного из 11-ти искровцев, бежавших осенью 1902 г. из киевск. тюрьмы. Чтобы мог составиться Совет партии, в который должны были войти 5 лиц: 2 — от ЦК, 2 — от ЦО и 5-й — Г. В., избранный II с'ездом партии, Ленин и Плеханов решили кооптировать т. Конягина, в качестве 2-го представителя от ЦК, — первым был Ф. В. Ленгник. *Л. Д.*

[3]) Центр. Органа, т.-е. «Искры». *Л. Д.*

[4]) Лебедев — псевдоним, он же Гусев, Шварц — псев. Воровского, Руберса — не помню.

P. S. Пожалуйста, не поймите передачу редакции в смысле пресловутого бойкота. Это противоречило бы тому, что я прямо заявил в своем заявлении вам от 9-го ноября с. г. Свой выход из редакции я, конечно, доведу до сведения товарищей.

P. P. S. Пакет посылаю (завтра утром с посыльным) перес. аа, бб, вв — по важности материалов.

Номер 52-й предполагалось выпустить 16/XI с извещением ЦК. Для этого надо начать печатать с понедельника, успеется даже со вторника.

XXVIII

[Женева.] 1/XI—03 [1]).

Дорогой Г. В.! Никак не могу успокоиться по поводу волнующих нас вопросов. Это промедление, отсрочка решения — нечто ужасное, пытка.

Я, право же, вполне и вполне понимаю ваши мотивы и соображения в пользу уступки мартовцам. Но я глубочайше убежден, что уступка в настоящий момент — самый отчаянный шаг, ведущий к буре и буче г о р а з д о в е р н е е, чем война с мартовцами. Это не парадокс. Я не только не уговаривал Курца уходить, а, напротив, убеждал остаться; но он (и Ру[?]) безусловно отказывается работать теперь с мартовской редакцией. Что же получится? Из России десятки делегатов уже все об'ехали, даже из Нижнего пишут, что многое ЦК-том сделано, улажен транспорт, поставлены агенты, п е ч а т а е т с я извещение, расселись для работы и Соколовский на Западе и Берг в центре и Землячк[а], и куча остальных. Теперь — отказ Курца. П е р е р ы в на долгое время (с'езда и совещания в с е г о ЦК, теперь, кажется, тоже расширено значительно).

Потом либо борьба ЦК с мартовской редакцией, либо отставка в с е г о ЦК. Тогда вы плюс два мартовца в Совете должны к о о п т и р о в а т ь н о в ы й ЦК, и это без выбора с'езда, при новом неодобрении массы россиян, при недоумении, ропоте и отказе этих раз'ехавшихся уже агентов. Да это будет новая компрометация с'езда, полная смута и скандал в России, во сто тысяч раз страшнее и опаснее пасквильной заграничной брошюры.

Надоел разброд. Вот что пишут и вопят из России. А отдать мартовцам — значит, именно, у з а к о н и т ь теперь разброд в России, ибо в России не было еще и тени неповиновения и бунта. Никакие мои и ваши заявления не удержат теперь делегатов большинства на партийном с'езде. Эти делегаты поднимут ужасное нечто.

Ради единства, ради прочности партии — не берите вы на себя этой ответственности, не уходите и не отдавайте всего мартовцам.

Ваш *Н.....*

[1]) Это письмо относится к тому периоду, когда Г. В. стал расходиться с В. И. по поводу об'единения с меньшевиками путем кооптации в редакцию «Искры» Аксельрода, Засулич, Мартова и Потресова. *Л. Д.*

XXIX

Женева, [?] ноябр[ь] 1903 г.

Дорогой товарищ!

Я сейчас только узнал, что в нашей типографии набирается *заявление ЦК о с'езде*, хотя я и писал вам, что я не считаю возможным опубликовать его в настоящее время. Я уверен, что вы не отдали бы в набор этого заявления, не сообщив мне об этом, так как до сих пор шаги такого рода предпринимались нами, — т.-е. ЦК и ЦО, — лишь после совместного обсуждения [1]). Но если это сделали не вы, то кто же это сделал? Мне было бы чрезвычайно важно, прямо необходимо узнать это, потому что преждевременное опубликование [об]заявления поставило бы меня в необходимость немедленно подать в отставку. Будьте добры, об'ясните мне это. Я уверен, что дело обстоит не так, как оно представляется, но мне все-таки хотелось бы об'ясниться с вами. Чрезвычайно жаль, что вчера я еще ничего не знал о наборе заявления: мы в несколько минут раз'яснили бы этот щекотливый вопрос.

Преданный вам *Г. Плеханов.*

[1]) Достаточно напомнить наше вчерашнее обсуждение вопроса о кооптации.

XXX

15 ноября 1903.

Дорогой товарищ!

Я получил от Староверa письмо, в котором он спрашивает меня, получен ли ответ ЦК. Я ничего не могу сказать ему на этот счет, так как и сам не знаю ровно ничего, что ставит меня в весьма затруднительное положение. Со времени от'езда вашего человека прошло 10 дней. За эти 10 дней можно было получить ответ от ЦК, а между тем, ответа нет, как нет. Чем вы это об'ясняете. Старовер выражает уверенность, что через десять новых дней я буду, наконец, в состоянии сообщить ему что-нибудь определенное. Мне тоже хотелось бы думать, что это будет так, потому что мое собственное положение крайне неопределенно и потому мучительно. Вы знаете, что с ответом ЦК для меня связано очень многое, и потому поймете мое нетерпение. Мое неопределенное положение до такой степени тяготит меня, что я и сам не в состоянии буду ждать более 10 дней.

Кстати, сообщение о с'езде не может быть напечатано в ближайшем № Искры, именно потому, что мы не имеем еще ответа ЦК. Если я не ошибаюсь, поездка Литвинова сделала много вреда. По-моему, она была ошибкой. Конечно, в этом деле я имею только совещательный голос, — только тогда, когда со мною совещаются, — но если бы со мною посовещались, то я решительно высказался бы против этого шага.

Будьте добры, сообщите мне, что вы намерены сделать для получения ответа от ЦК. Не послать ли нового, более надежного человека.

Ваш *Г. Плех.*

XXXI

Женева, 26 ноября 1903 г.

Письмо Плех. к Гансу [1]).

Дорогой товарищ!

Продолжая Ваш вчерашний, к сожалению, слишком краткий разговор, я считаю нужным сказать вам следующее.

1. ЦК вел себя по отношению ко мне совсем не так, как я вел себя по отношению к нему. Я советовался с ним насчет каждого своего шага, а он не только не посоветовался со мною насчет коoптации в свою среду, но не счел даже нужным довести до моего сведения о тех лицах, которых он уже кооптировал. И когда я спросил его о них, он дал мне ответ, очень похожий на насмешку. Именно вы сказали мне, что кооптированы Зверь, Собака, Демон, Ленин и Конягин, из них я случайно знал только «Зверя». На вопрос о том, каковы настоящие имена лиц, носящих зоологические и демонологические прозвища, вы отозвались неведением. Это ли не насмешка?! И это ли не доказывает, что вы, — т.-е. ЦК, — *не хотите* действовать в согласии со мною?

2. То же подтверждается тем, что вы не сочли нужным пригласить меня на то собрание ваше, — т.-е. того же ЦК, — на котором выработан был ваш «ультиматум». Ультиматум этот был, кроме того, послан Староверу раньше, чем показан мне.

3. Все это поставило меня в очень затруднительное положение. У меня было очень сильное искушение выйти в отставку. Но я вспомнил, как вы настойчиво отговаривали меня от этого, и решил, что я *обязан* остаться на своем посту, если не желаю изменить делу. И я остаюсь. Но так как мне было бы слишком трудно одному редактировать «Искру» и в интересах улажения всех нас измучившего конфликта я решил кооптировать Мартова, Аксельрода (Павла),

[1]) На полученной нами из Института Ленина копии написано: «эти слова написаны на обороте последней странички карандашом».

Фамилия «Ганс» мне совершенно неизвестна, — таковой в то время никто из живших за границей не носил. *Л. Д.*

В. Засулич и Старовера. Доводя об этом до сведения ЦК, я еще раз советую ему быть миролюбивым. От него зависит теперь *окончательно* уладить все в один день.

Искренно преданный вам *Г. Плеханов.*

XXXII

[Женева, осень] 1905 [1]).

Многоуважаемый Георгий Валентинович!

Я обращаюсь к вам с этим письмом, потому что уверен, что вопрос о необходимости об'единения соц[иал]-дем[кратии] тоже назрел окончательно, а его возможность, именно, теперь особенно велика. Два повода заставили меня не откладывать дальше прямого обращения к вам: 1) основание в Питере легальной газеты с.-д. «Новой Жизни» и 2) события последних дней. Если даже эти события не приведут очень быстро к нашему возвращению в Россию, то, во всяком случае, это возвращение теперь совсем, совсем близко, и с.-д. газета дает немедленную почву серьезнейшей общей работы.

Что мы, большевики, страстно желаем работать вместе с Вами, это мне вряд ли нужно повторять Вам. Я написал в Питер, чтобы все редакторы новой газеты (пока их семеро: Богданов, Румянцев, Базаров, Луначарский, Орловский, Ольминский и я) обратились к Вам с коллективной и официальной просьбой войти в редакционную коллегию. Но события не ждут, почта прервана, и я не считаю себя вправе откладывать необходимого шага ради одной, в сущности, формальности. По существу, я вполне и безусловно уверен в общем согласии и радости по поводу такого предложения. Я знаю прекрасно, что все большевики рассматривали всегда расхождение с Вами как нечто временное, вызванное исключительными обстоятельствами.

[1]) После того, как Г. В. кооптировал четырех меньшевиков — переписка между В. И. Лениным и Г. В. Плехановым прекратилась. Только осенью 1905 г., незадолго до об'явления манифеста о даровании свобод, В. И. обратился к Г. В. через Гапона с настоящим письмом, которое представляет собою чрезвычайно замечательный, важный исторический документ. Плеханов придавал ему большое значение.

Спору нет, борьба часто увлекала нас на такие шаги, заявления, выступления, кот[о]рые не могли не затруднять будущего соединения, но готовность об'единиться, сознание крайней ненормальности того, что лучшая сила русских с.-д. стоит в стороне от работы, сознание крайней необходимости для всего движения в Вашем руководящем, близком, непосредственном участии — все это было у нас всегда. И мы все твердо верили, что не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра наше соединение с Вами все же состоится, несмотря на все трудности и препятствия.

Но лучше, чтобы это было сегодня, чем завтра. Дела повернули теперь так, что можно опоздать, и мы намерены приложить все усилия, чтобы не опоздать.

Захотите ли Вы работать вместе с нами? Я был бы чрезвычайно рад, если бы согласились на то, чтобы нам свидеться вдвоем и поговорить на эту тему. Я уверен, что при личном свидании [1]) многие недоразумения были бы устранены, многие кажущиеся трудности делу об'единения сразу бы отпали. Но на случай, что Вы не согласитесь вообще теперь, я позволю себе наперед коснуться некоторых из этих трудностей.

Трудности таковы: 1) Ваши разногласия со многими членами новой редакции, 2) Ваше нежелание входить в одну из двух половин с.-д. партии. — Первая трудность, мне кажется, вполне устранима. Наше согласие с Вами касается, примерно, $^9/_{10}$ вопросов теории и тактики, а ради $^1/_{10}$ расходиться не расчет. Вы хотели и хотите исправлять некоторые, ошибочные, на Ваш взгляд, утверждения в моих произведениях, но я нигде и никогда не пытался связать кого бы то ни было из с.-д. специально своими взглядами, и никто, безусловно никто из новой редакции не ангажировал себя ни в какие «ленинисты». Речь Барсова на III с'езде выражает в этом отношении общие взгляды. Вы считаете

[1]) Такое свидание не состоялось. Дело в том, что Г. В. отнесся отрицательно к предложению В. И. соединиться, потому, что, как он по этому поводу острил, предлагаемое В. И. соединение было похоже на соединение волка с ягненком, т.-е. он уподоблял его соединение — поглощению себя, майоризированию коллегией редакторов, кое с кем из которых он не хотел вместе редактировать газету. Кажется, Г. В. не дал и письменного ответа В-у И-чу. *Л. Д.*

ошибочными и философские взгляды трех из названных семи лиц. Но и эти трое не пытались и не пытаются связать эти свои взгляды с каким бы то ни было официально партийным делом. И эти трое — я говорю не на ветер, а на основании известных мне точных фактов — были бы чрезвычайно рады совместной работе с Вами. Политически расходиться теперь, в такое время, нам с Вами, когда Ваше общее сочувствие взглядам большинства известно и из Вашего реферата, видно из Ваших последних произведений, — видно косвенным образом из позиции наиболее, может быть, солидарного с Вами Парвуса, — политически расходиться нам теперь было бы крайне нежелательно, крайне неуместно, крайне вредно для с.-д. партии.

А новая легальная газета, которая будет иметь аудиторию в десятки, если не сотни тысяч рабочих, — да и вся завтрашняя работа в России в такой момент, когда Ваши громадные знания и громадный политический опыт страшно нужны русскому пролетариату, — все это создает новую почву, на которой всего легче будет забыть старое, спеться на живом деле. Переход от Женевской работы к Питерской — донельзя благоприятен психологически и в партийном отношении переход для перехода от раз'единения к единению, и я сильно надеюсь, что мы не упустим такого момента, которого не было со времени II с'езда и который не повторится, пожалуй, скоро.

Но тут вторая трудность. Вы не захотите, может быть, об'единения с одной половиной партии. Вы потребуете, как conditio sine qua non, об'единения всей партии для Вашего участия в деле. Что такое об'единение желательно и необходимо, в этом Вы вполне правы. Но возможно ли оно теперь? Вы сами склонны отвечать на это отрицательно, ибо предлагали недавно лишь федерацию. Теперь самой широкой трибуной для нашего воздействия на пролетариат является ежедневная питерская газета (мы в состоянии будем поставить издание в 100.000 экземпляров и довести цену до 1 копейки за номер). Мыслима ли теперь коалиционная редакция с меньшевиками? И мы думаем, что нет. И меньшевики думают, что нет. И Вы, судя по Вашему предложению федерации, думаете, что нет. Неужели же потребуются три газеты? Неужели для политического органа

революционной социал-демократии мы не можем сойтись вместе, когда организационных разногласий у нас собственно никаких нет, и завтрашний переход партии на открытое положение рассеет все остатки опасений насчет заговорщичества. А тактические разногласия наши революция сама сметает с поразительной быстротой, да притом против резолюций III с'езда Вы не выдвигали никаких разногласий, а ведь эти резолюции — единственная, связывающая нас всех, большевиков, директива партии.

При таких условиях, кажется мне, Ваш переход к нам вполне возможен, и дело будущего об'единения он не затруднит, а облегчит и ускорит. Вместо теперешней затяжной, благодаря Вашему отстранению, борьбы получится более твердая ситуация всей революционной социал-демократии. От этого и борьба станет более спокойной, более выдержанной. От этого вся широкая масса с.-д. сразу почувствует себя уверенно, надежно, — сразу повеет иным духом, и новая газета начнет захватывать себе с часу на час передовую в с.-демократии позицию, не оглядываясь назад, не разбирая подробностей старого, и лишь твердо и выдержанно руководя рабочими массами на теперешнем поле борьбы.

Закончу еще раз просьбой согласиться на наше свидание с Вами и выражением нашей общей, большевиков, уверенности в пользе, важности и необходимости совместной работы с Вами.

Искренно уважающий Вас. Ваш

Насколько сделалось мне известным в последние дни, кроме здесь помещенных, (а также в № 3 «Ленинского Сборника») писем В. И. и Г. В., — в хранящемся в Париже у Р. М. Плехановой архиве ее покойного мужа, еще не вполне разобранном, найдены ею еще некоторые письма Ленина к Плеханову. Л. Д.

10/XII 1925 г.

Ф. ЭНГЕЛЬС

О ВОЕННОЙ МОЩИ ЦАРСКОЙ РОССИИ

(отрывок из брошюры «Может ли Европа разоружиться?»)

В начале 1893 г. в Рейхстаге происходили горячие дебаты по поводу новых военных проектов. Тогда в «Vorwärts»'е стали печататься по этому поводу статьи Фр. Энгельса, который, как известно, являлся большим знатоком военного дела. Вскоре затем эти статьи вышли под указанным в подзаголовке названием отдельной брошюрой, до сих пор еще не переведенной у нас. Не беремся судить, насколько в настоящее время ценны предложенные Энгельсом в ней меры для борьбы с ростом милитаризма, но все же полагаем, что еще не потеряли исторического интереса высказанные им более 30 лет тому назад взгляды относительно военной мощи России при Александре III.

Ред.

I

Относительно России скажем прямо: совершенно безразлично, будет ли она соблюдать трактат о постепенном и одновременном сокращении военной службы, и даже, согласится ли она на него или нет. Мы можем пренебречь Россией по следующим соображениям.

Российская империя, имеет, правда, свыше ста миллионов человек, следовательно, значительно более чем вдвое превосходит Германию; но она весьма далека от того, чтобы обладать наступательной военной силой, хотя бы приблизительно равной германской. Пятьдесят миллионов в Германии сжаты на 540.000 квадратных километров; в России от 90 до 100 миллионов, самое большее, которые идут в наш расчет с точки зрения военной, разбросаны, по умеренному

исчислению, на $3\frac{1}{2}$ миллионах квадратных километров; преимущество, которое вытекает для немцев из этой гораздо большей густоты, сделалось еще значительнее, благодаря несравнимо лучшей железнодорожной сети. Несмотря на это, остается факт, что с течением времени сто миллионов могут дать больше солдат, нежели пятьдесят. При данных обстоятельствах, правда, потребуется время, прежде чем они прибудут (на место действия), но ведь, наконец, они должны прибыть. Что тогда?

Армия состоит не только из рекрутов, но также из офицеров. И, с этой точки зрения, в России дело обстоит плохо. Офицерами в России преимущественно становятся дворяне и городская аристократия; дворянство сравнительно малочисленно; городов там мало; самое большее — десятая часть населения живет в городах, а из этих городов самая малая часть заслуживает этого названия; число средних школ и учеников, которые их посещают, очень незначительно; откуда же могут набираться офицеры для всех войск?

Одно условие не может заменить собою все другие. Система всеобщего набора предполагает известную степень экономического и интеллектуального развития; где нет этого, она приносит больше вреда, чем пользы, что, очевидно, имеет место в России.

Во-первых и прежде всего: требуется пропорционально больше времени, чтобы из среднего типа русского новобранца сделать обученного солдата. Русский солдат несомненно имеет большие достоинства: пока тактическая задача заключалась в атаке сомкнутыми массами пехоты, он был в своей стихии. Весь опыт его жизни учил его держаться тесно со своими товарищами. В деревне община еще полукоммунистическая, в городе — работа сообща в *артели*; кроме того *круговая порука* [1]), взаимная ответственность членов; короче — социальное положение явственно указывает ему, с одной стороны, на об'единение, в котором заключается всяческое спасение, а с другой стороны — на плачевную беспомощность индивидуума, предоставленного собственной инициативе. Таково же состояние русского и в военной службе; массы батальонов почти

[1]) В подлиннике: Artel, krugowaja Poruka. — *Пер.*

не могут разделиться; чем больше опасности, тем сильнее заполняют пустоту. Но этот инстинкт смыкаться вместе, имевший еще во время наполеоновских походов неоценимое значение и компенсировавший не одну слабую сторону русского солдата, теперь представляет решительную опасность: сомкнутые массы исчезли с поля сражения, теперь дело идет о связном целом из групп рассеянных стрелков, где слиты отряды самых различных частей, и командование часто и достаточно быстро переходит к офицерам, совершенно чуждым большинству сражающихся; теперь каждый солдат должен быть готов самостоятельно исполнять то, что следует делать в данный момент, не теряя, однако, контакта с целым. Такого контакта нельзя достигнуть при помощи примитивного стадного русского инстинкта, а только путем интеллектуального развития каждого. Предварительные условия для этого мы находим лишь на той ступени цивилизации, которой свойственно более высокое «индивидуалистическое» развитие и которая имеет место у капиталистических наций Запада. Заряжающиеся с казенной части ружья малого калибра и бездымный порох превратили в слабость то, что до сих пор составляло наибольшую силу русской армии. Следовательно, теперь потребуется еще больше времени для превращения русского новобранца в боеспособного солдата, равного европейскому.

Во-вторых: откуда могут явиться офицеры, способные на войне из всей этой массы образовать кадры новых частей? Если уже Франции трудно найти достаточное число офицеров, то что же сможет делать Россия, где образованное население, из которого только и могут выходить стоящие офицеры, составляет такой слабый процент по отношению к общему числу, и где, однако, солдат, даже обученный, нуждается в большем проценте офицеров, нежели в других армиях?

И, в-третьих: при явно всеобщей системе нарушения служебных обязанностей, краж со стороны чиновников, а также нередко и со стороны офицеров, — что должно выйти в России из мобилизации. Во всех войнах, которые она до сих пор вела, всегда всплывало, что, по крайней мере, одна часть армии мирного времени и ее военного снаряжения существовала только на бумаге. Что должно будет произойти

в России, когда отпускные и *ополчение* (Landwehr) явятся под ружье и нужно будет снабдить их форменным платьем, оружием, амуницией? Если при мобилизации не все идет, как по-писанному, и не все готово в свое время и на своем месте, то наступает полное замешательство. Но как может итти все гладко, если все проходит через руки *чиновников*-воров и взяточников? Русская мобилизация — это будет зрелище для богов.

Подводя итог, скажем: мы можем предоставить русским набирать столько солдат и держать их под знаменами столько времени, сколько угодно царю.

Кроме войск, уже находящихся под ружьем, им будет трудно поставить еще много, и тем труднее в надлежащее время. России дорого обойдется опыт всеобщей военной службы.

Затем, когда дойдет до войны, русская армия на своей собственной территории, от границы Ковно до Каменца, будет находиться в неприятельской стране, между поляками и евреями, потому что из евреев царское правительство также сделало смертельных врагов. Два-три проигранных сражения, и театр военных действий будет перенесен с Вислы на Дунай и Днепр; в тылу немецкой армии, под ее прикрытием образуется армия польских союзников, и будет справедливым наказанием для Пруссии, если она таким образом для собственной своей безопасности должна будет восстановить крепкую Польшу.

До этого пункта мы рассматривали вопрос и делали выводы в военном отношении. Мы нашли, что в интересующем нас вопросе можно с Россией не считаться. Это станет еще более очевидным, когда мы примем во внимание общее экономическое и финансовое положение России.

II

Внутреннее положение России в данный момент почти безнадежно: освобождение крестьян в 1861 году и развитие крупной капиталистической промышленности, связанные между собой отчасти как причина, отчасти как следствие, бросили эту страну, более консервативную, чем всякая другая, этот европейский Китай, в непрерывную экономи-

ческую и социальную революцию; и этот процесс, пока что, преимущественно разрушительный.

За освобождение крестьян дворянство получило выкупные свидетельства, которые оно быстро растратило. Новые железнодорожные линии открыли рынок для его леса, продажей которого оно еще жило по-барски, припеваючи, пока не иссяк этот источник. Тогда дворянство пустило в оборот свои имения, но при вновь создавшихся условиях и со свободными рабочими большинство их совершенно не могло этим удовлетвориться. Что же удивительного в том, что русская поземельная аристократия попадала во все бо́льшую и бо́льшую задолженность, пока, наконец, не сделалась прямо банкротом, так как доходность от имений все падает, вместо того, чтобы повышаться?

У крестьянина стало меньше земли и хуже той, которой он до тех пор владел; у него было открыто общее пастбище и пользование лесом, а, следовательно, — основание для разведения скота; подати были заметно повышены, и теперь он должен платить их сам, а главное — деньгами; к этому прибавились частичные платежи, тоже в деньгах, в виде процентов и для погашения выкупного фонда [1]), созданного государством; короче, всесторонне ухудшилось его общее положение, так как происходит быстрый и искусственный переход от натурального хозяйства к денежному; одного этого достаточно, чтобы подорвать земледельческое сословие в стране. Следствием всего этого был блестящий расцвет эксплоатации земледельца со стороны деревенских богатеев, наиболее богатых земледельцев, кабатчиков, *мироедов* (буквально — «пожирателей общины») и *кулаков* (ростовщиков). Ко всему этому присоединилась новая крупная промышленность, окончательно разрушившая натуральное хозяйство земледельца. Не только ее конкуренция подорвала кустарное производство для собственного потребления, но она также лишила рынка его произведения, предназначенные для продажи; в наиболее благоприятных случаях она его подчинила капиталистическому предпринимателю или, что еще хуже, его посреднику. Так русский крестьянин со своим первобытным земледелием и общинно-

[1]) В оригинале Wykup. *Пер.*

коммунистической организацией был внезапно брошен в столкновение с наиболее развитой формой новейшей капиталистической индустрии, которая должна была насильственно создавать себе внутренний рынок; при таких условиях он неминуемо должен был разориться. Но крестьяне — это почти девять десятых населения России, и их разорение было равносильно, по крайней мере, временному разорению страны [1]).

После этого почти двадцатилетнего процесса социальной революции всплыли еще другие его результаты: нерациональное обезлесение уничтожало запасы почвенной воды; дождевая вода и от таяния снегов, будучи поглощена почвой, сбегала по ручьям и потокам, производя сильные наводнения; летом же реки оскудевали, и почва становилась сухой. Во многих наиболее плодородных местностях России уровень почвенной влаги опустился вследствие этого на целый метр, так что корни хлебных злаков уже не достают до него и засыхают. Таким образом, по меньшей мере на период жизни целого поколения разорены не только люди, но во многих местах и самая почва.

Голод 1891 года обнаружил в острой и потому ясной для всего мира форме этот хронически протекающий процесс разрушения, и потому с 1891 года Россия не избавляется от голода. Плохой год подорвал в величайшей степени последнее и самое важное орудие крестьянского производства — скот и довел задолженность крестьян до точки, на которой должно было разбиться последнее сопротивление с его стороны.

Самое большее, что могла бы предпринять страна в таком положении, это войну отчаяния. Но и для этого нехватает средств. В России дворянство живет долгами, крестьянин также сейчас живет долгами, и, сверх всего, долгами живет государство. Известно, сколько должно русское государство за границей: свыше четырех миллиардов марок [2]). Сколько оно должно внутри, никто не знает, во-первых, потому, что неизвестна ни сумма заключенных

[1]) Я развил это год тому назад в «Neue Zeit» 1891—1892 г., № 19, в статье *«Социализм в Германии»*. [По-русски издано М. Малых в 1905 г. *Пер.*]

[2]) Около 2 миллиардов рублей по тогдашнему курсу. — *Пер.*

займов, ни количество бумажных денег, которые находятся в обращении, и, во-вторых, потому, что каждый день меняется ценность этих бумажных денег. Несомненно, кредит России за границей исчерпан. Четыре миллиарда марок облигаций русского займа все более и более насыщали денежный рынок Западной Европы. Англия уже давно, а Германия лишь недавно сбыли с рук бо́льшую часть русских бумаг. Голландия и Франция равно испортили себе желудок их приобретением, как это видно в Париже с последним русским займом: из 500 миллионов франков только 300 могли быть размещены, и русское министерство финансов вынуждено было дисконтировать банкирам 200 миллионов, которые те подписали. Это вполне доказывает, что в ближайшее время новый русский заем абсолютно не может найти помещение даже во Франции.

Таково состояние страны, которая, как мы предположили, грозит нам опасностью немедленной войны: она лишена возможности вести войну отчаяния, раз мы не будем так глупы, чтобы бросать ей в пасть деньги для ее удовлетворения.

Нельзя понять глупости французского правительства и буржуазного общественного мнения, которое им управляет: не Франция нуждается в России, — Россия гораздо больше нуждается во Франции. Без Франции царь, благодаря своей политике, был бы изолирован в Европе и, в бессилии, был бы вынужден предоставить ход вещей на Западе и на Балканах их естественному течению. Приложив немного ума, Франция могла бы добиться от России всего, чего хочет; вместо этого официальная Франция ползает перед царем на брюхе.

Вывоз из России пшеницы уже разрушен американской конкуренцией, вследствие более дешевых цен. В качестве главного предмета вывоза остается рожь, которая идет исключительно в Германию. Лишь только последняя вместо черного хлеба станет есть белый, нынешняя официальная, царская, крупно-буржуазная Россия обанкротится.

Ф. ГИНЗБУРГ

РУССКАЯ БИБЛИОТЕКА МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА

I

При посещении огромного архива главного органа немецкой рабочей партии «Vorwärts»'а обращает на себя внимание угол, уставленный полками с исключительно русскими книгами. На являющийся у русского посетителя естественный вопрос, как в немецкое книгохранилище попали эти наши произведения, архивные служащие сообщают, что это — коллекция русских книг К. Маркса и Ф. Энгельса, доставшаяся архиву «Vorwärts»'а после смерти последнего.

Взяв с полки то или иное произведение, видишь сделанные на многих страницах рукою Маркса пометки и надписи. Достаточно просмотреть заглавия читанных им произведений, чтобы получить ясное представление о том, какие вопросы русской жизни занимали его внимание, и как он их изучал.

В этой русской библиотеке вместе с книгами Карла Маркса хранятся также и книги Фридриха Энгельса.

К сожалению, своевременно не было сделано отметки, по которой теперь можно было бы установить полный список книг, бывших в библиотеке Маркса. Поэтому, для достоверности, назовем только те из них, в которых имеются пометки, сделанные его рукой.

Раскрываем одну за другою покрытые архивной пылью книги. Мы касаемся хранилища, на страницах которого остались запечатленными следы мысли и умственного напряжения гениального читателя, и перед нами осязательно ярко рисуется его образ, система его чтения. Книги пестрят

подчеркнутыми местами, знаками восклицаний и вопросов, об'яснениями и примечаниями, сделанными на полях крупным почерком красным и синим карандашами, реже обыкновенным графитным, а иногда и пером. Сколько настойчивости, сколько старательности! Какое терпение! Отдельные слова подчеркнуты, перенумерованы, а на полях написан перевод на один из европейских языков. Видимо, считая в русском языке особенно трудным и важным усвоение ударений, Маркс отмечает их пером. Чем дальше, тем меньше останавливается он на отдельных словах. Овладевая русским языком, он подчеркивает уже фразы, периоды, целые рассуждения, меткие характеристики, яркие описания. Он переносит центр своего внимания на красоту стиля, на типичность выражений, на расшифровку «эзоповского языка».

Вот толстые книги о русских артелях, о русской статистике, которые особенно сильно фиксируют внимание Маркса. Тут же Салтыков (Щедрин), Чернышевский, Ковалевский и др. сочинения по экономическим и социальным вопросам. Перечень лишь тех из них, страницы которых носят следы пометок Маркса, мы приводим в конце настоящей статьи.

Свои приписки и пояснения Маркс делает на четырех языках: немецком, французском, английском и русском. Первые три языка сменяют один другой не только в одной и той же книге, но часто на одной и той же странице и даже в одной и той же фразе. Иногда непонятное русское слово подчеркивается, а на полях поясняется соответствующими словами одновременно немецкими и английскими или немецкими и французскими, как бы нащупывается наиболее близко передающее внутренний его смысл. Все время чувствуется, что Маркс одинаково хорошо владеет этими языками, что во всяком случае он почти параллельно думает на немецком и английском, как на двух родных языках.

Поражает сила сосредоточенного внимания во время процесса чтения: оно сказывается не только в отмеченных наиболее выразительных фразах и цитатах, — оно проявляется и в отмеченных отдельных словах, особенно типичных для русского языка и трудно переводимых на европейские. Часто

к отдельным русским словам на полях книги приписаны длинные пояснения, взятые, очевидно, из энциклопедии.

Эти аккуратно и резко сделанные карандашом отметки и приписки указывают не только на исключительную систематичность и терпение при изучении русского — одного из труднейших европейских языков, но говорят также о выдающейся способности этого читателя понять дух чужого языка. Поражает также острое внимание, с которым Маркс воспринимает каждое печатное слово, то зрительное внимание, которое развивается путем длительного упражнения у корректоров. Маркс почти не пропускает ошибки в наборе: неправильную букву в каком-нибудь слове он аккуратно перечеркивает и на полях надписывает правильную. Нужно обладать исключительной широты диапазоном внимания, чтобы, читая книгу на чужом языке, глубоко вникая в ее смысл, одновременно еще замечать и незначительные корректурные описки.

Подойдем ближе и остановимся на произведениях Салтыкова (Щедрина), как наиболее типично-русских и по языку и по общественной фабуле.

Если взять книгу Салтыкова, побывавшую в руках Карла Маркса, и читать ее не всю целиком, а только места, подчеркнутые им, то получается такое впечатление, как если бы в эти карандашом отмеченные места была бы выжата вся квинт-эссенция книги, весь смысл ее общественно-политической тенденции, вся тонкость характеристики типично-русского мещанина, кающегося интеллигента и национальная особенность отношений русского барина-помещика к крестьянину, того патриархального барина, который так разнится от европейского феодала.

И не только понимание общего смысла книги, — эти пометки также выявляют глубину восприятия Марксом духа русского языка, столь национально-специфического, образно-народного, каким он является у Салтыкова. Ведь и прирожденному русскому читателю иногда бывает трудно понять сатиру Щедрина, его тонкую иронию, передаваемую часто невинными словами наивного повествования. Поэтому особенно поражает, как иностранец Маркс, не бывавший в России, не видавший народа, проникает в тайники «иносказательности» русского языка. Нужно обладать особым

художественным чутьем, чтобы выбрать из каждой книги Салтыкова «незаметные» слова и фразы, которые наиболее образно рисуют внешнюю и внутреннюю стороны полукрепостной и крепостной России. Так, в «Господах Ташкентцах» дважды подчеркнуто описание внешнего вида небогатой помещичьей усадьбы, тонущей среди крестьянских изб. Это место, ярко обведенное красным карандашом квадратными скобками, указывает на то, как особенно живо воспринял Маркс сжатое, несколькими штрихами сделанное описание внешнего вида крепостной деревеньки.

Много хлопот доставляют К. Марксу специфически-русские бранные слова, которыми так пестрят некоторые страницы Салтыкова: «прощалыга, кровопускатель, мямля, паскуда, выродки, балбесы, пащенки, рохля, ракалия» и другие подобные цветы меткой народной характеристики старательно подчеркнуты. Очевидно, словарь, которым пользовался Маркс, не так богат был об'яснениями «крепких русских словец», и только некоторые из них ему удается расшифровать. Так, например, слово «холуй» он подчеркивает, а на полях для пояснения четко приписывает немецкие синонимы: «Lümmel, grober Frecher». В другом месте подчеркивает слово «цыркает» и на полях синим карандашом ставит большие восклицательный и вопросительный знаки (!?). Он хочет проникнуть в смысл русской пословицы, совершенно непереводимой на иностранный язык, и пробует подобрать по смыслу однозначущую на немецком языке.

Так, у Салтыкова он подчеркивает в тексте: «где раки зимуют», а на полях пишет: «Sprichwörtlich: Wo Bartheld Most holt» [1]).

Некоторые книги Салтыкова как будто бы не целиком читаны. Так, например, в книге «Убежище Монрепо» пометки имеются только в первой главе — «Общий обзор» и в последней — «Предостережение»; остальные страницы этой книги не носят признаков прикосновения к ним руки великого читателя.

Пишет Маркс русские слова крупными печатными буквами.

---

[1]) По пословице: «где Бартельд виноградный сок добывает».

Пер. Ф. Г.

К величайшему сожалению, книги, бывшие в библиотеке этого гениального человека, пострадали от руки переплетчика, который, не задумываясь, обрезал поля так, что не только отдельные слова, но и целые фразы, написанные рукой Маркса, безвозвратно погибли.

Чтобы получить конкретное представление о том, как выглядит русская книга, читанная Марксом, перелистаем некоторые из них.

Я буду указывать в начале цитаты страницу книги, читанной Марксом, и на ней подчеркнутые им слова и фразы — заключать в кавычки [а в конце мы приведем страницы данных произведений в петроградском издании 1918 г. *Ред.*]; недостающие буквы слов — заключаю в прямые скобки.

В списанном из книг тексте сохраняется орфография оригинала.

Начну с произведения Салтыкова — «Господа Ташкентцы». Маркс, видимо, читал его раньше, чем «Убежище Монрепо», так как в нем много подчеркнуто и переведено на другие европейские языки отдельных слов. Но уже и здесь он отмечает каждую фразу, характеризующую отсталость, подневольную покорность, забитость и запуганность российских «Митрофанов». И рядом с этим он выделяет каждую мысль, которая, хотя бы мельком, выражает надежду на революцию, на «Ташкент, который нарождается вновь, вместо старого», который умирает.

II

«ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ»

Введение этого замечательного произведения начинается, как известно, с сообщения, что, когда композитор Глинка выразил литератору Кукольнику свое удивление по поводу разнообразных его познаний, последний заявил: «прикажут— завтра же буду акушером». После этого Маркс подчеркнул следующую фразу (стр. 5).

«Отвѣтъ этотъ драгоцѣненъ, ибо даетъ мѣру талантливости русскаго человѣка. Но онъ еще болѣе драгоцѣненъ въ томъ смыслѣ, что раскрываетъ нѣкоторую тайну, свидѣтельствующую, что упомянутая

выше талантливость находится въ тѣснѣйшей зависимости отъ «приказания». Ежели мы не изобрѣли пороха, то это значитъ, что намъ не было то приказано». (Петрогр. изд., стр. 272.)

После заявления Салтыкова: «Все на чеку, все готово устремиться, куда глаза глядятъ», Маркс подчеркнул (стр. 6):

«Повидимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести въ обществе суматоху и толкотню. Однакожъ, ничего подобнаго не усматривается. Вездѣ порядки, вездѣ твердое сознаніе, что толкаться не велено. Но прикажите — и мы изумимъ міръ дерзостными поступками». (Петр. изд., та же стр.)

Обращает на себя внимание Маркса следующее определение Салтыкова (стр. 7):

«Практика — это тоже своего рода божество, которое выведетъ ихъ (людей на все готовыхъ. *Ред.*) изъ умственнаго оцѣпенѣнія и дастъ смыслъ ихъ невнятному бормотанію» (стр. 273).

После заявления Салтыкова, что «область профессій представляетъ у насъ сферу, совершенно отвлеченную», что «въ глазахъ людей профессій не существовалъ X, какъ живое лицо, а лишь «дѣло объ X, ищущемъ удовлетворенія», «дѣло объ Z, томящемся въ тюрьмѣ», Маркс подчеркивает следующее длинное рассуждение нашего сатирика (стр. 9):

«Рѣчь шла не объ дѣйствительной участи людей, а о рѣшеніи уравненій съ однимъ или нѣсколькими неизвѣстными. Но, когда живые люди постепенно доводятся до состоянія тѣней, то они и сами начинаютъ сознавать себя тѣнями, и въ этомъ качествѣ дѣлаются вполнѣ равнодушны къ тому, какія рѣшаются объ нихъ уравненія и какія пишутся статистики».

«И что всего удивительнѣе, эта «свѣжесть» допускалась не только въ области дѣятельности спекулятивной, но и въ области ремеслъ, гдѣ, повидимому, прежде всего требуется если не искусство, то навыкъ. И тутъ люди, по приказанію, дѣлались и портными, и сапожниками, и музыкантами. Почему дѣлались? — а потому, что требовались только простые сапоги, простое платье, простая музыка, то-есть такія именно вещи, для выполненія которыхъ совершенно достаточно двухъ элементовъ: приказанія и готовности» (стр. 275—276).

И далее, через несколько строк Маркс подчеркивает (на стр. 10):

«Такимъ образомъ, оказывается, что какъ ни велика наша талантливость, все-таки она можетъ считаться дѣйствительною лишь до тѣхъ

поръ, пока существуетъ безпредметность профессій, или, говоря другими словами, покуда можно всѣ сапоги шить на одну ногу. Какъ скоро давальцы начнутъ требовать сапоговъ, шитыхъ по мѣркѣ, никакія приказанія не помогутъ нашей готовности» (та же стр.).

После замечания Щедрина, что «кромѣ пресловутой талантливости, т.-е. пустого мѣста», которое «дорого намъ», Маркс подчеркивает:

«Раскольники, современники Петру — и тѣ лучше были, ибо говорили: мы хотимъ пахнуть по-своему... И выходитъ, что мы тоже пахнемъ, только пахнемъ нежилымъ мѣстомъ» (там же).

Вслед за этим у Щедрина: «И вотъ недалеко отъ насъ глухая стѣна... Въ хаосѣ безразличія... начинаютъ выясняться отдѣльные образы, которые съ изумленіемъ смотрятъ на стѣну, воздвигнутую вѣковою русскою готовностью». Затем Маркс подчеркивает (стр. 11):

«Вспоминается, какъ они суетились, разоряли, громили, жгли — и все это безъ ненависти, безъ злобы, даже безъ мысли, единственно ради похотливаго желанія доказать, сколь талантливъ можетъ быть человѣкъ, когда знаетъ, что его за эту талантливость не подвергнутъ тѣлесному наказанію».

«Эта стѣна, однакожъ, не съ неба свалилась и не изъ земли выросла. Мы имѣли свою интеллигенцію, но она заявляла лишь о готовности слѣдовать приказаніямъ» (стр. 277).

После одиннадцати страниц, на которых Щедрин прохаживается насчет «талантливости Митрофана» и где Маркс подчеркнул лишь некоторые отдельные незнакомые ему слова, он заключил в квадратные скобки следующее место (на стр. 22):

«Историческая наука недаромъ отдѣлила послѣднія четыре столетія и существеннымъ признакомъ этого отграниченія признала великія изобрѣтенія и открытія XV вѣка. Здѣсь проявленія усилій человѣческой мысли дали жизни человѣчества совсѣмъ иное содержаніе и разъ навсегда доказали, что общественныя и политическія формы имѣютъ только кажущуюся самостоятельность, что онѣ дѣлаются шире и растяжимѣе по мѣрѣ того, какъ пополняется и усложняется матеріалъ, составляющій ихъ содержаніе. Митрофанъ ничего этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ живетъ въ вѣкъ открытій и изобрѣтеній и думаетъ, что между ними и тою или другою формою жизни нѣтъ ничего общаго. Въ его глазахъ матеріальныя и умственныя богатства перемѣщаются изъ однѣхъ рукъ въ другія, а онъ продолжаетъ думать, что все это не болѣе какъ случайность» (стр. 286).

Вновь десять страниц без заметок, и на странице 32 заключено в квадратные скобки:

«Ташкентъ, какъ терминъ географическій, есть страна, лежащая на юго-востокъ отъ Оренбургской губерніи. Это классическая страна барановъ, которые замѣчательны тѣмъ, что къ стрижкѣ ласковы, и послѣ оголенія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой. Кто будетъ ихъ стричь — къ этому вопросу они, повидимому, равнодушны, ибо знаютъ, что стрижка есть нѣчто неизбѣжное въ ихъ жизни. Какъ только они завидятъ, что вдали грядетъ человѣкъ стригущій и бреющій, то подгибаютъ подъ себя ноги и ждутъ»... [стр. 293—294].

На странице 34 подчеркнуто все о том же чудном городе:

«Конечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то же время знаю, что есть и еще *Ташкентъ*, который нарождается вновь» (стр. 296).

Пропустив вновь ряд страниц, подчеркнув на них лишь отдельные слова, Маркс останавливается на 2-й главе «Ташкентцы-Цивилизаторы». Напомним, что в ней Щедрин сообщает, каким образом для него «сдѣлалось яснымъ, что задача Россіи двойственная: во-первыхъ, установить на прочномъ основаніи принципъ безпрепятственности иллюминацій (политика внутренняя) и, во-вторыхъ, откуда-то нѣчто брать и куда-то нѣчто передавать (политика внѣшняя)»... «Вторая задача, — говорит он, — уже во времена моей юности причиняла мнѣ не мало безпокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть какіе-то «плоды», которые слѣдуетъ гдѣ-то принимать и куда-то передавать; но что это за «плоды»... я никакъ не могъ взять себѣ въ толкъ» (стр. 309 — 310 петрогр. изд.).

После этих заявлений Марксом подчеркнуты следующие строки (стр. 53-я):

«Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное, я приходилъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) что у насъ своихъ плодовъ нѣтъ;

2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на то, что передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ — вотъ и все; и

3) что мы рискуемъ при этомъ быть выдранными за вихоръ» (стр. 310).

На стр. 55 Маркс подчеркнул:

«Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, былъ бы способенъ въ одну минуту процивилизировать насквозь цѣлую Палестину».

А на следующей странице Маркс подчеркнул: «хватилъ для храбрости очищенной». На стр. 60 отчеркнуто:

«Увы! такова судьба цивилизирующаго начала! Оно истребляетъ туземныхъ барановъ и, взамѣнъ того, научаетъ обывателей удовлетворяться духовною пищей. Кто въ выигрышѣ? Кто въ проигрышѣ? тѣ-ли, которые удѣляютъ пришельцу частицу стадъ своихъ, или тѣ, которые въ возвратъ за это приносятъ съ собой драгоцѣннѣйшій изъ всѣхъ плодовъ земныхъ — просвѣщеніе» (стр. 316—317).

На стр. 74 подчеркнуто:

«Сверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порціонныя деньги».

На стр. 76 отчеркнуто:

«Кругомъ меня ходятъ какія-то тѣни и говорятъ: «стоя на рубежѣ... «Потомъ приходятъ другія тѣни и говорятъ: «le principe du telègue russe»...

На стр. 80 подчеркнуто:

«Можетъ быть, отыщется другой кавалеристъ, можетъ быть, дипломатъ, а можетъ быть... и самъ Александръ Дюма-фисъ».

На стр. 99 подчеркнуто: ...«что это просто вновь открытая угнетенная національность».

На стр. 100—101 подчеркнуто: «обижается», «искрятся», «разыскать корни и нити» и дальше отчеркнуто: «...желай въ предѣлахъ возможнаго»...

На стр. 145 подчеркнуто: «И притомъ бралъ исключительно съ имущихъ, а неимущихъ только сѣкъ». Затем вновь следует ряд страниц без подчеркнутых мест текста, с отметкой лишь отдельных слов; только на стр. 373 в гл. V: «Ташкентцы приготовительнаго класса» появляется отметка Маркса в том месте, где Nicolas в беседе с матерью обещает держаться следующего правила поведения (стр. 100—101):

«Желай въ предѣлахъ возможнаго, безпрекословно исполняй приказанія начальства, будь готовъ et ne te mêle pas de politique [1]). Одинъ изъ нашихъ гувернеровъ сказалъ святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiète» (стр. 373) [2]).

---

[1]) Не мешайся в политику.

[2]) Нигде, — говорил он, — не чувствуешь себя так спокойно, как в России, — раз ничего не делаешь, никто тебя не беспокоит. *Ф. Г.*

После сделанного Щедриным сопоставления между Nicolas и Мангушевым, Маркс подчеркнул следующее место (стр. 108):

«Прежде помѣщики поселялись въ деревняхъ, потому что тамъ дешевле и привольнѣе жить, потому что ни Катька, ни Машка, ни Палашка не смѣютъ ни въ чемъ отказать, потому что въ полѣ есть заяцъ, въ лѣсу медвѣдь, и т. д. Теперь поселяются въ деревняхъ par principe, для того, чтобъ сѣять какія-то сѣмена и поддерживать какія-то якобы права...» (стр. 378).

На той же странице он подчеркнул данное Щедриным об'яснение выражения помещика Мангушева:

«Креугольные камни, о которыхъ здѣсь упоминалось, состояли въ томъ, что Мангушевъ по утрамъ чистилъ себѣ ногти и примѣривалъ галстухи, потомъ ѣздилъ по сосѣдямъ или принималъ таковыхъ у себя, и, наконецъ, на ночь, зѣвая, выслушивалъ рапорты своихъ: chef de l'administration и chef de haras (стр. 378—379), [шефа администрации и шефа конюшен].

Следующая большая выдержка заключена в квадратную скобку (стр. 139):

«Въ прежнія времена, небогатые помѣщики, при выборѣ усадебной осѣдлости, руководствовались слѣдующими соображеніями: во-первыхъ, чтобы церковь стояла передъ глазами, а во-вторыхъ, чтобы мужикъ всегда подъ руками былъ. Отгородитъ помѣщикъ попросторнѣе мѣстечко въ ряду съ крестьянскими избами *(большей частью въ низинкѣ, чтобъ зимой теплѣе было)* и кладетъ тамъ домъ не домъ, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, что зимой заноситъ снѣгомъ, а лѣтомъ чуть-чуть виднѣется изъ-за тына. Потомъ спереди разведетъ палисадникъ, въ которомъ не то что гулять, а повернуться негдѣ, а сзади и по бокамъ настроитъ людскихъ, да застольныхъ, да амбарушекъ, да клѣтушекъ — и пойдетъ этотъ нескладный сбродъ строеній чернѣть и ветшать подъ вліяніемъ времени и непогодъ, да наполняться грязью, навозомъ и вонью. Ни сада, ни воды, ни даже просто дали передъ глазами. Только и вида, что церковь, сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налѣво рядъ покосившихся крестьянскихъ избъ, раздѣляемыхъ улицей, на которой отъ навоза и грязи проѣзда нѣтъ. Зато баринъ знаетъ, что въ какой избѣ дѣлается, что говорится, какой мужикъ дѣйствительно *по болѣзни не выходитъ на барщину, какой только отлынивает*; у кого отелилась корова, что принесла и т. д.» (стр. 403—404).

Подчеркнутые в этом отрывке места, видимо, привлекли особое внимание Маркса, так как отмечены им дважды — и горизонтальной и вертикальной чертой.

Следующее рассуждение о преимуществах гражданской службы подчеркнуто Марксом (стр. 179):

«Гражданская-то служба развѣ не то же страженіе? — повѣствуетъ дядинька: — только всего и разницы, что по военной части двое стражаются, а по гражданской части одинъ стражается, а другой претерпѣвает страженіе» (стр. 430).

Он также подчеркнул такое сообщение (на стр. 179):

«...маркизъ Шассе-Круазе, который былъ знаменитъ тѣмъ, что въ одномъ нижнемъ бѣльѣ прибѣжалъ изъ Парижа въ Россію, и потомъ, въ 1814 году, вполнѣ экипированный бралъ Парижъ вмѣстѣ съ союзниками».

Затем обращает на себя внимание Маркса следующий взгляд одного из ташкентцев (стр. 183):

«Это, братъ, правильно, потому, что безъ чиновъ тоже нельзя. Хоть и поговариваютъ объ уничтоженіи, а я такъ полагаю, что никогда имъ скончанія не будетъ. И мы проживемъ, и дѣти наши, с Божьей помощью, проживутъ, и никто чинамъ конца не увидитъ» (стр. 439).

На стр. 195 подчеркнуто:

«человѣкъ-планета, около которой вертится человѣкъ-спутникъ» (449 стр.).

Далее до страницы 248 не имеется никаких пометок и только на 248—249 обведено следующее:

«Промышленная и акціонерная горячка, послѣ всеобщаго затишья, вдругъ очутилась на самомъ зенитѣ. Проэкты сыпались за проэктами; акціонерныя компаніи нарождались одна за другою, какъ грибы въ мочливое время. Люди, которымъ дотолѣ присвоивались презрительныя наименованія «соломенныхъ головъ», «гороховыхъ шутовъ», «проходимцевъ» и даже «подлецовъ», вдругъ оказались геніями, передъ грандіозностью соображеній которыхъ слѣпли глаза у всѣхъ непосвященныхъ въ тайны жульничества» (стр. 492).

Далее до конца книги отметок нет.

III

Но, кроме обведенных и подчеркнутых более или менее значительных мест и отдельных фраз, Маркс на этом произведении Щедрина, как мы уже сказали, очевидно еще изучал русский язык: это явствует из приводимых им на полях переводов и синонимов на других европейских языках,

Но нет возможности перечислить все подчеркнутые им в этом произведении слова и выражения, так как для этого потребовалось бы слишком много страниц, к тому же едва ли это и интересно широкому кругу читателей. Мы, поэтому, приведем здесь лишь некоторые слова и фразы, особенно характеризующие, на-ряду со способом изучения Марксом русского языка, также и ознакомление его с нравами нашей страны по этой сатире Щедрина.

На 17 стр. подчеркнуто: «о чиноначаліи»; на 18 — «огуломъ», «онъ смѣшалъ цивилизацію съ табелью о рангахъ»; на 19 — «окрыляетъ», «непререкаемая», «досталось ему съ барскаго плеча».

На 20: «кумиръ», — на поляхъ приписка: «idol»; на 23 подчеркнуты слова: «саванъ», «гробъ», «столпотвореніе»; на поляхъ пояснения: «Leichengewand, Sarg, construction de tour de Babel».

На 24: «надулъ», «своднича лъ». На 26 стр. подчеркнуто: «прогонными деньгами», на поляхъ: «la tax pour les chevaux de post».

На 28 подчеркнуто: «управа благочинія», а на 30 — «угрюмо шевелятъ челюстями», «виляютъ».

На 33: «храмину»; на 42: «прячется», а на поляхъ: «прятать»; на 44 стр.: «окачиваетъ», — на поляхъ — «окатить»; на 46-й: «смялъ», приписка: «сминать», «смять»; на 47 подчеркнуто: «съежился», на поляхъ: «se crisper, se contracter».

На 50 подчеркнуто: «притворялись людьми, питающимися лебедою»..., «предметнымъ стекломъ», на поляхъ приписка, частью срезанная: «[obje]ctivglas»; на 6: «отшучусь» — «s'en tirer par une plaisante[rie]»; на 66: «панибратствомъ», «проходимецъ», «пропойца», «прощалыга».

На стр. 102 подчеркнуто: «онъ вступаетъ въ тотъ фазисъ, когда человѣкомъ вдругъ овладѣваетъ какая-то нестерпимая потребность лгать». А на следующей отчеркнуто: «до сихъ поръ всѣ его политическія убѣжденія заключались въ томъ, чтобы не пропускать ни одного праздничнаго дня, не посѣтивши театра Берга».

На 124—130 стр. подчеркнуто: «облавъ», «травли», «взорвать на воздухъ», «натуживалась и скашивалась на одну сторону».

На 131: «рычалъ» (надпись — «рыкать»), «посовѣлыми», «барабаня», «Кочуринъ сѣкъ больно, а Купцовъ — нестерпимо». «Василій Ипатычъ! не приказывайте держать!».

На 132—136: «душу изъ оглоблей», «сыгралъ я въ ничью», «косушку», «слимонить», «сивуху». К некоторым словам сделаны на полях приписки, срезанные в большей своей части так, что прочесть невозможно.

На 137 стр.: «Да, волкъ. Голоденъ... всегда... вотъ какъ волкъ... ну, и травятъ!».

На 140—144: «хламъ», «шныритъ», «наши пропали», «хнычущимъ», «вкрадчивымъ», «раззудилъ», «сквернословія», «мямля», «тать», «каверзничалъ»; на полях приписаны французские и немецкие слова, соответствующие некоторым из приведенных.

На 146—153: «шатеръ», «загодя», «оглашая воздухъ шиканьемъ», «ракалія», «мозолилъ», «гамомъ», «ударивъ ее подъ пьяную руку», «рохлей» (на полях: «lamlin»), «слоняется», «паскуда», «прошмыгнетъ», «пащенки», «выродки», «балбесы», «науськивалъ», «башка».

На 154: подчеркнуто и на полях отмечено скобкой и чертой: «всѣхъ-то всему научи! Всѣмъ-то всего припаси!». Там же: «воряга», «неизреченное ехидство», «шелъ на проломъ», «каверзничалъ», «зудилъ», «пожнетъ». Последние слова занумерованы, и на полях под соответствующими цифрами надписан перевод их на французский язык; надпись в значительной части срезана переплетчиком, так что полностью остались переведенными лишь три последние слова: 4) «chicaner, intriguer, 5) démanger, 6) fair nargue, cracher».

На 155: «подмазочки бы вотъ надо».

Это, повторяем, лишь меньшая часть подчеркнутых Марксом слов. Полагаем, однако, что все вышеприведенное дает наглядное представление о том, как он усваивал русский язык, в особенности столь своеобразный, как щедринский.

В следующем произведении нашего сатирика уже почти не встречаются подчеркнутые слова, — Маркс, очевидно, вполне овладел неимоверно тяжелым языком Щедрина. Но зато он часто останавливается на его изображениях, характеристиках, взглядах. Поэтому знакомство с отметками Маркса на втором произведении Щедрина представляет больший интерес.

IV

«Убѣжище Монрепо»

Из приводимых ниже выписок из этой книги, подчеркнутых К. Марксом, мы видим, как он выжимал из книги всю тонкую сатиру на русскую действительность, как проникал в черты характера русского культурного человека и отмечал всю беспомощность и наивность, всю неподготовленность к практической работе, с которой этот культурный человек приходил в медвежьи углы, подобные Заманиловке, для насаждения культуры. Острое внимание Маркса останавливалось также и на совсем незаметном, скромном, эпическими штрихами сделанном описании самой Заманиловки, всей мерзости запустения жизни в ней.

Несколькими отмеченными строками Маркс закрепляет образ бывшего провиантского чиновника, у которого рассказчик купил имение «Монрепо» (на стр. 5):

«Напалъ на продавца-старичка, который въ церкви, во время литургiи вѣрныхъ, приходилъ въ восторженное состоянiе, и я повѣрилъ этой восторженности. Старичекъ служилъ когда-то по провiантскому вѣдомству и потому былъ благодушенъ и гостепрiименъ» (X. стр. 341).

Этот старичок ничего не делает и не говорит без креста и молитвы, будто призывая на всех благословение божие, но по отношению к крестьянам вдруг обнаруживает необузданный гнев, и Маркс подчеркивает (стр. 6):

«Погрозился кулакомъ на крестьянскiй поселокъ, населенный новоиспеченными временно-обязанными, и присовокупилъ: «Все изъ-за нихъ, канальевъ. Кабы не они, подлецы, кажется, ни въ жизнь изъ этого рая не выѣхалъ» (стр. 342).

Против них богомольный старичок уже возбудил дело и злобно надеется на порку крестьян (стр. 7):

«Вотъ какъ шестьдесятъ человѣкъ березовой кашей вспрыснуть, такъ до новыхъ вѣниковъ не забудуть» [1]).

Попутно Маркс подчеркнул и примечание, из которого явствует чудовищность постановления суда о порке всего взрослого мужского населения деревни, так как за исключением женщин, стариков и детей из 160 душ останется не больше 60 человек.

Так же типичны подчеркнутые места для характеристики беспочвенного, живущего как во сне культурного человека, покупателя имения: он покупает, потому что (там же):

«...Случились въ карманѣ довольно большiя деньги (впрочемъ, данныя взаймы...» (стр. 342).

[1]) Всего въ имѣнiи числилось 160 ревизскихъ душъ (ревизiя была въ 1859 году), въ томъ числѣ, разумѣется, на половину подростковъ и малолѣтнихъ. Рѣшенiе московской уголовной палаты, дѣйствительно, состоялось въ этомъ родѣ, но сенатъ его отмѣнилъ, и дѣло, кажется, кончилось ничѣмъ (стр. 342).

Цены денег он не знает, но смутно надеется на большие барыши, хотя в хозяйстве ничего не понимает (стр. 7):

«...Только одно, повидимому, я зналъ твердо: что положено начало свободному труду, и земля, слѣдовательно, должна будетъ давать вдесятеро...» (стр. 342).

Дальше Маркс отмечает ту «воспитательную среду», в которой вырос этот легковерный, бесхозяйственный и жаждущий барышей культурный человек (стр. 8):

«...Родители мои сами во все входили, чего въ то время было совершенно достаточно, чтобъ заслужить репутацiю «хозяина» (стр. 343).

Это «хозяйское вхождение во все» выражалось в бесконечных разговорах по вечерам со старостой, когда (там же):

«...Раздавались выраженiя: «поголовно», «братъ на брата» и другiе сельскохозяйственные термины въ крѣпостномъ вкусѣ»... (стр. 343).

Очевидно Маркс отлично понимал, что значили эти крепостнические выражения и какими путями создавалась «полная чаша» помещичьей жизни, охраняя которую (там же):

«...Похаживалъ сторожъ и билъ въ чугунную доску...» (стр. 343).

Эта отмеченная Марксом деталь ясно показывает, что он представлял себе даже картину этой жизни, требовавшей очень твердой охраны, и тут же он подчеркивает, как мало понимал ее внутреннюю сущность рассказчик, «культурный человек», выросший в крепостнических условиях (там же):

«...Я зналъ формы, въ которыхъ проявлялось созиданiе полной чаши, но не понималъ внутренняго содержанiя этихъ формъ. Для меня оставалась скрытой та страшная масса усилiй, физическаго труда, изнеможенiй, пота и отчаянiй, которыми сопровождалось устроенiе полной чаши...» (стр. 343—344).

Результатом полного незнания жизни и хозяйства со стороны «культурного человека» было то, что провиантский старичок слегка предупредил его насчет служб:

«...Вот службы — легенькiя». [На полях приписка «Wirtschaftsgebäude»] (стр. 342).

обошел его во всем прочем (стр. 9):

«...Густой и высокiй лѣсъ, на который мнѣ указывалъ пальцемъ старичекъ-продавецъ, оказался чужой, а *мой* лѣсъ былъ низенькiй и рѣдкiй...» (стр. 344).

Промучившись два года, не получая ничего кроме огорчений от своего неумелого ведения хозяйства, рассказчик сдал крестьянам всю землю и пользовался усадьбой только как дачей. Проследив фазы превращения неумелого сельского хозяина в дачника, Маркс подчеркивает процесс перехода имений в руки хищников (стр. 10):

«При такомъ упрощенномъ взглядѣ дѣло шло кое-какъ ровно пятнадцать лѣтъ».

И на следующей странице:

«Ничего «своего» у меня не было» (стр. 345).

Все сельскохозяйственные продукты привозились из города (стр. 12):

«Въ короткій пятнадцатилѣтній періодъ моего владѣнія подмосковной почти весь землевладѣльческій составъ кругомъ меня измѣнился. Въ ближайшей ко мнѣ старинной княжеской усадьбѣ съ вѣковыми лѣсами, съ знаменитыми оранжереями и съ прекрасно устроеннымъ господскимъ домомъ, въ теченіе двухъ лѣтъ, перемѣнилось два владѣльца, изъ коихъ одинъ — еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности...» (стр. 346).

Дальше Маркс останавливается на определении «культурного человека». Он подчеркивает ироническое замечание Щедрина (стр. 13):

«Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хозяйство можетъ приносить барыши...» (стр. 347).

Это не дело культурного человека, даже и европейского, которому, по определению Щедрина, нужно не полеводство, «а только общій видъ полей». Это сугубо верно для русского культурного человека, что Маркс и подчеркивает (на стр. 14):

«Нашъ русскій культурный человѣкъ носитъ на себѣ тѣ же родовыя черты, какъ и западно-европейскій. Разница только въ томъ, что у него еще больше досуга, а интеллектуальнаго запаса значительно меньше. Сверхъ того, какъ мы ни стараемся о насажденіи классицизма, но русскій культурный человѣкъ, въ дѣлѣ знакомства съ древними классиками, и нынѣ едва ли идетъ дальше басенъ Федра, имѣть которыя, въ качествѣ настольной книги, нѣсколько, впрочемъ, совѣстно» (стр. 348).

Неспособные к ведению сельского хозяйства русские культурные люди устремились в столичные канцелярии,

а летом предпочитают Павловск и другие дачные места. Но есть немало еще культурных людей, сохранивших свои Заманиловки, и им приходится туда ездить, но жизнь там не сладка. Двумя подчеркнутыми цитатами Маркс исчерпывает печальное состояние этих Заманиловок (стр. 16):

«Полезныя домашнія животныя упразднены, дикія, вслѣдствіе истребленія лѣсовъ, эмигрировали, караси въ прудѣ выловлены, да и хорошаго печенаго хлѣба, пожалуй, нельзя достать; въ-третьихъ, плохо и по части газетной пищи, ежели Заманиловка, по очень счастливому случаю, не расположена вблизи станціи желѣзной дороги» (стр. 349—350).

И дальше на следующей странице о развлечениях:

«Я уже не говорю о развлеченіяхъ амурныхъ, хотя и не безъ вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивѣйшаго и художественнѣйшаго описателя нашихъ «дворянскихъ гнѣздъ», у котораго на каждаго помѣщика (молодого и образованнаго) непремѣнно приходилась соотвѣтствующая помѣщица» (стр. 350).

Потом внимание Маркса останавливается на противопоставлении культурному человеку настоящего земледельца. В то время как культурный человек, занявшись земледелием, натыкается, вследствие своего невежества и неопытности, на тысячи непредвиденных обстоятельств и вечно предается отчаянию, Маркс подчеркивает (стр. 18):

«Для настоящаго земледѣльца нѣтъ времени мучить себя; для него нѣтъ сюрпризовъ, онъ, земледѣлецъ, въ концѣ концовъ, все-таки, «управится», т.-е. одолѣетъ личнымъ трудомъ все, что въ данную минуту одолѣть можно» (стр. 351).

А культурный человек будет негодовать, что нанятое им «хамово отродье» в дождь прячется под навес, бросив работу. И в то же время он легковерен и тяготеет к художественному (на стр. 19):

«Вотъ почему для него выгоднѣе совсѣмъ не родиться на свѣтъ, нежели возгорѣть страстью къ полеводству» (стр. 352), —

— подчеркивает Маркс. К этому полеводству культурный человек приступает без действительных знаний, но с книжкой, которую он читает глазами воображения. Но

«ничто такъ легко не поддается подкупу, какъ воображеніе, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображеніе рисуетъ ему урожаи самъ-десять и самъ-двѣнадцать (въ книжкѣ они доходятъ и до самъ-двадцать)» (стр. 352).

Следующие затем в этой книге главы, — как мы уже сообщили, — не носят никаких пометок; страницы книги кажутся нечитанными. Но последняя глава — «Предостереженіе» — читалась, видимо, с особенным интересом: она вся испещрена пометками; подчеркнуто синим карандашом все, что касается «охранителей» и «столповъ» общества. С особенным вниманием Маркс останавливается на местах, выявляющих типичную для русского интеллигента тоску, нытье. Он останавливается на рассуждениях «пропащаго человѣка» об отечестве. Он не пропускает ни одной фразы, выражающей протест против реакции или надежду на революцию. Резко подчеркнуты им все места, в которых выражаются мысли о постепенной подготовке и кажущейся внезапности революции и о закономерном развитии одних явлений из других.

Маркс отмечает (стр. 175—176) пришествие «чумазаго», которого все ждут, даже стерляди, и он подчеркивает, что они как будто говорят: «*слава Богу, кажется, скоро начнутъ ѣсть и насъ*». Поэтому «пропащіе люди», — говорит Щедрин, — понимают, что «чумазый» придет, чтобы показать, «гдѣ раки зимуютъ», и «на нихъ-то онъ прежде всего и обрушится, дабы впослѣдствіи уже и *безъ помѣхи производить опыты упрощеннаго кровопивства*» [подчеркнуто Марксом].

Весть об этом пришествии проникла уже и в среду, привыкшую «формулировать свои предвидѣнія и чаянія» (стр. 177):

«И эта среда спѣшитъ всѣмъ возвѣстить ваше пришествіе, какъ вѣрнѣйшій залогъ грядущаго обновленія. Прежде всего, васъ привѣтствуютъ наши «охранители...» (стр. 177).

«И это люди, которые когда-то не только сами называли себя столпами, но даже и были оными! Какимъ чудомъ случилось, что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились въ пропащихъ людей?»... (стр. 473).

«...И, кто знаетъ? можетъ быть, именно благодаря этому упорству, была одна минута, когда казалось, что вотъ-вотъ все русское общество вступитъ на стезю абсолютнаго и безповоротнаго безстолбія»... (178—179).

«...Но охранители и до нынѣ не могутъ забыть о краткомъ періодѣ этого «чуть-чуть не безстолбія» и, разумѣется, вспоминаютъ объ немъ

не только съ тоскою, но и съ омерзѣніемъ... Было такое время... га!» (там же).

Далее Щедрин говорит, что «вредныя мечтанія немедленно умираютъ», после чего Маркс отмечает:

«Или лучше сказать, они [вредные мечтанія] даже не рождаются, а только отъ времени до времени заносятся въ видѣ эффектнаго слуха со стороны, не поселяя въ столпахъ ни малѣйшей тревоги своимъ эфемернымъ появленіемъ... Вотъ почему, столпы считаются существеннѣйшимъ подспоріемъ, и вотъ почему, когда наступаетъ моментъ изгноя, благоразумные охранители заранѣе подстерегаютъ этотъ моментъ и дѣлаютъ нужныя приспособленія, дабы старые подгнившіе столпы были немедленно замѣнены новыми... Нынѣ, къ безпримѣрной радости охранителей, пробѣлъ, причиненный кратковременнымъ безстолбіемъ, пополненъ. «Чумазый человѣкъ» — въ виду у всѣхъ; человѣкъ свѣжій, непреклонный и расторопный, который, навѣрное, освободитъ охранителей отъ половины гнетущей ихъ обузы. Нѣтъ нужды, что онъ еще недостаточно поскоблился,..»

[что на знамени его] «...распивочно и на выносъ... Охранитель видитъ въ этомъ не препятствіе, а залогъ»...

«Что такое «общество»? — это фикція и больше ничего».

«...тѣмъ-то вѣдь и дорогъ «чумазый человѣкъ», что, имѣя его подъ рукой, обо всѣхъ вообще фикціяхъ навсегда можно забыть, и нисколько не будетъ совѣстно... Ему извѣстенъ только грошъ...»

«Слѣдомъ за охранителями, привѣтствуютъ чумазаго человѣка и публицисты. Никогда... съ такими угрозами не было говорено о необходимости огражденія этихъ принциповъ [1]... все ради васъ, кабатчики и мѣнялы» (стр. 475).

(На полях синим карандашом приписка русскими печатными буквами: «кабітъ — широкая и долгая рабочая рубаха, надѣваемая крестьянами сверхъ кафтановъ» [видимо, пояснение к слову «кабатчики»]).

После того, как Щедрин вкладывает в уста героя: «Зачѣмъ мнѣ, крѣпостныхъ дѣлъ мастеру, было напоминать о принципахъ», — Маркс подчеркивает (на стр. 180—181):

«...когда я самъ былъ ходячимъ гимномъ этихъ принциповъ...» (стр. 475).

Затем, пропустив несколько строк, Маркс на той же странице подчеркнул:

«И вдругъ, все измѣнилось. По волѣ судебъ, насталъ періодъ безстолбія... Умозаключеніе... что столпы именно до тѣхъ только поръ и стоятъ крѣпко, пока крѣпко стоитъ безсознательность, но такъ какъ

---

[1]) Собственности, семейственности и государственности. *Ф. Г.*

безстолбіе одолѣвало, то приходилось довольствоваться хоть какимъ-нибудь выходомъ, чтобы такъ или иначе освободиться отъ ненавистнаго явленія. Понадобилось уяснить составныя части стихіи, указать наилучшіе способы управленія ею. Вотъ эту-то задачу и приняла на себя публицистика... потребовались и знаменосцы для нихъ [для принциповъ]».

Далее герой Щедрина признает, что над крепостной жизнью тяготел следующий «принципъ», который Маркс отметил:

«...какъ только допущены будутъ разъясненія, расчлененія и разслѣдованія, такъ тотчасъ же всѣ мы пропали... площать въ дѣлѣ держанія знаменъ — отнюдь не допускается. Такими людьми оказались — вы, кабатчики, железнодорожники, мѣнялы и прочіе міроѣдскихъ дѣлъ мастера!.. долой безстолбіе! вотъ они, новоявленные наши столпы» [1]) (стр. 476).

Так как впредь все упования «на кабатчиковъ и мѣнялъ», то Маркс подчеркивает (стр. 182):

«...вы съ неумолимою логикою проведете принципъ умиротворенія посредствомъ обездоленія... затерялся еще гдѣ-то уголокъ, въ которомъ процессъ обездоленія не совершилъ всего своего круга» (на той же стр.).

«Вотъ уже двадцать лѣтъ сряду, какъ я состою въ званіи пропащаго человѣка, и мнѣ кажется, что этого періода времени вполнѣ достаточно, чтобы пролить бальзам забвенія на какіе угодно сердечные ропоты» (стр. 477).

Он признает, что «смирился и замолчалъ», все же временами не может сдержаться, а потому, — подчеркивает далее Маркс:

«...теперь кое-что сболтну въ одномъ изъ тѣхъ тихихъ пріютовъ, которые извѣстны подъ именемъ земскихъ учрежденій, но сболтну неувѣренно и какъ-то невнятно, съ пропусками».

Затем после его признания, что «титулъ пропащаго человѣка прикрѣпленъ безповоротно», отмечено:

«Я полюбилъ это скромное званіе [пропащего человека]. Иногда мнѣ даже сдается, что оно близко граничитъ съ званіемъ человѣка вообще,..»

«Я знаю, что исторія назадъ не возвращается, что даже гнусное не повторяется въ ней въ однѣхъ и тѣхъ же формахъ, но или развивается въ формы гнуснѣйшія, или навсегда прекращается, и, что, стало быть, Прогорѣловымъ, какъ бы ни вопіяли — повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не выдержатъ) не суждено..

[1]) Воскликнули публицисты. *Ф. Г.*

сумѣю ли я настолько совладать съ собою и съ своимъ прошлымъ, чтобы сдѣлаться во истину порядочнымъ пропащимъ человѣкомъ».

«...грамота помогла мнѣ непостыдно и безболѣзненно (по крайней мѣрѣ, относительно) перекочевать изъ категоріи столповъ въ категорію пропащихъ людей; это злосчастіе — потому что грамота же помѣшала мнѣ всецѣло отдаться восторгамъ возрожденія и этимъ самымъ уподобила мое существованіе ладьѣ, плавающей по волнамъ житейскаго моря безъ кормила и весла... она потревожила мой почившій внутренній міръ» (стр. 478).

Далее Маркс подчеркнул следующее (на стр. 185):

«...о выраженіяхъ еще не утвердившихся, новоявленныхъ, каковы напримѣръ: интеллигенція, культура, дирижирующіе классы и проч...»

А также — характеристику Ионы Губошлепова, который:

«Занимается поставкой для арміи и флотовъ гнилыхъ сухарей, а нынѣ сверхъ того, дирижирующій классъ» (стр. 479).

По словам Щедрина, в «неизданномъ интимно-обывательскомъ толковомъ словарѣ» имеются такие определения, которые Маркс подчеркивает (стр. 186—187):

«Интеллигенція, или кровопивство... Правящій классъ, или шайка людей, въ тихомолку отъ начальства объегоривающая...»

И вот... «Думается мнѣ», — говорит Щедрин, — «горе тому граду, въ которомъ, — (дальнейшее подчеркнуто Марксом)

«и улица, и кабаки скулятъ о томъ, что собственность священна! Навѣрное въ градѣ семъ имѣетъ произойти неслыханное воровство! Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно вопіютъ, что семейство — святыня! Навѣрное надъ этой весью невдолгѣ разразится колоссальнѣйшее прелюбодѣйство! Горе той странѣ, въ которой шайка шалопаевъ во всѣ трубы трубитъ: государство, mon cher! — c'est sacrrré! [дорогой мой, — это священно!]. Навѣрное, въ этой странѣ государство въ скоромъ времени превратится въ расхожій пирогъ!» (стр. 480).

«Осуществите ее (свару) въ цѣлой массѣ лицъ, искаженныхъ жаждой любостяжанія и любострастія, заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ друга зубами, срамословить, свальничать, убивать, и, въ довершеніе всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горсть шутовъ-публицистовъ, умиленно поющихъ гимны собственности, семейственности и государственности! Ужели возможна картина болѣе потрясающая? Бѣжать отъ нихъ! Бѣжать! бѣжать! — вотъ единственная мысль, которая угнетаетъ мозгъ при видѣ этихъ озлобленныхъ, бѣсноватыхъ существъ. Но куда бѣжать?» (там же).

«Воистину говорю: никогда ничего подобнаго не бывало».

«Ужасно было крѣпостное мучительство, но оно имѣло опредѣленный районъ (каждый мучительствовалъ въ предѣлахъ своего гнѣзда)...

Ваше же мучительство, о, міроѣды и кровопійственныхъ дѣлъ мастера! есть мучительство вселенское, неуловимое... Ужели это прогрессъ, а не наглое вырожденіе гнусности меньшей въ гнусность сугубую? Интеллигенція! дирижирующіе классы! И при семъ въ скобкахъ: «сюжетъ заимствованъ съ французскаго» (стр. 481).

«Знаетъ-ли Разуваевъ, что такое отечество?», — спрашивает Щедрин. Следующий затем ответ Маркс подчеркивает (стр. 188):

«Ахъ это отечество! По настоящему-то, вѣдь это нестерпимѣйшая сердечная боль, не перестающая, гложущая, гнетущая, въ конецъ изводящая человѣка — вотъ какое значеніе имѣетъ это слово! А Разуваевъ думаетъ, что это падаль, брошенная на расклеваніе ему и прочимъ кровопійственныхъ дѣлъ мастерамъ!.. Но да свершится. Исторія имѣетъ свои повороты, которые невозможно измѣнить, а тѣмъ менѣе устранить... Но все-таки это законъ послѣдовательного развитія однихъ явленій изъ другихъ. Явленія приходятъ на арену исторіи, какъ-бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки — вотъ почему они въ большинствѣ случаевъ кажутся намъ внезапными или произвольными. Но подготовка эта несомнѣнно существовала, только мы, ошеломленные исконной репутаціей несмѣняемости, которою пользовались явленія предшествующія, проглядѣли ее. Такъ, что когда новыя вещи, новые порядки и новыя дѣла являются во всеоружіи совершившегося факта, то мы видимъ себя безсильными не только для борьбы съ ними, но и для смягченія безполезныхъ наглостей подкравшагося торжества» (там же).

И через несколько строк, на следующей странице (189) он продолжает:

«Покуда мудрость текущей минуты будетъ учить, что въ виду устраненія жизненныхъ огорченій, человѣческое естество необходимо упразднить, а на мѣсто его водворить и утвердить естество волчье, до тѣхъ поръ всякій, могущій вмѣстить, будетъ прямо или косвенно черпать изъ кладезя этой мудрости... Вотъ, когда жизнь выработаетъ новаго сорта утехи, тогда самъ собою изгноетъ и міроѣдскій періодъ» (стр. 482).

Вновь через немного строк Маркс отмечает (стр. 190):

«...и зачѣмъ ему это слово [1]) понадобилось? Нельзя даже поручиться, что ты не думаешь, что это слово бунтовское, заключающее въ себѣ «филантропію»... Ты какъ-то загадочно киваешь въ ту сторону, гдѣ имѣетъ квартиру становой приставъ Граціановъ... ты смѣшиваешь отечество съ начальствомъ... Исполнять приказанія начальства — вотъ, по твоему, что значитъ быть истиннымъ сыномъ отечества» (стр. 483).

[1]) Отечество. *Ф. Г.*

Но и публицист не мог дать должного ответа: он перебегал с одного признака на другой, говорил и о границах, и о присяге, и об окраинах, и о следующем, подчеркнутом Марксом (на стр. 191):

«...о необходимости обязательнаго употребленія въ присутственныхъ мѣстахъ русскаго языка, и о господствующей религіи, и объ арміи и флотахъ, и, въ концѣ концовъ, все-таки сводитъ вопросъ къ Граціанову. Словомъ сказать, онъ [1]) тоже смѣшиваетъ отечество съ государствомъ и правительствомъ, подчиняя представленіе о первомъ представленію о двухъ послѣднихъ (там же).... Представленію о государствѣ соотвѣтствуетъ и представленіе о клейменныхъ словаряхъ... паки о предписаніяхъ и подтвержденіяхъ» (стр. 484).

«Вездѣ ты чужой, кромѣ отечества; поэтому — подчеркивает далее Маркс (на стр. 193) — ни тебя никто въ земскія учрежденія не выберетъ, ни ты никого въ земскія учрежденія не выберешь. Только въ отечествѣ тебѣ до всего дѣло, даже въ такомъ отечествѣ, гдѣ на каждомъ шагу тебѣ говорятъ: не суйся! не лѣзь впередъ! не твое дѣло!» (стр. 485).

На чужбине «одинокій человѣкъ» с грустью старается представить себе, что делается на его далекой родине. Маркс подчеркивает следующее (стр. 195):

«Ахъ, что-то тамъ дѣлается, въ этихъ дорогихъ сердцу палестинахъ, гдѣ «С.-Петербургскія...» и «Московскія Вѣдомости» издаются (wo die Citronen blühen)? Чай Ѳеденька Неугодовъ закусываетъ, Петръ Толстолобовъ цыркаетъ... хоть невидимкой посидѣлъ бы въ томъ засѣданіи комиссіи, когда она, издавъ сто одинъ томъ трудовъ, сама, наконецъ приходитъ къ заключенію, что все земное ею свершено, и что затѣмъ ей ничего другого не остается какъ разойтись» (стр. 486).

Разуваеву внушается, почему ему нужно знать, что такое отечество, — в числе этих доводов Маркс подчеркивает на стр. 196:

«...ты даже въ обывательскихъ книгахъ, въ графѣ «чѣмъ занимается», отмѣченъ «дирижирующій классъ» (стр. 487).

Не могла не обратить на себя внимания Маркса следующая проповедь (стр. 197):

«...Быть кровопивцемъ загадочнымъ выгоднѣе, нежели не прикрытымъ нахаломъ, который всей своей физіономіей только что не говоритъ: что же, ты задумался, не плюешь на меня? плюй!» (стр. 488).

[1]) Публицист. *Ф. Г.*

Все о том же ошибочном представлении о государстве подчеркивает Маркс на стр. 198:

«...а публицисты твои [смешиваютъ государство] съ цензурнымъ вѣдомствомъ... въ представленіи о государствѣ ты не встрѣтишься ни съ былинами, ни съ чѣмъ изъ всего цикла тѣхъ нѣжащихъ явленій...» (стр. 489).

Не могло не остановить на себе внимания Маркса изображение высасывания Разуваевым всех сил из народа; он, поэтому, подчеркивает (стр. 199):

«Кожа да кости — поистинѣ съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать нельзя» (стр. 489).

И далее, через несколько строк он отмечает следующую иронию Щедрина:

«Начальство представляется тебѣ чѣмъ-то такимъ, что наполняетъ крикомъ вселенную, а въ свободное отъ криковъ время принимаетъ барашка въ бумажкѣ; [проси бога] чтобы, не теряя изъ вида спасительной строгости, начальство въ то же время памятовало, что и оно, яко изъ человѣковъ состоящее, прегрѣшать можетъ» (стр. 490).

Маркс не мог не отметить следующей «привиллегіи» русского «культурнаго человѣка» (стр. 201):

«...я былъ изъятъ отъ тѣлесныхъ наказаній, а соотечественники мои были изъяты отъ наградъ» (стр. 491).

В этом же духе и дальнейшее заявление, подчеркнутое Марксом:

«Подавать примѣръ — это, по тогдашнему времени, значило собственнымъ тѣломъ такую филантропію пропагандировать, чтобы никто своего носа отнюдь никуда не совалъ» (там же).

Подчеркнул Маркс (на стр. 203) опасного для Разуваева конкурента:

«...новый столпъ: содержатель дома терпимости Ротозѣевъ... Вотъ сколько васъ тамъ въ щеляхъ притаилось столповъ!» (стр. 492—493).

Привлекает также внимание Маркса приписываемое Щедриным Разуваеву понятие о собственности:

«Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни спрятать, но могу: первые, застраховавъ въ двойной цѣнности, поджечь, а вторыя, исхлопотавъ отъ установленныхъ баснописцевъ залоговыя свидѣтельства, заложить въ кредитномъ учрежденіи — это собственность недвижимая» (там же).

Взглядам о собственности, вкладываемым Щедриным в голову Разуваева, посвящены и следующие выдержки, подчеркнутые Марксом на стр. 204:

«О томъ, какимъ образомъ прошелъ процессъ этого осуществленія (собственности), тутъ вовсе умалчивается, а мнѣ сдается, что съ точки зрѣнія принципіальностей это-то именно и важно. Какимъ образомъ запутался въ твоемъ карманѣ рубль? какъ случилось, что, постепенно перекладывая запутавшіеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты, наконецъ, воскликнулъ: а теперь пойдемъ къ нотаріусу и постараемся опредѣлить, что слѣдуетъ разумѣть подъ именемъ недвижимаго имущества?» (та же стр.).

В качестве «ментора» Щедрин внушает (конечно, иронически) Разуваеву следующий образ действий, подчеркнутый Марксом:

«...ты долженъ такимъ образомъ вести свои дѣла, чтобы во всякое время дать отчетъ относительно способовъ пріобрѣтенія... Но тутъ-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно набрасываешь покровъ давности (тоже, братъ, принципъ), на другое — покровъ коммерческой тайны» (стр. 493—494).

Маркс подчеркивает на стр. 207 внушенную Разуваеву следующую меру ограбления:

«Обязанности [дирижирующего класса] эти въ томъ, что касается принципа собственности, гласятъ такъ: не укради... Ежели ты изъ рубля отнимаешь половину — это, я полагаю, будетъ вполнѣ прилично; ежели ты отнимаешь изъ рубля восемь гривенниковъ, то это будетъ уже кровопійственно, но все-таки выносимо. Остального не отнимай: пускай опять разживается!» (стр. 496).

Исчерпав вопрос о собственности, Щедрин перешел к принципу семейственности, и на стр. 208 Маркс отметил следующее сообщение:

«Оказалось, что вездѣ было такъ. Во всѣхъ странахъ цивилизованнаго міра, гдѣ Прогорѣловы завѣдывали дѣлами культуры, вездѣ они низвели семейный вопросъ до уровня милой бездѣлицы... Вездѣ же, на смѣну ослабѣвшимъ Прогорѣловымъ явились люди свѣжіе, неиспорченные, которые съ тѣмъ большей готовностью подняли брошенныя въ грязь знамена, что въ совершенствѣ поняли, какую службу они могутъ сослужить. У всѣхъ на памяти, какъ ловко подняла въ тридцатыхъ годахъ знамя семейственности и домашняго очага западноевропейская буржуазія, и какъ крѣпко она держалась за него, пока вѣчно достойныя памяти Наполеонъ III. при содѣйствіи Оффенбаха, Шнейдерши и нынѣшней неутѣшной вдовы, не увлекъ ее въ страну милой бездѣлицы. Въ виду столь рѣшительныхъ справокъ предполага-

лось, что то же самое произойдеть и у насъ... Вы, кабатчики, желѣзнодорожники и мѣнялы, не имѣете занятій осѣдлыхъ и производительныхъ, но исключительно отдаетесь подсиживаніямъ и сводничествамъ. Въ согласность этому, и жизнь ваша получила характеръ кочевой, такъ что большую ея часть вы проводите внѣ домовъ своихъ, въ Кунавинѣ. Но о какомъ же принципѣ можетъ быть рѣчь въ Кунавинѣ?» (стр. 496—497).

По мнению Щедрина, публицисты, возложившие на Разуваева «обязанность» утвердить также «принципъ семейственности», проглядели вышеприведенное; Маркс на стр. 209 подчеркивает:

«Ихъ ввела въ заблужденіе наша грубость, которую они приняли за патріархальность» (там же).

«Поэтому въ смыслѣ семейственности, я не надѣюсь на тебя, Разуваевъ! Ничего ты не утвердишь» (стр. 498).

В заключение на вопрос о концессиях Щедрин отвечает отрицательно, что Маркс и подчеркнул:

«...не выйдетъ ничего [1]), потому что у тебя и на умѣ ничего такого, чтобъ что-нибудь вышло, — нѣтъ» (та же стр.).

Таким образом, четко отметив цветным карандашом все мысли Салтыкова о патриотизме, об отечестве, о государстве, об институте частной собственности, о семейных началах в буржуазном обществе, Маркс свое заключение пишет в конце книги ровным разборчивым почерком: «La dernière partie de la Предостережение est très faible; generalement l'auteur n'est pas fort heureux dans ses conclusions «positives». [Последняя часть «Предостережения» очень слаба. Вообще автор не очень счастлив в своих положительных выводах. Перев. *Ф. Г.*]

VI

После далеко нелегких для иностранца сатир Щедрина перейдем к неболее легкому ученому произведению Н. Беляева — «Крестьяне на Руси» — исследованию о значении крестьян в русском обществе.

Первые главы этой книги пестрят ссылками на древние письменные источники: на летопись Нестора, на Русскую Правду, Судебники и другие древне-русские акты; неко-

[1]) Из хлопот о концессиях. *Ф. Г.*

торые из них изложены у автора на церковно-славянском языке, другие на древне-русском. Главы эти густо подчеркнуты карандашом Маркса. Отмечены к примеру подобные цитаты:

«Древляне избраша лучшіе мужи, иже держаху деревскую землю, и послаша по ню... горожане же рѣша, шедше къ Печенѣгамъ, поимѣте къ себѣ таль нашъ» (стр. 13).

«Кого къ себѣ перезовутъ людей на дѣ пустоши тутошнихъ старожильцовъ, которые прежде сего тутожъ живали, или кого къ себѣ перезовутъ людей изъ иныхъ княженій, а не изъ моей вотчины... ино тѣм людем ино княжцемъ не надобѣ моя великаго князя ни которая дань на десять лѣтъ, а старожильцамъ на 5 лѣтъ» (стр. 33).

«...а государю на изорники, или огородники, или кочетники вольно и въ закличь своей покруты и сочить серебра и всякой верши» (стр. 34).

Очевидно интерес Маркса к аграрному вопросу в России преодолевал не только трудности современного русского языка, но и церковно-славянского и древне-русского XIII и XIV веков.

В этой же книге Беляева имеются две надписи, сделанные карандашом Маркса. В конце главы «Отношение крестьян между собою» Маркс пишет свое заключение: «Dans ce paragraphe sur les rapports mutuels des paysans il n'y a rien sur la division de la terre communale. Encore tous les documents historiques cités n'appartiennent qu'à la deuxième moitié du 15-ème et à celle du 16-e siecle» [1]).

В конце главы «Крестьяне во время Судебников» Маркс пишет: «S'est à dire, par rapport à l'impôts et aux tribunaux! De l'autre côté, les rapports à la terre devaient être d'autant plus differents, que chaque paysan faisait *son contrat à lui* avec le propriétaire ou le monastère dont il cultivait la terre» [2]).

(Пер. *Ф. Г.* В подлинн. подчеркнуто Марксом.)

* * *

[1]) В этом параграфе о взаимных отношениях крестьян ничего нет о разделе общинной земли. Кроме того, цитированные исторические документы относятся только ко второй половине XV и XVI веков. Пер. *Ф. Г.*

[2]) То-есть, по отношению к налогам и судам. С другой стороны отношения к земле должны были быть тем более различными, что каждый крестьянин заключал *свой собственный контракт* с владельцем или монастырем, чью землю он обрабатывал.

лось, что то же самое произойдетъ и у насъ... Вы, кабатчики, желѣзнодорожники и мѣнялы, не имѣете занятій осѣдлыхъ и производительныхъ, но исключительно отдаетесь подсиживаніямъ и сводничествамъ. Въ согласность этому, и жизнь ваша получила характеръ кочевой, такъ что большую ея часть вы проводите внѣ домовъ своихъ, въ Кунавинѣ. Но о какомъ же принципѣ можетъ быть рѣчь въ Кунавинѣ?» (стр. 496—497).

По мнению Щедрина, публицисты, возложившие на Разуваева «обязанность» утвердить также «принципъ семейственности», проглядели вышеприведенное; Маркс на стр. 209 подчеркивает:

«Ихъ ввела въ заблужденіе наша грубость, которую они приняли за патріархальность» (там же).

«Поэтому въ смыслѣ семейственности, я не надѣюсь на тебя, Разуваевъ! Ничего ты не утвердишь» (стр. 498).

В заключение на вопрос о концессиях Щедрин отвечает отрицательно, что Маркс и подчеркнул:

«...не выйдетъ ничего [1]), потому что у тебя и на умѣ ничего такого, чтобъ что-нибудь вышло, — нѣтъ» (та же стр.).

Таким образом, четко отметив цветным карандашом все мысли Салтыкова о патриотизме, об отечестве, о государстве, об институте частной собственности, о семейных началах в буржуазном обществе, Маркс свое заключение пишет в конце книги ровным разборчивым почерком: «La dernière partie de la Предостереженне est très faible; generalement l'auteur n'est pas fort heureux dans ses conclusions «positives».

[Последняя часть «Предостережения» очень слаба. Вообще автор не очень счастлив в своих положительных выводах. Перев. *Ф. Г.*]

VI

После далеко нелегких для иностранца сатир Щедрина перейдем к неболее легкому ученому произведению Н. Беляева — «Крестьяне на Руси» — исследованию о значении крестьян в русском обществе.

Первые главы этой книги пестрят ссылками на древние письменные источники: на летопись Нестора, на Русскую Правду, Судебники и другие древне-русские акты; некоторые из них изложены у автора на церковно-славянском языке, другие на древне-русском. Главы эти густо подчеркнуты карандашом Маркса. Отмечены к примеру подобные цитаты:

«Древляне избраша лучшіе мужи, иже держаху деревскую землю, и послаша по ню... горожане же рѣша, шедше къ Печенѣгамъ, поимѣте къ себѣ таль нашъ» (стр. 13).

«Кого къ себѣ перезовутъ людей на дѣ пустоши тутошнихъ старожильцовъ, которые прежде сего тутожъ живали, или кого къ себѣ перезовутъ людей изъ иныхъ княженій, а не изъ моей вотчины... ино тѣм людем ино княжцемъ не надобѣ моя великаго князя ни которая дань на десять лѣтъ, а старожильцамъ на 5 лѣтъ» (стр. 33).

«...а государю на изорники, или огородники, или кочѣтники вольно и въ закличь своей покруты и сочить серебра и всякой верши» (стр. 34).

Очевидно интерес Маркса к аграрному вопросу в России преодолевал не только трудности современного русского языка, но и церковно-славянского и древне-русского XIII и XIV веков.

В этой же книге Беляева имеются две надписи, сделанные карандашом Маркса. В конце главы «Отношение крестьян между собою» Маркс пишет свое заключение: «Dans ce paragraphe sur les rapports mutuels des paysans il n'y a rien sur la division de la terre communale. Encore tous les documents historiques cités n'appartiennent qu'à la deuxième moitié du 15-ème et à celle du 16-e siecle» [1]).

В конце главы «Крестьяне во время Судебников» Маркс пишет: «S'est à dire, par rapport à l'impôts et aux tribunaux! De l'autre côté, les rapports à la terre devaient être d'autant plus differents, que chaque paysan faisait *son contrat à lui* avec le propriétaire ou le monastère dont il cultivait la terre» [2]).

(Пер. *Ф. Г.* В подлинн. подчеркнуто Марксом.)

* * *

[1]) Из хлопот о концессиях. *Ф. Г.*

[1]) В этом параграфе о взаимных отношениях крестьян ничего нет о разделе общинной земли. Кроме того, цитированные исторические документы относятся только ко второй половине XV и XVI веков. Пер. *Ф. Г.*

[2]) То-есть, по отношению к налогам и судам. С другой стороны отношения к земле должны были быть тем более различными, что каждый крестьянин заключал *свой собственный контракт* с владельцем или монастырем, чью землю он обрабатывал.

Чтобы убедиться, с какой непосредственностью, выразительно-горячо проявляется темперамент Маркса даже при чтении им научных книг, достаточно перелистать сочинение Чернышевского: «Дополнения и примечания на первую книгу политической экономии Дж. Ст. Милля». Страницы этой об'емистой книги густо подчеркнуты карандашом. Часто поставлены знаки — ? ! Здесь приведем только места книги, которые Маркс сопровождает своими словесными примечаниями.

В главе «Трудъ» на стр. 88 подчеркнуто:

«...Сказывается, что теперь средняя цифра потребленія хлѣба больше, и дѣло рѣшено безвозвратно: отмѣна хлѣбныхъ законовъ была полезна».

На полях приписка Маркса синим карандашом: «Dauerte lang?» (Долго ли продолжалось?).

Въ главе «Обзоръ отдела о труде» (стр. 117—118) подчеркнуто:

«...школа Смита еще не умѣетъ совершенно очиститься отъ меркантильныхъ воззрѣній и съ своего собственнаго, глубокаго и часто научнаго вопроса: «какъ происходитъ дѣло?» безпрестанно сбивается на меркантильный вопросъ: «кто даетъ деньги на это дѣло? кому достается денежная выгода отъ него?» Вопросъ о томъ, кому достается выгода, очень важенъ; но о немъ должна быть рѣчь особенно, потому что ходъ дѣла и выгода дѣла — понятія совершенно различныя и перепутываніе ихъ не можетъ не производить въ наукѣ сбивчивости».

Под этой цитатой приписка Маркса:

«Tsch. hat keinen Begriff v. d. kapit. Productivität». (Черн. не имеет никакого понятия о капиталистическом производстве).

На той же странице ниже подчеркнуто:

«Уже длинное разсужденіе о томъ, что часть продукта должна доставаться человѣку, снабдившему работниковъ продовольствіемъ на время работы, — не за трудъ производства, не за трудъ охраненія этого продовольствія, нѣтъ, за это идетъ особое вознагражденіе, — нѣтъ, за «отсрочку личнаго потребленія»; но развѣ это трудъ?».

На полях приписка — «good» (хорошо).

На странице 124 подчеркнуто:

«Предположимъ, что у фермера есть сынъ кузнецъ, и что онъ сдѣлалъ плугъ для отцовской фермы. Въ такомъ случаѣ плугъ не проданъ, онъ просто сдѣланъ, онъ остается въ однѣхъ рукахъ, платы за него не было производимо. Но почему плугъ сдѣланъ? Потому что фермеръ произвелъ слѣдующій расчетъ: имѣя хорошій плугъ, я получу не 200, а 250 четвертей хлѣба; плугъ стоитъ только того труда, какого стоятъ 10 четвертей хлѣба, — итакъ, жатва слѣдующаго года съ избыткомъ вознаградитъ нашу семью за выдѣлку плуга: мы израсходуемъ 10 четвертей на трудъ, который дастъ 50 четвертей. Ясно, что работа кузнеца въ сущности вознаграждается слѣдующею жатвою, подобно работѣ фермера».

На полях приписка: «Работа in diesem Fale bezalt den d. Pflug!» (в этом случае оплачивается плугом!).

В главе «Малый и большой размѣры производства» на странице 180 подчеркнуто:

«Не только въ Англіи, даже во Франціи и въ Германіи теперь уже не то, что было 20 лѣтъ тому назадъ: новыхъ громадныхъ обществъ для постройки новыхъ громадныхъ линій желѣзныхъ дорогъ уже не составляется; расширеніе существующихъ сѣтей производится главнымъ образомъ прежними обществами, употребляющими на это дѣло часть своей прибыли».

Приписка Маркса: «quelle erreur!» [Какое заблуждение!].

На странице 188 подчеркнуто:

«Если невольничество продержалось силою рутины нѣсколько столѣтій, послѣ того, какъ перестало быть удобною формою производства, то и форма наемнаго труда въ передовыхъ странахъ Европы можетъ быть продержится еще довольно долго, — быть можетъ нѣсколько десятилѣтій, а быть можетъ, даже и нѣсколько поколѣній. Въ вопросахъ о будущемъ можно опредѣленно видѣть только цѣль, къ которой идетъ дѣло по необходимости своего развитія, но нельзя съ математической точностью отгадывать, сколько времени потребуется на достиженіе этой цѣли: историческое движеніе совершается подъ вліяніемъ такого множества разнородныхъ влеченій, что видно только бываетъ, по какому направленію идетъ оно».

На полях, в середине этой цитаты, надпись Маркса — «Bravo!».

В главе «Законъ возрастанія земледѣльческаго продукта» на стр. 201 подчеркнуто:

«Если бы отъ удвоенія труда на десятинѣ, удваивался продуктъ ея, то не было бы расчета вмѣстѣ съ этимъ увеличеніемъ труда на прежнихъ земляхъ лучшаго качества обращать подъ распашки новыя земли худшаго качества».

На полях приписка — «Stupid!» [Глупо!].

Далее на той же странице подчеркнуто:

«Между тѣмъ новыя земли распахиваются: это значитъ, что обращеніе прибавочнаго труда на прежнія земли не болѣе выгодно, чѣмъ обращеніе труда на новыя земли, худшія прежнихъ».

Против этой цитаты на полях Маркс ставит два вопросительных знака (??).

В главе «Собственность» на стр. 8 подчеркнуто:

«Законы собственности до сихъ поръ еще не приведены въ сообразность съ принципами, на которыхъ основывается признаніе частной собственности законною».

На полях приписка — «asinus».

Глава «Соперничество», стр. 77. Подчеркнуто:

«Каждому пріятно имѣть овощи изъ своего огорода, хотя покупка ихъ и обошлась-бы дешевле домашняго производства».

На полях приписка: — «enfant» (ребенок).

[Само собою разумеется, эти резкие отметки ни в каком случае не являлись выражением действительного отношения Маркса к Чернышевскому: нужно ли напоминать, что он называл последнего «великим русским ученым и критиком» и вообще относился к нему с глубоким уважением. *Ред.*]

В заключение заметим, если до сих пор хорошо был известен интерес Маркса к аграрному вопросу в России, то только из знакомства с русскими книгами, бывшими в его библиотеке, открывается вся глубина его интереса к нашей стране во всех проявлениях ее жизни: ко всем слоям русского общества, к его типам и воззрениям, к его настроениям и чаяниям. Как будто ясновидящий глаз Маркса и в полукрепостной России уже угадывал страну великих возможностей.

В качестве приложения считаем нелишним привести список тех русских книг из библиотеки Маркса и Энгельса, на которых имеются заметки и подчеркнутые места.

1) *Николай Калачевъ.* Артели въ древней и нынешней Россіи. Петербургъ 1864. (Много подчеркнутых мест и приписок.)
2) *Андрей Исаевъ.* Артели въ Россіи. Ярославль. 1881 г. Печатня Губернскаго управленія.
3) *А. Головачевъ.* Десять лѣтъ реформы 1861—1871. Санктпетербургъ 1872 годъ. Изданіе «Вѣстника Европы».
4) *Н. Зиберъ.* Теорія цѣнности и капитала Д. Рикардо. Въ связи съ позднѣйшими дополненіями и разъясненіями. Кіевъ. Университетская типографія. 1871 годъ. (Много подчеркнутых Марксом мест и надписей на французском языке.)
5) *Янсонъ.* Опытъ статистическаго изслѣдованія о крестьянскихъ надѣлахъ и платежахъ. Петербургъ 1877 годъ. (Много надписей и пометок на полях.)

6) *Военно-статистическій сборникъ. «Россія».* Выпускъ IV. Составленъ офицерами генеральнаго штаба подъ общей редакціей генералъ-майора Н. Обручева, управляющаго дѣлами военно-ученаго комитета и профессора военной статистики. С.-Петербургъ. Печатано въ военной типографіи 1871 года.
7) *К. Кавелинъ.* Общинное владѣніе. Петербургъ 1873 года.
8) *П. И. Кауфманъ.* Исторія банковаго дѣла въ Великобританіи и Ирландіи. (Много надписей на полях.)
9) *И. Бѣляевъ.* Крестьяне на Руси. Изслѣдованіе о постепенномъ измѣненіи значенія крестьянъ въ русскомъ обществѣ. Удостоенное преміи Демидова и гр. Уварова. Москва. Университетская типографія 1880 годъ.
10) *Князь А. Васильчиковъ.* «Землевладѣніе и земледѣліе въ Россіи и другихъ европейскихъ государствахъ». Петербургъ 1876. (В 2-х томах. Надписи Маркса на английском языке.)
11) Формы землевладѣнія у русскаго народа въ зависимости отъ природы, климата и этнографическихъ особенностей. Печатано по распоряженію *Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.* С.-Петербургъ 1877. Типографія товарищества «Общественная польза».
12) *А. Н. Энгельгардтъ.* Изъ деревни. 11 писемъ. 1872—1882 г.г. С.-Петербургъ 1882 годъ. (Надписи на английском языке.)
13) *Н. А. Добролюбовъ.* Сочиненія. Петербургъ 1862 годъ. (В третьем томе, в статье «Темное царство» подчеркнуты все места, говорящие о безответственности, о пришибленности русского общества. Отмечены все рассуждения о «женской доле» в России; о положении девушки, мужней жены и невестки в семье. В других томах сочинений Добролюбова пометок нет, как будто внимание читателя на них не задерживалось.)

14. 15 и 16) *Чернышевскій.* а) Статьи объ общинномъ владѣніи землею. 1872 годъ.

б) Труденъ ли выкупъ земли. (Много подчеркнутых мест.)

в) Дополненія и примѣчанія на первую книгу политической экономіи Джона Стюарта Милля. Томъ III. Женева 1869 годъ. (Надписи Маркса на немецком и английском языках.)

17, 18 и 19) *М. М. Ковалевскій.*

(Почти все произведения Ковалевского имеют на заглавном листе трогательные посвящения автора, говорящие об искренней привязанности и глубоком уважении русского ученого к основателю научного социализма).

а) Общинное землевладѣніе, причины, ходъ и послѣдствія его разложенія. Изданіе Москва 1879 годъ.

(На заглавном листе надпись М. Ковалевского: «A. Karl Marx hommage d'amitié et de respect. Kovalevsky [1]). Книга вся пестрит над-

---

[1]) Карлу Марксу в знак дружбы и уважения. Ковалевский. Пер. *Ф. Г.*

писями, примечаниями и пояснениями, сделанными на полях рукою Маркса на английском и немецком языках).

б) Опыты по исторіи юрисдикціи налоговъ во Франціи. Москва 1876 г. (Посвящение на заглавном листе: «A mon illustre ami Karl Marx en lui demandant beaucoup d'indulg. Maxime Kovalevsky [1])... Много подчеркнутых мест.)

в) Очеркъ исторіи распаденія общиннаго землевладѣнія в кантонѣ Ваадтъ. Лондонъ 1876.

(Надпись Ковалевского: «A. Mr. Karl Marx. En témoignage du plus profond respect et de la plus vive amitié l'auteur [2]).

20) *М. Е. Салтыковъ (Щедринъ)*. Дневникъ провинціала въ Петербургѣ. Изданіе С.-Петербургъ 1873 годъ.

21) *М. Е. Салтыковъ (Щедринъ)*. Господа Ташкентцы. Изданіе С.-Петербургъ 1873 годъ.

22) *М. Е. Салтыковъ (Щедринъ)*. Убѣжище Монрепо. Изданіе С.-Петербургъ 1880 годъ.

---

[1]) Моему знаменитому другу с просьбой о большом снисхождении. Максим Ковалевский. Пер. *Ф. Г.*

[2]) В знак глубочайшего уважения и самой горячей дружбы автор. Пер. *Ф. Г.*

Ф. ГИНЗБУРГ.

МАРКС О ТКАЧЕВЕ

Полагаем, небезынтересен отзыв К. Маркса о П. Ткачеве, в особенности теперь, ввиду стремления некоторых сведущих лиц причислить последнего к наиболее ранним последователям первого. *Ред.*

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Г-НУ ФРИДРИХУ ЭНГЕЛЬСУ ПЕТРА ТКАЧЕВА»

Это произведение представляет собою не столько политический, сколько психологический интерес: в нем, как известно, Петр Ткачев напал на Энгельса за его «пренебрежительное» отношение к русским революционерам-террористам «Партии Действия». Обвиняя Энгельса в дискредитировании русской эмиграционной интеллигенции, Ткачев в резких выражениях ставит ему на вид, что этим отношением к революционной эмиграции он помогает общему врагу — русскому правительству. Рядом с этим Ткачев стремится доказать Энгельсу необходимость террористической заговорщической деятельности и неизбежность существования конспиративных организаций не только в России, но также и на Западе.

Но интересно в сущности не то, *что* хочет доказать Ткачев Энгельсу, а то, *как* он это делает. Интересно психологическое состояние человека, обуянного верой в свою правоту и, в состоянии своего фанатизма, не замечающего всех противоречий своих политических построений. В своем письме автор рисует русский народ «запуганной, изувеченной, невежественной массой, на которую и личное влияние не может дать длительных результатов». Однако эта характеристика отнюдь не мешает ему утверждать, что

социальная революция уже и сейчас возможна в России. Правда, он признает, что в России никакая открытая пропаганда невозможна по той именно причине, что «большинство наших сельских рабочих — собственники», однако не находит противоречия между этим фактом и своим утверждением, что русский народ инстинктивный революционер, традиционный коммунист; что существующий социальный строй ему навязан; что «идею частной собственности» правительству приходится вбивать в голову русского крестьянина силой ружья и кнута.

Признавая, что «в духовной незрелости нашего народа лежит много препятствий для тайных организаций» и что «тайные организации у нас немыслимы», а открытая пропаганда совсем невозможна, Ткачев однако, утверждает, что «ежеминутно можно побудить русский народ к общереволюционному протесту».

Несмотря на то, что «городского пролетариата у нас нет, большинство же наших сельских рабочих не пролетарии, а собственники», все же победа социальной революции вполне возможна, так как враги интеллигентской революционной партии еще бессильнее ее, а наши высшие сословия — дворянство и купечество — не имеют никакой силы, — ни экономической, ни политической. Поэтому инстинкт самосохранения народной массы добьется того, чего никогда не достигнут «наши умеренные революционеры».

Неудивительно, что Карлу Марксу, обладавшему железной логикой, брошюра Ткачева показалась просто «глупой»; прочитав ее, он на заглавном листе сделал пером следующую надпись: «Рубит с плеча в веселом тоне. Так глупо, что и Бакунин мог сотрудничать... Петр Тк. прежде всего хочет (показать) читателям, что ты обращаешься с ним, как [со своим] противником, и поэтому измышляет всевозможные несуществовавшие спорные пункты». (В оригинале: Drauf hauen in lusti[ger] Manier. So dumm, dass Bakun[in] mitgearbeitet haben kann... Peter Tc. wi[ll] vorallem den Lesern w[eisen], das du ihn als dein[en] Gegner behandelst, und erfindet daher allerlei nicht statt gefundne Streitpunkte) [1]).

---

[1]) Мы получили сделанный т. Ф. Гинзбург полный перевод всего «Письма» П. Ткачева, но находим излишним приводить его целиком. *Ред.*

В тексте письма Ткачева Маркс красным карандашом подчеркнул места, наиболее привлекшие его внимание. Мы приведем их здесь курсивом [1]).

Страница 1. «*Обращаясь с нами так* [*пренебрежительно? Ф. Г.*], *Вы нарушаете основные принципы программы международного рабочего союза. Это обстоятельство, однако, не мешает Вам в конце Вашей последней работы уговаривать нас вступить с Вами в союз*» [2]).

«*Мы, русские, были первые*, которые протянули братскую руку великому союзу западно-европейских рабочих».

Стр. 4. «*Вы осмеливаетесь наделять нас советами*». «*Это невежество*, дискредитирующее русскую революционную эмиграцию».

«*Запуганные, изувеченные, невежественные массы рабочего народа,—большинство нашего народа не умеет читать. Личное влияние на народ вряд ли может дать какие-либо важные длительные результаты... у нас оно* [3]) *совершенно невозможно*».

Стр. 5. «Это обстоятельство не должно Вас приводить к заключению, что *победа социальной революции* более проблематична, менее вероятна в России, чем на Западе.— *У нас нет городского пролетариата, это верно, но зато мы не имеем и буржуазии... нашим рабочим придется бороться только с политической властью... борьба с первой гораздо легче, чем с последней...* [4]) Наш народ *проникнут принципами общественной собственности... он инстинктивно, традиционно коммунист...* Правительство прививает народу идею частной собственности — *оно может добиться этого только с помощью ружья и кнута...* Наш народ *протестует... в форме ли религиозных сект... в форме ли разбойничьих банд... Европа никогда об этом не уведомляется; сказать об этом громкое слово в России запрещается*».

---

[1]) Части слов, заключенные в прямые скобки, отсутствуют, — они срезаны переплетчиком. *Ф. Г.*

[2]) В конце этой фразы Марксом поставлен большой вопросительный знак. *Ф. Г.*

[3]) Личное влияние. *Ф. Г.*

[4]) С властью капитала. *Ф. Г.*

Стр. 6. «Русский народ *инстинктивный революционер... Враги* интеллигентской революционной партии *почти еще бессильнее ее...* Наши высшие сословия — дворянство и купечество не представляют никакой силы *ни экономической,* ни политической... *Государство наше не имеет корней в экономической жизни народа; оно не воплощает в себе интересы какого-нибудь сословия... Общество сотворило себе иллюзию о силе русского государства и находится под чарами этой иллюзии... Наш общественный строй существует, благодаря государственной власти... которая не имеет ничего общего с существующим социальным порядком*».

Стр. 7. «После этого Вы должны будете признать, что мы, которые верим в возможность социальной революции в России в ближайшее время, не пустые мечтатели, не «зеленые гимназисты», *как Вы нас изволите называть... Почему Вы нас упрекаете в конспирациях? Вы упрекаете нас также и за то,.. что мы* здесь, на европейском Западе *не хотим оставить наших конспиративных привычек...* Но и *итальянские революционеры* на Брюссельском конгрессе открыто заявили, что они поставлены в необходимость скрыть свою деятельность в тайные конспиративные формы... Открытая пропаганда, *хотя бы только в том виде,* как она проводится в Германии, у нас невозможна... *Даже тайная организация рабочих... также у нас немыслима*».

Стр. 8. «*Большинство наших рабочих — сельские рабочие,* и как таковые, они не пролетарии (как в Англии), а *собственники... Интернационал создали не Вы и Ваши друзья, но история; его первые зародыши коренятся еще в средневековьи... Наши ad hoc образующиеся артели* не имеют ничего общего с выше перечисленными обществами (производительными кооперативами, кредитными товариществами)... *В духовной незрелости нашего народа* лежит много препятствий для тайных организаций».

Стр 9. «Все, что есть в нашей революционной *интеллигенции* молодого, смелого, умного и энергичного, придерживается другой программы, — противоположной той группе, идеи которой отчасти выражает «Вперед»... Если же это *накопившееся чувство раздражения одновременно пробудить во многих местах,... то об'единение революционных сил произойдет само собой...* и борьба между правительством и возмущенным народом *должна будет кончиться в пользу народного дела. Практическая необходимость, инстинкт самосохранения достигнет того, чего наши умеренные революционеры никогда не достигали...* Вы спрашиваете нас, «если так легко вызвать социальную революцию, *почему вы этого не делаете, вместо того, чтобы о ней говорить?*».

Стр. 10. «*Ежеминутно возможно побудить русский народ к обще-революционному протесту...,* но эта уверенность *нимало не говорит против пользы и необходимости литературной пропаганды...* Вы хотите представить *нас* в смешном виде перед немецким читателем... *Вы не стыдитесь делать вид* [1]), *будто не понимаете пользы литературной пропаганды... Вы выражаете нам, русским, свое глубочайшее презрение, ибо мы слишком глупы* для того, чтобы серьезно интересоваться вопросами, *когда и при каких условиях возможно вызвать в России социальную революцию... Нужно ли воздержаться от политики или нет, должно ли государство при этом* [2]) *помочь или нет... предпочтительнее ли возбуждать местные революционные восстания или нет*».

Стр. 11. «*Смеясь над нами, Вы оказываете хорошую услугу нашему общему врагу — русскому государству... Строгий упрек Вы делаете органу «Вперед» за то, что он в своем отчете русским читателям об этой распре назвал памфлетом Вашу собственную брошюру против «Alliance»'а, потому что он не хотел бродить в той политической грязи, которой Вы и Ваши друзья пытались запятнать одного из величайших и самоотверженных представителей революционной эпохи...* В отношении меня вы упражняетесь *в ругательствах*».

Стр. 12. «*Вы рассердились и, не приведя разумной причины, обругали нас... Высокопоставленные чиновники, когда они натыкаются на какое-нибудь препятствие,* поступают таким же образом... *Вашим пристрастием,* направленным

---

[1]) «Sie entblödeten sich nicht sich den Anchein zu geben». *Ф. Г.*

[2]) При социальном перевороте. *Ф. Г.*

против нас, вы показали, что принадлежите к разряду таких высокопоставленных чиновников».

Приведенный выше краткий и выразительный отзыв К. Маркса об этом изумительном письме едва ли был известен П. Ткачеву, но он получил своевременно вполне заслуженную им, уничтожающую его отповедь от Ф. Энгельса, давно переведенную на русский язык.

ДЭ

«НАСЛЕДИЕ ОТЦОВ»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА

О переписке Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода

Пока издан только первый том этой переписки, охватывающий время с 1885 по 1898 год, — «до момента получения за границей первых известий о состоявшемся в Минске с'езде тогда только еще начинавшей складываться РСДРП».

Книга эта во многих отношениях представляет очень большой интерес. Она полна жизни и захватывающего драматизма. Нынешняя молодежь, не привыкшая к борьбе, должна знать, в каких условиях жили и действовали пионеры рабочего движения в России. Эти условия были, прежде всего, крайне тяжелы материально. Непосильный труд рано подорвал здоровье Плеханова. В течение многих лет ему с семьей постоянно грозил голод. Он не только был обременен долгами, но и рисковал остаться на улице, не имея чем заплатить за квартиру. Материальное положение Пл[еханова] особенно ухудшилось вследствие высылки его из Швейцарии, а потом также из Франции. Эта сторона его жизни, конечно, не могла не отразиться в письмах к товарищу и другу. Самые письма очень часто отправлялись без марок — «по причине, которой не нужно об'яснять». Несмотря на тяжелую нужду, болезнь, страдания близких людей, смерть маленькой дочери, Плеханов продолжал работать, не покладая рук. «Я буквально *раздавлен* всякого рода работой, — подчеркивает он не раз (стр. 111; 170), — меня рвут со всех сторон, как мужика-недоимщика». И он изо всех сил старается покрыть «недоимки».

«Я понимаю, — пишет он представителю немецкой партии вскоре после смерти дочери (стр. 95), — что моральные стра-

дания для нас, пролетариев, это роскошь, роскошь, на которую мы не имеем никакого права, но я болен и не могу wegresonnieren, как говорите вы, немцы. Я думаю, однако, — добавляет он, — что через несколько дней моя воля возьмет верх, и я снова сделаюсь работником».

Действительно, его воля восторжествовала, и Плеханов написал свою знаменитую работу об анархизме.

У П. Б. Аксельрода был более устойчивый заработок: он занимался выделкой кефира. Но что это было за ненавистное занятие для человека, полного умственных запросов! Оно отнимало у него время и силы, выжимало все соки, мешало писать, думать. Много раз возвращается к этому П. Б. в своих письмах (напр., на стр. 170, 204 и др.). Все же доход его был настолько мал, что он часто не только не мог помочь Плеханову, но и сам едва сводил концы с концами. По собственному признанию (стр. 166), он кругом в долгу, «начиная с лавочки» и «кончая сапожником», и это в 1897 году, после долгих лет, проведенных в эмиграции. У него нередко нет двух-трех рублей, чтобы поехать повидаться и обсудить с друзьями насущные политические вопросы, и поездки эти постоянно откладываются.

Но бороться членам группы «Осв. Тр.» приходилось не только с нуждой. Вся окружающая обстановка была чрезвычайно тяжела. Первые шаги русских с.-д. в заграничной студенческой и эмигрантской среде были встречены крайне враждебно. Эта враждебность иногда принимала форму самых злостных личных выпадов, вроде заявления, сделанного одною студенткою, что деньги, собираемые на литературу группы, пойдут «в утробу» организаторов (стр. 86).

Понятно, что после подобных историй Плеханову было очень тяжело брать у Группы деньги, хотя порою он «пропадал в буквальном смысле слова» (стр. 86), так что терял возможность работать.

И ведь деньги давались не даром, а за большую и сложную работу, требовавшую к тому же подчас значительных расходов на книги. «Пора приучать публику [это партийную публику!], — пишет Аксельрод в 1894 году, имея в виду необходимость платы за перевод и предисловие к брошюре Энгельса о Фейербахе, — что тебе [Плеханову] и Вере [Засулич] нужно, как и прочим людям, кормиться» (стр. 100).

Свою нужду и заботы Плехановы старались скрывать даже от людей более или менее к ним расположенных. Р. М. прямо требовала от Аксельрода, чтобы тот *никогда и никому* не говорил об их материальном положении (стр. 177). На раздумье Аксельрода, где бы достать денег для Г. В., последний пишет: «Прошу тебя ни в каком случае не обращаться за займом к немцам [т.-е. к немецкой партии]: это поставило бы нас в ложное положение по отношению к ним» (стр. 173). Это об'ясняется, главным образом, заботой о сохранении достоинства русского рабочего движения. «Бебелю писать — избави боже; ни в коем случае это нам теперь не пристало, будет нам уже играть роль бедных родственников, теперь мы сами с усами: посмотри-ка, что делается в Петербурге [речь идет о стачке начала 1897 г. и связанных с нею «волнениях»] (стр. 170).

Все это не мешало лицам сомнительного нравственного достоинства выдвигать, а глупцам распространять обвинения в «буржуазности» членов Группы, особенно П. Б. Аксельрода, что действовало на него весьма удручающе (стр. 82 и другие). А впоследствии на собраниях в Петербурге о буржуазном образе жизни Плехановых рассказывал один старый их знакомый: он сам-де жил у них и своими глазами видел. Так отплачивали Г. В-чу некоторые товарищи за гостеприимство и доброе отношение. Недаром Аксельрод иногда, хоть на несколько дней, просто обращался в «бегство» не только от кефира, но и «от всевозможных товарищей, дорогих в кавычках, и просто от людей» (стр. 175).

Понемногу Группа приобретала влияние. За границей стали появляться революционеры нового поколения, разделявшие социал-демократические взгляды. Но и тут приходилось переживать очень тяжелые моменты. Некоторые из вновь прибывших позволяли себе третировать членов Группы как людей устаревших и отсталых. Нередко, преследуя личные цели, одержимые желанием выдвинуться, они диктовали Плеханову и его друзьям совершенно невероятные условия, при чем не брезговали пользоваться даже их нуждой.

Что же поддерживало этих людей, что давало им силу бороться со всеми невзгодами? Две вещи: убеждение в правильности, в огромном значении проповедуемых ими взгля-

дов и дружба, та «семейственность» между членами Группы, которая возмущала Тихомирова. Каждый высоко ценил остальных и умел поддержать другого в тяжелую минуту.

«Твоя немецкая статья о Гегеле показалась мне настоящим, полным энтузиазма и вдохновения гимном прогрессу человечества», пишет Аксельрод Плеханову в 1898 году (стр. 193).

«Я знал тебя и всегда думал, — отвечает Плеханов, — что энтузиазм к истине составляет главный элемент в твоем сочувствии передовым течениям нашего времени. Да ведь иначе и быть не может, — добавляет он: — без этой страсти нет ничего великого в истории. Я, между прочим, за то любил [люблю?] старика Гегеля, что он горячо и решительно высказал эту мысль и сам был полон теоретической страсти» (стр. 201).

Несколькими годами раньше, когда Аксельрод был полон скорбных переживаний, Г. В. писал ему: «Ты теперь нужнее, чем когда бы то ни было. Если не можешь писать много, не пиши. Отдыхай или изучай что-нибудь подробно и специально, но ненужным себя не считай, потому что ты очень нужен... Твое одобрение всегда было для меня крайне важно, потому что, повторяю, я всегда думал, что политический поступок, одобренный тобою, наверно хорош и целесообразен» (стр. 138). Точь-в-точь то же самое можно найти и в более ранних письмах Плеханова (напр., на стр. 43).

Обращает внимание также исключительно бережное и нежное отношение членов Группы к В. И. Засулич. Они охотно приводят ее своеобразные меткие выражения, в роде: «больна с умеренностью» (стр. 72), «закрутить хвостик» [у статьи] (стр. 68), «молчите, как зарезанный» (стр. 33) и тому подобное. Кстати, великолепно попавшее случайно в сборник письмо В. И. об организации в Лондоне сборов на поддержку петербургских стачечников, об Элеоноре Маркс и о собственном ее поведении по этому случаю (стр. 146).

Интересны в переписке порою мимолетные, порою обоснованные, обстоятельные отзывы о многих общественных деятелях, как очень крупных, так и помельче. Плеханов, например, упоминает о Желябове, Лаврове, Бернштейне и др. «Между Клемансо и нашими народовольцами разница та, —

пишет он в 1887 г., — что первый и может взять власть, да не хочет, а вторые совсем не могут, но очень хотят» (стр. 24).

Еще более интересны замечания обще-теоретического или политического характера, разбросанные повсюду. Как справедливо отмечено в предисловии, переписка с неоспоримостью доказывает, что члены Группы на протяжении многих лет искренно стремились к сближению и к совместной работе с другими революционными и социалистическими фракциями в России и за границей. Если такое сближение не состоялось, то, поистине, тут не было вины марксистов. Они, действительно, готовы были итти на уступки, как писал Плеханов в «Заре», и в чем, по каким-то ему одному известным причинам, сомневался Д. Рязанов. Так, по поводу террора в конце 80-х годов Г. В. замечает, что, по единогласному мнению и «либералов» и «социалистов», молодежь «даже и слушать не станет тех, кто будет говорить против террора».

«Я смотрю на дело так, — пишет он далее: — Мне кажется, что если бы «молодые народовольцы», которые теперь будут называть себя социалистами-революционерами, только напечатали ту программу, которую мне показывал [Ю. Г.] Раппопорт, то и это уж было бы огромным шагом вперед в смысле идейного развития *нашего* движения. Поэтому, повторяю, мне кажется, что нам нужно быть дипломатами. Мы переживаем теперь кризис. Молодежь может удариться в либерализм. Чтобы удержать ее, нужно быть уступчивым и мягким» (стр. 59—60).

Чрезвычайно поучительно все, что говорит Плеханов о политической борьбе, о завоевании конституции и политической свободы (ос. стр. 39—41, 215), а также взгляды, высказанные на этот счет Аксельродом в связи с отношением социалистов к либералам: на стр. 270 и след. (в приложении) приведен его рассказ о том, как основа будущих разногласий обнаружилась именно в этой плоскости при первой же встрече его с Лениным.

При внимательном чтении в переписке можно найти намеки и на то расхождение между обоими теоретиками группы «Освобождение Труда», которое выявилось только спустя 15 лет.

«Вы все-таки, в конце концов, меня переживете, — писал Плеханов в 1888 году относительно желания Аксельрода,

по личным мотивам, уйти из редакции сборника «Социал-Демократ», — будет, вероятно, время, когда вам придется редактировать без меня». А затем идут строки, показывающие, что между ними уже был разговор на эту тему:

«А мое якобинство? Нужно же, чтобы вы меня сдерживали, чтобы вы имели даже право сдержать мои централистические и якобинские тенденции. Ведь, право, у меня есть на этот счет грешок» (стр. 44).

В этих словах много дружелюбного чувства, немало и добродушной иронии, но есть и еще кое-что. И как же смеялся, вероятно, Плеханов, когда во время II с'езда партии сторонники Аксельрода и Мартова стали упрекать его в централистических и якобинских тенденциях!

Встречаются в письмах и замечания, имеющие большую ценность с точки зрения общественной психологии и морали. Запомнить их не мешало бы очень и очень многим.

Так, в ответ на слова Аксельрода: «избранник истории» Плеханов пишет: «Как убедиться в том, что такой-то человек был избран историей? Это возможно *только* по отношению к *прошедшему*, а по отношению к настоящему это немыслимо, и только хвастуны да плуты могут смотреть на себя сквозь столь лестные очки» (стр. 94).

По этому поводу можем поделиться с читателем следующим воспоминанием. Тов. Х. написал как-то о группе «Осв. Труда», что на всем протяжении русской истории не было ни одной идеологической группы, прогрессивная роль которой была бы так велика. Г. В., которому автор читал свою статью, заметил, что это место надо выкинуть, так как нам не пристало давать самим себе подобную оценку. — Это делаете не вы сами, а мы, — воскликнул Х. «Все равно, оценка идет из нашего лагеря». — «Но ведь это — правда. Скажите, какую другую группу по результатам ее идейной работы можно сравнить с вашей?».

Плеханов задумался. «Может быть», медленно произнес он: «Пусть судят об этом после нашей смерти. А сейчас время еще не пришло».

Известно, как криво судили его иной раз после смерти. Недавно один из биографов повторил, что время для всесторонней оценки Плеханова еще не пришло.

Невозможно передать всего богатства мыслей, заключающихся в разбираемой переписке. Ее нужно читать и читать.

Перейдем к редакционной статье и примечаниям.

Редакция сборника, состоящая из П. А. Берлина, В. С. Войтинского и Б. И. Николаевского, замечает, что в комментариях могут встретиться и пропуски и ошибки, и заранее выражает благодарности за все указания этого рода.

Важнее всего реабилитировать имя героя польской войны 1794 г. Тадеуша Косцюшко. Аксельрод был прав, когда заметил, что ему кажется совершенно невероятным утверждение одного литератора, будто Косцюшко завершил свою карьеру à la Тихомиров (стр. 102). На самом деле ничего подобного не было. Одно время Косцюшко рассчитывал на императора Александра I в деле восстановления независимой Польши, как многие из передовых людей того времени рассчитывали на этого царя в смысле освобождения и обновления России, как в другую эпоху на А[лександра] II моментами возлагали надежды даже Герцен и Чернышевский. В этом был, разумеется, элемент утопизма. Но Косцюшко скоро избавился от него и умер непримиримым. Он никогда не служил тирану, назывался ли тот Александром или Наполеоном.

Дальше. В газете «Новое Время» от 20-го февраля (4 марта) 1895 г. действительно появилась рецензия на книгу Бельтова (к стр. 110). Статья Плеханова, предложенная «Северному Вестнику» (о чем говорится на стр. 54), позже, приблизительно в 1898 году, была написана и послана в этот журнал. А. Волынский (Флексер), бывший в то время членом редакции, отказался ее поместить, мотивируя свой отказ тем, что он не уверен, выдержит ли автор полемику с Михайловским, ибо содержание этой статьи было направлено против прославленного лидера легального народничества. Эта рукопись была затеряна, о чем впоследствии сожалел Плеханов.

Материалы, напечатанные в приложении к переписке, представляют большую ценность. Прокламация «К русскому обществу» в самом деле принадлежит Плеханову. Помимо того указания, которое дают сами редакторы, в этом легко убедиться, сравнивая листок с некоторыми местами из брошюры о борьбе с голодом. А главное, авторство известно нам непосредственно от Г. В. Это одна из тех прокламаций, которых почему-то не мог отыскать Рязанов. Следовало бы

поместить в приложении и адрес от учащейся молодежи министру юстиции графу Палену. Но, может быть, его не было в распоряжении редакции? Кстати, Плехановым были написаны еще прокламации: «По поводу взрыва на Патронном заводе» и «К студенчеству», кроме воззвания к славному войску донскому, которое, есть основание думать, вовсе не было напечатано.

Следовало бы, пожалуй, приложить редакционное заявление (за подписью Алексеева) из 1-го сборника «Социал-Демократ», а также добавление к обвинительному акту по делу Софьи Гинзбург, помещенному в № 4 тех же сборников. Добавление это, несомненно, принадлежит Г. В-чу. В нем особенно интересно то рассуждение о присяге, которое было характерно для Плеханова еще в годы, когда он сам находился в юнкерском училище. Конечно, сборники «Социал-Демократ» не являются редкостью за границей. Но в России достать их весьма трудно. Поэтому в книге, издаваемой здесь, названные произведения Плеханова далеко не были бы излишни.

Все это — частности, нисколько не умаляющие общей ценности книги, изданной весьма тщательно. Это понятно: весь текст переписки и комментариев просмотрен П. Б. Аксельродом и Р. М. Плехановой.

Более серьезное замечание приходится сделать по поводу предисловия *от редакции*. Некоторые места этого предисловия формулированы недостаточно ясно, так что могут вызвать у молодых читателей не совсем правильное представление о первоначальных взглядах группы «Освобождение Труда» и, пожалуй, отчасти о самом Г. В. Плеханове.

Так, тот, кто прочтет стр. 13, может подумать, что теория гегемонии пролетариата, «которой предстояло сыграть такую большую роль позже, в предреволюционные годы начала XX века», стала складываться только в 90-х годах, и что планы соглашения с народовольцами не вяжутся с этой идеей «в ее трактовке конца 1890-х годов, с идеей, требующей не соглашения соц.-демократии с другими партиями, а замещения их».

Вопрос, затронутый здесь, сыграл настолько большую роль в дальнейших расхождениях отдельных групп российской социал-демократии, он настолько интересен сам по себе, что мы остановимся на нем несколько подробнее.

Известно, что приблизительно в половине первого десятилетия XX века идея гегемонии пролетариата была переработана Лениным в идею диктатуры пролетариата и крестьянства с призывом к вооруженному восстанию и захвату власти, а в дальнейшем, во время войны, и к непосредственной пролетарской революции. Ни Плеханов, ни его товарищи по группе «Освобождение Труда» не претендовали на такое понимание вышеназванной идеи. Они никогда не посягали на чужое добро. Но, не желая присваивать чужие идеи, Плеханов не хотел, чтобы у него отнимали то, что собственно было внесено им в сокровищницу русской революционной мысли.

Одним из таких, — притом очень крупных, — взносов была идея гегемонии пролетариата. Глубоко ошибся бы тот, кто подумал бы, что эта идея составляет нечто случайное, появившееся после многих лет существования Группы. Ее совершенно нельзя отделить от основных воззрений русских марксистов, развитых ими при первых же выступлениях. По крайней мере, в этом был убежден сам Плеханов. Он высказал это в своей замечательной по тонкости полемике с нашими оппортунистами, в частности, с Мартыновым, в период реакции 1908—1913 гг. Мартынов настаивал на том, что в 80-е годы о гегемонии пролетариата в русской революции никогда и нигде [включая интернациональный Парижский конгресс 89 г.] не было речи, и подчеркивал, что это его утверждение неопровержимо.

В парижской речи, — возражал ему Плеханов в «Дневнике Социал-Демократа», — «вы не заметили главного «*принципиально-нового*», заключавшегося в моем указании [на] то, что «революционное движение восторжествует в России только как революционное движение рабочих». Вы не догадались, что идея, заключающаяся в этих словах, есть идея «гегемония пролетариата накануне и во время революции».

«Излишне было доказывать, — говорил Г. В. несколько раньше, — что идея, о которой идет речь, «возвещена» была впервые вовсе не на Парижском с'езде».

Это подкрепляется выписками из «Наших Разногласий», из плехановского письма к русским рабочим (1885 г.), так же,

как из составленного Аксельродом об'явления об издании «Рабочей Библиотеки» (1884 г.).

«Наша революционная интеллигенция должна итти с рабочими, а наше крестьянство должно итти за ними», — писал Плеханов. А П. Аксельрод призывал рабочих к энергичному выступлению в роли представителя эксплоатируемых народных масс и заявлял, что историческая миссия рабочих промышленных центров — быть руководителями народных масс в борьбе с врагами народного благосостояния.

В этих целях группа «Освобождение Труда» приглашала передовых рабочих к образованию одного «самостоятельного *рабочего* союза или *рабочей* партии».

Чтобы не оставить никаких сомнений, Плеханов добавлял:

«По вопросу о гегемонии пролетариата я и теперь [т.-е. в 1910 году!] стою на том же, на чем стоял я, когда писал «Наши Разногласия».

Отсюда ясно, что идея гегемонии пролетариата, как ее понимали члены группы «Освобождение Труда», *фактически* ничуть не мешала им предпринимать шаги к соглашению и даже к об'единению с остатками «Народной Воли». Они великолепно понимали, что при совместной работе им легче будет повлиять на представителей революционной интеллигенции и склонить их на точку зрения рабочего класса. Они верили в силу и жизненность своих идей.

Приводя в назидание тому же Мартынову классический пример из древней истории, Плеханов указывал, что гегемония предполагала поддержку Афин, по крайней мере, некоторыми другими государствами. Точно так же гегемония пролетариата в наше время вовсе не обозначает, что он должен заместить собою все другие действующие силы или что его партия должна заменить все остальные, но, наоборот, только то, что он должен добиться поддержки со стороны других классов населения и других партий.

«Этакий *игемон*, этакий душегуб... сущий разбойник!..» — называет барского управителя один из персонажей Гл. Успенского. Ни Плеханов, ни его товарищи по группе не были повинны в подобном понимании гегемонии. Они всегда выступали *против изоляции рабочего класса*.

Неточность формулировки, способную дать читателю неправильное представление о Плеханове, нужно отметить

в предисловии также на стр. 15, где редакторы говорят об отношении Г. В. к делу Дрейфуса; это отношение их как-будто смущает. Не касаясь того, что вряд ли точно изображать позицию Гэда в этом деле краткой формулой — «une affaire bourgeoise» [1]), нельзя пройти мимо фразы в письме Плеханова (на стр. 188 переписки): «Поведение Жореса и Гэда, по-моему, безукоризненно». Вряд ли точно характеризовать такое отношение словами: «Он даже немного склонен оправдывать Гэдовскую позицию». Пятнадцать лет спустя, вспоминая об этом деле, Плеханов говорил автору настоящей рецензии, что Жорес, в конце концов, перегнул палку и что позиция Гэда в основе далеко не была так неправильна, как думают.

Видеть в том, что Плеханов отнесся с большей горячностью к теоретическому ренегатству Эд. Бернштейна, нежели к осуждению Дрейфуса, преобладание в нем мыслителя и философа над политиком, очень странно. В примечании (на стр. 190) Р. М. Плеханова рассказывает, как сильно волновался Г. В. по поводу процесса и событий, связанных с осуждением невиновного. Сдерживаться, как это видно из того же примечания, его заставляли именно *политические* соображения. И разве не обнаружил он в это время большую политическую прозорливость, заявив, что рано или поздно поход для освобождения невинно осужденного человека во Франции увенчается успехом (стр. 188)? Разве не сказалась эта прозорливость еще больше в том, что он сразу же понял и оценил огромное *практическое* значение теоретической «ревизии» марксизма, предпринятой Бернштейном, и один из первых в рядах крупнейших деятелей международного социализма забил тревогу! Ведь история мирового рабочего движения в последовавшие затем три десятилетия, можно сказать, была насыщена борьбою против оппортунизма, опирающегося на «критические» взгляды Бернштейна. Плеханов выступил барабанщиком в этой борьбе, которая не изжита до сегодня.

Его нередко пытались изображать в виде «мыслителя и философа больше чем политика». Помнится, несколько лет

---

[1]) В то время как Плеханов указывал в письме, что таково только отношение французских рабочих масс.

назад, в одном издании появилась статья, автор которой доказывал неправильность такого взгляда. Плеханов был также политическим вождем. Каждый, кто хоть сколько-нибудь был знаком с Г. В., может подтвердить, что у него был темперамент подлинного политического борца, что он готов был забыть все: и научные занятия, и болезнь, и сон, когда неотложное политическое дело требовало ответа. Дверь его была открыта для такого случая во всякое время дня и ночи.

Туманно самое противопоставление мыслителя-философа—политику. Новое поколение рабочих должно знать, что их теоретики не отвлеченные мыслители, далекие от жизни. Марксизм — философия конкретная, действенная, жизненная. Кант мог не обращать внимания на грандиознейшие общественные события, совершавшиеся вокруг него. Маркс, величайший мыслитель нового времени, был и одним из величайших его политиков. Политическим борцом с ног до головы был и Плеханов. И его политическое предвидение было тем значительнее, чем более опиралось на теоретические результаты, добытые философом-мыслителем.

В заключение остается сказать еще два слова. Конечно, разбираемая книга есть только собрание писем и не представляет связного курса, но именно поэтому читается она чрезвычайно легко. Переписку можно рекомендовать даже малоподготовленному читателю. Она будит мысль и создает настроение, при котором забываются мелочные интересы и растет стремление к борьбе за идеал. Каждый, кто прочтет эту книгу, будет благодарен Р. М. Плехановой и тем друзьям, которые уговорили ее издать переписку полностью.

Остается пожелать, чтобы следующий том вышел как можно скорее.

Г. В. ПЛЕХАНОВ

РУССКАЯ УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ

Министру юстиции графу Палену

Принимая во внимание:

1) Что социалистические учения преследуются в России законом и притом так, как нигде в Европе;

2) что людей обвиняют в политических преступлениях и ссылают на каторгу за сочувствие народу и стремление помочь ему в его бедственном положении;

3) что этих людей держат по 3—4 года в тюрьмах и потом об'являют, что «деятельность их не может быть вредна для государства»;

4) что самое предварительное заключение до такой степени зверское, что вызывает громадный процент смертности, сумасшествия и болезней;

5) что с людьми, осужденными на 15 лет каторги за одно только присутствие на «преступной демонстрации», обращаются так, как нигде в свете не обращаются с ворами и мошенниками, подвергая их телесным наказаниям, как это было с Боголюбовым;

6) что людей, замученных в казематах крепости и домах предварительного заключения, не дают даже похоронить их товарищам и крадут их трупы, как это было с Устюжаниновым и Жилинским.

Принимая во внимание исчисленные факты, мы пришли заявить вашему сиятельству от лица всей учащейся молодежи свое сочувствие тем людям, которые называют себя социалистами, и спросить вас, признаете ли вы в отношении этих людей то, что называется неот'емлемыми правами личности; или русское законодательство и впредь будет расправляться с социалистами так, как башибузуки расправляются с болгарами?

Январь 1878 г.

ПЛЕХАНОВ В ГОРНОМ ИНСТИТУТЕ

(письмо в редакцию)

Глубокоуважаемый Лев Григорьевич!

В третьем сборнике группы «Освобождение Труда» помещены некоторые материалы из архива Горного института о Плеханове. Материалы эти сопровождают несколько слов от редакции, по поводу которых позволяю себе сделать следующие замечания.

Г. В. Плеханов поступил в Горный институт осенью 1874 года. В первый же год молодой студент обратил на себя внимание выдающимися способностями и успехом, особенно в области химии. Как передавали, профессор химии, известный Лисенко, впоследствии высказывал большое сожаление, что его даровитый ученик, «увлекшись» революционной деятельностью, оказался потерянным для науки. Экзамены с первого на второй курс сошли у Г. Плеханова прекрасно. В среднем на десять предметов он получил 4,6 — по пятибалльной системе, при этом по высшей математике — 4½, по ботанике и неорганической химии — 5 и только одну единственную тройку — по черчению. Черчение, вообще, не давалось Г. В., и средний годичный балл по этому предмету и среднее число полученных на испытании баллов все было 3.

Экзаменационные успехи и позволили Плеханову получить стипендию. Не то было в следующем году. Плеханов все больше и больше втягивался в общественную работу и все меньше внимания уделял занятиям в институте. Можно сказать, он усвaивал ту «теорию» относительно двоек, о которой с таким юмором рассказал в своих воспоминаниях об Александре Михайлове: пусть себе ставят двойки, а я буду поступать по-своему.

Экзамены со второго на третий курс оканчиваются для Плеханова плачевно. Правда, по зоологии он получает еще 5, по неорганической химии 4, по черчению как и прежде 3, но за начертательную геометрию экзаменаторы (К. Тиме, Ив. Тиме, Гр. Дорошенко) единодушно выставляют ему 1, а по высшей математике и физике он не держит вовсе. Заключение Совета: «Лишить получаемой стипендии и оставить еще на год на том же курсе». Это произошло более чем за полгода до выступления на Казанской площади, так что, очевидно, не может быть поставлено в связь с этим событием.

Лицо, переписавшее приведенное у вас свидетельство, отнеслось к своему делу, повидимому, недостаточно внимательно. Иначе оно заметило бы несообразность в самом тексте этого документа и постаралось бы найти раз'яснение хотя бы в экзаменационных ведомостях. Действительно, в свидетельстве сказано, что Георгий Плеханов «состоял в институте студентом II курса в течение 1874/5—1876/7 учебных годов». II курса вместо I и II могло быть поставлено для краткости, но спрашивается, где же 1875/6 учебный год. Оставление на второй год на том же курсе решает этот вопрос.

После неудачного экзамена Плеханов фактически не посещал более института, но продолжал еще числиться студентом. В приказах, отдаваемых по Горному институту (постановление за № 51 от 27-го сентября 1876 г.), в числе исключенных из списка студентов Г. И. за невзнос платы за право слушания лекций в 1876/7 году на основании § 41 устава Г. И. значится студент II курса Плеханов Георгий. Вскоре после того Плеханов взял из канцелярии свои документы, о чем имеется его расписка от 7-го октября того же года.

Тем не менее его имя еще встречается в экзаменационных списках II курса за 1876/7 год в апреле—мае 1877 года. На экзамены Плеханов не явился и вследствие этого выбыл из института, так сказать, механически, по неуспешности.

Вы видите, что директор нисколько не погрешил против истины, поставив свое имя на упомянутом увольнительном свидетельстве. Подписывал он его, явно, не читая. Иначе вряд ли допустил бы, чтобы такой от'явленный преступник, каким являлся в глазах администрации бывший студент Плеханов, был аттестован как человек *очень хорошего пове-*

дения. Даже оставаясь на почве фактов, можно было сказать, что он ни в чем предосудительном не был замечен — и только. Но бояться директору Г. И. и генералу Кокшарову было нечего. Ни ему самому, ни вверенному его заботам учреждению в то время, по крайней мере, ничто не грозило. Это не то, что Высшие *женские* курсы, самое существование которых всегда висело на волоске.

В заключение позвольте выразить вам благодарность за опубликование чрезвычайно интересного и ценного исторического материала и пожелать широкого распространения и всяческого успеха вашему полезному изданию.

С истинным уважением *Старый Горняк.*

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН

ОГЛАВЛЕНИЕ.